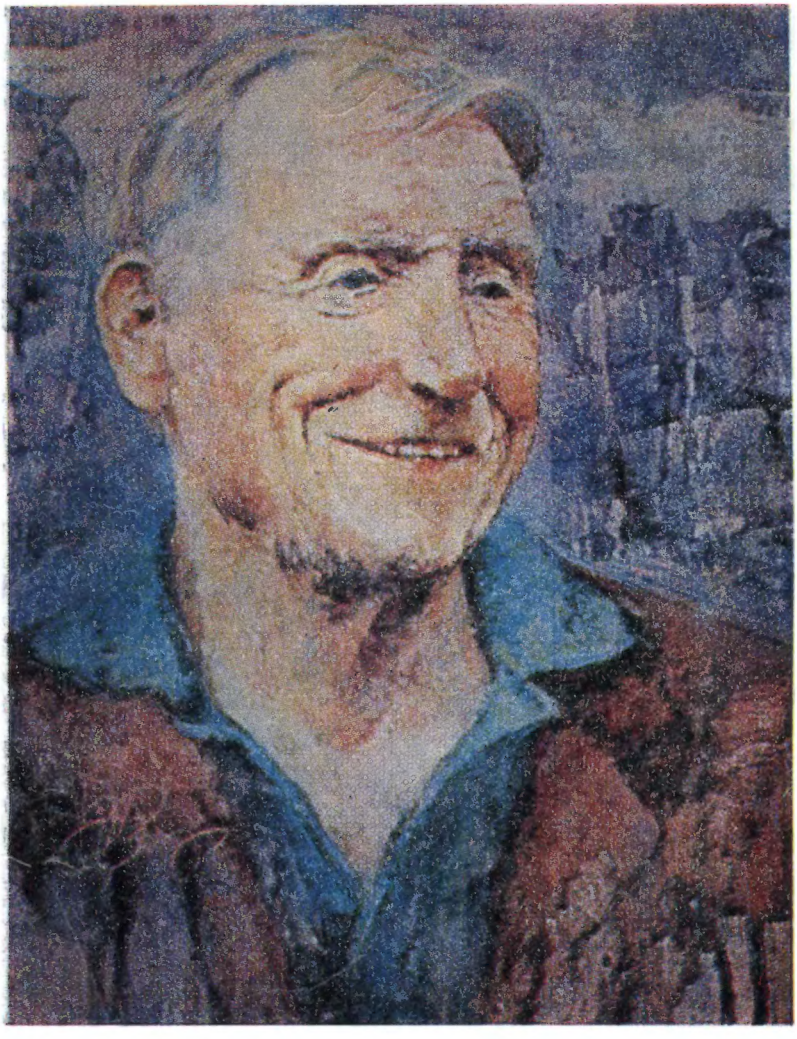
ISSN 0130 – 6545

9. 1987

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Д. Парду «Портрет Р. П. Уоррена» (США).

Цветные иллюстрации номера — портреты писателей

На 1-й и 4-й страницах обложки —
Л. Гуляшки «Портрет Л. Левчева» (Болгария).
С. И. Виткевич «Портрет Ю. Тувима» (Польша).

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

9 сентябрь 1987

Содержание

АНДРЕЙ ГУЛЯШКИ — Чудак *(Роман. Перевод с болгарского Г. Гореловой)* 3

Из словацкой поэзии
(Перевод Асара Эппеля. Вступление Юрия Богданова) 76

ТОМ ШАРП — Дальний умысел *(Роман. Вступление и перевод с английского В. Муравьева)* 85

РОЛФ ЯКОБСЕН — Стихи *(Перевод с норвежского Юрия Вронского. Вступление Л. Горлиной)* 164

Публицистика

АНДРАШ КЕРЕСТИ — «Чэлленджер»: видеолента *(Перевод с венгерского П. Бондаровского)* 171

АНДЖЕЙ КЕМПИНСКИЙ И ЗБИГНЕВ КИЛЯР — Кто есть кто в Польше — и н а ч е *(Фрагменты книги. Окончание. Перевод с польского С. Ларина и Поликарпа Шафеты)* 195

Критика

СЕРГЕЙ БЕЛОВ — Эти веселые военные игры *(Новые сюжеты массовой беллетристики)* 215

Писатель и время

Н. ФЕДОРЕНКО — Любомир Левчев: грани дарования 222

Антирубрика

ЭДУАРД ЖУРИСТ — Рассказы *(Перевод с румынского Татьяны Ивановой)* 231

Среди книг

Издано в СССР

Наталья Старосельская — Открывая тайну красоты...*(Дзюнъитиро Танидзаки. Избранные произведения в двух томах)* ✦ С. Почивалова — Тюремный номер 9653 *(Ирвинг Стоун. Неистовый странник)* ✦ Н. Прозорова — Мучительное право любить и проклинать *(Современная ирландская повесть)* 238

Издано за рубежом

А. Мулярчик — Что издают и кого читают в Америке? 243

Из месяца в месяц

248

© «Иностранная литература», 1987

АНДРЕЙ ГУЛЯШКИ

Чудак

РОМАН

Перевод с болгарского Г. ГОРЕЛОВОЙ

Командировочное удостоверение

Дано настоящее Продану Протопопову, литературному редактору журнала «Алгоритм» (г. София) в том, что он командируется в город Н. для изучения служебной деятельности доктора физико-математических наук, инж. Юлиана Евтимова, бывшего генерального директора завода по переработке цветных металлов (ЗПЦМ), а также для сбора материалов о жизни упомянутого инж. Юлиана Евтимова во время его пребывания в городе Н.

Просим руководителей ЗПЦМ, общественные организации и частных лиц, с которыми инж. Юлиан Евтимов поддерживал служебные и личные связи, оказывать содействие нашему редактору Продану Протопопову.

София, 2 июля 198... г.

Главный редактор .....
(подпись неразборчива)

От автора

В конце книги обозначена дата — время завершения работы над рукописью. В связи с этим мне хотелось бы предупредить читателя о двух вещах. Первое: среди документов, переданных мне Проданом Протопоповым, находятся три командировочных предписания, из которых явствует, что редакция журнала «Алгоритм» посылала его в г. Н. и в другие места, связанные с выполнением возложенной на него задачи, и что он потратил в целом полтора месяца на сбор материалов, касающихся Юлиана Евтимова. Краткость срока, в течение которого была проделана эта работа, свидетельствует, по моему мнению, о том, что Продан Протопопов был крайне увлечен, даже, я бы сказал, вдохновлен личностью Юлиана Евтимова, которая постепенно раскрывалась перед ним.

Второе, что необходимо знать читателю, относится к моей роли в написании этой книги. Она предельно проста, или «однопланова», как теперь принято выражаться. Я, дорогой читатель, во всей этой истории прежде всего «собиратель», то есть человек, который подбирает в хронологическом порядке чужие документы. Лишь в отдельных случаях я вынужден был прокомментировать некоторые факты, пересказать подлинные документы и заполнить один-два пробела. Попросту говоря, я

АНДРЕЙ ГУЛЯШКИ (род. в 1914 г.)

Болгарский писатель, Герой Социалистического Труда, лауреат Димитровских премий, народный деятель культуры. Автор около тридцати книг. На русский язык переведены романы «Дон Кихот из Сильвеции», «МТстанция», «Золотое руно», «Ведрово. Хроника одного села», «Семь дней нашей жизни», «Золотой век», «Дом с лестницей красного дерева», приключенческая повесть — «Приключения Аввакума Захова», пьесы «Обещание», «Болото» и другие произведения. В «Иностранной литературе» напечатана его «Романтическая повесть» (1972, № 5).

Роман «Чудак» вышел в 1986 году («Чудакът». София, Български писател).

перебрасывал мостики от документа к документу — в тех случаях, когда между ними оказывалось незаполненное пространство — или, точнее, связывал одно событие с другим; а бывало, и дополнял язык фактов, когда мне казалось, что он слишком лаконичен и сух. Потому как общепризнано, что перед лицом фактов и боги умолкают, но, с другой стороны, известно также, что молчание богов не всегда истолковывается людьми так, как следовало бы. Ведь язык умолчания не стал до сего времени предметом изучения — обстоятельство, которое побуждает филологов с присущей им мудростью заявлять, что молчание не есть язык. Но так или иначе, в тех редких случаях, когда мне приходилось вмешиваться в историю, я, дорогой читатель, всегда честно старался быть верным документальному материалу.

С непогрешимым нюхом первооткрывателя Продан Протопопов ухватился за эту находку, достойную вызвать читательский интерес. Надеюсь, он не ошибся.

Итак, раз вино налито, оно должно быть выпито! — говорят французы. Сладкое или кислое, легкое или крепкое — каждый оценит его согласно собственному вкусу.

Впечатления разных лиц о Юлиане Евтимове

Рассказ железнодорожника

Я, Михалаки Тодорчев Варадинов,— начальник вокзала в городе Н., взобравшийся на самые верхние этажи своих служебных лет, откуда уже хорошо видны замшелые полянки пенсионного существования. Кому и когда взбрело в голову придумать этот так называемый конечный служебный возраст, неведомо, но по отношению, например, к железнодорожникам этот кто-то был несправедлив. Старый железнодорожник — вроде как изношенный локомотив, который списали в брак. Списать-то списали, а пока придет время загнать его в депо — годик или два пройдет, а может, и больше,— он не стоит на месте, а бегает себе туда-сюда, как те неугомонные старикашки, что вечно где-то носятся. То он маневрирует на какой-нибудь товарной станции, перемещая вагоны от одного паровоза к другому, то тянет сцепку из трех платформ, например, от станции Рагни-колец до кирпичного завода в Новградце. Они делают свое дело, эти локомотивы, хотя старые их суставы скрипят и легкие посвистывают, словно дырявые мехи. Они всегда «придерживаются» расписания — святая святых железнодорожной работы, потому что привыкли к этому с того дня, когда выпустили в небо первый клуб дыма.

Человек, дорогой приятель, часто старается соблюсти расписание собственных дел, не очень-то заботясь об общих интересах. А железную дорогу сам бог создал, чтобы служила общему делу, так пусть люди шапки снимают, когда какая-нибудь отработавшая свой век машина тащится по рельсам в последний раз.

Кем я только не был за время долгой службы на железной дороге! И кочегаром, и машинистом на маневровом локомотиве, на том самом, что тянет три платформы от Рагни-колец до Новградца и обратно. Позже пришпоривал и паротурбинные локомотивы в две тысячи неистовых лошадиных сил, черные стальные чудовища, при виде которых дети прыгали от восторга. Это было в самую добрую мою пору.

После я оседлал дизели, электрички. Это была удобная и легкая работа: влезешь в белом халате в кабину и выйдешь чистенький, словно аптекарь. Такие современные машины любой расторопной женщине по плечу, если она не подвержена головокружениям.

Разве может, например, электричка сравниться хоть с тем самым паротурбинным чудищем! С его тяжеленным рычагом и разверстой пастью, которая изрыгает враз сто огненных дьяволов. Из таких вот машин я вылезал черный, как арап, пропахший углем и машинным маслом настолько, что даже жена моя воротила нос, хоть я и мылся мылом для отбеливания белья и выливал на себя целую пригоршню одеколона «Ориган». Я только хочу сказать, приятель, что славная и чисто мужская была эта работа на паровых локомотивах, хотя она выжимала из нас все физические и душевные силы. Поэтому начальство и решило перевести меня на более легкую работу, как только мне перевалило за пятьдесят.

Назначили меня начальником станции. У меня уже двадцать пять лет стажа на железной дороге, я это дело знаю как свои пять пальцев. Можно сказать, вырос между семафорами, стрелками и железнодорожным расписанием, имею, значит, большой опыт в такой вот «тыловой» службе.

Пришлось закончить шестимесячные курсы, чтобы овладеть канцелярской стороной дела и некоторыми особенностями диспетчерской службы. Да, одно — быть на передовой линии фронта, и совсем другое — сидеть в каком-нибудь штабе, хоть и в более высоком чине. Жизнь фронтовика протекает по-своему: как река гремит и пенится между скалами и горами; а жизнь тыловика на железной дороге тоже похожа на реку, только на такую, которая уже выбилась из скал, оставила далеко позади горы и разлилась спокойно и безмятежно по тихой равнине. Рука машиниста-фронтовика всегда на рычаге, он не выпускает из поля зрения стрелки разных манометров и спидометров, сердце его бьется в лад со стуком колес.

А глаза начальника станции нацелены на расписание, устремлены на ленты телеграфа, на мерцающие лампочки диспетчерского табло. Его мысли заняты всякими там графиками по погрузке и разгрузке товаров. На сердце тревожно из-за скопления вагонов, которые ждут разгрузки.

Все это я рассказываю тебе, дорогой товарищ, вовсе не для того, чтобы научить железнодорожному делу, а для того, чтобы ты разобрался: между жизнью рядового фронтовика и жизнью штабного служаки существует огромная разница, и разница эта, хочешь не хочешь, меняет привычки человека. Мне, признаться, всегда была больше по сердцу линия фронта, и если бы из меня не высосали все силы, я бы еще лет с десяток оставался на передовой.

Но, видать, мне на роду было писано дождаться этого чертова пенсионерства да радоваться покою. Чтоб ему провалиться, этому покою! Да еще ко всему прочему — заделаться начальником вокзала. Вот так! Судьба! Разве может человек избежать своей судьбы? Судьба — это как расписание поездов: движешься по этому расписанию, знаешь, что изменить его — не в твоих силах. А если стукнет в голову безумная мысль изменить что-то — ну, хотя бы раз,— аварии тебе не миновать. Или лобовой удар на прямом пути, или боковой на стрелке. Или вытащат потом твои останки из-под покореженного железа, или — если не дай бог останешься жив — отошлют их прямо в суд. А это последнее, по-моему, хуже самой смерти. Вот что значит идти против судьбы, то есть не подчиняться расписанию.

Известное дело, меня не назначили начальником центрального, первоклассного вокзала. Центральные и первоклассные вокзалы дают людям со специальным высшим образованием. А я после окончания училища сразу ухватился за рычаг, меня обучала практика, а не профессора. Поэтому и направили руководить станцией города Н., а не таким сложным железнодорожным узлом, как, например, в городе Горна-Оряховица. Каждому — по его опыту, но и по его образованию. Таков железный закон в нашем железнодорожном царстве.

Но, дорогой товарищ, что представляла собой станция в Н. десять лет тому назад? Два рельсовых пути и всего одна товарная линия в сотню метров! По одному пути проносились скорые поезда, которые, согласно расписанию, не думали останавливаться на станции Н. На пути номер два останавливались пассажирские поезда только на одну — всего-то на одну жалкую минуту!

Это не должно удивлять тебя, приятель. Каков был в то время городок Н., такова была и его станция. А городок Н. был в то время просто паршивым городишком, околийским [1] центром в то проклятое царское время,— с одним заводишком по производству кирпича, одним кооперативным винным погребом, двумя-тремя дохлыми адвокатскими конторами да несколькими мастерскими — бондарными, по металлу и столярными.

Имелся и районный суд, и милицейский участок с четырьмя милиционерами, и филиал БНБ [2] — тоже с четырьмя служащими. По части веселья все как нельзя лучше: для виноградных лоз окрестности Н.— земля обетованная. Поэтому в Н. были и корчма-гостиница, и с десяток трактиров; имелся и самодеятельный духовой оркестр, который каждое воскресенье давал концерты в городском саду, и стоянка такси с пятью-шестью полуразвалившимися драндулетами. А, да, еще — чуть не забыл — сушильня для слив.

---

[1] Районный. *(Здесь и далее — прим. перев.)*
[2] Болгарский народный банк.

В то время между Н. и станцией пролегала дорога километров в десять. Она вилась среди виноградников, полей и фруктовых садов. Оживала она только осенью — тогда, когда энские жители вывозили на телегах-каруцах виноград, а винные погреба посылали в город свой памидовый эликсир [1]. В распоряжении кооперативного погреба было два разболтанных грузовика-«доджа», оставшихся с первых послевоенных лет. Как, бывало, затрещат они моторами да поднимут пылищу — можно было подумать, что это не грузовики гремят, а перекатываются десятки пустых бочек.

Хотя наш Н. и был связан с большим миром станцией, он принадлежал к тем городишкам, которые еще не так давно называли заштатными. Мелкое производство винограда и фруктов, мелкое земледелие, и всего семь-восемь тысяч жителей. И самое печальное: молодежь стала «эмигрировать» — одни в поисках заработков ринулись в окружной город, другие навострили лыжи в столицу. А в общем-то все было как положено: и воздух чистый, и вода сладкая, да и самая местность — цветущая, словно довольная судьбой молодица. Укрытый среди самшитов и фруктовых садов городок жил по своим стародавним законам, хотя вокруг него уже кипела новая жизнь, еще непонятная, но будоражившая, словно молодое вино.

И как ты представляешь себе, дорогой товарищ, уклад нового моего «тылового» житья? Сначала я просто оглох от тишины, после и дар речи потерял — потому как не было за плечом у меня кочегара, на которого я время от времени покрикивал,— а потом и вовсе стал задремывать. Рассеялись как дым две тысячи бешеных лошадиных сил, которых я крепко держал когда-то в узде.

Всего четверо было нас на безлюдном островке, что энские жители звали «станция»: я, кассир, телеграфист и стрелочник. Заглядывал изредка и обходчик, но он жил в домике на виноградниках и показывался на станции только раза два на дню, когда выходил осматривать свой участок. Кассир был из местных, имел велосипед, и стоило ему только закрыть окошко, смотришь — он уже пылит в Н. Мы с телеграфистом софийские, оба семейные. Во время отпуска один добровольно заменял на работе другого. Но разве можно было это назвать работой! Случались дни, когда ни один пассажир не высаживался с поезда. Жили мы с телеграфистом в здании станции, готовили и питались вместе, поочередно дежурили по кухне.

Но осенью на станции становилось оживленнее. Тогда для подкрепления нам подбрасывали маневровый паровозик, и персонал наш увеличивался соответственно на два кандидата в пенсионеры. Порядок и чистоту поддерживал стрелочник. Его жена мыла два раза в год полы и окна в зале ожидания и раз в неделю протирала окна в моем «кабинете» — командном пункте «штаба»...

Я останавливаюсь так подробно на всем этом, дорогой мой, чтобы ты понял, почему в первые месяцы я ходил точно оглохший, почему чувствовал себя как человек, вышвырнутый из жизни. И это совсем не потому, что я сменил столицу на дремотный провинциальный городишко. Столичным жителем меня и назвать-то с трудом можно было! Жизнь моя катилась ежедневно по рельсам от Искыра до Черного моря и от Горно-Оряховицы до Лозенграда.

Однажды утром, спустя несколько месяцев после приезда в Н., в начале мая, если не ошибаюсь, я услыхал, как на соседской чинаре посвистывает дрозд. Он, конечно, и раньше тут свистел, но я его слышал впервые и очень расчувствовался. Когда приехал кассир, я по-дружески спросил, как здоровье его жены, весела ли она и треплет ли он за уши своих детишек. Он от удивления вытаращил на меня глаза. Потом уж я узнал, что у него только один, да и тот грудной еще. Но тогда глаза его засветились — прочувствовал, что с ним разговаривают как с человеком. В обед, когда мы с телеграфистом доедали «фасоль нашу насущную», я сказал ему: «Ну, как, ровесничек, перекинемся разок в картишки для утешения души?»

Телеграфист от неожиданности и рот разинул. А все дело в том, что перед тем, как произнести это, я вытащил колоду карт из своего начальнического портфеля и — шлеп на стол!

Однажды, после обычной своей полуденной дремоты, когда я вышел, чтобы встретить пассажирский поезд из Софии, я почувствовал, как обдувает лицо легкий ветерок, подслащенный разными запахами: и богородской травки, и созревшей бузины, и нагретой солнцем ромашки. Воробьи громко чирикали на телеграфных проводах, дрозды посвистывали в листве чинар, прозрачное небо висело над равниной — чистое, словно вымытое стекло, а дальше, за городком, высились синие хребты Бал-

[1] Особый сорт винограда.

канских гор. Посмотрел-посмотрел я на все это, и так у меня стало хорошо и легко на душе, что я сказал себе: «И чего ты мечешься? Не так уж плохо и в тылу живется!» Ведь, если говорить откровенно, машинисту не до природы, он не так уж часто смотрит в небо, да и по сторонам не оглядывается: ему нельзя распылять внимание и выпускать из поля зрения показания приборов. В пути главное для машиниста — щит приборов. Там — все, от чего зависит судьба людей, которые едут в вагонах. И у щита приборов есть своя красота, особая,— правда, совсем другая, чем красота природы.

На другой день вызвал я обходчика и стрелочника, лентяев, каких свет не видывал, и поручил им перекопать заново старый заброшенный сквер перед станцией. Они очень удивились, что я вообще вспомнил об этом сквере, заросшем бурьяном и перегоревшей травой, а потом, когда до них дошло наконец, что к чему, еще и обиделись: мол, что общего может быть между садоводством и их специальностью. Но на меня, бывшего фронтовика, такие номера не действуют. И я был раньше машинистом, а не уборщиком, но сколько раз я подметал свое рабочее место и натирал до блеска бронзовые части паровозных приборов! А они рассердились на меня из-за какого-то садика — всего-то пятнадцать шагов длины да около десяти ширины.

Я все-таки воскресил из мертвых наш сквер. Купил на свои деньги рассаду — петунии, маргаритки, ноготки, мальвы... Даже шланг для полива достал: до ближайшей колонки было чуть ли не пятнадцать метров, попробуй-ка потаскай ведра с водой!

Короче говоря, стал наш садик таким, что все диву давались! Ты скажешь, что я очень уж подробно рассказываю про него, но потом увидишь, что это не случайно. Что касается человека, о котором ты спрашиваешь, то скверик играет в рассказе о нем важную роль: странности его характера именно здесь и проявились прежде всего. И для меня самого эта история не просвистела, как скорый поезд транзитом мимо нашего вокзала.

Жизнь в мирное время как сигарета: чем больше втягиваешь в себя ее сладкую отраву, тем больше привыкаешь, и в конце концов без нее не можешь обойтись. Точно так же и с удовольствиями. Сперва карты, нарды, да еще желание вздремнуть являлись к нам раз в день, а потом мы сами стали звать их в «гости», пока они не превратились в неразлучных друзей. Начали мы вдвоем с телеграфистом, потом вовлекли кассира, а тот стал тянуть на станцию и своего шурина — бывшего директора банковского филиала, сейчас пенсионера. Так у нас сложилось каре, а игра в карты так же притягательна, как и в нарды. Бывало, только и ждем момента, когда встретим и проводим поезда, чтобы скорее броситься к столу. На кухне — груды немытой посуды. Бобовый и картофельный супы мы заменили консервами. Я все реже заглядывал в скверик, который эти лентяи стали теперь поливать, когда им вздумается. Из цветущей девушки он превратился в иссохшую старуху, в которой один бог поддерживал жизнь.

Но если быть до конца точным, приятель, надо сказать, что причины такого запустения нашего садика заключались не только в нас самих. Дело в том, что работы на вокзале стало невпроворот, и она все увеличивалась и увеличивалась. А произошло это потому, что в Н. начали строить — один за другим — большой керамический завод (на месте старой кирпичной фабрики) и промышленный «гигант» (как теперь выражаются) по переработке цветных металлов. Начали и копать землю под фундамент для фабрики по производству сантехники.

К тому времени, о котором идет речь, керамический завод уже работал, а промышленный «гигант» оборудовали машинами. Эти стройки разбудили ото сна нашу станцию, и в конце концов она выросла в настоящий вокзал. Из Софии понаехали рабочие и специалисты. Проложили дополнительные пути для маневрирования паровозов и стоянки вагонов, исправили семафоры, построили навесы, платформы для разгрузки. Потом прислали мне помощника, кладовщика и еще трех стрелочников. В аппаратной замигал лампочками диспетчерский пульт.

Помощник мой оказался пареньком образованным, очень старался по службе: я-то знал, что он с надеждой смотрит на мое начальническое место. Он был еще холост, и я поселил его в станционном здании. Имелась у него и легковушка — БМВ, 350 кубиков,— дракон, а не машина. На ней он меньше чем за десять минут долетал до Н.

Остальные поселились в городе.

Когда начали строить заводы, в Н. валом повалили сотни рабочих, инженеров, мастеров, и городок менялся на глазах. Старый Н. уходил в прошлое, рождался новый город. Выросла высокая гостиница — настоящая, с двумя ресторанами и баром; стали подыматься дома, новая лечебница, открывались магазины, пивные, аптеки. Говорят, что население с семи тысяч вырастет до двадцати — тридцати; наверное, это так, потому что только на «гиганте» должно было работать семь-восемь тысяч человек. Взялись выравнивать площади, улицы, стали рушить устаревшие, многое повидавшие домишки и воздвигать новые — в семь, а то и десять этажей. Одним словом, тихий городок с его фруктовыми деревьями и тенистыми улицами постепенно превращался в промышленный город. Но об этом тебе другие расскажут, дорогой приятель, а я снова вернусь к станции и к своим сослуживцам.

Мой молодой помощник был таков, что и пяти минут не потратил бы в свободное время на какие-то там скверики. Он учился, читал толстые книги, готовился к университетским экзаменам. Хоть бы раз обронил словцо, поинтересовался чем-нибудь, ну хотя бы, как говорится, для проформы. Казалось, что, кроме своей работы (которая, кстати, шла отлично) и книжек, ко всему остальному он был просто глух. Но с одним все же исключением. Случалось, что раза два в месяц он привозил на своем гремучем драконе какую-то девушку из города. Таких «девочек» теперь немало, и ошиваются они именно в тех местах, где много молодых мужчин-холостяков.

Мой помощник проделывал это на манер ночных тварей: очень он боялся света. Привезет девушку поздним вечером и отвезет обратно в Н. еще затемно. Мы с телеграфистом узнавали об этом по грохоту мотора. Я в душе ругал его за трусость и лицемерие, а втайне завидовал, хотя и сам не знал, чему больше — то ли его делишкам с девушками, то ли тому, что у него такая чудная грохочущая машина.

Однажды на заседании партгруппы кассир спросил его (кассир был тогда партийным секретарем): «Скажи-ка, юный друг, почему ты всегда за полночь приводишь к себе этих девочек? Не совестно тебе будить своих товарищей?» «Совестно»,— повел плечами «юный друг». «А зачем же ты в таком случае продолжаешь это делать? — допытывался кассир.— Не можешь разве привозить девчонок пораньше и выдворять на рассвете?» «Не могу! — отвечает.— Утром кто-нибудь может увидеть меня, а я хочу, чтобы мое досье было незапятнанным».

Мне тут же захотелось плюнуть в рожу этому трусливому карьеристу, но он был отличным помощником, а я все чаще играл в кости и карты, даже днем, или же сидел и подремывал. Поэтому хоть и стыдно сознаваться, но в тот раз я промолчал.

Так шли дела на нашей станции, пока в один прекрасный день не появился тот самый человек, о котором ты расспрашиваешь.

Он прибыл третьего августа утренним поездом, в 10.00. С этого поезда сошли еще двое знакомых мне пассажиров — из Долно-Оряховицы, их ждала на станции телега. Приезжий, о котором идет речь, поставил на платформу три туго набитых чемодана — два кожаных, явно заграничных, и один матерчатый, нашенский. Я тебе точно говорю, приятель,— он еле-еле успел стащить их вовремя с площадки вагона. Оряховцы-то постарались обогнать его со своими торбами, они просто-напросто оттолкнули его локтями, чтобы только слезть первыми, он же терпеливо ожидал, не говоря ни слова. Он выглядел спокойным и воспитанным человеком. Такие люди сегодня встречаются очень редко. Я, как работник железной дороги, скажу тебе откровенно, что сегодня в моде локти и что тот, кто не умеет ими пользоваться, иногда вынужден доплачивать за билет до следующей остановки. Все на свете стали куда-то спешить, каждый так и норовит опередить других! Как наши долнооряховцы, например.

Много воды утекло с тех пор, как я впервые увидел этого человека, а мне кажется, что все было только вчера. На самом деле прошло шесть лет. Но то третье августа ясно запечатлелось в моей памяти, словно самая свежая фотография! Ты можешь возразить, что, мол, в течение этих шести лет я часто встречался с ним, но именно потому я и помню тот его приезд. Да и находился он в Н. всего-то два с половиной года...

Я тебе так скажу: ежели вдруг грянет гром с ясного неба, ты ведь запомнишь такой день? Запомнишь... И еще: человек, о котором идет речь, действительно нахо-

дился в Н. только два года с половиной, но он такую успел заварить кашу — и все из-за странных своих поступков — и такой переворот произвел своими реформами на заводе, что жители Н. до сих пор судачат о нем и, пожалуй, не скоро забудут. Да и сам я долго буду помнить его: ведь это я первым встретил его на энской земле!

Так вот, человек этот только-только успел вытащить свои чемоданы из вагонов, как поезд тронулся. Он стал оглядываться вокруг и, заприметив стрелочника, любезно кивнул ему и показал на свой багаж. Мол, будь добр, помоги. А этот стрелочник, которому он кивнул, был как раз один из моих лентяев, и я был уверен, что он сейчас повернется к пассажиру спиной и всем своим видом даст понять: «Я, дорогой товарищ, стрелочник, а не какой-то там носильщик, ты не по тому адресу обратился!» Но, к моему великому удивлению, этот остолоп бросился к багажу с такой скоростью, какой я никогда в нем не подозревал, ухватил сразу два чемодана и проворно поташил их в зал ожидания. Он был крепким человеком, но по тому, как натянулись жилы на его шее, я понял, что багажик приезжего был тяжел. Тем временем тот, кто держал себя так корректно по отношению к долноряховцам, вошел в зал ожидания с улыбкой, словно нес чемодан с пухом. Позже я улучил момент и, когда он отвлекся, попробовал приподнять этот чемодан — в нем было не меньше сорока килограммов. Его брезентовая утроба, как оказалось позднее, была набита связками книг и разными инструментами. «Человек со стальными мускулами, и такой деликатный!» — подумал я. Да, встречаются еще на свете такие типы, что могут свалить кулаком быка, а муравьишке какому-нибудь несчастному дорогу уступают.

Между тем приезжий протянул стрелочнику пятилевку[1] — плату за оказанную услугу, и тот просто ошалел, потому что, приятель, за подобную работу и одного лева было слишком много! К чести этого закоснелого бездельника надо сказать — он отказался взять столько и ни за что не взял бы, если бы приезжий просто силой не сунул деньги ему в руку. «Почему ты кинулся нести его чемоданы? — спросил я после.— Тебе лень одно ведерко плеснуть на наш садик, а тут...» Он в ответ только тупо пожал плечами. «А я знаю? — отвечает.— Меня будто магнитом притянуло к этому человеку!» «Как же — магнитом,— думаю я себе,— кожаные чемоданы тебя притянули, вот что!» — но полной уверенности у меня не было.

Теперь я хочу описать тебе, товарищ редактор, этого человека — таким, каким увидел его тогда. На вид ему было лет тридцать пять. Среднего роста, даже чуть пониже. Широкоплечий, узкий в поясе. Лицо скуластое, волосы каштановые, расчесанные на пробор. У него был высокий, открытый, выпуклый лоб, из-под которого поблескивали серо-голубые глаза. Они, глаза его, ну,— как бы это тебе объяснить? — вот они серо-голубые и вот затем становятся пепельно-серыми, непроницаемыми. И взгляд их — обычно мягкий, такой грустно-ласковый, что ли, в иной момент (это когда цвет глаз становился пепельным) проникал глубоко в тебя — изучающе, пристально, словно прикидывая, чего ты стоишь. Но это без всякой злости, скорее с горечью. Все это я, конечно, позже увидел, когда столкнулся с ним ближе.

Короче говоря, взгляд его напоминал омуты нашей речки Берзии: сверху притягательны и прозрачны, а в глубине... никто и не ведает, что там в их глубине кроется.

Я все это говорю к тому, приятель, что глубина взгляда этого человека излучала добро. Добро-то добро, но словно бы сбрызнутое горечью лесной полыни.

...Оставив свои чемоданы между залом ожидания и аппаратной, он, вероятно, решил пройтись по территории станции. Странной и чуть смешной была походка у этого человека. Речь идет не об осанке — держался он прямо, но время от времени как-то чудно вскидывал руки, словно отмахивался от слепней: должно быть, прогонял разные досадные мысли, которые роились в его голове и мешали видеть окружающее. Но это повторялось время от времени, а так шел он вполне нормально.

Насмотревшись вдоволь на платформы, где разгружались и загружались поезда, он обошел навесы, под козырьками которых дюжина контейнеров, каждый весил не меньше тонны, ждала грузовики из ЗПЦМ. Потом он остановился на пороге аппаратной, поздоровался с телеграфистом и вежливо спросил:

— Не могли бы вы сказать, товарищ, нет ли на мое имя какого-нибудь сообщения с завода по переработке цветных металлов?

[1] Купюра в пять левов.

— А кто вы такой? — спросил телеграфист удивленно, потому что никто еще не обращался к нему столь учтиво.

— Я — Евтимов,— ответил вошедший.

— Ага! — воскликнул телеграфист.— Ю. Евтимов?

— Ю. Евтимов.

— Так бы сразу и сказали! — закивал головой телеграфист.— Откуда мне знать, что как раз вы и есть тот самый Ю. Евтимов! Полчаса назад с завода получена для вас телеграмма.— Он размотал телеграфный ролик и, дойдя до нужного места на ленте, прочел: — «Для Ю. Евтимова. Просим по прибытии поставить его в известность что джип получил серьезное повреждение точка надо подождать Наумов».

Я увидел, как на лице Евтимова появилось выражение крайнего удивления. Постепенно оно стало медленно угасать.

— Джип, сказали вы...— повторил он.

Почему-то слово «джип» было произнесено несколько подчеркнуто.

— Это не я сказал. Так написано в телеграмме! — телеграфист почувствовал себя задетым.

Наш приезжий молчал некоторое время, затем на его лице появилась загадочная улыбка.

— Хорошо! — произнес он наконец.— Я подожду этот джип!

— Да уж придется подождать, что еще делать! — заметил телеграфист.

На Евтимове были коричневые вельветовые брюки, короткая кожаная куртка, надетая на спортивную рубашку в черно-желтую клетку.

— Вы случайно не мастер с завода? — вмешался я в разговор.

Разумеется, задавая вопрос, я был сама любезность — мне показалось, что телеграфист обращался к Евтимову как-то уж слишком сухо. Хотя телеграфист вообще так разговаривал; только когда садились играть в белот [1], голос его становился вкрадчивым.

— Мастер, мастер...— кивнул наш новый знакомый и снова загадочно усмехнулся.

— По какому делу? — спросил я.— Мастера разные бывают.

— По машинам мастер, монтажник,— ответил он.

— Это хорошо,— одобрил я.— Нужная профессия. Если постараться, можно неплохо заработать.

Стоило мне сказать про деньги, как я тут же увидел в его глазах ту самую перемену, о которой говорил раньше. «Небось денежки-то с легкостью тратишь!— подумал я.— Любишь их, видать, а сберегать не умеешь!»

— Извините! — кивнул он мне и отошел в сторону.

Появились помощник, кладовщик, маневровый локомотив пискнул, и под навесами закипела работа. Подошел огромный заводской грузовик. «Закипела» — это не совсем точное слово для определения работы в такие дни: работа, скорее, просто двигалась, кипела же кровь человека: еще и полудня не было, а ртуть в термометре уже поднялась до тридцати градусов!

А надо тебе сказать, дорогой товарищ, что монтажные работы на заводе шли неважнецки. Еще год назад монтаж должен был быть закончен, но половина цехов «гиганта» все еще пустовала, в них можно на автомобилях раскатывать. До станции доходили слухи, что руководству ЗПЦМ скоро дадут жару!

Примерно через полчаса после нашего разговора с «мастером» смотрю — он снова идет к аппаратной.

— Чего ему опять надо! — взорвался телеграфист.— Вот привязался, не даст человеку газету почитать спокойно!

Дело было в том, приятель, что время подходило к началу первой партии в белот и телеграфист начинал нервничать. Работа у него такая — неспокойная, одним словом, поэтому я не очень-то придирался к нему, когда он повышал голос и язык распускал. Ведь начальник обязан входить в положение подчиненных, не так ли? В свое время, помню, уши вяли от ругани монх кочегаров, но я терпел.

Мастер снова поклонился нам чрезвычайно учтиво. Мы не привыкли к такому обращению и не поняли: то ли он насмехается над нами, то ли у него вообще такая манера.

---

[1] Название карточной игры.

— У меня к вам просьба,— обратился он к нам.

— Что, вам заняться нечем, что ли? — рассердился телеграфист.

— Именно за этим я и пришел,— спокойно улыбнулся мастер.— Не найдется ли у вас каких-нибудь садовых инструментов? Мотыги, к примеру, или граблей?

— За каким чертом?..— вскинулся было телеграфист, но я вовремя оборвал его.

— Для чего вам садовые инструменты? — спросил я вежливо.

— Да я хотел поработать в садике,— ответил он.

Некоторое время длилось молчание, потом я произнес:

— А вы понимаете что-нибудь в садоводстве? Если речь идет о нашем сквере, то он государственный и не служит для развлечения.

— И не для того, чтобы убивать время,— добавил телеграфист.

— Прошу вас! — настаивал мастер.— Я не испорчу сада, тем более государственного. Мне просто хочется освободить его от сорняка.

У меня в горле что-то засвербило, а телеграфист уткнул нос в свои ленты и словно потерял дар речи.

К счастью или нет — уж не знаю, но мимо аппаратной проходил один из моих лентяев-стрелочников, и я ему крикнул:

— Эй, Милан! Дай вот ему мотыжку и грабли!

— Слушаюсь! — ответил впервые по-уставному этот дьявол, и, посмотрев мастеру в спину, состроил кислую мину, но все же заспешил к кладовой.

Мы же с телеграфистом как ни в чем не бывало погрузились в бумаги, а сами исподтишка стали поглядывать на часы: не настало ли время нашего очередного белота.

Что касается мастера, то он снял кожаную куртку, засучил рукава клетчатой рубашки и смело шагнул в терний нашего запущенного садика...

Потом все снова потекло, как по расписанию. Ведь оно, как тебе известно, святая святых в железнодорожном деле. Вместо обеда мы раскрыли две банки рыбных консервов, наскоро перекусили и очистили стол. Пришел и кладовщик. Пот лил градом с еле подоспевшего к началу белота бывшего директора филиала банка. Как он дотащился в такую жару на своей таратайке — «пежо» довоенного времени,— ума не приложу. Да и что мне до этого, в конце концов! Я делал вид, что увлечен игрой, бросал козыри, а сам только и посматривал в окно.

Мастер чистил сквер и уже дошел до середины. Большая куча репейника и иссохшей желтой травы лежала грудой в стороне. Дьявольское солнце пекло так сильно, что у меня вдруг заболели глаза, и я стал путать валета с королем.

— Эй, шеф, опомнись! — сразу же взъелся на меня телеграфист, мой партнер.— Загубим всю игру из-за тебя!

Типун ему на язык, в тот день мы действительно проиграли. Выигранный рахат-лукум съели кладовщик и бывший директор банка.

В четыре часа позвонили с завода:

— Э, а этот Евтимов все еще у вас?

— Уже заканчивает! — откликнулся я.

— Что? — изумился чей-то голос.

— Ничего! — ответил я.— Все ждет ваш проклятый джип!

— Ну-ну, пусть еще подождет,— с облегчением произнес кто-то.— Через час мы приедем.

Именно час потребовался мастеру, чтобы протянуть шланг в скверик и обильно полить водой раскаленную, как кирпич, землю.

Телеграфист и не подумал подняться с места, но я вышел поглядеть. Человек этот просто сотворил чудо. Он поднял мертвого из гроба. На месте, где торчали одни колючки и мозолил глаза чертополох, показались розовые и голубые петунии, солнечные ноготки, маргаритки. Они, конечно, выглядели далеко не свежими, видно было, что они замучены до предела, но несомненно было одно: по их стеблям уже заструилась новая жизнь.

В 17.00 прикатил наконец джип с «гиганта». Мастер вымылся у колонки и не торопясь причесал свои каштановые волосы. Потом пришел к нам в аппаратную, с просветлевшим лицом поблагодарил за гостеприимство и извинился, что не успел почистить как следует наши садовые инструменты. На прощанье он оставил свою визитную карточку, поклонился мне и молодой походкой, размахивая руками, направился к джипу. Шофер уже погрузил его чемоданы.

И когда джип запылил по дороге, товарищ Протопопов, я посмотрел на визитную карточку и вслух прочел следующее:

Инж. Юлиан Евтимов,
доктор физико-математических наук.

В аппаратной словно гром грянул с ясного неба...

Рассказ юриста

Да, я заведующий отделом кадров. Имею юридическое образование. На ЗПЦМ работаю с начала строительства.

Сожалею, товарищ редактор, но сразу должен вас предупредить, что в моем кабинете не курят. Вот тут предупреждение висит, но, как большинство курильщиков, вы не обратили на него внимания. Потому вынужден напомнить. Извините.

Угощайтесь, пожалуйста,— вот орешки, лимонад, одним словом, не стесняйтесь! Может, такое угощение вам и не по вкусу, но зато оно полезно, а польза, с моей точки зрения,— единственно реальная мера добра.

Что же касается всякого рода запретов — без них нельзя. Их создал общественный разум. Продиктовало чувство общественного самосохранения. Я не могу даже представить себе, как выглядела бы жизнь, если бы не существовало запретов. Был бы сплошной хаос... Да, конечно, я вас понимаю — воспитание, самодисциплина, скажете вы. Хорошо! Но что такое самодисциплина и самовоспитание? Они есть плод запретов. Пожалуйста, за примером недалеко ходить — запрещение курить воспитывает у человека чувство уважения к некурящему. Запрещение покидать рабочее место когда вздумается приучает трудящихся к дисциплине. Понимаете? Поэтому самое слово «Запрет» следовало бы писать с большой буквы. Вот так. А бывший директор Юлиан Евтимов запретов не любил. Как сумел он при подобном стиле работы преодолеть трудности — а ведь он застал здесь такое болото — да еще заслужить орден Труда, притом золотой, ума не приложу! Чудеса просто! Потому что он не только не почитал запретов, но в большинстве случаев, я бы даже сказал, проявлял крайний либерализм!

Признаюсь честно, его успехи — для меня тайна, которую я еще не разгадал и едва ли когда-нибудь разгадаю.

Да и как было разгадать? Ведь Юлиан Евтимов был исключением из правила, вернее, из всех вообще правил, а такие случаи я отказываюсь комментировать. Когда я произнес слово «либерализм», вы посмотрели на меня вопросительно. Разумеется, речь идет не о политическом либерализме, не поймите меня превратно! В политическом отношении Юлиан Евтимов был абсолютно чист. И в нравственном тоже, я бы сказал, потому что не играл в карты и не шлялся с распутными женщинами, только вот курил много. Правда, и курение его нельзя назвать... вульгарным, что ли! Он курил трубку, а существует мнение, что трубку обычно курят солидные, серьезные люди: профессора, политики, государственные мужи...

Его либерализм описать чрезвычайно трудно. У меня, как у юриста, существует свой взгляд на то, как ведут себя люди, но либерализм Юлиана Евтимова я не смог бы подвести ни под какой параграф. В науках о морали, а еще более в юридических, для такого рода либерализма нет определения. Это вообще нечто не поддающееся дефинициям — меня так и подмывает дать этому явлению математическое описание. Ведь вы знаете, наверное, что совсем недавно с помощью математических уравнений доказано, что «ничто» в космическом пространстве все же не есть «ничто»! Вот каковы возможности математического описания в тех случаях, когда речь идет об определении неопределимого... К сожалению, я не математик. Но Юлиан Евтимов — первоклассный математик, и я думаю, что он единственный, кто мог бы с помощью математических выкладок обозначить свой либерализм и, наверное, составить новое уравнение в области неравенства и несовместимости; именно математика и занимается такими вещами.

Поскольку вы пришли сюда собирать сведения об этом человеке, я постараюсь — по мере своих сил и возможностей, конечно,— чтобы вы не ушли с пустыми руками. Меня лично впечатлила та черта его характера, которую я именую стремлением к либерализму. Возможно, это произвольное толкование, но ведь еще Протагор утверждал, что «человек есть мера всех вещей»! Я же мерю вещи на свой аршин.

Впрочем, я просто расскажу вам несколько случаев, а вы судите сами.

Он появился в Н. неожиданно, без предварительного извещения, и потому вызвал известное замешательство среди нашего руководства. Можете ли вы представить себе такую ситуацию, чтобы директор прибыл без всякого предупреждения? Не считая нужным предварительно уведомить руководство? С моей точки зрения, это абсолютно нелогичный поступок! Во всяком случае, директору так поступать не положено! Директор — это воплощение порядка, дисциплины, вершины иерархии. Верно? А он свалился на нас как снег на голову. Приезжают без специального предупреждения администрации простые рабочие, но и те обычно кого-нибудь извещают: бригадира, коменданта или, наконец, кого-то из шоферов.

Вы скажете: «Разумеется, директора не поступают таким образом. Трюки Гарун аль Рашида из «Сказок тысячи и одной ночи» давно всем известны, и нет надобности воскрешать их в сегодняшней практике». И даже воскликнете: «Как могла прийти в голову Юлиану Евтимову подобная нелепая мысль — играть роль современного Гарун аль Рашида!» Напрасно восклицать таким образом, товарищ редактор. Лучше помолчать. В поведении Юлиана Евтимова оказалось столько «несоответствий» и «неравенств», что вы споткнулись бы на первом же шаге, если бы вздумали судить о его поведении с точки зрения правил логического мышления.

Прежде чем приехать на ЗПЦМ, Юлиан Евтимов руководил монтажными работами на одном промышленном объекте в Родопах. А бригадиром у него был родопчанин из Момчиловцев Юли Евтимов. То ли из-за случайного сходства имен, то ли потому, что Юли был добросовестным мастером и отличным человеком, Юлиан Евтимов явно выделял его среди прочих и решил взять с собой на энский объект. После прохождения соответствующих процедур в министерстве Юлиан Евтимов предложил мастеру выехать в Н. третьего августа. Тот согласился, и Юлиан Евтимов послал две телеграммы одного и того же содержания: «Третьего прибываю пассажирским десять часов Ю. Евтимов». Свою телеграмму Юлиан Евтимов адресовал заместителю директора ЗПЦМ Сотиру Штереву и отослал ее с курьершей из отделения «Цветная металлургия». Телеграмму же о приезде мастера Юли он адресовал начальнику отдела кадров, то есть мне, и обязал самого Юли отправить ее с почты.

До этого момента все шло своим чередом, согласно протоколу. Что же произошло дальше? Третьего августа Юлиан возвращает Юли и приказывает ему остаться еще на два дня в Софии, чтобы получить в отделе министерства какие-то дополнительные инструкции по технологии оборудования. Он уезжает в Н. один, уверенный, что Сотир Штерев позаботился о том, чтобы директора встретили на станции.

Заместитель директора ЗПЦМ Сотир Штерев — человек правильный и благонадежный в полном смысле этого слова — не отдает, к сожалению, никаких распоряжений на этот счет, так как находится в полном неведении. Почему? Потому что второго августа после полудня он отбывает по работе в окружной город и возвращается в Н. только в четыре часа утра. Его секретарша Павлина использует отсутствие шефа, чтобы упорхнуть в тот же час! Как это делают, впрочем, большинство секретарш. Второго и третьего она даже носа не показывает на заводе. Да и как бы она его показала, если второго она венчалась в церкви со своим возлюбленным, а в тот же день после обеда была назначена свадьба.

Следовательно, почта заместителя директора Штерева осталась нераспечатанной. О телеграмме Юлиана Евтимова забыли до утра четвертого.

Что же касается мастера Юли, я вовремя получил его телеграмму и немедленно передал ее начальнику транспортного отдела с резолюцией: «Встретить и привезти на заводском джипе!»

Как видите, в правильном, казалось бы, ходе событий встречаются неожиданности — непредвиденная задержка Юли в Софии, самовольная отлучка Павлины. Но несуразностей, противоречащих логике, не было. Однако именно с прибытием Юлиана Евтимова — инженера и доктора физико-математических наук, только что назначенного директором ЗПЦМ,— они стали сыпаться на нас как снег на голову.

Прежде всего это связано с тем, что ему в голову, видите ли, пришла идея буквально стащить Юли Евтимова с поезда и оставить его в Софии для получения дополнительных инструкций министерства. Этот поступок Юлиана абсолютно нелогичен. Почему? Потому что Юли — квалифицированный работник, мастер по монтажу, а Юлиан использует его для услуг общего характера, другими словами — превращает его в простого курьера.

Второй неожиданный поступок Юлиана, лишенный здравого смысла,— его жела-

ние представиться на энской станции мастером Ю. Евтимовым, а не Юлианом Евтимовым, ДИРЕКТОРОМ ЗПЦМ! Согласитесь, что второе звучит совсем по-иному! Мастеров сотни, а «товарищ директор» — один, перед ним снимают шапку! Теперь подумайте, насколько несовместимо с логикой положение: быть ЛИЧНОСТЬЮ — и вдруг самым бессмысленным образом обезличить себя!

Третий его поступок, изумивший всех,— войти в роль мастера Юли и согласиться с прозвищем «мастер». И не только потому изумивший, что Юлиан понижает себя в должности, но он еще делает нечто несовместимое со своим рангом и общественным положением — работает, как простой садовый рабочий! Очищает от сорняков и колючек, а затем перекапывает запущенный привокзальный сквер...

Если все это в порядке вещей, товарищ редактор, то и разговаривать больше не о чем!

К пяти часам заводской джип наконец приводят в исправность, и его шофер, выполняя мое указание, отправляется на вокзал за мастером Юли Евтимовым. На станции Н. Юли Евтимов, то есть Юлиан Евтимов, любезно спрашивает шофера: «Могу ли я занять место рядом с вами?» Шофер, человек нервный и к тому же взбешенный долгой задержкой, отвечает: «Садись, черт тебя дери, где хочешь, мне все равно!» Юли, то есть директор Юлиан Евтимов, скромно улыбается и отвечает: «Спасибо, я сяду на заднее сиденье!» И устраивается сзади.

Между тем поднимается ветер, сгущаются тучи, нет-нет да и блеснет молния, прогремит гром, и наконец разражается настоящий ливень. Известно, что беда никогда не приходит одна: посреди дороги джип начинает барахлить и останавливается. Шофер орет: «И где только отыскали такого, как ты! Видно, мне на роду написано возить невезучих! Вылезай — будем толкать!» Юлиан слезает и — что делать? — толкает машину до тех пор, пока этот проклятый драндулет снова не соизволил запыхтеть. Промокший с головы до ног, он все так же скромно улыбается, глядя на шофера: «Очень сожалею, что стал причиной ваших неудач, да еще под дождем!» Тот подумал, что пассажир решил поиздеваться, и отвесил ему полной мерой: «На черта мне твои сожаления! Ими разве только подтереться!»

И он стал подниматься в кабину. Но Юлиан Евтимов с такой силой дернул его за руку, что тот завертелся волчком, поскользнулся, потерял равновесие и плюхнулся в грязь. «Мастер» с неожиданной ловкостью вскочил в кабину — так, словно он проделывал это упражнение по сто раз в день,— и в полураскрытую дверцу крикнул: «Завтра с утра явишься к директору извиняться!» Он нажал на стартер, и пока изумленный шофер успел прийти в себя, джип уже исчез за густой завесой дождя.

Эта история произошла на середине пути в Н.

Юлиан Евтимов приехал в Н. в начале седьмого. Дождь не переставал. Евтимов проехал мимо нового гранд-отеля на главной улице, но не остановился, а продолжал кружить. Так он доехал до харчевни «Стол и ночлег», что находилась вблизи центра Н. Теперь его не существует, да и сама старая площадь осталась только в воспоминаниях старожилов. Все срыто бульдозерами, на месте «Стола и ночлега» высится ЦУМ, напротив него — кинотеатр «Молодость». Если вы еще не были в этом кино, товарищ редактор, советую его посетить. Зрительный зал построен в форме ротонды, очень оригинально. Внизу открыта сладкарница [1], она соседствует с молочным баром, рядом с которым расположился салон развлечений для молодежи — бильярдный зал и моникс.

До недавнего времени в сладкарнице продавали только кондитерские изделия, курение было запрещено, так же как и алкогольные напитки. К сожалению, эти хорошие правила теперь забыты: там подают и водку, и виски, и джин, и даже какие-то коктейли — черт знает, из чего они намешаны. Ясно одно: напьются, накурятся, мозги набекрень, и — танцевать! Верно люди говорят — добром все это не кончится. Только распущенность сплошная... Вон сколько разводов, абортов и прочих «приятных» вещей, а в результате — нарушения трудовой дисциплины. Такого рода печальные последствия, товарищ редактор, появляются тогда, когда забывают о запретах! Потому что запреты, как я сказал уже в начале нашего разговора,— основа порядка и дисциплины.

---

[1] Кафе-кондитерская.

А теперь вернемся к герою нашего рассказа, бывшему директору ЗПЦМ Юлиану Евтимову. Итак, он остановился в гостиничке при харчевне после того, как пренебрег услугами модернового гранд-отеля «Республика». Естественно, что человеку его ранга следовало бы остановиться как раз в таком отеле. Там всегда останавливается наш министр, когда приезжает в Н., там же ночуют партийные и государственные руководители нашего округа, инженеры, финансовые инспекторы, иностранцы. Там всегда есть в резерве два номера «люкс». Но Юлиан Евтимов предпочитает такому отелю харчевню «Стол и ночлег». Посудите сами: не есть ли это типичный пример несоответствия служебного ранга человека и норм его поведения?

Надо сказать, что к тому времени судьба харчевни была решена, но она еще боролась за жизнь, предлагая крайне ограниченной своей клиентуре «фирменные национальные блюда», которые в «Республике» сочли бы просто пощечиной общественному вкусу. Бай [1] Сандо, его хозяин, угощал своих гостей жаренными на вертеле цыплятами, обильно посыпанными перчиком и горным чебрецом. Такая экзотика в гранд-отеле только присниться может! Готовил он и жирные касапские гювечи [2], разного вида люля-кебабы, бокалы наполнял густым домашним вином, которое в Н. все еще производили последние виноделы, обреченные, так же как и «Стол и ночлег», на неизбежное вымирание. Заведение это с давних времен посещали главным образом настоящие гурманы, увлекавшиеся особым образом приготовленными яствами. Ночевать же в номерах редко кто оставался.

Хотя бай Сандо привык уже ко всякого рода чудачествам, однако очень удивился, когда Юлиан попросил его приготовить две комнаты для ночлега и в одной из них разжечь очаг. «Дружка поджидаете?» — спросил он его. «Ожидаю, что ко мне придет промокший шофер»,— ответил ему наш герой. И добавил: «На всякий случай сунь-ка в гриль двух цыплят!»—«У меня нет никаких грилей,— обиделся бай Сандо,— у меня настоящая скара [3] на живом огоньке!» «Еще лучше! — улыбнулся дружелюбно гость.— С сегодняшнего дня и в будущем только у тебя буду останавливаться! — И похлопал хозяина по плечу.— Я сейчас переоденусь и спущусь вниз, в механу [4], заказать аперитив!»

Когда Юлиан Евтимов спустился в механу, сердце бай Сандо радостно дрогнуло: гость переоделся в вечерний костюм в самом точном смысле этого слова. На нем был темно-синий пиджак, под которым виднелась накрахмаленная рубашка; серебристый галстук был заколот блестящей золотой булавкой с цепочкой. Каждый, тем более бай Сандо, оценил бы его так: большой человек самой высокой пробы! И тайная надежда искрой зажглась в сердце хозяина: может быть, снова в его заведении появятся такие люди!

Что бы ни говорили сегодня молодые люди, а одежда отражает внутреннюю сущность человека! Стоит вам увидеть, как кто-то спускается к ужину в галстуке и крахмальном воротничке, знайте, что это человек, для которого хорошие привычки стали второй натурой. Я уважаю хорошие привычки, товарищ редактор. Хорошие привычки — это порядок, самодисциплина. Это уважение к обществу, если хотите. Именно таких людей общество облекает доверием, дает им в руки командные рычаги, выдвигает их на руководящие посты. Своим врожденным нюхом доброго хозяина бай Сандо точно оценил нашего героя, и не зря у него в душе зажглась та самая искорка надежды, о которой я вспоминал выше.

Но время — это река, оно не может течь вспять. Все эти механы и харчевни — уже перевернутая страница, и никакие капризы того или иного оригинала не могут их воскресить, вдохнуть в них жизнь. И это в порядке вещей, я это принимаю: оригиналы никогда не были мне по сердцу. Подобные личности могут каждую минуту выкинуть какой-нибудь номер, нечто такое, чего нет в трудовом кодексе, и поди ломай себе после этого голову, любезный, попробуй найди тут пункт или параграф, который позволил бы тебе его прищучить, да так, чтобы никто потом не подкопался.

Итак, бай Сандо поставил перед своим представительным гостем полдюжины тарелок с самой разнообразной закуской: тут и сдобренный домашним перцем чебрец, слегка запеченный острый албанский перец, заправленный маслом и винным уксусом,

[1] Почтительное обращение к старшему по возрасту.
[2] Блюдо из мяса и овощей.
[3] Жареное мясо на специальной решетке — мангале.
[4] Корчма.

салат из огурчиков и помидоров, посыпанный укропом, маслинки, баклажанная икра, тонкие пластинки бастурмы, поставлена была на стол и бутыль охлажденной янтарной ракийки. После этого он удалился к своему мангалу, который находился неподалеку от стойки, чтобы взяться за приготовление ужина.

Через некоторое время в механе появился и злополучный шофер джипа, промокший до нитки и настолько разъяренный, что начал заикаться. Он приблизился к бай Сандо и спросил:

— З-з-здесь м-мастер? Т-так его раз-т-так!

— Какой мастер? — удивился бай Сандо.

— А т-тот, ч-ч-то п-приехал на м-моем д-джипе.

— Хм! — задумчиво произнес хозяин.— Сюда действительно приехал один товарищ на джипе, это верно, но почему «мастер»?— И он кивнул в глубь механы, где Юлиан Евтимов приканчивал уже вторую порцию мясного.

Шофер ринулся к столику Юлиана, но остановился как вкопанный, не поверив своим глазам: тот — не тот? Если это тот, то совсем не похож на мастера, и вид у него скорее директорский.

— Вы... взз-з-яли мой джип? — произнес он наконец.

— Я,— с ангельской улыбкой ответил ему наш герой. И, все так же благожелательно продолжая улыбаться, добавил: — И я сразу же издам приказ о снятии тебя с работы, потому что ты не шофер, а грубиян. Временно побудешь разнорабочим в гараже, а когда отвыкнешь от грязных слов, я подумаю о том, чтобы вернуть тебя на прежнюю должность.

— А-а кто вы такой? — пришел в себя наконец шофер.

— Приятель директора! — кивнул ему Юлиан Евтимов и засмеялся.

Потом произнес уже серьезно:

— Ступай погрейся — в твоей комнате горит очаг. А когда придешь в себя, спускайся вниз, вместе поужинаем.

Наш шофер не принадлежал к тем, кто сдается без боя.

— А водительские права у вас есть? — перешел он в наступление.— Я-то знаю, что даже приятелям директора запрещено садиться за руль, если у них нет прав. И, кроме всего прочего,— продолжал он,— ведь джип — это государственная машина.

— То, что ты задал мне этот вопрос, делает тебе честь! — Евтимов смягчившимся взглядом окинул шофера.— Уж поскольку ты осмелился спросить меня об этом, я походатайствую перед моим приятелем, чтобы назначил тебя в гараже старшим рабочим. Ты, как видно, не совсем пропащий! — И он протянул шоферу свои права.

Это было свидетельство водителя ПЕРВОГО КЛАССА!

Тот махнул рукой, вздохнул и направился к лестнице, ведущей в комнаты. Сейчас у него был вид побитой собаки.

— Приходи ужинать, парень! — крикнул ему вдогонку Юлиан Евтимов.

— Спасибо! Ужинайте сами! — ответил шофер, уже не заикаясь.— Мне кусок в горло не полезет!

— Ну, воля твоя,— пожал плечами Юлиан.

Он отпил из рюмки с видом человека, погруженного в свои мысли и заботы. Едва притронулся к закуске. В общем, он не походил на гурмана или на человека, склонного к излишествам в еде. Когда ужин был готов, он велел бай Сандо отнести шоферу цыпленка, поджаренный хлеб и бутылку коньяку. «Пусть погреется, бедолага!»— ухмыльнулся он и пригласил к себе за столик хозяина.

— Присядь, пожалуйста,— попросил он,— поужинаем вместе! Взгляни только, какой ливень на улице.

— Да, ну и дождь...— подтвердил бай Сандо.

— В такую погоду опасно оставаться одному,— сказал Юлиан Евтимов.

— Почему, ваша милость? Здесь вам ничего не угрожает! Заведение у меня почтенное, да и милицейский участок рядом.

— Неужели? — рассмеялся Юлиан.

Потом замолчал, но продолжал улыбаться.

Позже старик рассказывал, что смех этот был не таким уж веселым. В общем, так или иначе, а он принял приглашение Юлиана Евтимова с удовольствием и сел к нему за столик. Поел с аппетитом, сопровождая ужин разными байками из истории жизни города Н.

В путешествии Юлиана Евтимова до Н., в его пренебрежительном отношении к гранд-отелю, в том, что он предпочел остановиться в «Столе и ночлеге», и непонятном столкновении с шофером джипа — во всем этом, если исходить из предпосылки, что он ДИРЕКТОР, есть моменты, которые не укладываются в здравую логику. Подумайте сами, товарищ редактор, какой директор крупного завода сядет сам за руль заезженного джипа, чтобы добраться до места работы? Какой уважающий себя руководитель — притом инженер и доктор наук — станет тут же чинить самосуд над простофилей-шофером? Прибыв на место работы, любой обычный директор приказал бы своему заместителю издать приказ об увольнении или переводе этого шофера на низкооплачиваемую должность — и дело с концом! Все по кодексу! Кому охота возиться с этим «падшим ангелом?» Мало директору всяких ответственных дел!..

Далее: как человек его ранга может изъявить желание ночевать не в гранд-отеле, а на каком-то богом забытом постоялом дворе? И что за непонятный демократизм — посылать коньяк провинившемуся шоферу и приглашать на трапезу хозяина харчевни, совершенно незнакомого человека, отставшего со своими услугами для постояльцев чуть ли не на добрую сотню лет?

Несмотря на все эти причуды, Юлиан Евтимов отлично владел искусством управления. Потому что уже вскоре монтажные работы и оборудование завода техникой быстрыми темпами продвинулись вперед. Он прежде всего был педагог, видел в людях их слабости и умел находить самые эффективные средства для их преодоления.

Скажу вам даже, товарищ редактор, что до его появления на ЗПЦМ наши общежития были картежными притонами, где, ко всему прочему, слишком уж увлекались алкоголем, а от постоянного курения дым стоял, как в преисподней. Никто не обращал внимания на приказы, запрещавшие эти безобразия, хотя в каждом общежитии они висели на стенах: «Игра в карты строго запрещена!» Или: «Курить в помещении строго запрещено!» Никто и гроша ломаного не дал бы за эти запреты и уж тем более не думал соблюдать их.

В то же время общежития рабочих представляли собой деревянные бараки. Чтобы жильцы по-настоящему чувствовали после трудного рабочего дня нервную разрядку, я, по предписанию невропатологов, запретил ввинчивать лампочки свыше сорока ватт. А после десяти вечера приказал включать в помещении не более одной лампочки. Так я и электроэнергию экономил, и давал возможность отдохнуть и восстановить силы уставшим. Но вопреки принятым мною мерам до самой полуночи горели все лампочки, раздавался стук костяшек по нардам, молодые бездельники шлепали картами, растягивали мехи аккордеонов, варварски раздирали струны гитар. На стройке собрались люди со всех концов страны, среди них были всякие. Случалось, и в женское общежитие «заскакивали».

Едва появившись, Юлиан Евтимов приказал поставить в каждом общежитии по телевизору, навести порядок в местах для курения, в комнатах для игры в шахматы и чтения газет и журналов, а чуть в стороне от бараков, на достаточном расстоянии, воздвиг — хотя это и слишком сильно сказано — музыкальные беседки, деревянные сооружения под конусовидной крышей. Так, за короткое время он сделал все прежние объявления ненужными.

Я-то предвидел, что эта реформаторская деятельность приведет к денежному начету по параграфу «обзаведение», что, естественно, и случилось. Но Юлиан исхитрился и покрыл его сборами с двух концертов, устроенных для жителей города Н. в том же году заводским самодеятельным коллективом.

С приходом Юлиана Евтимова лихорадочно закипели монтажные и строительные работы: завод оборудовали новой техникой, южнее его корпусов начали быстро подниматься общежития из кирпича и бетона.

В просторных цехах монтировали тяжелые и сложные машины. Помню, например, что один электрогидравлический вальцовочный пресс весил 250 тонн. С этим прессом и связана история, в которой со всей очевидностью проявились некоторые странности нашего бывшего директора.

Этот вальцовочный «молот» надо было монтировать в кузнечном цехе завода. Цех огромный — что-то около пятидесяти метров длиной, место для пресса отводилось в начале зала. Чтобы транспортировать стан для этого пресса, крановщик должен был доставить и его, и все детали по висячему железному тросу, протянутому от восточного входа в цех. Трасса была длинная, и работа шла медленно и вяло из-за того, что наш крановщик бай Симо имел обычай каждые три часа вылезать из кабины, чтобы вы-

пить кофе и выкурить сигарету. Вы спросите, как это администрация терпела такого работника? Терпела. Потому что он был отличным специалистом, с большим стажем и имел не знаю уж сколько орденов за трудовые свои заслуги. Специалистов такого класса невозможно было отыскать в то время, как говорится, днем с огнем. Когда однажды начальник цеха сделал ему замечание, он ответил: «Ежели не выпью кофейку да сигарету не выкурю, голова закружится. Это профессиональное заболевание — ведь я с какой высоты вниз смотрю!» После второго замечания бай Симо взорвался: «Если вам не нравится, что я спускаюсь на землю, поищите себе другого крановщика!»

Нам не было никакого расчета оставаться без специалиста, да еще перед этой сложной операцией с «молотом», но и поведение крановщика становилось нетерпимым — оно могло оказать плохое влияние на дисциплину всего коллектива.

Однажды утром, как раз перед тем, как бай Симо приготовился спускаться вниз, Юлиан Евтимов приказал поставить посередине цеха столик, покрытый снежно-белой скатертью. К столику придвинули кожаное кресло, в которое обыкновенно сажали директорских гостей. Потом принесли термос с кофе, пачку сигарет высшего качества, чашечку с блюдцем, а возле стола встала сама секретарша директора в белом халате. Бай Симо слез с крана, и навстречу ему направился директор, одетый в рабочий комбинезон.

— Добрый день, бай Симо! — кланяется любезно Юлиан Евтимов и приветливо улыбается.— Мне приятно пожать твою руку!

— И мне тоже приятно,— отвечает бай Симо, а сам подозрительно оглядывается по сторонам.

— Я к твоим услугам,— говорит ему Евтимов.— Вот, выпей кофейку, выкури сигаретку, сюда, пожалуйста! Если что-то тебе не по вкусу, ты скажи, в следующий раз постараюсь угодить!

— Да что вы...— крановщик смущенно трет затылок, уже понимая, что попал в западню.— Совсем ни к чему это, я могу добежать до буфета, тут же совсем близко...

— Как же ты добежишь, если у тебя головокружение? Что ты, бай Симо, зачем же! Сейчас осень, мокро кругом, дождь идет, простудишься, а потом что? Где мы найдем такого специалиста и такого сознательного работника, как ты?

Так, продолжая ласково его уговаривать, директор берет бай Симо под руку и усаживает его в кожаное кресло. Секретарша тут же наливает в чашечку кофе.

— Но...— начинает хмуриться бай Симо и смотрит исподлобья, как от кофе исходит сладостный ароматный пар.— Я ведь...

— Ничего, бай Симо, ты о работе не печалься! — похлопывает его по плечу Евтимов.— Ты отдыхай себе, а я пока заменю тебя на кране. Не беспокойся — инструменты под дождем не брошу! На что человеку руки!

Пока наш усевшийся в кресло «паша» раздумывает, как выйти из положения, чтобы окончательно не ударить лицом в грязь, Юлиан Евтимов уже у выхода. Вот он поднимается по лесенке в кабину крана, садится на место бай Симо и берется за рычаги управления. Он, конечно, не владеет профессией крановщика с таким искусством, как мастер, но вполне удовлетворительно справляется с разными многочисленными ручками, педалями и без каких бы то ни было промедлений начинает переносить детали на определенное для пресса место. Рабочие транспортной бригады машут снизу кепками и одобрительно кричат «ура!»: сегодня «кофепитие» бай Симо не ударит их по карману.

А бай Симо в это время глотает свой кофе, словно отраву. Даже глаз не смеет поднять, потому что кто бы ни прошел по цеху, глядит на него как на предателя. Не докурив сигареты, он уже стоит у лесенки крана.

— Слезайте, товарищ директор, это дело не про вас!

— Что ты, бай Симо, эта работа мне как раз по плечу!

— Хватит вам шутить, не делайте из меня посмешища!

— А голова как же? — Юлиан Евтимов стучит пальцем по своему лбу.— Не кружится больше?

— Все прошло, товарищ директор, ничего не кружится!

С этого дня бай Симо чинно восседал в своей кабине, терпеливо ожидая конца рабочей смены.

Мне случилось вскоре после этого повстречать Евтимова.

— А вы не очень рисковали своим престижем,— спросил я,— когда сделали ставку на совесть бай Симо?

— Рисковал! — улыбнулся Евтимов, и глаза его как-то сразу потемнели. С ним это часто случалось — губы еще улыбаются, а глаза начинают темнеть от гнева.

— И зачем это вам нужно было? — позволил я себе задать ему вопрос.

Он пожал плечами и, не ответив, пошел дальше, время от времени вскидывая руки. «Словно отбрасывает от себя все неприятные вопросы»,— мелькнуло у меня в голове.

Не знаю, прав ли я, но мне казалось, что иногда он либо слишком уж рискует, либо нарочно ищет риска, причем тогда, когда риск, с моей точки зрения, вообще был ни к чему — дело шло, планы перевыполнялись, и сроки пуска выдерживались, и качество работ редко опускалось ниже уровня мировых стандартов. Как это получалось? На заводе еще остались специалисты тех времен, порасспросите их, они вам объяснят... Я же снова о риске...

Это произошло в декабре. Минуло семь месяцев, как Юлиан Евтимов стал руководить заводом. Кажется, на последней неделе перед Новым годом мы получили партию цинка и олова, примерно шестьдесят тонн, уложенных в контейнеры — каждый весом в четыре-пять тонн. Валил густой снег, когда грузовики отъехали от вокзала. Не знаю, замечали ли вы, но над Н. есть одна круто идущая в гору дорога с довольно рискованным поворотом. Это место прикрыто с северо-востока скалой, которая защищает его от ветра, словно щит. Тут всегда сугробы наметает больше метра высотой.

Здесь я должен сделать маленькое отступление от рассказа, специально для того, чтобы описать, в каком настроении был Юлиан Евтимов, когда случилась эта неприятность. Хотя он вообще держал себя с людьми приветливо и всегда проявлял к ним уважение, по характеру он был — по крайней мере мне так казалось — замкнутым человеком, углубленным в себя. Словно в нем сидела какая-то затаенная печаль, которая время от времени давала о себе знать и бросала тень грусти на его лицо. Может быть, это была не печаль, а озабоченность проблемами, над которыми он ломал голову и не мог найти решения. Не смею делать категорических выводов, но... Может быть, в голове у него рождались какие-то новые технологические решения, которые «наверху» не хотели принимать... Кто его знает!

Невесел был наш директор тогда, прямо скажу вам, дорогой товарищ. Часто темнели его глаза... А на улице была чистая снежная зима — совсем как на картинах художников. Красота ее в самом Н. не ощущалась — место там котловинное, и дым от керамического и стекольного заводов вечно висел над городом. Если сегодня выпадал снег, завтра он был грязен, как нестираная рубаха. ЗПЦМ — в трех километрах от Н., совсем недалеко, но расположен у входа в котловину, и здесь всегда дуют ветры. Рано утром — с востока, после полудня — с запада, относя дым то в горы, то на равнину. Поэтому снег здесь долго сохраняет свою слепящую белизну. Просто глазам больно, особенно когда выглянет солнце!

А в тот декабрь солнце никак не хотело показываться на небе, снег все валил и валил... На самой вершине холма, откуда дорога начинала спуск к заводу, как раз на повороте, сугробы становились непроходимыми. Юлиан посылал бригаду за бригадой на прочистку дороги, но усилия людей не приносили никакой пользы. Только вычистят — тут же заметает опять. Оставлять же дольше заводской товар на станции становилось невозможно. Наши неразгруженные вагоны вносили полную неразбериху на железнодорожные площадки, создавали путаницу и хаос. Нас обязали как можно скорее навести там порядок.

И вот тогда Юлиан Евтимов приказал расчистить в снегу «просеку» — прямо от этого проклятого непреодолимого поворота до конца спуска к шоссе. «Просека» то круто убегала вниз, то была умеренно пологой. Угол склона колебался от десяти до тридцати градусов. Одновременно в столярной мастерской началась усиленная работа по изготовлению огромных саней. Закругленные спереди полозья делали из толстых бревен.

Вы, товарищ редактор, вправе спросить: отчего Евтимов решился на такую отчаянную меру? Неужели в Н. не было снегоходов? В Н. не было снегоходов. В областном центре был один, да и тот требовал ремонта.

Стоял лютый мороз, вьюга слепила глаза, захватывало дыхание, а в воздухе пахло горелой резиной. Шоферы, выжав из буксующих машин все, что можно, исчерпав весь запас ругательств, захлопнули дверцы кабин и теперь стояли возле своих грузовиков, дымя сигаретами, с видом людей, которых уже не интересует ничья судьба (кроме своей собственной, естественно). Тогда директор приказал снять с грузовиков

контейнеры и перенести их на сани. Для этого на помощь был вызван даже административный персонал.

Притащили двенадцать саней, каждые с двумя внушительными рычагами — для торможения и управления. Сундуки-контейнеры были не так уж объемисты, но тяжелы дьявольски, а протяженность трассы — с километр или больше. Сильный ветер и снег, видимость нулевая. Так что вся эта рискованная выдумка была чревата большой опасностью. Не дай бог сани перевернутся! От их водителя останется на снегу только мокрое пятно. Четыре или пять тонн навалятся сверху на человека — представляете себе такую картинку? У меня и сейчас, как вспомню эту безумную затею, мороз по коже...

Несмотря на всю очевидную опасность, явилось много добровольцев. Но Юлиан выбрал из них только тех молодых людей, которые еще не были женаты. Тревога и изумление достигли предела, когда в первые сани уселся не кто-нибудь, а сам Евтимов! Директор?!. Возможно ли, чтобы главнокомандующий стал во главе войска, идущего в атаку? Как его ни упрашивали — и заместитель Штерев, и партийный секретарь, и председатель профкома, чтобы он отказался от этого никому не нужного героизма — ведь вполне достаточно было добровольцев,— он и слушать не пожелал! Уж в тот день у него в глазах ни единой светлой искорки не блеснуло...

От этого беспокойного дня в моей памяти остался один примечательный эпизод. Все мы сгрудились на середине трассы, чтобы следить за спуском саней — от самого поворота до места, где начиналось ровное шоссе. Когда мимо нас промчались сани с Евтимовым — а он, как я уже сказал, первым испробовал трассу и прокладывал путь другим,— они вдруг накренились вправо: вероятно, из-за какой-то неровности на дороге. Потом — влево, опять вправо и вот... один из полозьев заскользил в воздухе. За спиной у Евтимова пополз и резко натянулся канат, стягивавший пятитонную поклажу. Я закрыл глаза... Возле меня стояла супруга заместителя Штерева. Она громко закричала и опустилась на снег.

Когда я открыл глаза, Юлиановы сани уже выходили на ровную дорогу. Штерев помогал жене подняться. Ее лицо буквально позеленело — то ли от холода, то ли от испуга, подбородок дрожал... Не могу не заметить, что, даже несмотря на это, она все равно оставалась миловидной — словно Снегурочка из сказки, такая, какую обычно рисуют на детских кубиках.

— Дайте ей валерьянки! — посоветовал партийный секретарь.

Никто и не подумал выполнить этот совет.

Заместитель Штерев принялся отряхивать пальто жены от снега. И тогда, представьте себе, она вдруг начала хохотать — так, словно была не в себе, потом из глаз ее хлынули слезы...

Через некоторое время появился Юлиан Евтимов. Он привел двух мужчин с лопатами, чтобы выровнять трассу в том проклятом месте.

— Товарищ Штерева упала в обморок, когда вы чуть не перевернулись,— прошептал я ему на ухо.

И подумайте, дорогой товарищ, он даже бровью не повел! То ли ветер отнес мои слова, то ли он просто не обратил на них никакого внимания — до сих пор не могу понять.

Уже на другой день по телеграфу посыпались поздравления — от министра, от высокого начальства, от областного руководителя, откуда только их не было! Некоторые из этих телеграмм Юлиан Евтимов прочел, другие, не читая, отправил прямым ходом в корзину.

И ровно через неделю, именно тогда, когда он был на самой вершине славы и его ожидал торжественный и победоносный Новый год, он неожиданно бросил ЗПЦМ, оставил город Н. и уже никогда более сюда не вернулся. Служебных оснований для такого поступка не было — ведь дела на заводе шли все лучше и лучше. Но кто знает, что происходило в его душе, там, где всякие «несоответствия» и «нелогичности» жили в удивительном согласии с другими — прекрасными — сторонами его натуры...

Рассказ завхоза

Юлиан Евтимов — человек странный, но он человек заслуженный, и уже в силу этих причин о нем надлежит говорить с пониманием и ответственностью. О людях Юлианова калибра следует расспрашивать не каких-нибудь неудачников — они опи-

шут его вам в свете своих личных неудач; не следует говорить и с теми, кто недоволен своим «положением»: для этой категории людей начальство — источник всех зол. А к «летунам» и вовсе нечего обращаться: эти порхают с объекта на объект, не задерживаясь подолгу нигде, и потому впечатления их весьма поверхностны.

У меня же, товарищ Протопопов, почти двадцатилетний опыт работы на строительстве, многое я повидал на этом свете, доволен своим положением, и вы должны мне верить, когда я говорю: Юлиан Евтимов хорошо знал свое дело, но был СТРАННЫМ человеком.

До того как Юлиан Евтимов стал руководить делами завода, я не был никаким начальником, то есть я был завхозом, но не был начальником хозяйственного отдела. Я распределял рабочих по баракам и общежитиям, выдавал простыни и наволочки, отмерял каждое утро для главного повара масло, рис и прочие продукты дневного рациона. Был у меня всего лишь один помощник, и я тянул свою лямку так же, как лошадь тянет в гору перегруженную телегу. Но нельзя сказать, что я был недоволен, нет, ведь должность завхоза — должность уважаемая, да и зарплата у меня была неплохая. Кроме того, я не терял надежды на то, что товарищ Евтимов осознает однажды необходимость организации хозяйственного отдела и что в конце концов сделает меня его начальником.

К сожалению, при нем хозяйственный отдел создан не был. И все же честью быть начальником я обязан именно нашему бывшему директору Юлиану Евтимову. Расскажу, как это получилось.

После полудня тридцатого декабря он внезапно покинул ЗПЦМ и Н., а утром — заметьте, утром того же дня — успел написать две блестящие характеристики: своего помощника Штерева и мою.

Как выглядит, по-вашему, такой поступок?

Ведь чтобы навсегда оставить ЗПЦМ и город Н., Юлиан Евтимов должен был иметь очень веские причины. Видно, большая тяжесть лежала у него на душе... И просто чудо какое-то, что именно в такой трудный момент своей жизни он вспомнил о столь ничтожном «винтике», как я. Ну, Штерев,— это понятно, как-никак помощник директора. Да и в гости к нему Юлиан Евтимов ходил чуть ли не каждый вечер, и его заботу о Штереве еще можно как-то объяснить, но обо мне?..

Но это чудо не исчерпывается просто вниманием. Он так расхвалил меня в характеристике, таким молодцом расписал, что я и сам втайне усомнился — меня ли вообще имел в виду Юлиан Евтимов или совсем другого человека? Он не только не скупился на похвалы, но, напротив, кроме истинных моих заслуг упоминал и о несуществующих, тех, что пришли ему в голову в тот момент. Он придумывал разные истории, в которых я выглядел мудрым хозяином и экономом-чародеем! Он представлял меня чуть ли не своим ближайшим советником, человеком, с которым делился самыми сокровенными идеями!

Когда новый директор прочитал мне эту характеристику, я чуть со стула не свалился! Сидел и слушал, покрывшись испариной. Потому что главное заключалось совсем не в том, что он превозносил мои скромные, действительные или мнимые, заслуги, а в том, насколько он был внимателен ко мне! Ведь до того момента, когда он сел писать характеристику, я, казалось, был для него нулем, пустым пространством. Он никогда не вызывал меня для специального разговора, никогда не советовался по какому бы то ни было вопросу! Едва я заговаривал с ним о чем-нибудь, касающемся работы, он отсылал меня к своему заместителю — Штереву. Ни разу не уделил мне и минуты своего времени. Ну, может быть, вот только в ПЕРВЫЙ день приезда на завод. Тогда мы были вместе, считай, весь день, почти до вечера.

Но не подумайте, товарищ редактор, что он только ко мне проявлял подобное пренебрежение. Ко всему административному персоналу он относился именно так — с холодным равнодушием. Его совершенно не волновал труд чиновников, их он предоставил всецело в распоряжение Штерева. От более пожилых сослуживцев я слышал, что в этом отношении он очень походил на тех, кто руководил первыми большими стройками: Димитровградских полигонов, например, или водохранилища им. А. Стамболийского, строительством завода им. В. И. Ленина или возведением кремиковских домен. Человеку в ватнике они оказывали чрезвычайное внимание, проявляли постоянное уважение к нему, он был в центре их забот, а нашего брата с портфелем — исключая инженеров, конечно, но и те в то время ходили в ватниках,— нашего брата считали чем-то вроде канцелярских принадлежностей.

Юлиан Евтимов, высокообразованный человек, не мог недооценивать нашу работу; он держался с нами с обычной вежливостью, но внутренне мы были ему чужды. Он не отвел нам местечка в своем сердце...

Вот почему я был так удивлен, когда новый директор зачитал мне написанную Евтимовым характеристику. Ну, и последствия этого не заставили себя ждать. Уже через несколько дней новый директор назначил меня начальником хозяйственного отдела.

По сегодняшний день не могу объяснить себе то, что произошло, но каждый раз в памяти всплывает событие, случившееся незадолго перед тем, как Юлиан навсегда покинул Н. Мы тогда срочно прокладывали трассу в снегу: по замыслу директора, показавшемуся мне диким, мы должны были спустить на санях контейнеры с металлом, которые грузовики не смогли из-за сильных заносов подвезти к заводу. Вышал обильный снег, стоял лютый мороз, на дороги намело целые сугробы, трудно было даже продукты доставлять из города. И топливо кончалось... Однажды утром пришлось раздавать в столовой сухой завтрак — не удалось даже чай заварить. Некоторые, самые невыдержанные, начали роптать. Тогда Юлиан Евтимов, который всегда завтракал и обедал вместе с рабочими в общей столовой, произнес краткую, но впечатляющую речь.

Мне запомнились некоторые его слова: «Мы сейчас как солдаты в походе! — сказал он.— Каждый должен знать, что в походных условиях неудобства — ежедневные гости солдата!.. И эти неудобства,— продолжал он,— будут с нами до тех пор, пока наш завод не встанет надежно на ноги».—«А когда он крепко встанет на ноги?» — спросил кто-то. «Когда мы начнем регулярно выполнять свои планы и марка нашего цветного проката получит мировую известность! Тогда у нас будут и железнодорожный путь к станции, и свои общежития в городе, и свои подвозы к цехам. Вот тогда нам не нужно будет зимовать в лагере. Заживем в довольстве. А сейчас мы еще в походе. Нам может быть хорошо, а может быть и плохо — как получится. Кто не готов к такой жизни — пусть уходит. Скатертью дорога!»

Что особенного было в этой речи? Скажу! Я давно скитаюсь по стройкам, но в ЗПЦМ остался потому, что получил ответственную работу. Я понимаю, что Юлиан Евтимов был занят по горло на своей директорской должности, поэтому ему пришлось перепоручить меня сегодняшнему директору. Нет у меня, стало быть, оснований поминать его лихом. И все же, если иметь в виду руководителей, с которыми я работал в последние десять лет, должен сказать, что, с моей точки зрения, в каких-то вопросах Евтимов ушел далеко вперед, но в каких-то он поотстал от других. Так, он работал с электронно-вычислительными машинами, с электронной техникой, проверял технологические узлы, но недооценивал столь рядовые вещи, как хозяйственный отдел, снабжение, бытовые удобства! Ну кто из директоров в наше время говорит, например, о «походах»? Лагеря и походные условия — это все прошлое, все, что было привычным на строительстве тех — пионерских времен. Ну, и... Кто решился бы сегодня спускать контейнеры в несколько тонн весом на санях? Вместо того чтобы отбить телеграммы в Софию о немедленной высылке снегоходов и тягачей, Юлиан Евтимов прокладывает трассу в метровой снежной глубине!

Следовательно, по некоторым делам он смотрится как руководитель, отставший от времени. Я ему очень благодарен за то, что он для меня сделал, но и я тоже подтвержу: «Отставший!» «Как? — вправе вознегодовать вы.— Как вы можете называть его отставшим, если ОН, и никто другой, вытащил завод из отстающих в передовые! Можно разве устаревшими средствами выбиться в передовые?» Так имеет право воскликнуть любой, и тут я сразу поднимаю руки. И вы тоже последуете моему примеру, товарищ Протопопов, если будете рассуждать как я! За то, что он ликвидировал отставание по монтажным работам и ввел производство в действие раньше намеченных пусковых сроков, правительство наградило его Орденом труда — золотым!

Вот какой узелок получается! Кому под силу его развязать? А?

Теперь о первом дне нашего знакомства.

Однажды перед обедом заместитель Штерев вызывает меня по телефону: «Давай быстро в дирекцию — я представлю тебя новому директору. Надо устроить его как следует!»—«Есть! — отвечаю.— Сделаем — на то я и завхоз!»

На лестнице, ведущей в дирекцию, встречаю шофера Наско.

— Видел нового директора? — спрашиваю.— Как он?

— Кот в мешке! — Наско пожимает плечами.— За одно-единственное словцо, ну,

знаешь, вырвалось в дороге,— приказал переться семь километров пешком до города да еще перевел в гараж!

— Вот это да! — Мне стало не по себе.— Такой свирепый?

— Не пойму я! — Наско вновь пожал плечами.— Вечером поил меня коньяком, для сугреву, а сегодня утром смягчил наказание — заменил перевод в гараж строгим выговором.

У двери в приемную я едва не столкнулся с председателем профкома. Потный, красный, словно он только из бани вылез, на лице полное недоумение.

— Что, новый сильно жмет на педали? — шутливо спрашиваю его.

— Кто его знает! — Он так же, как Наско, пожимает плечами, потом отводит меня к окну и доверительно сообщает вполголоса:— Пришел сегодня утром, еще восьми не было, и точно в восемь ноль-ноль велел запереть входную дверь. «Запиши всех, кто опоздает! — приказывает мне.— Рабочих, мастеров, инженеров — всех до единого! И заготовь приказ с выговорами и предупреждениями. Повесь объявления во всех наиболее людных пунктах завода, что до тех пор, пока продолжается отставание с монтажом, всякие опоздания будут наказываться по самым строгим параграфам трудового кодекса!»

— Смотри-ка ты! — я пытаюсь улыбнуться, хотя, по правде сказать, мне совсем не до шуток.— Строгий, значит...

— В том-то и дело, что внешне он выглядит строгим,— качает головой председатель. И вздыхает: — Сразу его и не раскусишь: приказывает дать выговор за опоздание, а сам смеется, точно подарки раздает!

— Эти как раз и есть самые опасные! — замечаю я. И на основании собственного опыта — а я множество всяких чудаков повидал на стройках — заключаю: — С людьми такого сорта надо держать ухо востро!

Вхожу в директорский кабинет. Штерев сидит в кресле, а новый стоит у открытого окна. Согласно моим представлениям, правильнее было бы, чтобы новый директор сидел в кресле, а Штерев стоял у окна, но... Позже-то я узнал, что они ровесники, но в тот момент мне показалось, что Юлиан Евтимов старше. Не то чтобы у него было что-то старческое в лице или осанке — он среднего роста, крепкий и стройный, словно атлет. Скуластое лицо; чуть-чуть прочерчиваются легкие морщинки по углам рта, а губы точно нарисованные — чувственные губы, женщины «балдеют» от таких мужчин, как сегодня выражается молодежь; высокий лоб, глаза — синие, волосы каштановые, со светлыми прядями, мягкие и блестящие. Одним словом, красавец! И все-таки, несмотря на свой молодцеватый вид, он выглядел старше Штерева. Хотя Штерев — запомните это как следует, товарищ редактор,— носил бороду, недлинную, правда, и очень сутулился. И все же по сравнению с ним Юлиан выглядел старше! Странное дело, но именно так казалось... Главному инженеру Николе Никодимову было в то время пятьдесят, но когда я увидел их первый раз вместе, Евтимов и тогда показался более зрелым, что ли. Конечно, он был молодым человеком по сравнению с Никодимовым — и фигурой, и лицом, и глазами,— куда уж пятидесятилетнему до тридцатишестилетнего! Но вот, повторяю,— с кем бы рядом он ни стоял, все равно выглядел, по первому впечатлению, солиднее. Потом это ложное представление исчезло, но человек запоминает всегда то, что бросается в глаза сразу!

Когда я вошел в кабинет, он шагнул мне навстречу и протянул руку. Это не была мозолистая ладонь рабочего человека, но поздоровался он крепко, по-мужски, наполнив пожатие какой-то внутренней силой. Очевидно, у меня был несколько смущенный вид, потому что он ободряюще улыбнулся и указал рукой на стул.

— Какой кофе прикажешь, бай Стоян, по-турецки или обыкновенный? — спросил он таким свойским тоном, словно мы еще детьми играли с ним в жмурки или чехарду.

— Обыкновенный,— смутился я.

Он позвонил, и из соседней комнаты появилась секретарша Павлина — два дня назад отпраздновавшая свадьбу молодая женщина. Если только что встреченный мною председатель профкома был похож на человека, только что вылезшего из парилки, то у Павлины вид был какой-то замороженный. Бледность покрывала щеки, взгляд в страхе перебегал с предмета на предмет, и сквозила в нем какая-то остекленелость, словно бедняжка провела час-другой в холодильнике заводской кухни. «Здорово ее новый обстругал!» — мелькнуло у меня в голове, и с этого момента мое возникшее было расположение к новому директору потухло. (Снова я с теплотой подумал о нем только тогда, когда услыхал, как он расхвалил меня в характеристике.) Мне лично он тогда

ничего плохого не сделал, а то, что не желал выделить самостоятельный хозяйственный отдел,— всего лишь частность в его несколько пренебрежительном отношении к администрации вообще, а вовсе не лично к моей особе. Но с того момента, когда я увидел, в каком состоянии была секретарша Павлина после директорского разноса, между ним и мною точно стена выросла.

Не знаю, что вам сказали или еще скажут о нем другие. Скорее всего, вы услышите очень разные мнения, потому что он был — как бы это лучше выразиться? — весьма оригинальным человеком.

Итак, вернемся к тому дню, с которого я начал рассказывать.

— Прошу вас кофе и рюмку коньяку для товарища Стояна Стаменкова,— обратился он к Павлине и самым бесцеремонным образом стал пристально вглядываться в ее лицо.

И тогда по губам его скользнула сочувственная улыбка, но она исчезла так же мгновенно, как появилась. И еще нечто взволновавшее меня заметил я, товарищ редактор. Несмотря на эту сочувственную улыбку, его глаза потемнели неожиданно, и на некоторое время он словно отключился, углубился в какие-то свои мысли. Вот с такими странностями в поведении нового директора я столкнулся в первый день нашей встречи.

Позднее я имел возможность наблюдать еще много раз эту его привычку внезапно задумываться, уходить в себя, забывать о людях, которые его окружают. Он обедал обычно в общей столовой, и за его столом сидели главный инженер Никодимов и помощник Штерев. До того как он пришел на завод, оба они обедали в городе: Штерев — дома, а Никодимов — в ресторане гранд-отеля. Но потом — очевидно, им неудобно было перед шефом — они тоже стали питаться в общей столовой.

Их столик находился против моего, и мне случалось видеть, как появлялась на его лице эта мгновенная улыбка, как он уходил в себя и совершенно забывал о присутствии уважаемых сотрапезников. Но они не обижались. Никодимов и вообще-то был неразговорчив, а Штерев, добрый и воспитанный человек, только благодушно улыбался.

То же произошло с ним в то утро, когда Павлина пошла заказывать мне кофе. Я не успел еще освоиться с его привычкой замыкаться в себе, и мне стало неловко. Я исподтишка взглянул на Штерева — может, он намекнет, что за тип передо мной. Но Штерев смотрел себе под ноги — наверное, чувствовал себя не в своей тарелке. Может, и он впервые столкнулся со странностями нового руководителя?

А руководитель между тем как-то нервозно расхохотался и раскинул руки в стороны. Ей-богу, у меня по спине поползли мурашки.

— Эта молодая женщина,— заметил он, имея в виду, очевидно, Павлину,— определенно решила, что перед ней волк, принявший человеческий облик. Дрожит вся. А почему? Ей бы следовало видеть во мне агнца божьего, а не волка! Судите сами.— Он повернулся к Штереву и говорил только ему: — Мне надо было бы сделать ей «последнее предупреждение», а я проявил милосердие и ограничился строгим выговором! Из объективного судьи, каким я должен был бы быть, я превратился в самого агнца и не исполнил своего долга.

После я узнал, как обстояло дело: 2 августа Павлина заперла двери канцелярии на ключ и на два дня ушла праздновать свадьбу. Юлиан Евтимов сразу с приходом в дирекцию влепил ей выговор. Но ведь этот проступок был совершен ею до его назначения, и он мог бы махнуть рукой на это дело. Но, как видите, не махнул. Даже напротив. Я вам рассказал уже, как он сокрушался из-за того, что «смилостивился» над ней! Слабым ему, видите ли, показалось наказние! Вот такой он человек. Вместо «доброе утро» и «поздравляю» — строгий выговор, и еще скажи спасибо, милочка, за то, что у меня такое доброе сердце!

Вы, конечно, спросите: а что же Штерев? Все-таки заместитель главного — неужели так и не вмешался, не защитил девушку? Нет, товарищ Протопопов! Все зависит от характера человека. Штерев всегда был одинаков: тихий, исполнительный, трудолюбивый, неуверенный в себе. Если бы его спросили «сверху»: «Штерев, хочешь стать директором завода?» — он бы тут же в ужасе отказался, хотя и знал завод, как никто другой. Я хоть и никакой не инженер — а тут же ответил бы: «Принимаю должность, согласен, скорее издавайте приказ!» А он наверняка отказался бы. Потому что я привык сам вести дело, а он всегда был только помощником и всегда старался спрятаться за надежную спину. Есть люди, рожденные быть командирами, и есть такие, что рож-

дены быть только помощниками. Он из второй категории. Эх, товарищ редактор, если бы у меня была половинка диплома инженера, я бы не то что заводом — комбинатом мог бы управлять! Таким, например, как Кремиковский!.. А Штерев... Просто не понимаю, как у него нет желания стать главным? Вот он хоть и узкоплечий, и со своей бородкой смахивает на пророка Иеремию, а знаете, сколько замужних женщин вздыхают по нем и глазки ему строят? Мне бы его положение да выглядеть таким Иеремией... Хе-хе!

А женат ли он? — спросите вы. Да! Жена его красавица, конфетка, но, между нами говоря, разве может мужчина обречь себя на жизнь с одной женщиной, будь она даже из сахара?

В этом отношении товарищ Штерев чист как стеклышко. О нем по району сплетен не услышишь...

Кстати, и о Юлиане Евтимове я тоже ничего такого интересного не слыхал. Правда, то тут, то там шепчутся потихоньку о какой-то его истории с женой Штерева, но я лично в абсолютном неведении. Правда, надо сказать, что, несмотря на странности характера, Юлиан Евтимов был опасным мужчиной. Может быть, и впрямь была какая-то историйка, но и она, надо думать, и началась и завершилась «по-юлиановски», то есть не как у людей. Ко мне он отнесся дружески, и в конце концов было бы несправедливо с моей стороны болтать по его адресу всякое. Того и гляди, в один прекрасный день он снова вернется на ЗПЦМ. Тогда что?..

А уж тогда, дорогой товарищ, придется и мне, прежде чем я произнесу: «Доброе утро», пробкой вылететь с завода, а он будет сочувственно смотреть мне вслед и разве что спросит помощника с печалью в голосе: «И чего кричит этот человек? Я поступил с ним, как агнец божий, не подставил его голову под паровой молот. А он все кричит. С чего бы?»

Теперь о том, как тем первым утром мы отправились в город Н., чтобы устроить его на квартиру.

Перед уходом Штерев смущенно прокашлялся и, чуть запинаясь, обратился к Евтимову:

— Бывший директор жил в отеле «Республика». Это новый, вполне современный отель. Со всеми удобствами. Но он вам не по вкусу... Конечно, отель есть отель, то есть я хочу сказать, что в нем нет домашнего тепла, уюта... А мы... у нас есть совершенно изолированная комната на втором этаже!

— У кого — у нас? — спросил Юлиан Евтимов.

— У нас с женой. Моя жена энчанка, преподает литературу в местном ПТУ. Она унаследовала маленький домик в два этажа с садом. Второй этаж — это, в сущности, одна большая комната с балконом... Это, я хочу сказать — в крайнем случае... Если в отеле вам не понравится и если не найдется ничего лучше.

— Обязательно посмотрю вашу комнату,— улыбнулся Юлиан.— Да еще если она с балконом и выходит в сад, я непременно должен ее видеть. Благодарю вас!

И он столь почтительно склонил голову, точно он был Штеревым, а Штерев — Юлианом Евтимовым. У него вообще была такая привычка — кланяться подчиненным с самой любезной улыбкой, даже ласково, а бедный подчиненный при этом чувствовал себя как уж на сковородке — его терзали угрызения совести и чувство невыполненного долга.

Я прислал за ним «Волгу», но он отослал шофера — не любил, чтобы его возили. Мы уложили его чемоданы и поехали. Юлиан Евтимов сам сидел за рулем.

Дорога в Н. вилась тогда среди виноградников и фруктовых садов. То здесь, то там за деревьями мелькали красные кирпичные домики. Теперь вся эта местность превращена в дачную зону. Виноградарство стало приходить в упадок. Городские пришельцы закупили участки и построили себе дачи; и у завода, как раз на середине пути до города, стоит теперь четырехэтажное здание дома отдыха. Но в Юлиановы времена там простирались виноградники и абрикосовые сады.

Когда мы поднялись на холм и выехали на то место, где дорога делает поворот к Н., с левой стороны потянулись виноградники бай Сандо — хозяина постоялого двора «Стол и ночлег», то есть бывшего хозяина, теперь — управляющего. На ближней к дороге стороне виноградника бай Сандо оборудовал винный погреб, над которым франтовато возвышался беленый домик с мансардой. Он был окружен плодовыми деревьями, так что фасада почти не было видно, но из-за веток выглядывала веранда мансарды, крытая, как и весь дом, красной черепицей. Эта ли веранда привлекла внимание Евти-

мова, фруктовые ли деревья остановили взгляд или широко раскинувшиеся ряды лоз, но он затормозил у калитки и долго рассматривал то, что находилось за ней.

— И домик и виноградники принадлежат бай Сандо,— поспешил сообщить я,— хозяину «Стола и ночлега».

— Вот тут я бы хотел жить! — произнес он, улыбнулся, и лицо его просветлело.— Да, вот где я хотел бы жить! — повторил он, но неожиданно только что озарявший его внутренний свет начал медленно гаснуть. Он вздохнул, покачал головой, как человек, размечтавшийся о недоступных для него вещах, и почти сердито нажал на педаль газа. Не знаю, чем было вызвано его раздражение, но в отель он вошел нахмуренный и с убийственно-пренебрежительным выражением на лице стал разглядывать апартаменты, в которых еще недавно проживал бывший директор ЗПЦМ.

Если вы хотите знать мое мнение, товарищ Протопопов, это был просто роскошный номер! Стены, зеркала, наличники и облицовка из красного дерева, мраморная мозаика в ванной — все было роскошно! Занавески в кабинете — из красного плюша, в спальне — из голубого, настольная лампа под зеленым абажуром, столик с телефоном, радио и часы, вделанные в спинку кровати. Что еще можно желать одинокому человеку?

Мы стояли в кабинете номера, сопровождаемые управляющим отелем. Юлиан Евтимов раздвинул занавеси на окнах и посмотрел на улицу.

— Здесь очень удобно! — сказал управляющий.— Как раз напротив — станция, откуда утром автобусы отправляются на завод и в областной город. Затем, видите, справа от станции, разрытое бульдозером место? Там через два года появятся павильоны крытого рынка — будут продавать мясо, зелень и рыбу. Отель «Республика», как вы убедились, находится в самой живописной и оживленной части города! — заключил управляющий и, довольный, потер руки, словно отель был его личной собственностью и он в свою личную мошну собирал денежки с гостей.

— Хм, да! — кивнул Евтимов, и глубокая морщина легла между его бровями.— Приятно запахнет рыбой, а с раннего утра, когда заработают магазины, поднимется обычный для таких базаров бодрящий гам. И будильника никакого не нужно. Даже если специально искать подобные удобства — едва ли найдешь!

Он внезапно замолчал и настороженно стал вслушиваться в приглушенные звуки, издаваемые какими-то музыкальными инструментами. Они исходили откуда-то снизу, из-под самых наших ног.

— А, вам слышно? — улыбнулся администратор.— Это джаз нашего отеля,— первоклассный эстрадный оркестр. Мы на втором этаже, но все же ударные и саксофон слышны четко. У вас будет постоянное развлечение,— обернулся он к Юлиану.— Утром оркестр репетирует, а вечером, с восьми часов, выступает перед публикой. Бывший директор был весьма доволен этим обстоятельством. «С утра,— говорил он,— эта музыка меня настраивает на рабочий лад, а вечером расслабляет!» Приведет сюда, бывало, какую-нибудь компанию и, не желая появляться перед лицом общественности, посылает двадцать левов дирижеру с просьбой немножечко увеличить децибелы оркестра. Тогда музыка доносится сюда достаточно громко: можно танцевать и веселиться, не смущаясь посторонних взглядов.

— Ну это же просто мечта! — воскликнул Юлиан Евтимов и посмотрел на управляющего таким потемневшим взглядом, что бедняга смутился.— А я слышал, что есть распоряжение, которое не разрешает оркестрантам выходить за пределы семидесяти пяти децибелов! Вы не слышали о таком распоряжении?

Управляющий отелем класса «суперлюкс» снисходительно пожал плечами: что же он обязан делать в первую очередь: следить за «потолком» каких-то децибелов или исполнять желания своих клиентов?

— Не помню, чтобы кто-нибудь протестовал против этих, так называемых дополнительных децибелов,— возразил он.— Никто не предъявлял мне претензий!

— И не обвинял вас в том, что вы позволяли расцветать взяточничеству, не так ли?

— Почему взяточничеству? — управляющий не сразу пришел в себя.— Помилуйте, я лично ни от кого не получал взяток.

— О, не сомневаюсь! — согласился Юлиан Евтимов.— Вы только позволяли на глазах у всех подкупать дирижера эстрадного оркестра. За двадцать левов. Ради бывшего директора ЗПЦМ. Но это все мелочи, приятель, мелочи!

— Конечно, мелочи! — постарался скрыть свое смущение управляющий, но на всякий случай сделал ловкий маневр: — Если вы поселитесь в номере, мы сделаем все от

нас зависящее, чтобы вы чувствовали себя удобно ВО ВСЕХ отношениях! — угодливо склонился он.

— Вот уж не сомневаюсь! — ответил Юлиан Евтимов, и на губах его появилась именно та опасная усмешка, следом за которой обычно начинался разнос. Он помолчал некоторое время, овладевая собой, усмешка исчезла, и он с заговорщическим видом спросил: — А дамскую компанию, например, вы могли бы мне устраивать время от времени? Ведь работа у меня такая, что подыскивать самому нет возможности... Вы понимаете, о чем я?

— Я вас понимаю, однако подобного рода услугами занимаются у нас другие, не я сам... Но вас известят, не беспокойтесь, это я могу гарантировать! Сейчас в Н. имеется большой выбор дам. Ведь я вам сказал, что здесь вы будете себя чувствовать очень удобно!

— Значит, я могу рассчитывать? — нажимал на него Юлиан Евтимов.

— У вашего предшественника ни разу не было причин жаловаться! — сказал управляющий и развел руками.— Во всем и всегда он был обслужен по самому высокому классу. Для нашего отеля большая честь — такие гости, как вы.

— Благодарю вас! — любезно поклонился ему Евтимов.— Эти апартаменты я снимать не буду, но ваша готовность услужить произвела на меня глубокое впечатление, и я уж непременно буду вас рекомендовать где нужно! — Он покачал головой, усмехнулся какой то своей мысли и добавил: — Этого я не забуду, будьте покойны!

И он, товарищ редактор, выполнил свое обещание: так «разрекомендовал» его в городском комитете партии, что тот вынужден был в срочном порядке переехать куда-то в другой город...

И вот я думаю: для чего ему нужно было — нашему-то — придираться? Человек хотел ему угодить, сделать его пребывание в отеле приятным, а он — подножку! Ну, еще если бы тот покушался на его карман — это я понимаю, а то... Не мне его, конечно, судить. От него я ничего плохого не видал. Напротив...

Отъехав от отеля, Юлиан Евтимов свернул у старого рынка и остановился точно у «Стола и ночлега» бай Сандо. Наш знаменитый ханджия [1], уже успевший разведать, что за человек у него ночевал прошлой ночью, встретил директора с большим почетом. Несмотря на то что солнце припекало вовсю, он нарядился в обшитый цветным шнуром пиджак, подпоясался чистым кожаным передником, на голову натянул меховую шапку — чтобы скинуть ее сразу же, как только уважаемый гость перешагнет порог его древней харчевни.

Юлиан Евтимов расчувствовался и заказал для меня и для хозяина по полмерке красного вина, а для себя содовой, так как был за рулем. Бай Сандо даже загрустил по этому поводу, но Евтимов похлопал его по плечу и успокоил:

— Не грусти, приятель! Теперь я стану твоим постоянным клиентом и буду приводить к тебе на угощение всех самых лучших людей!

Эти слова Юлиан произнес от всего сердца, но они не утешили седого ханджию: он-то лучше других знал, что еще немного — и его маленькую гостиницу совсем уберут отсюда. То, что самой жизнью обречено на уход, должно уйти, и никакие благие слова не в силах повернуть дело вспять. Таков закон.

Отец бай Сандо, дед Танас, был в свое время известным красильщиком и мыловаром. Когда это ремесло пришло в упадок, он открыл корчму и наладил при ней печь для выпечки булочек. Так что, когда дед Танас закрыл глаза, капиталец для рождения будущего «Стола и ночлега» был уже собран. Но времена тогда были таковы, что выгоднее было собирать капитал, чем открывать на него всякие булочные.

Энчане торговали вином, городок представлял собой околийский центр, и все дороги «ближнего света» проходили через его корчмы и харчевни. Само время подсказало, что на базарной площади необходима харчевня; бай Сандо услышал этот зов и на собранные дедом Танасом деньжата открыл «Стол и ночлег».

— У гостиницы была своя молодость, годы расцвета, но потом и она начала стареть, точно так же, как сам городок и его окраины, так же, как и все мы, те, кто принадлежит еще тому времени,— продолжал неторопливо рассказывать бай Сандо о житье-бытье своего «караван-сарая».— Всякий раз, как то или иное ремесло в городке приходило в упадок, появлялось что-нибудь новое, и снова мы набирали силу, но в общем и целом дела шли на убыль. Харчевня, да и все мои сверстники, были обре-

[1] Содержатель хана — харчевни.

чены на «вымирание», как говорится. Н. превратился бы в стариковский приют — место для старческих снов и воспоминаний, если бы не решили построить здесь заводы.

Начала приливать молодая, сильная кровь, и старый город возродился к новой жизни, но тем, чьи дни сочтены, уже не бегать вприпрыжку. Да и пристрастия людей меняются. Кому нынче охота ночевать на постоялом дворе, если прямо напротив стоит гранд-отель! А ежели такие люди, как вы, останавливаются и ночуют у меня, то просто из любопытства или от доброты сердечной. А может, потому, что поссорились с новой модой. И такое случается.

Расскажу тебе об одном случае, из которого ты ясно увидишь, что время бежит без оглядки и ему нет дела до тех, кто остался позади.

Жена моя умерла семь лет назад, остался сын, он пошел по торговым наукам, учился в Софии. Теперь директор филиала ЦУМа в столичном квартале «Восток». В прошлом году приезжал со своим приятелем, специально чтобы встретить Новый год в родном доме. Так уж я обрадовался, что просто не знал, куда их посадить! Может ли быть гость дороже родного чада? Чего я только не наготовил для праздничного ужина! Все перечислить целого вечера не хватит! И поросенок был с перченым ливером, и вареные кишочки, слегка обжаренные, и вяленое мясцо, и каравай хлеба, и соленья. и мелкий острый перец, слегка запеченный и заправленный уксусом и оливковым маслом!

Когда стемнело, я пошел подготовить горячее, но вижу — у них уже нет терпения. На ходу, стоя у стола, схватят то отсюда, то оттуда, выпьют по глоточку и все на часы поглядывают. И только я вынул поросенка из духовки, сын мне и говорит: «Папа, ты, если голоден, сядь поешь, а мы в отель заскочим на минутку и потом сюда вернемся!»

Меня как ножом резанули эти слова, даже ноги подкосились: если бы сердце вырвал — и то меньше бы заболело! К тем, что заживо меня погребли, к ним он хочет идти... И это мой собственный сын, добрый мой человек!

Я ни слова не сказал ему, только отвернулся, чтобы он не заметил, как больно исказилось мое лицо.

«Иди, сынок,— говорю ему,— только не задерживайтесь там, а то, если манджа[1] перегреется, потеряет вкус, ее и в рот не возьмешь...»

Я накрыл на стол и сел их ждать. Один, в новогодний вечер,— разве это порядок, чтобы человек угощал сам себя?

Да что рассказывать! Вернулись мои красавцы уже под утро. Лица довольные, веселые, сами на ногах еле держатся.

«А ты чего это не спишь! — воскликнул сын.— Мы правда хотели сразу вернуться, да нас зацапала одна компания из гранд-отеля. Знаешь, все получилось совсем постоличному, никто и предполагать не мог! А сейчас мы поздравим тебя с Новый годом!»

Они порылись в своем багаже и протянули подарки. От сына я получил лыжную шапку, шарф и рукавицы, а от его приятеля — бутылку виски. Только мне и кататься на лыжах в мои годы, а виски — это гранд-отельское пойло... Тьфу! Глаза бы мои его не видели.

Потом они поднялись в комнаты и проспали до самого обеда.

Ночью выпал снег, днем он все валил и валил, вершина Балкан стояла вся белая, как снежная королева. Они встали, посмотрели на эту красоту, запихали по полпоросенка без всякой начинки в свои рюкзаки, захватили по каравaю хлеба и взялись за лыжи.

— Пойдем в горы на прогулку,— говорит мне сын.— Ты съешь сам начинку. Я знаю еще с детства, что ты ее предпочитаешь мясу.

Уже вечером ко мне заглянул соседский мальчик, который тоже катался в горах на лыжах. Мои поручили ему передать, что решили заночевать в горной хижине «Бели мел» и чтобы я не беспокоился о них. Ну, бог с ними, разве я могу приказывать; их воля, где им спать! Я позвал к себе двух старых приятелей, выложил на стол и еду и питье и стал налегать на ракийку. Налегаю, а сам носом шмыгаю.

«Ты что это, расстроен, что ли? Что случилось?» — спрашивает один.

«Ничего,— отвечаю,— простыл немного!»

Чего объяснять? Позвал гостей веселиться, так зачем портить им настроение всякими жалобами.

---

[1] Горячее мясное блюдо.

Вот что значит время, любезные мои гости! Пролетит мимо — не рассчитывай на него, оно уже не принесет тебе добра. Так получилось и со мной, время мое ушло. И для кого я все продолжаю держать свою гостиницу — один господь знает!

Вот такими историями занимал нас бай Сандо, дорогой товарищ, а слушал ли его Юлиан Евтимов — не могу сказать. Он заказал для нас еще по полмерки вина, но, думаю, едва ли слушал старика, потому что сидел с видом человека, углубившегося в свои мысли.

Поэтому я очень удивился, когда он вдруг обратился к бай Сандо с просьбой — не сдаст ли тот ему комнату с верандой в том домике, что возле большого виноградника, у дороги. Ханджия ответил, что сдавал он всегда комнаты только в самой гостинице, но если Юлиану понравилась та комната — пожалуйста, пусть живет в ней, как самый дорогой гость, сколько душе угодно и до тех пор, пока не надоест. Там любила бывать его жена, пока жива была, но с тех пор, как умерла, он не переступал порога, да и не до того было, чтоб с балкона смотреть.

Сказав это, он вынул из ящика под прилавком связку ключей, снял с нее два из них и протянул шефу.

— Этот,— показал он,— от калитки, а бронзовый, вроде как старинный,— от входной двери. Устраивайся, мой дорогой гость, а я в воскресенье загляну на часок-другой — посмотреть, как ты устроился. И погреб тебе покажу, там у меня запрятано одно девятилетнее сокровище, хе-хе! Увидишь, что и у старого бай Сандо есть сокровище, которое не стыдно людям показать!

Мы поехали было к дому помощника Штерева, но на середине дороги Юлиан Евтимов сбавил ход и повернул назад. Добрались снова до отеля «Республика», и Юлиан остановил машину у его стеклянных дверей. Навстречу нам вышел швейцар, весь — внимание и подобострастная улыбка, но Юлиан повернулся к нему спиной и решительно зашагал в соседний с отелем цветочный магазин. В магазине он находился дольше, чем полагалось, по-моему, находиться человеку его положения. Но когда он показался в дверях, в руках у него я увидел такую охапку цветов, что мне стало даже как-то неудобно за него, а что мелькало в этот момент в голове у швейцара, даже подумать страшно. Женщина с цветами — еще куда ни шло, но мужчина... это как-то совсем непристойно, а уж для директора, как мне представляется,— нечто из ряда вон выходящее.

Но Юлиан и гроша ломаного не дал бы, чтобы узнать, что мы со швейцаром думаем по этому поводу. Левой рукой он обнимал огромный букет из тюльпанов и гладиолусов, а в правой держал букетик поменьше, составленный из гвоздик и ландышей.

Усаживаясь за руль и вытирая руки носовым платком, Юлиан сказал:

— Большой букет для Павлинки, нашей новобрачной. Поэтому я и выбрал гладиолусы и тюльпаны — свадебные цветы!

«Утром — пинком в зад, а сейчас собираешься роскошные цветы подносить?» — хотелось мне ему напомнить, но я, разумеется, промолчал. Кроме того, мне вообще не пристало совать нос в поступки начальства, я уже знал, какой у него сложный характер: никогда не предугадаешь, что он ответит и что потом с тобой сделает.

— А этот букетик — товарищ Штеревой,— продолжал Юлиан Евтимов.— Правда, я ее никогда не видел и не знаю, какая она...

— Учительница литературы в здешнем производственном училище,— поспешил я осведомить его, так как подумал, что его интересует ее профессия.

— Да нет, я не знаю, как она выглядит,— продолжал он, словно не слыша моего ответа.— Но мне почему-то кажется, что этот букетик ей подойдет. Как ты думаешь, товарищ завхоз?

— Извините, но о женах моих шефов я ничего не думаю! — я таким образом ускользнул от возможной западни, потому что хоть и выпил вина, однако ума не терял.

Дом Штеревых стоял в самом конце главной улицы. Отсюда начиналась дорога, поднимающаяся к харчевне бай Сандо, поэтому нам было удобнее вначале заглянуть к Штеревым. Я предложил Юлиану остановиться, но он решительно покачал головой:

— Сначала к виноградникам бай Сандо, а уж потом к Штеревым — смотреть комнату!

— Воля ваша,— отвечал я, хоть и считал, что мы напрасно будем делать крюк. Но жизнь меня уже научила, что со своенравным директором нельзя вступать в споры по всяким мелочам.

Надо сказать, товарищ редактор, что комнатка бай Сандо имела скос над окном, то есть была типичной мансардной комнаткой, но с ее веранды открывался прекрасный вид: как на ладони лежал перед тобой весь белый свет, до самых балканских хребтов.

Внутри комнаты и смотреть было не на что — голые лавки вдоль стены, пустой комод, разбитое зеркало. И все. Но нашего героя это нисколько не смутило, он просто не обратил внимания на ее убранство. Только и радовался без конца пейзажу, открывавшемуся с веранды. Особенно нравился ему один холм среди виноградников. Я не спросил, какие намерения связаны у него с этим местом, но можно было предположить, что чем-то оно привлекало.

Мы оставили чемоданы в комнатке и вернулись по пыльной дороге назад. Близился полдень, стало припекать, жара нагоняла на меня сон, а Юлиан Евтимов, судя по всему, был в очень хорошем расположении духа после нашего краткого пребывания в зеленом уголке бай Сандо. Минут через пятнадцать машина снова остановилась перед домом Штеревых. Это был двухэтажный дом, фасадом выходивший на дорогу, по которой мы приехали. Она пролегала сквозь виноградники, а отсюда спускалась вниз, к заводским корпусам.

Встретила нас жена товарища Штерева. Если бы он не был моим начальником, я, конечно, сделал бы ей немало комплиментов. В то время она полностью их заслуживала. Но я взял себе за правило не очень-то распространяться, когда речь заходит о женах начальников, и думаю, что это мудрое правило. Мне вполне хватает и своих забот в хозяйственном отделе, спрашивается, для чего мне еще чужие?

Она встретила нас в саду. Возле нее играла маленькая дочурка, этакий ангелочек четырех-пяти лет. Юлиан и девчушка сразу сделались приятелями, и тогда я увидел, товарищ редактор, что Юлиан просто души не чает в детях, он совсем не походил в эти минуты на солидного руководителя, да к тому же еще и инженера и ученого.

Наконец, после того, как девочка вдоволь нашалилась с нашим инженером, мать увела ее спать в детскую, а нас пригласила в гостиную, где стояло пианино. Туда она принесла холодный малиновый сок. От этого ли сока или от крепкого вина, выпитого у бай Сандо, а возможно, и от жары, но я все время впадал в дрему и потому, сдается мне, многое пропустил из той беседы, которую Мая — так звали жену Штерева — и Юлиан вели между собой.

Признаться, в какой-то момент я даже заснул, потому что они, по совсем уж непонятному для меня поводу, заговорили о книгах, а эта тема, признаться, всегда навевает на меня сон...

Я вздрогнул и проснулся от неожиданного шума. Выпрямился, покрутил головой, и в первый момент мне показалось, что я все еще продолжаю спать. Мой шеф сидит за пианино, нажимает на клавиши, наигрывает какую-то веселую мелодийку и кивает в такт головой, а девчушка скачет вокруг в ночной рубашонке, танцует и просто надрывается от смеха. А Мая?.. Она смотрит то на гостя, то на дочку, но больше на гостя — простите меня, если ошибся,— лицо ее сияет, смеется, само солнце позавидовало бы, если бы увидело ее в эту минуту!

Так я и не понял тогда, откровенно говоря, поднимались ли Юлиан Евтимов и Мая на второй этаж, чтобы осмотреть комнату, пока я спал, или же Юлиан дал согласие поселиться в их доме без всякого осмотра. А следующий его поступок был и вовсе безрассудным: Мая так мило попросила нас остаться обедать, но товарищ Евтимов отказался и не принял приглашения! А ведь время перевалило за полдень, и как раз настало время перекусить...

— Благодарю вас! — склонил он голову.

И клянусь, товарищ Протопопов, что в ту минуту, когда он ее склонил, он совсем не был похож на того человека, который только что ударял по клавишам и по-мальчишески весело кивал девочке головой. Теперь он словно всматривался в себя и не замечал никого вокруг. И вот на губах его опять появилась и тут же исчезла загадочная усмешка.

— Благодарю,— снова повторил он, глядя на Маю.— Вы так гостеприимны и приветливы, я с большим удовольствием как-нибудь пообедаю с вами!

Но и Мая была не из простых, как говорится.

— Как вам угодно,— ответила она, и с ее лица словно ветром сдуло ту солнечную, сияющую улыбку, с которой она смотрела на него несколько минут назад.

Пока ехали, Юлиан Евтимов не сказал ни слова.

Затормозив у здания дирекции, он повернулся ко мне и протянул деньги — ку-

пить самую необходимую мебель для комнатки бай Сандо. Он решил ночевать там. Постельное белье, коврик на пол и коврик на стену, салфетку на комод и обязательно вазу. И женщину надо найти, чтобы привела в порядок весь этаж.

— На сегодня хватит,— кивнул он мне. Потом немного помолчал и добавил: — А завтра купишь небольшое бюро, этажерку и два стула.— Мимолетная усмешка вновь появилась на его лице.— Я думаю, что на этом мы и покончим с моим обзаведением.

— Как прикажете! — ответил я. А так как меня буквально распирало от любопытства, я не сдержался и спросил: — А для комнаты у Штеревых ничего не хотите поручить?

Он не ответил, только сдвинул брови. Потом все же пояснил спокойно:

— Я решил снять эту комнату и буду иногда бывать там.— И тем же бесстрастным тоном продолжил: — Возьмешь холщовую сумку с книгами и отнесешь к Штеревым на второй этаж.

— Непременно! — сказал я, а про себя подумал: «Чудной человек! Погнался за ломтем, да каравай потерял! Пойди разбери его!»

Вечером новый директор пригласил на собрание весь заводской коллектив и очень строго выговаривал за опоздания. «Никому не буду прощать!» — предупредил он рабочих и инженеров. Потом на свои собственные деньги поставил всем по рюмке водки, начиная с охранника и кончая Штеревым и главным инженером Никодимовым...

Вот таким противоречивым человеком был Юлиан Евтимов, товарищ Протопопов.

Рассказ директора

Раз уж вы посланы с ответственным поручением, я, разумеется, постараюсь быть вам полезным. Прошу, пожалуйста, присаживайтесь! Соблаговолите чашечку кофе? Нет-нет, не отказывайтесь! Кофе, которым я угощаю своих гостей, особенный — марки «Экстраквалите», то есть директорский! Вы же не думаете, что директору торгового отдела рискнут подавать кофе марки «Какое есть»! ...Хе-хе! Садитесь, прошу вас, я, сей момент, позвоню секретарше, не стесняйтесь!

Та-а-к, товарищ редактор! Все должно идти по порядку: сначала кофеек, потом беседа, а потом уже и заметочка. Если это необходимо, конечно... пардон! Вы, разумеется, не ради заметки, но так уж водится... Так вот, я о порядке начал... Порядок — это самое гениальное открытие рода человеческого, товарищ редактор. В моем воображении порядок — это некто в лампасах, с серебряными эполетами и с крепким воловьим кнутом в руке. Того, кто идет не в ногу,— по шее! Всяк сверчок знай свой шесток! И никому не приходит в голову перечить начальству. Именно таким должен быть порядок: с лампасами, в серебряных эполетах и с кнутом... Знаете, что я думаю о порядке, когда исхожу из своего собственного многолетнего опыта? Пока нам принесут кофе, я изложу вам свое понимание этого очень важного вопроса. Прежде всего два тезиса. Первый: «Всяк сверчок...», второй: «Уважайте начальство, товарищи!» Прав я? А-а, подождите! Может быть, я и не принадлежу к когорте интеллектуалов, но житейский опыт научил меня мудрости. Скажу также, дорогой товарищ, что, если наша прекрасная жизнь начинает хромать там, где хромать ей не положено, то это только потому, что люди не блюдут эти две святые заповеди и живут так, как им заблагорассудится. Что я имею в виду? Объясню на примере.

В гранд-отеле «Республика» есть банкетный зал на пятьдесят душ. Зал крайне необходимый! Приедет, скажем, гость — самого высокого ранга, где встретить его хлебом-солью, как этого требует народный обычай? Конечно же, в этом зале! Закончится, к примеру, отчетно-выборная конференция — где поздравить новоизбранное бюро, где провозгласить здравицу в честь предстоящих успехов? Опять же в этом банкетном зале. Так что я одобряю наличие этого зала. Он вызван к жизни насущной необходимостью.

Рядом с этим залом есть другой, малый, совсем интимный, можно сказать,— на пять-шесть столиков. Если в среднем по четыре человека на столик, то в зале собирается всего двадцать — тридцать посетителей. Такой цифрой исчисляются сливки энского общества. Это первый секретарь, мэр, начальник гарнизона, директора заводов республиканского значения ЗПЦМ и ЗПК — завода промышленной керамики. Естественно, с их супругами. К этой высокой элите следует добавить еще двух-трех человек: председателя горсовета, судью, секретаря городского комитета

БЗНС[1], и счет можно закрыть. Никто из простых смертных не имеет права приблизиться к этому камерному залу. Людям необходимо в спокойной обстановке обсудить общественные и государственные дела. В гранд-отеле есть и зал для людей высокого, но не элитарного уровня. Это директора торговых организаций и снабжения, кооперации, Народного банка и так далее — одним словом, люди, которые непосредственно заправляют всеми делами города Н. В этом зале, товарищ редактор, десять столиков. Мест достаточно, но только теоретически. На практике же возникает сутолока, потому что каждый, кто сунет десятку швейцару, может найти себе там место, и даже на выбор.

Я, скажем, директор квартального овощного магазина. Морковь, капуста, салат и прочее. Образование начальное, но вполне достаточное, чтобы уметь получать прибыль от продажи салата второго сорта как первого. Ну, и тому подобное. И вот я накопил деньжат, и меня просто распирает от желания показать себя миру. Директорам, например. Или разным высшим чиновникам, руководителям, журналистам. Я чихать хотел на их чины и посты, которые они занимают,— у меня деньги, и я хочу кейфовать как умею и как мне желается!

Сую, стало быть, десятку швейцару и торжественно предстаю со своей мадам перед избранным обществом. И так как никто не учил меня деликатности, нажираюсь так, как велит мать-природа, щиплю свою мадаму под столиком и в довершение всего начинаю орать во всю глотку старый турецкий шлягер.

Вот, товарищ редактор, что значит, когда сверчок соскакивает со своего шестка, а низшие чины закрывают глаза на распоряжения дирекции ради одной сунутой в руку десятки!

Человек не может спокойно проглотить порцию кебапче[2] в этом салоне для «избранных» из-за наплыва подобных «сверчков», забывших про «свой шесток». Вот если бы на страже стояли те, что с лампасами, двойными эполетами и воловьим кнутом, о таких «перескакиваниях» на чужие шестки и речи быть не могло бы. Вы слушайте меня внимательно, товарищ редактор, я знаю, что говорю!

О-о, вот наконец и кофе подано. Браво! Вот это я называю кофе! Двух чашечек достаточно, чтобы в кабинете запахло ароматом настоящего кофе, суперкласса! И воздух сразу становится другой.

Итак, я говорил о порядке. Если бы каждый сверчок знал свой шесток и все бы уважали начальство, в жизни всегда был бы истинный порядок. Я, например, знаете, с чего начинал? С парфюмерного прилавка. Мыло, одеколон, дезодоранты. Но беспрекословно соблюдал оба вышеозначенных правила: знал свой шесток, слушался начальства и.. сами видите, чего добился. Господь бог добр — может, и еще выше поднимусь!

Вы, наверное, догадались уже, что я толкую об этих вещах неспроста, а с оглядкой на задачу, выполнить которую вы посланы уважаемым журналом: вам необходимо составить представление о моральном облике Юлиана Евтимова, бывшего директора ЗПЦМ.

Нравится кофе? Приятного аппетита, товарищ редактор, я рад. Всегда приятно, когда клиенты довольны.

Страшно не хочется вас разочаровывать, но ничего не поделаешь! Скорблю, поверьте, что не услышите от меня доброго слова о вашем ЮЛИАНЕ! Если вы ожидали, что я буду расхваливать этого человека, то сильно ошибались. Очень сожалею, но как ответственное лицо и как человек со здравыми жизненными принципами, я не имею права кривить душой.

Знаю, и это отлично мне известно — он был хорошим администратором. Имел даже правительственную награду — Золотой орден труда. Это все чудесно, но насколько я понимаю, вы пришли ко мне, чтобы услышать о нем не как об администраторе, а как о человеке. Так ведь? Ну, раз так, то слушайте и делайте свои заметки. В уме или в блокноте — так, как вы привыкли. Я, когда хожу на заседание к первому секретарю, все записываю в толстую тетрадь с красной обложкой. Это документ пригодится в будущем. Да и просто из уважения к первому...

Юлиан Евтимов был личностью неуравновешенной, подверженной авантюризму и склонной к анархизму. Короче говоря, он не был человеком ПРАВИЛЬНЫМ. Правильный человек одинаково чужд авантюризму, анархизму и любым иным откло-

---

[1] Болгарский земледельческий народный союз.

[2] Котлетки из рубленого мяса с приправами, печенные на мангале.

нениям от общепринятых правил поведения. Он уважает законы, которые писаны, но снимает шапку и перед неписаными.

Я приведу несколько примеров, и вы поймете, о чем речь.

Уже в день приезда в Н. Юлиан Евтимов идет ужинать и остается ночевать не в новом отеле-люкс «Республика», как это положено ответственным лицам его ранга, а на древнем постоялом дворе «Стол и ночлег», принадлежащем тому далекому времени, когда, например, песенка «Запах гвоздики» была самым модным шлягером. Харчевню эту только и посещали, что старики, близорукие или охромевшие охотники да кое-кто из подозрительных любителей той водки, что обжигает глотку, как серная кислота. Слава богу, три года назад снесли наконец эту рухлядь. Сейчас на том месте вырастает центральный универмаг.

Предположим, что в тот вечер, о котором я начал разговор, Юлиан Евтимов платил дань своим юношеским воспоминаниям и что он еще не знал о тогдашней, уже предрешенной судьбе пресловутой гостиницы, но, любезный мой, знаете ли вы, сколько усилий этот именитый гражданин положил впоследствии на то, чтобы сохранить «для будущих поколений» сие допотопное заведение? И его милость уже было преуспела в этом деле, истинное слово, но в окружном городе нашлись трезвомыслящие люди, занимающие ответственные должности. Они-то прекрасно отдавали себе отчет в том, что представляет собой этот так называемый постоялый двор.

Вот я вас и спрашиваю: для чего он спасал эту древность, на что это все похоже? Кому нужны эти амбиции?.. И за подобное старье горой стоит не кто-нибудь, а директор завода РЕСПУБЛИКАНСКОГО масштаба? Извините, но подобное поведение я нахожу недостойным для человека его ранга!

Прошу прощения за нескромный вопрос, товарищ редактор: сколько у вас квартир? Я имею в виду не виллу, если у вас есть такая, а именно КВАРТИРУ... Одна? Так я и предполагал. И у меня только одна квартира, и я в ней живу. Прекрасно. А наш герой держал ДВЕ квартиры! Удивляетесь? И это при том, что он был холостяк, что у него не было ни ребенка, ни котенка, как говорится. Но держал он две квартиры. Для чего, спрашивается?

Так вот — это дело выглядит еще более странным, если принять во внимание местоположение квартир и их владельцев. Прежде всего, Юлиан снял меблированную комнату в доме своего помощника, инженера Штерева — человека семейного, имеющего хорошенькую жену, учительницу, и дочку пяти лет. Потом Юлиан устроился на даче... у кого, вы думаете? А? Ни за что не угадаете, товарищ редактор: у того самого, что владел харчевней для старых выпивох... Недаром говорят: «Два сапога — пара»!

Обе эти квартиры находились одна от другой на расстоянии километров двух и выходили на ОДНУ И ТУ ЖЕ дорогу, ту самую, что и сегодня ведет из города к ЗПЦМ. Согласно сведениям, которые время от времени достигали моих ушей, Юлиан Евтимов проводил большую часть свободного времени на даче, но ЗАСКАКИВАЛ иногда и в меблированную комнату к Штеревым. Штерева же, в свою очередь, тоже иногда заглядывала к нему со своей дочкой — видимо, по той причине, что дача, окруженная со всех сторон виноградником и фруктовыми деревьями, представляла собой приятное место для прогулок в хорошую погоду...

Я ничего не хочу этим сказать, товарищ редактор, абсолютно ничего! Только обратите внимание на следующее обстоятельство: нормальный человек, придерживающийся каких-то правил и к тому же занимающий ответственный пост, не стал бы, не имея на то никаких веских причин, снимать ПУБЛИЧНО ДВА помещения. Такой человек уважает мораль и не компрометирует публично ее законов. Но, как я уже говорил, Юлиану Евтимову плевать было на какую бы то ни было мораль.

Расскажу еще об одном случае, самом, пожалуй, показательном.

В тот год, когда Юлиан Евтимов принял дела на заводе, осень выдалась слякотная. После жаркого и сухого лета наступило невиданное ненастье. Небо совсем затянуло тучами, пошли дожди. Лило и днем и ночью, не переставая. Поля и сады насквозь пропитались водой, к зданиям завода невозможно было ни подойти, ни подъехать. Помещения складов зияли пустотой — договоры превратились в формальные бумажки. Каждый день начинался с ругани: все требовали, угрожали, а где мне было взять продукты? Мы кое-как еще поддерживали рестораны гранд-отеля — а вдруг официальный обед или гость именитый какой-нибудь? Мы же не можем ударить лицом в грязь. А публика напирает, требует — скандал за скандалом! Хо-

рошо еще, что директор отеля подобрал крепких парней в персонал, с ними мы еще кое-как наводили порядок. В общем, с продовольствием попали мы в затруднительнейшее положение. Взять, к примеру, тот же ЗПЦМ. Вместо того чтобы доставить ему, как положено по договору, 100 килограммов брынзы, мы посылаем 30, вместо 100 килограммов мяса — 10, и так далее — в том же духе. Овощей, разумеется, никаких. Даже лука, и того не хватило в конце концов! А рабочие из ЗПЦМ жили так гнусно — дальше некуда: дощатые бараки, холод, сырость. И неудивительно, что у них в животе урчало от ежедневного капустного супа. А тут еще взяли и прикрепили к этой столовой рабочих, что строили их же будущие общежития. Получилось так, что капустный суп стал еще прозрачнее и подавался все реже. А что мне оставалось делать?

И вот однажды утром приезжает ко мне САМ — известный во всем энском крае Юлиан Евтимов.

— Шеф по снабжению? — Он прелюбезно улыбнулся мне и даже поклонился, но на губах его появилась здакая тонкая усмешечка. Правда, она тут же исчезла, словно ее и не было.— Шеф по снабжению,— повторил он твердо, а его глаза заволокло туманом,— если в течение трех дней ты не выполнишь поставок, строители разбегутся! За ними, возможно, последуют и монтажники. Твой проклятый капустный суп у них вот где! — Он провел рукой по горлу.

— Товарищ,— отвечаю с уважением в голосе,— из ближайшей поставки, которую мы вот-вот ожидаем, я непременно выделю вам все, что смогу!

— Ой ли? — отвечает Евтимов, и та же дьявольская усмешка снова мелькает у него на губах.— Когда же вы ожидаете эту ближайшую поставку?

Я дрогнул. То ли от этой усмешки, то ли под взглядом угрожающе потемневших глаз, бог знает.

— Своевременнейшим образом сообщу вам! Как только меня поставят в известность, моментально позвоню вам по телефону!

Он ушел, и я облегченно вздохнул. Вытираю платком лоб, а сам думаю: «А ведь из следующей поставки надо в первую очередь выделить для гранд-отеля. Партийный секретарь выдает замуж дочку, заказал ужин на сто пятьдесят человек! Такое событие требует особых продуктов — не будешь же угощать гостей на свадьбе капустным супом!»

В абсолютной тайне держу день и час прибытия продуктов на станцию. Пробираюсь туда окольным путем. До самой середины дороги даже шоферы грузовиков не ведают, куда мы направляемся!.. Наконец, подъехали к товарной платформе, и вот — подходит поезд. В тот же момент оборачивается ко мне какой-то мужчина, изысканно одетый, приподнимает шляпу и любезно здоровается со мной. Юлиан Евтимов! С ним дюжина добрых молодцев в синих блузах, презрительно меня оглядывающих. Я понимаю, что меня предали, и ноги у меня буквально подкашиваются...

Тут же появляются откуда-то весы, составляется комиссия по приемке: начальник вокзала, его помощник и кассир. От каждого выгруженного товара молодцы Евтимова отмеряют ровно столько, сколько положено по договору. Когда очередь дошла до поросят — их было шесть по счету, и предназначены они были для свадьбы в гранд-отеле,— сердце мое не выдержало, и я бросился в телеграфную довести все до сведения властей. Искать помощи и содействия. Телеграфист — он и всегда-то волком глядел — тут встретил меня просто в штыки.

— Вы что думаете,— кричит,— тут вам переговорная будка? Это служебный телефон! Не положено!

И тогда я спросил себя: «Как мог авантюрист Евтимов завоевать симпатии этих прожженных негодяев со станции? Как?»

Я ожидал, что первый секретарь в пух и прах разделает Юлиана Евтимова, за его недопустимые действия, но, к моему удивлению, на пленуме городского комитета он произнес много хвалебных слов в его адрес.

— Эти меры,— подчеркнул он,— помогли Юлиану Евтимову задержать на стройке рабочих, и они перевыполнили встречные планы. У нас есть основания доложить наверх, что ЗПЦМ, вопреки прогнозам, выдержит пусковые сроки!

После заседания пленума, в тесном кругу друзей, первый секретарь сказал: «Земляки — все равно что братья. Мы с отцом Юлиана воевали в одном партизан-

ском отряде. Славный он человек, но имелся у него маленький недостаток: когда надо было спасать положение, все брал на свою ответственность, сам шел на риск!»

Ну, а в конце концов, товарищ редактор, надо прямо сказать: хоть и отсутствовали на свадебном столе настоящие поросята, сама свадьба прошла весело. И большая заслуга в этом принадлежит... Юлиану Евтимову. К каким только фокусам не прибегал он, чтобы замазать свой некрасивый поступок! Он пришел раньше и собственными руками смастерил — и очень искусно... трех поросят... из фасолевой каши и картофеля. Я так и не понял почему, но оба эти фальшивых поросенка имели на свадьбе огромный успех!

Он привел с собой самодеятельный оркестр с ЗПЦМ. И что сделал? Схватил половник, встал перед оркестром и начал дирижировать, когда заиграли венский вальс, и так здорово, совсем как профессиональный дирижер...

И это все делал директор завода, представьте себе! И не какого-нибудь, а завода РЕСПУБЛИКАНСКОГО значения!

И после этого вы хотите услышать от меня добрые слова об этом оригинале? Никогда! У каждого свои принципы! С меня довольно!

Рассказ инженера

В отличие от моих коллег, к которым судьба была благосклонна еще до того, как они родились, я, Боян Спиров, происхожу не из зажиточной семьи, и фамилия моя ни на кого не произведет должного впечатления. Именно в силу этих причин я своевременно осознал, что только с помощью собственных усилий смогу преуспеть в жизни, а что касается комфорта и удовольствий, то здесь я должен ограничить свои претензии, по крайней мере, до тех пор, пока не поднимусь достаточно высоко по служебной лестнице. Вот почему к тому моменту, когда Юлиан Евтимов принял управление заводом, я, исключительно благодаря собственным стараниям, руководил монтажным узлом. Да, Юлиан Евтимов застал меня уже в должности начальника! У меня уже были «Жигули», черный костюм, лакированные ботинки и некоторая сумма на сберегательной книжке. А знаете, сколько мне было в это время? Тридцать один! В этом возрасте многие инженеры только-только начинают; машины покупают на отцовские сбережения, а их личный вклад не превышает ничтожной трехзначной цифры.

Любой молодой человек, сколько бы он ни старался, обычно медленно продвигается по службе и с трудом карабкается наверх, если у него нет своего человека в управлении. Ведь необходимо, чтобы кто-то указал на него, подчеркнул его успехи и прилежание, вовремя похвалил, чтобы главный имел его в виду в тот момент, когда встанет вопрос о повышении. Не поймите меня неправильно. Я не пессимист и не хочу сказать, что способный молодой инженер засидится на месте, если у него нет протекции. Трудолюбие всегда вознаграждается в конечном счете. Но совсем другое дело, когда у молодого инженера есть наверху свой человек; тогда продвижение по службе происходит быстрее, сроки сокращаются.

В самом начале, когда я пришел на завод, у меня не было знакомств в руководящих сферах и, значит, надо было их приобретать. Признаюсь, мне очень помог случай. Что скрывать — я искал его, но он представился нежданно-негаданно, как говорится, и к тому же не к чему было придраться.

Однажды я медленно ехал в своих «Жигулях» по главной улице и вдруг заметил справа, на тротуаре, супругу заместителя директора Штерева Маю. Как она выглядит сейчас, не знаю: они уже давно покинули Н., но тогда у нее была прекрасная фигура. Это вообще была русоволосая светлоглазая красавица, каких редко встретишь.

Уточняю. До этого часа я был знаком со Штеревым только официально, но об их жизни уже кое-что знал. Штерев, как я уже сказал, был заместителем директора ЗПЦМ, а Мая преподавала литературу в профучилище. Несмотря на две зарплаты, семья их жила достаточно стесненно. Они выплачивали взнос за квартиру, Мая помогала сестре-студентке в Софии, приходилось держать няню, так как дочка часто болела и ее не решались отдавать в детский сад. Машину они не успели приобрести, и потому все, что Мая покупала в магазинах или на базаре, она тащила домой сама.

И вот, обогнав ее на несколько метров, я остановился, выскочил из машины, учтиво поклонился и сказал:

— Пожалуйста, товарищ Штерева, прошу, мне будет очень приятно вас подвезти — я еду в том же направлении!

То ли потому, что я был подчиненным ее мужа, то ли я сам произвел на нее хорошее впечатление — был молод, строен и обходителен,— в первый момент она несколько смутилась, но только в первый момент. Потом улыбнулась и сказала:

— Вы очень любезны, товарищ Спиров, спасибо! — И с готовностью протянула мне две переполненные хозяйственные сумки.

Езды до их дома, который стоял на заводском шоссе, было всего-то минут десять, и я торопливо искал повода для беседы: она должна понять, что перед ней остроумный и интеллигентный человек. Так, впрочем, поступил бы любой молодой человек при встрече с супругой своего начальника. Кроме того, она была хороша собой и, наверное, добродетельна, а этого было достаточно, чтобы мне захотелось блеснуть умом и показать себя в самом выгодном свете.

— Завидую я вам, товарищ Штерева,— сказал я наконец,— что вы из этого чудесного города! Через десяток лет он будет походить на маленький Париж! Бульвар Трех Партизан, по которому мы сейчас едем, будет конкурировать с самими Шанз-Элизе!

— Вы, наверное, были в Париже? — спросила она.

Я не смог уловить по ее интонации, поверила ли она в то, что я был там, но решил: мне только на пользу пойдет, если я немножечко солгу.

— Разумеется! — ответил я.— Я прожил две-три недели в этом современном Вавилоне.

Она быстро взглянула на меня — то ли удивленно, то ли с любопытством, одному богу известно, и замолчала. Но я был убежден, что вырос в ее глазах по крайней мере на голову. Две-три недели в Париже — это значит вино и женщины, Фоли-Бержер и прочее... Все это, несомненно, делает мужчину привлекательным в глазах скромной провинциалки.

Я помог Мае донести сумки до калитки, и, прощаясь, очень галантно поцеловал ей руку, и посмотрел прямо в глаза. Несмотря на то что Мая всегда казалась очень самонадеянной — все-таки жена замдиректора,— сейчас она слегка покраснела: у мужчин Н. все еще не вошло в обычай целовать дамам ручки.

Вечером, за пять минут до окончания смены, заместитель Штерев вызвал меня по телефону к себе в кабинет. Пока я пересекал двор, тщательно проанализировал свое поведение — не переборщил ли где. Все как будто правильно, но на душе у меня было неспокойно. Штерев, конечно, мягок от природы, но ведь ревность может и самого смирного превратить в зверя.

Опасения мои оказались напрасными.

— Вы, товарищ Спиров, сегодня утром помогли моей жене, даже до самого дома ее довезли,— сказал он.— Мне особенно приятно поблагодарить вас от ее и от своего имени! — Он протянул мне руку и от всего сердца пожал мою, несколько раз тряхнув ее.— Мы искренне тронуты вашей любезностью.

Я ответил, прижав руку к груди:

— Ну что вы, товарищ заместитель директора, не заставляйте меня краснеть! Я не сделал ничего особенного и двух километров не подвез вашу уважаемую супругу!

— Благодарность измеряется не километрами, а проявленной вами чуткостью, дорогой мой!

Он дружески похлопал меня по плечу и предложил сесть на единственный в кабинете мягкий стул.

К этому времени, а это было за пять месяцев до приезда Юлиана, мы лишь наполовину выполнили план монтажных работ, поэтому было еще не до убранства кабинетов. Рабочие жили в дощатых бараках; в подобных же бараках, но поменьше помещались кабинеты заводского руководства, канцелярии. Одним словом, мы жили и работали во «фронтовой обстановке», как выразился позднее новый директор. В дирекции пахло свежей сосной, как в столярной мастерской. Здесь разрабатывались проекты будущих общежитий, столовых и административных зданий — из бетона и стекла.

— Вы оказываете мне большую честь! — поклонился я и скромно сел на обычный жесткий стул.— На такую роскошь,— я кивнул в сторону мягкого стула,— садят-

ся инженеры более высоких чинов, начальники, а я лишь самый обыкновенный винтик.

— Ну-ну, и вы станете в один прекрасный день начальником! — добродушно рассмеялся Штерев.— Все еще впереди. Будьте оптимистом! — Он отворил внутреннюю дверь, отделявшую его кабинет от соседнего.— Яначкова! — позвал он секретаршу.— Будь добра, поставь снова джезве — у меня гость!

Потом он заговорил о моей специальности, расспрашивал о семье, чтобы как-то поддержать беседу. Когда секретарша Яначкова наконец принесла кофе, он кивком пригласил меня следовать его примеру, отпил глоток и сказал:

— Должен признаться, что я уже запросил сведения о вас у главного инженера Никодимова. Интересовался, в каком секторе вы работаете и справляетесь ли со своими обязанностями. Вы знаете, что за инженерный корпус на заводе отвечает товарищ Никодимов.

— Товарищ Никодимов? — притворился я удивленным.— Для этого строгого и взыскательного человека я, должно быть, всего лишь круглый ноль!

— Ну-ну, вы уж слишком недооцениваете себя,— улыбнулся мне тепло и чуть грустно Штерев.

Что касается частой нотки грусти, появлявшейся в его голосе, то я объясняю ее физическим изъяном — он был сутуловат, не так уж сильно, но все же. Для человека, у которого жена — красавица, такой недостаток был истинным несчастьем, и я отлично это понимал. Но какой дьявол заставлял его жениться на ней? Ему бы больше подошла скромная телочка, а Мая — это даже не львица, а скорее царственная серна, дивное творение природы. Для того чтобы смягчить бросающийся в глаза физический недостаток, Штерев придал себе благообразный вид, причем довольно оригинальным способом: он старался походить на «божьего человека» — со своей бородкой, как у пророка, висящими усами и втянутыми щеками, форму которых ему, разумеется, удавалось поддерживать не без помощи модной диеты. Скажу прямо — такие мужчины не пробуждали сострадания в моей душе, напротив! Но тогда я понимал, что должен быть очень осторожным, ибо, каким бы он ни был, от этого бородатого козла зависело мое будущее.

— Товарищ Никодимов, наверное, и физиономии-то моей не припомнит,— продолжал я с печалью на лице.— Нас, обыкновенных рядовых инженеров, более дюжины!

— Он обязан знать каждого! — возразил Штерев.— Я даже убежден, что он неплохо изучил всех вас.

— Сомневаюсь,— ответил я.

— Нехорошо. Вы его обижаете. Лично вас, например, он помнит отлично. У него сложилось о вас доброе мнение. Он считает вас дисциплинированным и трудолюбивым специалистом.

Я потупился.

— Он высоко ценит вас как специалиста,— продолжал Штерев,— а мне приятно, что вы чуткий человек. Очень приятно. Потому что специалистов встречается много, но человеческие качества, знаете...

— Есть, конечно, всякие,— поддержал я его.— Мир пестр, главное, чтобы каждый делал свое дело.

— На первом месте долг! — Штерев поднял указательный палец.— Долг жить достойно. Вот что самое главное. Кто живет достойно, тот и работает добросовестно. Есть, конечно, люди, которые работают вполне добросовестно, становятся передовиками, перевыполняют планы, но живут недостойно. Их порабощает сребролюбие, они предаются порокам...

«Смотрите, какой праведник! — сказал я себе.— Вздумал мне мораль читать!»

— Согласен,— произнес я вслух.— Надо достойно жить и достойно трудиться.

— Достойный труд есть следствие достойной жизни. Да, ее СЛЕДСТВИЕ! — подчеркнул Штерев.— Одно дело — закон, другое — следствие, и не ставьте знак равенства между ними, друг мой! Надо достойно жить, чтобы добросовестно работать! Вот в чем истина.

В его иконообразном облике и проповеднических речах было нечто поповское, и я невольно рассмеялся.

— Вы не согласны со мной, товарищ Спиров? — спросил он удивленно.

— О чем вы говорите! — возразил я.— Как можно не согласиться? Напротив!

— Вы добрый человек, и было бы неправильно, просто ненормально было бы, если бы вы думали иначе. Но есть люди, которые не разделяют моих принципов. Никодимов, например, не согласен со мной!

— Как это возможно? — делаю я удивленное лицо.

— Он считает, что мы отстаем потому, что не умеем работать х о р о ш о, а я утверждаю, что мы отстаем потому, что не умеем работать д о с т о й н о. А это разные вещи. Принципиально разные вещи! — стукнул он костяшкой пальца по столу.— Его точка зрения проистекает из убеждения, что главное в трудовом процессе — умение и ловкость, а я говорю, что главное в трудовом процессе — сознательность. Если есть сознательность, ловкость и умение дадут свои плоды. Нет сознательности — дело не идет, хотя рабочий и ловок, и отлично знает свою профессию.

— Пусть Никодимов думает как хочет! — сказал я.— Это его дело.

— Возьмем, например, наше отставание,— продолжал Штерев свою мысль.— Сейчас это самый важный вопрос, который волнует и нас и министерство. Необходимо выяснить, что, в сущности, тормозит нашу работу. Никодимов считает, что техническая подготовка монтажников не соответствует нынешнему уровню производства. Оказался недостаточно строгим и директор. А я думаю: если человек имеет чувство собственного достоинства, он работает как надо, он честен по отношению к другим и выполняет свою задачу без страха перед штрафами и другими взысканиями. К сожалению, многие из наших людей лишены чувства собственного достоинства, поэтому работают как придется, без необходимой ответственности.

— Мне кажется,— вставил я наконец,— и подготовка и сознательность должны всегда идти рука об руку!

— В принципе это так, вы правы, но в конкретном случае? — Он наклонился ко мне.— В конкретном случае, что сильнее хромает, по-вашему?

Я сидел и все больше злился на него за то, что он давит на мое мнение. Зачем ему нужно, чтобы я принял его сторону, черт его подери? Пусть в Управлении ломают голову, мне-то зачем влезать в это дело?

— Я об этом не думал,— увернулся я.— Готового ответа у меня пока нет. Но берусь понаблюдать за работой коллектива, продумаю свое поведение и через некоторое время, возможно, смогу сделать толковое заключение. И, если вы окажете мне честь побеседовать со мной еще раз, то я с удовольствием поделюсь с вами тем, что думаю по этому поводу.

У меня было чувство, что я «вышел из окружения», и мысленно я потер руки. Удастся ли выскользнуть невредимым? Попробуем!

— Вы мне нравитесь,— сказал Штерев, и на лице его появилось выражение откровенного удовольствия.

А я про себя подумал: если он вот так недвусмысленно выражает свое мнение по самым важным и жгучим вопросам, то не создает ли тем самым излишние для себя затруднения, не вступает ли в опасные конфликты с такими влиятельными и авторитетными лицами, как, например, Никодимов?

— Вы честный и откровенный человек! — продолжал между тем Штерев.— Я уважаю честные мнения, даже когда они не совпадают с моими. С Никодимовым я не согласен по многим вопросам, но я его уважаю, потому что он не скрывает своих мыслей. Вы честно признались, что не задумывались над причинами нашего отставания. Браво! Необходимо душевное благородство, чтобы признаться в собственном грехе. Вам присуще такое благородство! Это сразу бросается в глаза, ибо в наше время вряд ли вы найдете руководителя, который не выдавал бы себя за святого.

«Крутишь, братец, крутишь,— подумал я.— У тебя острый ум, но характер мягкий, поэтому ты предпочитаешь умствовать, обходишь опасные повороты с помощью философствований, вместо того чтобы бороться. Поэтому тебе все с рук сходит!»

— Вы оглядитесь, проанализируйте, изучите,— продолжал поучать Штерев.— И когда придете к какому-нибудь выводу, сообщите мне свое мнение. Вы добрый и прямой человек, и мне будет приятно встретиться с вами!

— Благодарю за внимание!— поклонился я учтиво, а про себя подумал: «Едва ли я до такой степени праведник, как ты себе представляешь».

Этот памятный в моей жизни день завершился счастливым событием — я был приглашен к Штеревым на ужин. Когда мы со Штеревым распространялись на тему о честности и откровенности как высшем проявлении благородного человеческого

духа, по телефону позвонила Мая. Что она намеревалась сказать супругу, не знаю, но уже в начале диалога разговор завертелся вокруг моей скромной особы.

Штерев сказал Мае:

— А ты знаешь, что тот любезный молодой инженер, который подвез тебя сегодня утром, находится сейчас в моем кабинете?

На поставленный таким образом вопрос Мая, очевидно, ответила тоже вопросом: «Неужели?» — потому что Штерев тут же подтвердил мое присутствие в кабинете категоричным: «Именно так!»

И поскольку женщины обладают врожденной способностью пользоваться обстоятельствами, Мая, наверное, сказала мужу: «А почему бы тебе не пригласить его к нам?» Судя по всему, именно это она и сказала, потому что Штерев незамедлительно ответил: «А это идея! Непременно приглашу».

Штерев пригласил меня на ужин, и я с благодарностью согласился. Кто из подчиненных при сходных обстоятельствах отказывал своему шефу? И зачем? И в конце концов, разве третье лицо — его супруга — провинилось в чем-нибудь, чтобы огорчать ее отказом?

Несмотря на то что мне не было предложено разносолов, я вспоминаю тот вечер с добрыми чувствами: без особых усилий я стал другом семьи Штеревых. Весь вопрос состоял в том, чтобы вовремя сориентироваться. Маленькая Соня не отходила от «дяди», который играл с ней. Видно было, что домашние уделяли ей не очень-то много внимания. Я был волком, изображал медведя, бегал на четвереньках по гостиной — вообще я проделывал фортели, какие ее отцу не могли и во сне присниться. Да и удобно ли было человеку с обликом пророка Иеремии прыгать на четвереньках по гостиной, щелкать зубами и свирепо рычать, как медведь? Малышка так развеселилась, что, когда пришло время ложиться спать, ее, плачущую, еле оторвали от меня и увели силой. Я очень хорошо заметил, каким теплом и благодарностью были полны глаза Маи. Передо мной открывалось широкое поле импровизаций в стиле Красной Шапочки, и я был благодарен судьбе, что она давала мне возможность проявить свои актерские способности.

На моей улице начинался праздник. Заместитель директора Штерев нуждался в друге, который слушал бы его тирады о «добре», с которым можно было бы посоветоваться, например, по вопросу о том, не уронит ли он свой престиж, если сдаст верхнюю комнату, и который бы вечно проигрывал решающую шахматную партию. Мая — та тоже нуждалась в том, чтобы кто-то отвлекал ее мужа: тогда, оставшись одна, она садилась за пианино или стояла у окна, рассеянно глядя в ночное небо. Я терпеливо выслушивал тирады замдиректора, советовал сдать комнату, добровольно проигрывал, при этом понимающе и доверительно улыбаясь Мае.

Через две недели я получил свою первую командирскую нашивку — меня возвели в чин начальника технологического узла. Я начал свой победный марш.

Вначале они приглашали меня — Мая и Штерев, а потом между нами установилось молчаливое согласие: я стал приходить к ним без специального приглашения. Чтобы доказать свою благодарность, я забавлял Соню, ползал на четвереньках по ковру, без всяких угрызений совести проигрывал в шахматы, только чтобы вызвать выражение счастья на лице Штерева. А Мае я продолжал улыбаться — понимающе и, разумеется, как можно неопределеннее. Я слышал от знатоков по части любви, что такого рода неопределенность повергает в смущение романтически настроенных молодых жен, к каковым, по моему мнению, принадлежала и Мая. Я считал, что Мая романтична не без оснований — на пианино она исполняла в основном классику: сонаты, ноктюрны; ни разу я не слыхал, чтобы она играла что-нибудь более легкое, например что-нибудь веселое, эстрадное.

Общаясь с ними близко в течение нескольких месяцев, я имел возможность наблюдать за их жизнью и составить мнение о некоторых вещах. Так, например, сильное впечатление произвело на меня то обстоятельство, что Штерев, уравновешенный человек тридцати восьми лет, инженер, заместитель директора крупного завода, проявляет такие сентиментальные чувства к жене, которые скорее были бы впору молодожену или, скажем, какому-нибудь студентику с поэтическими наклонностями.

Я своими глазами видел, как он приносил ей цветы, за которыми ходил чуть ли не в центр города. Господи, смешно и в то же время грустно было смотреть, как

этот сутуловатый человек с лицом святого, словно сошедший со страниц Библии, шагает по центральной улице с букетом цветов, точно какой-нибудь прожженный донжуан, ничуть при этом не интересуясь мнением окружающих. Не полагается, черт возьми, заместителю директора крупного завода появляться на центральной улице города, прижав к груди букет цветов, да еще обернутый в сверкающую фольгу! Но мало того, что он покупал ей цветы,— он еще нередко приятно удивлял ее серебряным браслетом или ожерельем. Недорогими, правда, подарками, но все же приобретались они не за так! Не понимаю я его: сдавать комнату ради денег и тут же бросать их на ветер — на всякие там побрякушки!

Невероятно, но факт: этот человек был влюблен в свою жену! Заместитель директора ЗПЦМ! Эти чокнутые мужья предпочитают сидеть возле юбки жены, вместо того чтобы ходить в гости или пить виски в баре гранд-отеля.

Мая относилась ко всему этому более нормально — шесть лет супружества сделали свое дело. Она держалась ровно, без капризов и зазнайства и проявляла, по моим наблюдениям, полное равнодушие к ухаживаниям своего мужа. И даже более того, мне казалось, что они уже сидят у нее в печенках. И не было бы ничего странного, если бы она искала развлечений вне дома, но я не замечал, чтобы она делала нечто подобное. Может быть, она примирилась со многими вещами, ранее вызывавшими у нее досаду? Но в это невозможно было поверить — ей было двадцать семь лет — возраст, когда меньше всего думают о смирении. Может быть, ее сковывала профессия учителя? И это предположение выглядело надуманным, ибо учительницы сегодня могли делать что угодно, идти куда пожелают — короче, имели полную свободу. Но Мая, по крайней мере до определенного времени, не искала развлечений на стороне. Со мной она держалась все еще «нейтрально», то есть можно сказать — ни «да», ни «нет». В общем, для меня все было полно неясностей.

В этой загадочной обстановке, если мне случалось поймать ее взгляд, я неопределенно улыбался, как и прежде, все так же шалил с Соней, играл в шахматы со Штеревым, стоически выслушивал его поучения.

Погода стала теплее, и мы начали больше времени проводить на улице. Из бракованных досок я сделал для Сони качели. Я любил что-нибудь мастерить, и качели вышли крепкими, даже Мая не могла устоять перед искушением покачаться. В такие моменты я бесцеремонно и совсем недвусмысленно не отрывал взгляда от ее коленей, а она смотрела на меня... как в пустоту. Было очевидно, что яблочко должно дозреть. Как я уже подчеркивал, она была романтична от природы, и, наверное, ей хотелось, чтобы между нами завязалось нечто вроде «романа».

С «романом» или без «романа», но в конце концов мне должно было повезти. Если даже «роман» не состоится, дружба с семьей Штеревых неминуемо отразится на моей служебной карьере. Назначение меня начальником отдела было лишь началом. Пока у меня за спиной Штерев, я буду взбираться по ступенькам повышений без одышки и, надеюсь, быстро. О чем еще может мечтать молодой инженер?

Но польза от общения со Штеревым не исчерпывалась только этим. По степени важности продвижение по службе, разумеется, стояло на первом месте, но ведь у человека есть еще и личная жизнь, которой тоже надо уделять внимание. Устроив как-то ревизию по этой части, я с удовлетворением отметил целый ряд приобретений.

Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть приятное чувство теплоты и уюта, которое испытывал, когда входил в дом Штеревых. Я никогда не находился в подобной домашней обстановке. Родители мои не понимали друг друга, без конца ссорились и жили под одной крышей как кошка с собакой. О студенческих годах лучше и не вспоминать — от беспорядочной жизни в общежитии и теперь становится тошно. А у Штеревых все было по-другому. Там я был участником тихих, спокойных бесед; даже мрачноватая музыка Маи не портила моего настроения. Мне была приятна атмосфера взаимопонимания — раньше приходилось только слышать о том, что такие отношения существуют: я словно попал на другую планету. Не будем и говорить об очаровании, которое распространяла вокруг себя Мая. Оно пробуждало в моей душе самые сладкие надежды...

Я, как вам известно, был холост и, прежде чем сблизиться со Штеревыми, убивал время в кино или за рюмкой в баре гранд-отеля. Что мне еще было делать? Лежать в комнате обрыдло до последней степени — мне все-таки только что исполнилось двадцать семь! Ходить в кино каждый день невозможно: в то время в Н. ра-

ботал только один кинотеатр, и программу меняли раз в неделю. Если бы в баре были хоть отдельные кабинетики, там с грехом пополам, но все же можно было бы в тишине и спокойствии вышить рюмку водки, закусить чем-нибудь — стоило это недорого. Но разве здесь можно уединиться? Все как на ладони. Войдет какой-нибудь инженер, коллега с завода, увидит тебя и — хлоп — плюхается за столик, даже не спросив разрешения. «Я тебе составлю компанию,— говорит,— а то сидишь один!» Видел я в гробу его компанию! Но как об этом скажешь? А он: «Угощаешь ты! Я даром не развлекаю». И уже стучит по столику, зовет кельнера. Встать да стряхнуть его со стула при всех: «Убирайся, скотина, чтоб духу твоего не было!» Он сделает тебя потом посмешищем в глазах всего коллектива, рабочих, инженеров! Я проглатываю наглость, даже улыбаюсь, а этот мерзавец смелеет и, видя мою пассивность, заказывает себе вторую порцию водки... Смешно, да?

И так почти каждый вечер... И ведь это все деньги. А когда я стал частым гостем Штеревых, монеты уже оставались в моем кармане и пополняли сбережения.

Далее. Раньше самыми нежеланными для меня были выходные дни. Хотелось иногда просто выть от скуки. Я был нездешний, ни родственников, ни родных, к которым я мог бы наведаться, у меня не было, а друзей я еще не успел завести — потому что не играл в карты, не увлекался охотой и не был любителем вышить. И тогда я придумал себе занятие, с помощью которого спасался от скуки. Ставил «Жигуленка» в заводскую мастерскую и там начинал разбирать его по деталям, чтобы, вычистив их и смазав, собрать заново. В перерыве я закусывал тем, что приносил с собой, отдыхал и продолжал работу. Так проходил выходной...

Но с тех пор, как я стал своим человеком у Штеревых, все переменилось словно по мановению волшебной палочки. Праздники действительно стали праздниками. Угощали меня неплохо, после обеда я подремывал с открытыми глазами, пока Штерев излагал мне свою точку зрения на достоинство человека, и с нетерпением ожидал минуты, когда Мая взглядом даст понять, что готова ответить на мои пламенные вожделения. Для того чтобы ускорить это мгновение, я вел наступление окольным путем, умиляя ее материнское сердце: носил маленькую Соню на спине, играл с ней в Красную Шапочку и скакал по двору в роли лошадки.

Вот с такими многообразными достижениями я встретил лето, готовясь осенью собрать золотые плоды, когда над нашей мирной жизнью внезапно нависла зловещая тень Юлиана Евтимова.

Он унизил меня в первый же день своего появления на заводе. Заперев центральный вход и все другие тоже — чтобы наказать опоздавших (суровая и бесцеремонная, с моей точки зрения, мера, какая бывшему директору и не снилась),— Юлиан Евтимов, сопровождаемый Никодимовым, начал обходить цеха с лицом ястреба, выискивающего добычу. На нем был замшевый пиджак и вельветовые брюки, белая рубашка с отложным воротничком. Резкие черты его лица впечатляли и запоминались своей мрачной красотой. Лично мне он сразу не понравился, неприятные предчувствия стали одолевать меня, как только я вгляделся в него.

Еще даже не войдя в мой сектор цеха, он бросил беглый взгляд вокруг и сразу же спросил одного из рабочих:

— Зачем вы скопили так много деталей?

Рабочий вопросительно глянул в мою сторону и пожал плечами.

— Зачем? — спросил Евтимов меня.

Он пристально смотрел на меня глазами, цвет которых быстро темнел и уже сливался с темно-серым фоном стены за его спиной.

— Мы стараемся собрать к концу смены как можно больше деталей,— сказал я,— чтобы не ждать, пока утром подвезут... Это экономит время, товарищ директор, мы штурмуем оперативные задания с первых же минут смены!

На губах его мелькнула ядовитая усмешка. Он записал что-то в блокнот с видом бесстрастного учителя, поставившего двойку ученику, и столь же бесстрастно приказал мне через полчаса быть у него.

В кабинете директора я застал Никодимова и Штерева. Они оба сидели, а он, засунув руки в карманы замшевого пиджака, расхаживал взад-вперед. В углу рта была зажата длинная сигарета.

— Вот и вы, товарищ Спиров! — встретил он меня неожиданной доброй улыбкой и жестом пригласил сесть в кожаное кресло, стоящее справа от письменного стола.

— Как же так? — громко возразил я.— Как я могу сесть в это почетное кресло, если такие ответственные товарищи,— я кивнул в сторону Штерева и Никодимова,— сидят на обычных жестких стульях!

— Не беспокойтесь! — улыбка Юлиана Евтимова стала какой-то кислой.— Я вас уверяю, что эти ответственные товарищи вполне довольны своими местами и вовсе не желали бы сменить их на это кресло. Я прав, не так ли? — Он обернулся к тем двоим.

Они кивнули. Штерев сказал:

— Нам и здесь удобно. Не тревожьтесь о нас.

— Потому что...— продолжал Евтимов, и глаза его начали медленно темнеть,— это кресло в данный момент играет роль прокрустова ложа. Знаете ли вы, впрочем, что означает слово «прокрустово»?

— Я инженер по машинам,— ответил я.— И филологическими науками не занимался.

— У древнегреческого разбойника Прокруста было особое ложе; когда он брал в плен низкорослого путника, то с помощью колеса растягивал его тело до величины этого ложа. Когда захватывал высокого — секирой отрубал ему ноги так, как было необходимо. Похоже на прокрустово ложе и мое кожаное кресло. В него я приглашаю сесть некоторых из моих первых помощников. Прошу вас!

Я оцепенело глядел на него. Было одновременно и страшно и обидно. Я не мог понять, шутит он или не вполне в своем уме.

Я собрался с силами и спросил:

— Могу я узнать, зачем вы меня вызывали?

— Садитесь же! — с досадой произнес директор.— Ничего с вами не случится, я только пошутил. А вы, кажется, не понимаете шуток.

— Есть шутки и «шутки»! — заметил я смиренно и сел в его проклятое кресло.

— Вы должны научиться терпеть критику! А критика в известном смысле и есть «прокрустово ложе».

Он медленно затушил окурок в переполненной пепельнице, сморщился на мгновенье, от дыма ли или из-за того, что я ему не понравился,— между нами в первый же миг возникла явная антипатия! — и продолжил ровным голосом, вновь сунув руки в карманы и возобновив хождение взад-вперед:

— Я вызвал вас из чистого любопытства! Хочу узнать, зачем вы допускаете такую глупость — преднамеренное загромождение рабочей площадки кучами железа?

«С этим человеком мы не найдем общего языка!» — подумал я. И тут почувствовал, что теряю почву под ногами. «Не успел узнать как следует, а уже грозит мне секирой и называет глупостью мои начинания по экономии времени!»

— Я только что объяснил вам, что собираю детали, чтобы сэкономить время! — ответил я.

Он засмеялся: прямо мне в лицо, бесцеремонно, словно имел дело с каким-нибудь простым рабочим!

— Эти руководящие товарищи,— кивнул он в сторону Штерева и Никодимова,— высказывались о вас очень лестно, а вы продолжаете говорить очевидные глупости! В конце смены вы теряете время на то, чтобы проложить себе дорогу сквозь горы деталей, и это называете экономией времени! Вы расточаете часы, отведенные на монтаж и исполняете функции, которые не в вашем ведении, и тут же утверждаете, что ускоряете монтажные работы. Как я должен вас понимать, товарищ Спиров, не объясните ли?

Я ничего не объяснил ему: в голове все помутилось и я почувствовал, что меня начинает тошнить.

Вечером я отправился к Штеревым. Так и так, говорю Штереву, я в отчаянии, так опозориться с самого начала! И чего вцепился в меня этот тип?

Штерев, как всегда великодушный и добрый, похлопал меня дружески по плечу и стал ободрять. Не только, говорит, в тебя вцепился, во многих, можно даже сказать — во всех. Никого не миновал. Не видел разве, как на собрании всех лихорадило?

Да, на собрании я был, видел, как чуть ли не всех в пот бросало, и настроение мое омрачилось еще больше. «Если Юлиан тут задержится, мне не видать повышения как своих ушей. Кошмарный тип!» — вздохнул я про себя.

Штереву директор показался строгим и даже несколько злым, но толковым. Правда, он не мог объяснить себе этот его странный жест с угощением: чуть ли не сорок бутылок водки поставил да еще закуску, и довольно разнообразную,— на это ушла чуть ли не вся директорская зарплата. Но оставим в стороне расходы, говорил Штерев. Его больше всего впечатлило другое — еще более необычное. На собрании Евтимов не церемонился, снимал стружку с инженеров и рабочих, резал правду-матку прямо в глаза! А за столом развеселился, предложил тост за здоровье тех, кого только что крепко критиковал, а в довершение всего затеял хоровое пение! Что за человек? Что за характер? — удивлялся Штерев.

— Кошмар! — повторил я. И так как за мое здоровье Евтимов тоста не поднимал, я добавил: — Опасный тип!

— Почему опасный? — спросила Мая.

Она впервые за этот вечер подала голос, и лицо ее неизвестно почему вспыхнуло.

— Как почему? — переспросил я.— От такого типа можно ожидать всего, чего угодно! Возьмет тебя на заметку, понизит по службе, а потом позовет на угощенье и поднимет тост за твое светлое будущее!

— Это интересно,— задумчиво произнесла Мая.

— Скорее зловеще,— нахмурился я.

— Боже мой,— ответила Мая,— для вас каждый более или менее нестандартный человек — «тип», а всякий своеобразный поступок — «зловещий»!

— Я привык уважать нормальных людей и нормальные поступки,— возразил я.

— А для меня интересно все, что выходит за рамки трафаретных поступков и вообще банальности,— подчеркнула Мая.

Я посмотрел на Штерева. Он слушал жену, опустив голову.

— Вы, кажется, тоже намерены сегодня оригинальничать,— заметил я.— Плохое выбрали время. Сегодня у нас все эти оригинальности как кость в горле.

— А для меня кость в горле — это ординарность,— сказала Мая и опять покраснела.

— Мая,— кротко возразил Штерев,— это ты после общения с нашим квартирантом так стала рассуждать? Настраиваешься на его волну?

— Как это могло прийти тебе в голову? — нахмурилась Мая.

— С каким квартирантом? — спросил я.

— А вы не знаете? — сказал Штерев.— Мы сдали ему нашу верхнюю комнату.

— Кому вы ее сдали?! — не поверил я.

Мая поспешила ответить:

— Юлиану Евтимову, вашему новому директору.

«Все кончено!» — подумал я и почувствовал, как мой лоб покрылся холодной испариной. «Все кончено!» — звонко, погребальным колоколом вызванивала в висках кровь.

— Мы до весны хотим добрать нужную сумму на машину,— несколько сконфуженно улыбнулся Штерев.— У нас уже сдан первый взнос за «Ладу».

— Да, да, это хорошо,— поддакивал я, а в голове все еще гудели колокола.

Я слушал их гул, и вдруг спасительная мысль осенила меня: а почему бы мне не использовать Штеревых, чтобы сблизиться с Евтимовым? Раз я их друг, смотришь, стану и его тоже! Люди сближаются тогда, когда собираются и беседуют, вместе едят и пьют. Дружба не падает с неба.

— Браво! — хлопнул я ладонью по колену.— Вы поступили очень умно, сдав комнату,— продолжал я.— Все равно пустует. А то, что вы сдали ее новому директору,— это просто гениально! Лучше директору, человеку со связями и авторитетом, чем неизвестно кому.

— Но ведь вы, кажется, его не жалуете? — спросила Мая.

— Что делать! — вздохнул я.— Придется его терпеть ради моей маленькой подружки Сони...

Я стал каждый день появляться у Штеревых, так как надеялся встретить Юлиана Евтимова. Он уже был их официальным съемщиком. Но я всегда оставался «на бобах», как говорится, так как директор не подавал о себе вестей.

Один раз я спросил у Маи:

— Ваш наниматель не сбежал, случайно? Может быть, он нашел другую квартиру?

— О, нет! — воскликнула Мая.— Он не сбежал. Он использует теплые летние вечера для того, чтобы наблюдать звезды. Он физик, астроном, звезды — его специальность. Он сейчас пишет книгу об их возникновении и развитии.— Она помолчала, потом все так же — несколько взволнованно, даже вдохновенно — продолжала: — Вы знаете, я даже наблюдала в его телескоп планету Юпитер! Ах, если бы вы видели, как царственно выглядит эта планета!

— Вот как! — сказал я без особого энтузиазма и тоже, в свою очередь, помолчал.— Телескоп, говорите. Чудно!.. Неужели у него есть телескоп?

— Не особенно большой, но все же телескоп,— подтвердила она.

— Вот как! — повторил я, как попугай.— Наблюдали планету Юпитер?.. Выходит, вы ходили в его холостяцкую квартиру на дачу бай Сандо?

— Да,— кивнула Мая,— несколько дней тому назад я ходила к нему в гости.— В ее глазах вспыхнули лукавые искорки.— С Соней и с мужем,— добавила она после нарочитой паузы.

Я угадал значение этой паузы, и сердце мое преисполнилось негодования и обиды.

— Конечно,— сказал я,— если человек занимает такой высокий пост, как Юлиан Евтимов, в гости к нему ходят передовики, красавицы и вообще вся элита. Не то что мы — нижестоящие! Мы ходим в кино раз в неделю и иногда прогуливаемся вечером по главной улице! Что делать — у каждого свое счастье,— вздохнул я.

— Грех вам жаловаться! — с упреком посмотрела на меня Мая.— Как только приходит такое в голову? — Она помолчала и повела плечом.— И это говорите вы, человек, который бывает у нас почти каждый вечер!

Почувствовав, что хватил через край, я решил свернуть в сторону.

— Простите, Мая! — сказал я и чуть поклонился.— Это единственная милость, которую судьба еще не отняла у меня... Но когда на сцене появляются планеты, да еще телескоп, который приближает их к вашим глазам, тогда я начинаю опасаться, что бог может отобрать у меня и эту радость!

— Ох, как высокопарно! — Мая сморщила нос, точно вдруг ощутила дурной запах.— Терпеть не могу подобных выражений! Двойку ставлю абитуриенту, который выражается таким вот образом!

— Что вы хотите этим сказать? — спросил я, изобразив на лице тревогу. Я и впрямь был встревожен, потому что слово «двойка» никогда не ласкало моих ушей. А в создавшейся обстановке — после появления Евтимова — оно вызвало во мне ассоциации с дьявольской бомбой замедленного действия. Того и гляди, что этой романтичной провинциалке (телескоп, звезды, планеты, Юпитер!) завтра может взбрести в голову мысль зачеркнуть меня жирной красной чертой! Поэтому я поспешил изобразить (хоть и через силу) веселую и беззаботную улыбку и махнул рукой:

— Не правда ли, Мая, меня куда-то заносит? Вы, наверное, решили, что я ревную вас к директору, который смотрит по ночам на звезды? Умоляю вас, не подумайте так!

Я наклонился и галантно поцеловал ей руку.

— До завтра! — сказал я.

— До завтра,— кивнула она мне, но я не был настолько туп, чтобы не заметить явную принужденность ее улыбки.

«Посмотрим,— говорил я себе.— Такие директора, с телескопами, не очень-то преуспевают в наше время!»

И все же тревога не покидала меня, как и в то первое утро, когда Юлиан устроил мне выволочку из-за свалки проклятых деталей...

Я не прервал своих визитов к Штеревым, но всегда осторожно осведомлялся, не собирается ли к ним Юлиан Евтимов (то есть не останется ли ночевать в своей комнате) и когда ОНИ намереваются посетить его «обсерваторию». Мне уже не хотелось встречаться в домашней обстановке лицом к лицу с этим оригиналом, который был, к сожалению, моим шефом. Не потому, что я не был уверен в себе, а просто так. По принципу — избежать конфронтаций. Столкновения между начальником и подчиненным в большинстве случаев не приносят подчиненному ничего хорошего. Так было всегда и, думаю, будет и впредь.

Это было в сентябре.

Однажды в субботу после обеда, когда я уже почистил и подтянул кое-что в моих «Жигулях», смотрю — возле стоит Юлиан Евтимов. Я бросил промасленную тряпку и вежливо поздоровался.

— Продолжайте,— кивнул он мне.

Я наклонился и снова взялся за тряпку. А что такого — нерабочее время, могу делать что хочу.

Евтимов закурил свою длинную сигарету, выпустил дым и улыбнулся. Глаза его смотрели на меня тепло и дружески, излучали мягкий голубой свет.

— Вот уже несколько раз я вас вижу за одним и тем же занятием,— сказал он.— Ковыряетесь в машине. У вас нет других запросов?

— Каких — других? — спросил я.

— Газету, например, почитать или журнал. Книгу раскрыть! Библиотеку вон открыли при клубе! Вы ни разу ее не посетили.

— Вы интересовались даже, посещаю я библиотеку или нет? Какое внимание! — воскликнул я.— Благодарю вас. Но что касается книг, то я читаю их дома!

— Так ли? — усомнился Юлиан Евтимов.

Он недоверчиво улыбнулся, но не посмел возразить. Наверное, вспомнил, что за моей спиной стоит такой влиятельный человек, как Штерев, и что с преподавательницей литературы Маей — этой замечательной женщиной, я, конечно же, не раз беседовал на культурные темы. Кто может доказать противное?

Евтимов еще несколько раз затянулся, молча помахал мне рукой и удалился.

Через несколько дней он сторицей отомстил мне за мою ложь. Въедливый и мелочный тип! Правительство ожидает, что ЗПЦМ вот-вот войдет в ритм пусковых сроков, а он занимается моей особой. Взял меня на мушку и превратил в центр своего обстрела!

Но... «шерше ля фам!», как говорят французы... Для него гораздо важнее было скомпрометировать меня в глазах Маи.

Был воскресный вечер. Я застал у Штеревых Юлиана Евтимова. Мая только что уложила Соню спать.

Штерев выглядел усталым, он позевывал в кресле возле окна, а Мая и Юлиан сидели за пианино, разглядывали какие-то ноты и время от времени тихо обменивались словами. Когда я увидел, как близко они наклонились друг к другу, как интимно беседуют, дьявол, который в этот момент, очевидно, сидел без дела, подтолкнул меня разрушить идиллию.

— Товарищ директор,— сказал я, направляясь к ним,— сегодня вечером вы не намерены наблюдать звезды? По словам Маи, вы регулярно созерцаете ночное небо.

— Я вовсе не говорила вам, что он «созерцает» ночное небо! Таких чванливых, пустых слов я не употребляла!

— Я не сомневаюсь,— поддержал ее директор,— таких слов вы не могли употребить.

— Когда я был в Париже,— заявил я,— то однажды вечером гулял по Монмартру и там один астроном-любитель предложил мне посмотреть в телескоп Юпитер.

— Как интересно! — сказал Юлиан Евтимов, и по губам его скользнула усмешка, острая, как бритва.— А в каком месяце был тот знаменательный вечер?

— Кажется, это было в апреле, незадолго до католической пасхи.

— Ха-ха-ха! — засмеялся весело и зловеще Юлиан.— Здорово! Где вы открыли этого астронома-любителя? На каком месте он оборудовал свой телескоп?

— Я забыл!

— Наверное, на высоком?

— Да, да, на высоком.

— И какое замечательное здание стояло на этом высоком месте?

— Пожалуй, там не было ничего!

— Ха-ха! — снова рассмеялся Евтимов, на этот раз просто издевательски.

— В чем дело? — Я был задет.— Я не сказал ничего смешного.

— Нет, вы сказали именно смешное! — Его глаза потемнели, и взгляд их стал безжалостным.— Во-первых,— продолжал он,— в апреле никакая планета Юпитер вечером не видна на небе. Это известно даже астрономам-любителям, как вы соблаго-

волили выразиться. Во-вторых, на вершине Монмартра поднимается огромный старинный собор Сакрекёр, который был построен как раз на этом месте более двух веков назад!

— Возможно, речь шла о какой-то другой планете, а не о Юпитере. Что касается собора, то он не произвел на меня впечатления. Я не астроном и не архитектор! Нет, я все же не вижу оснований для такого — просто обидного — смеха.

— Вечером в апреле месяце не видны вообще никакие планеты; значит, в это время на Монмартрском холме не появляются никакие астрономы-любители. Вы и не нюхали Монмартра, дорогой друг, а еще говорите об астрономах и о планетах. Это так смешно, что, если бы не товарищ Штерева, я все еще покатывался бы со смеху и это был бы такой смех, какого вы, по всей вероятности, не слыхивали до сегодняшнего дня!

— Каждый помнит Париж по-своему,— передернул я пренебрежительно плечами.

Боже мой, лицо этого типа вдруг потемнело, и острое лезвие взгляда нацелилось в меня.

— Вы, конечно, были в Лувре? — спросил он.

— И не однажды!

— Ну, и что там, перед Лувром?

— Что там может быть? Улица, что же еще?

— Ха-ха! Ха-ха! — снова залился смехом Евтимов, и на этот раз в его издевательском смехе появились злые нотки.— Ну зачем вы сочиняете, что вы были в Париже?

— Оставьте человека в покое,— попросила его Мая, не глядя на меня.

Живи сто лет, царица моя, за эти твои спасительные слова!

Я весь обливался потом, дыхание стеснил стыд.

— Спасибо вам, Мая, что заступились за меня! — пробормотал я.— Этот человек не понимает шуток. Я пошутил, а он все воспринял всерьез. Хе-хе!

И я поспешил улизнуть. Не хватало еще, чтобы он стал расспрашивать меня о книгах, которые я будто бы читаю дома. Дома у меня книг и в помине не было. Я приехал в Н., чтобы строить завод, а не забавляться с книжками.

Вот до чего дерзким и бессовестным типом был Юлиан Евтимов. Он использовал свое служебное положение, чтобы издеваться над нижестоящими сотрудниками и таким способом выставить себя в глазах красавицы Маи большим начальником и неотразимым мужчиной!

Заметки автора о юных годах Юлиана и о его жизни в городке Н. в те времена

Евтимовы

Дед Юлиана, бай Евтим, долгие годы был священником в селе Горно-Ряхово. Он слыл человеком строгим, даже суровым, и по отношению к пастве, и к самому себе. Старожилы рассказывают, что дважды налагал на себя епитимью. Однажды на два месяца сел на хлеб и воду за то, что во время исповеди одной молодки допустил греховные мысли. В другой раз наказал себя за то, что вступил в любовную близость со своей попадьей в ночь на страстную пятницу. Целый месяц он ходил босым по сельским улицам и полям, босым служил в церкви литургию, волосы не заплетал в косицу, а распустил по плечам, как у Иисуса Христа перед распятием.

Отец Евтим был высок и статен, бас имел — что твоя иерихонская труба! Стоило ему во время службы запеть в полный голос, как ближайшие свечи гасли, словно под напором ветра.

Как и почему его расстригли? История эта была широко известна во всей епархии, а в городе Н. даже вызвала «раскол» в общественном мнении. Жила в Горно-Ряхове вдова с тремя малолетними ребятишками — младшенькому было два, а старшему восемь. Случилось так, что через год после смерти ее кормильца местный богатей, которому покойный был должен, выправил исполнительный лист и, ничтоже сумняшеся, присвоил себе ее единственную ниву. Вдова, обезумев от горя, схватила

младшенького и вместе с ним утопилась в мельничной запруде за селом. Отец Евтимий, совершив отпевание и похоронив несчастную с младенцем, вернулся в село, развел на церковном дворе большой костер и бросил в него распятие и икону Богоматери. За такое богохульство его вызвали в консисторию, предали духовному суду и расстригли как окаянного богоотступника.

Но вместо того, чтобы от столь тяжелой кары впасть в уныние, бывший батюшка сбрил бороду, обул сапоги, подпоясался широким красным кушаком и открыл лавку на центральной торговой улице в нижней, богатой части села. Сначала торговал мелким галантерейным товаром, керосином, дегтем и веревками, а потом неожиданно заделался мясником. Покупал скот, собственноручно его резал, а лавку превратил в мясницкую. Мясо он продавал по низким ценам, беднякам отпускал в кредит, а когда подходило время платить, не брал должников за горло, как это делали другие, а иногда и вовсе прощал.

Бывший церковный служитель возвел большой добротный дом в два этажа, а когда попадья умерла, женился вторично. Новая жена была единственной в селе разведенной — первого мужа она выгнала на седьмой день после свадьбы. По какой причине — никто не знал. Она ездила верхом на муле, носила за спиной охотничье ружье и высоко в горах владела тремя земляными печами для обжига угля. Звали эту женщину Иваной. Когда она родила сына, бай Евтим в ее честь нарек его Иваном.

Мальчик рос молчаливым и замкнутым, способным на решительные шаги; с людьми бывал резок. У него обнаружились недюжинные математические способности. Он много читал, но не любил делиться прочитанным. Друзей заводил трудно, но легко их терял: слишком прямо и откровенно высказывал свое мнение, не хотел мириться с недостатками. Политикой не интересовался, но за год до получения диплома на заседании одного из кружков выступил с рефератом, где открыто толковал исторические события с диалектико-материалистических позиций. Разгорелись бурные прения, он обозвал руководителей легиона [1] дураками и даже, затеяв драку, вздул одного из парней. Ему грозило исключение, но спасло Ивана то, что до этого момента его поведение было безупречным, к тому же он пользовался славой талантливого математика.

Расстриженный батюшка с нетерпением ждал, когда сын окончит гимназию, вернется в село и можно будет передать ему свое дело.

Но сын и слышать не хотел об отцовской лавке и вообще о торговле. Его тянуло к книгам, к учителям, где с жадностью слушали рассказы о героических днях Сентябрьского восстания [2], о чудесах в Советской России.

Он провел год в Горно-Ряхове, почти все время отдавая чтению, а потом, решив, что ему следует продолжить образование, уехал в Берковицу и поступил на учительские курсы. На этот раз у бывшего батюшки не оказалось под рукой ни распятия, ни иконы, чтобы выместить на них сыновние «грехи». Он продал землю и лавку, деньги пожертвовал сельской читальне, построил себе хижину на поляне, рядом с овечьими кошарами, мимо которых шла дорога в горы, а дом отписал Ивану. И еще подарил он ему большую золотую монету — пендару, чтоб была у него память о покойной матери. Через год, сидя на пороге своей хижины и глядя на дорогу, ведущую в горы, он тихо заснул и больше не проснулся...

Время было революционное, неспокойное, настроение среди горно-ряховских учителей — приподнятое, романтическое. В середине тридцатых годов все ожидали, что вот-вот вспыхнет восстание. Вечерами прислушивались, не скачет ли курьер из города, а днем смотрели на шоссе, не идут ли толпы восставшего народа; мечтали шагать с ним в ногу, под шелест знамен и гром оркестра. Иван смотрел туда же, ему тоже мерещились алые стяги, слышались революционные марши. Однако это ничуть не мешало ему входить в класс со строгим выражением лица, задавать трудные задачи, придирчиво экзаменовать и безжалостно ставить двойки.

— Зачем ты мучаешь детей? — спросила Ивана учительница пения. Она была его подружкой и разделяла его политические симпатии.— Близятся новые, светлые времена, а ты своими гипотенузами и катетами нагоняешь страху.

— А по-моему, революция чужда всяческой шумихи и уж, во всяком случае, ей не нужны недоучки. Или ты думаешь, она распахнет ворота невежеству? — хмуро возражал Иван.

---

[1] Молодежная фашистская организация в буржуазной Болгарии.

[2] Имеется в виду Сентябрьское восстание 1923 года.

У них был различный эмоциональный подход к грядущему, но они любили друг друга. Виолетта не могла отличить гипотенузы от катета, а Ивану медведь на ухо наступил. Что, казалось бы, общего между камертоном и циркулем? И все же вопреки всему Иван сделал предложение, а Виолетта тотчас дала согласие.

Через год после их свадьбы разразилась вторая мировая война, а еще через год Иван ушел в партизанский отряд. Немного спустя подалась в горы и Виолетта, а за ней — соученик Ивана по энской гимназии Диньо Диновский (он был родом из соседнего села Долно-Ряхово). Все трое сражались в разных отрядах. Но так или иначе они родились под счастливыми звездами — стойко перенесли все лишения, не погибли в боях.

В 1947 году родился Юлиан. Родился в июле, и назвали его Юлианом. Иван выбрал это имя еще и потому, что уважал людей с твердым характером и ясными позициями, каким, по его мнению, был римский полководец Юлий Цезарь. Виолетта согласилась — имя показалось ей красивым и звучным.

Детство и отрочество Юлиан провел в Горно-Ряхове, там же закончил семилетку. Времена были неспокойные, бурные. Не было у него беззаботного, радостного детства, как у более поздних поколений. Перед глазами рушился старый мир и созидался новый. Учиться тоже было сложно. Считалось, что многое в учебниках раньше освещалось неверно, и потому выдвигались новые теории и толкования. Только в математике никто ничего не менял, эта наука как бы стояла выше всех земных треволнений.

Были и другие устойчивые вещи и явления в мире, которые производили впечатление на нашего героя. Например, звезды. Чтобы закалить мальчика и развить в нем чувство самостоятельности, отец отправлял Юлиана на лето к дядюшке Первану — тот пас часть кооперативного стада. Кошара размещалась на большой поляне у подножия гор, перед глазами расстилались луга, за спиной темнели густые буковые леса. Теплыми летними ночами дядюшка Перван спал на открытом воздухе, у стены загона, Юлиану стелил рядом, на кошме.

Привыкнув к почти городским удобствам отцовского дома, Юлиан подолгу не мог заснуть: подстилка кололась, вздохи леса вызывали тревогу, лай собак — двух больших волкодавов — заставлял то и дело вздрагивать... Вслушиваясь в стрекот кузнечиков, мальчик задумчиво вглядывался в мириады звезд, рассыпанных над его головой, и удивлялся тому постоянству, с которым они совершают свой путь, нигде не пересекаясь, никогда не мешая друг другу.

Закончив горноряховскую семилетку, Юлиан продолжил образование в энской смешанной гимназии. Со стесненной душой уезжал он из родного села — отца его только что сняли с председателей ТКЗХ, мать постоянно плакала.

Приехав в городок Н., Юлиан поселился в семье старого друга отца — Трифона Василчова, занимавшего тогда пост заведующего отделом агитации и пропаганды городского комитета партии. У Василчова была дочь, Калинка, на два года моложе Юлиана.

Отец привез Юлиана на квартиру друга, договорился, что он будет питаться в дешевой, но чистой столовой, открыл счет в центральном книжном магазине, чтобы Юлиан мог покупать нужную литературу, и похлопал сына на прощание по плечу. Единственным наставлением, полученным Юлианом, было: хорошо учиться и жить по совести. Точно такое же наставление он сам получил когда-то — тридцать лет назад — от своего отца, деда Юлиана.

Юлиан как бы шел по стопам отца. Он не был молчуном, но не выносил пустых разговоров. Учился отлично, но больше всех предметов любил математику. Уже в те годы в нем проявилась твердость характера, и он презирал людей мягкотелых и малодушных. Был неуступчив, язвителен и самолюбив, а потому с ним не хотели дружить — обстоятельство, которое его не особенно огорчало.

Он любил уединяться на природе, слушать музыку и любоваться хорошенькими девушками. Говоря об этих его слабостях, надо сразу же уточнить: во-первых, серьезная музыка включала венский вальс; во-вторых, на природу он выезжал один, потому что «массовый туризм» не давал ему возможности сосредоточиться на своих мыслях и мешал наслаждаться красотой, а «ярмарочные» воскресные прогулки раздражали; в-третьих, хорошеньких девушек он всегда разглядывал тайком, никогда за ними не бегал, ждал, когда они сами обратят на него внимание.

Однако слабости не помешали Юлиану добиться больших успехов в изучении

математики, он оставил далеко позади первых учеников не только своего класса, но и всех ребят, когда-либо учившихся в энской гимназии.

В девятом классе Юлиан уже считался лучшим учеником двух параллельных классов, а в десятом с помощью преподавателя математики начал изучать высшую алгебру. И так успешно, что в конце одиннадцатого класса в журнале «Природа и математика» была опубликована его статья, посвященная линейным неоднородным дифференциальным уравнениям — материи сложной, достаточно трудной даже для студентов старших курсов института. Школьные преподаватели математики начали разговаривать с ним как с равным.

Чтобы свободно пользоваться специальной литературой, Юлиану пришлось подналечь на русский язык. В Советском Союзе публиковали переводы наиболее значительных научных работ зарубежных авторов. Через городскую центральную библиотеку, с помощью местного отделения народного банка, экономя на еде и одежде, он сумел выписать несколько наиболее нашумевших физико-математических и астрономических изданий и каталогов.

Нам кажется, в порядке вещей было бы сказать несколько слов и о внешнем облике нашего героя. Сведения мы почерпнем из нескольких групповых фотографий, сделанных в память об окончании гимназии и хранящихся в архиве библиотеки. Странно, но ни редактору «Алгоритма», ни автору этих заметок не удалось разыскать ни одной фотографии, где Юлиан был бы снят один. Но однажды автору улыбнулось-таки счастье. Биографические вехи, которым автор педантично следовал, привели его в переплетную мастерскую. Хозяйкой этой мастерской была женщина средних лет с исключительно миловидным, почти ангельским лицом, оказавшаяся хромоножкой: тело ее было слегка согнуто в пояснице, а левую ногу она при ходьбе волочила. В мастерской, за витриной старинного шкафчика в стиле рококо, автор обнаружил фотографию Юлиана. Согласно дате, которая была проставлена химическим карандашом на обороте, сделана она была в момент окончания гимназии.

Эту прелестную переплетчицу звали Лили. Дополнительные сведения о ней читатель сможет узнать из собственноручных записей Юлиана. А сейчас автор хочет воспользоваться находкой, хранившейся за стеклом шкафчика, и в нескольких фразах обрисовать своего героя таким, каким он выглядел в тот год. Затем он перешагнет через десятилетие и еще через восемь лет — когда Юлиан станет директором ЗПЦМ.

Фоном фотографии служит далекий, словно призрачный, силуэт гор. Они напоминают Тодорины куклы, но, может быть, это другие какие-нибудь балканские вершины. Во всяком случае, подобные вершины можно отчетливо видеть с веранды бай Сандо, у которого Юлиан жил во время своего второго пребывания в Н...

Но вернемся к Юлиану. Он сфотографирован в гимназической форменной куртке, которая явно тесновата, без фуражки. Высокий светлый лоб и буйная, растрепанная ветром шевелюра! Твердый взгляд больших глаз говорит о том, что при желании они могут выстроить стену между собой и людьми. Верхняя губа четко очерченного рта, с ее легким изгибом, напоминает тетиву лука. Скуластое лицо с квадратным подбородком было бы некрасивым, если бы не отпечаток сильной воли (пожалуй, даже самоуверенности) и интеллигентности. Да, это лицо наверняка уже тогда вызывало уважение и запомнилось среди тысячи других.

Нарисовав портрет Юлиана, автор хочет отметить еще одну важную подробность. Возле юноши на небольшом пригорке сидела, обхватив руками колени, девушка в школьной форме. Ей было лет семнадцать-восемнадцать. Вглядевшись внимательнее в нежные, тонкие черты лица с ярко-синими доверчивыми глазами, в ней без труда можно было узнать переплетчицу — ту самую, у которой в мастерской стоял старинный шкафчик в стиле рококо,— но, разумеется, в золотую пору девичества.

История с Лили

Только в одиннадцатом классе Юлиану удалось наконец добиться успеха. Была в его классе девушка, Лили. Волосы золотисто-русые, как кукурузная шелковая бахромка, глаза — сама небесная лазурь, точнее, ярко-синие, как высокогорное озеро. Ее маленькие пухлые губки всегда нежно улыбались, а голос был мягким и ласковым. Талия тоненькая, ноги стройные. Училась Лили хорошо, считалась первой в классе по литературе, но никакими исключительными способностями, как, скажем, Юлиан, не блистала. Он давно уже был в нее влюблен. Почему? Да какой юноша может отве-

тить на вопрос: почему он влюблен в ту или иную девушку? Лили тоже была к нему неравнодушна. Но слава юного математика была так велика, что она воспринимала Юлиана как... мраморную статую!..

Однажды вечером, в октябре, выходя из гимназии после заседания кружка, эти двое неожиданно оказались рядом, и притом оба чувствовали себя почему-то одиноко. Остальные кружковцы быстро разошлись — что общего было у них с поклонником дифференциальных уравнений и интегралов? Пусть Лили поищет это общее. Вот будет смеху!

— Хочешь, я тебя провожу? — спросил напрямик Юлиан.

— Не знаю...— смутилась Лили.— Если тебе не жалко драгоценного времени... Говорят, ты в с е г д а занят по горло.

— Глупости! — возмутился он, правда не очень.

— Но так говорят!

— Что ж,— пожал плечами Юлиан.— У меня действительно нет времени на карты, плохую эстрадную музыку и танцевальные вечеринки. А для хорошей музыки или прогулки у меня всегда время найдется.

— Я живу по ту сторону парка, на улице Росица,— быстро сказала Лили.— Это совсем недалеко.

— Знаю,— улыбнулся Юлиан.— Я даже несколько раз видел, как ты выходила из дома.

— Неужели? — искренне удивилась Лили.

— Там, рядом, находится отделение банка, где я оформляю разрешение на подписку. Я выписываю советский журнал, а иногда заказываю и какую-нибудь нужную книгу.

— Значит, ты знаешь мою маму!

Лили чуть не споткнулась от волнения. На ровном месте! Дело в том, что ее мать была директором этого отделения банка.

— Знаю. Очень милая женщина,— сказал Юлиан.— Она кажется очень строгой, но я уверен, что душа у нее добрая.

Лили была другого мнения и потому промолчала.

— Так пошли,— предложил Юлиан,— я решил сегодня перед ужином непременно прогуляться.

Стоял ясный осенний вечер. На притихших аллеях только изредка попадались прохожие.

— Мы все удивляемся, и чего ты нашел хорошего в этой своей математике? В литературе, по крайней мере, интересные герои, увлекательная фабула, любовь...— сказала Лили.— А в математике? Одни сухие формулы!

— Формулы, так же как и литература, объясняют жизнь, только другим способом.— Юлиан снисходительно улыбнулся.— И гораздо точнее, и объективнее... Они, исследуя вселенную, видимую и невидимую,— продолжил он немного погодя,— раскрывают законы природы и ее тайны.

— Какие еще тайны? Разве может твоя математика отгадать, почему, например, княжна Мери влюбилась в Печорина?

— Но зато она может объяснить, почему Печорин и Мери, разговаривая, соприкасаясь и целуясь, не распались на атомы, не растворились во вселенной!..

— Ну и выдумщик ты! — воскликнула, засмеявшись, Лили.— А можешь объяснить, почему звезды такие красивые?

— Запросто!

— Неужели?

— Красота звезды — это блеск, а блеск имеет величину и цвет. Величины эти описаны в таблицах, а цвет можно найти путем спектрального анализа... Ты этому удивляешься?

— Да,— кивнула Лили.

Они остановились на площадке, окруженной старыми каштанами, и Юлиан указал на группу звезд, которые как бы образовали букву «М».

— Знаешь, как называется это созвездие?

Лили отрицательно покачала головой.

— Кассиопея,— сказал Юлиан.— А вон там, посмотри, за Кассиопеей, видишь три звезды? Они образуют почти прямую линию. Это созвездие Андромеды.

— Вот! — Юлиан поднял руку над головой.— Рядом с Андромедой — Персей, ее спаситель и возлюбленный. Верно ведь, красивая легенда?

— Красивая,— согласилась Лили и поежилась.

— Ты что дрожишь? Тебе холодно? — спросил Юлиан.

Только теперь он обратил внимание, что его спутница в одном легком костюмчике, а с Дунайской равнины дует холодный ветер.

— Меня мало убить. Я веду себя как закоренелый эгоист. Самому тепло — а до других дела нет,— со вздохом добавил он, расстегнул плащ и одной полой укутал продрогшую девушку. Разумеется, ему пришлось обнять ее одной рукой за плечи.

— Ты считаешь, что это в порядке вещей? — спросила Лили.

— Что именно?

— То, что ты меня обнял.

— Но ведь иначе ничего не получится,— возразил он и, помолчав, в свою очередь спросил:

— А ты считаешь, что не в порядке?

Лили не ответила.

— Представим, что ты Андромеда, а холодный ветер — морское чудовище. И вот прилетаю я...

— А где же голова медузы? — тихо спросила Лили.

— Ну-у! В эпоху социализма и технического прогресса не может быть места таким ужасам.

— Конечно,— кивнула Лили.— Я об этом не подумала.

Они стояли, прижавшись друг к другу, и им на миг показалось, что они, превратившись в Персея и Андромеду, летят во мраке, а вокруг сверкают, блестят и переливаются золотые звезды. Вероятно, поддавшись этому магическому чувству, Юлиан наклонил голову, а Лили подняла на него глаза, и губы их встретились...

Они еще побродили по парку, взявшись за руки. А попадая в густую тень, останавливались и целовались — словно пили волшебный напиток, который, однако, не только не утолял жажды, а, наоборот, разжигал, как говорится, «огонь в крови».

Наконец они подошли к парадной Лилиного дома.

— Здесь нам придется сказать друг другу спокойной ночи,— сказала девушка.

— Разве мы не представимся Кефею и Кассиопее? [1] — спросил Юлиан.— Ты запоздала, и они теперь, наверное, едва живы от страха. Наш приход их осчастливит.

— Кефей давно покинул Кассиопею. Она теперь живет вдвоем с дочерью, а он, говорят, скитается где-то за рубежом. К тому же Кассиопея — очень строгая мать. Она не одобрит нашего появления.

— Но она так мило улыбается, когда я прихожу за разрешением на валюту.

— Боже мой, но ведь это совершенно разные вещи! — В голосе Лили прозвучала странная смесь испуга и нежности, столь свойственных ранней женственности и совершенно непонятных даже самым умным юношам.— Не ставь меня в неудобное положение! — стыдливо попросила она и робко прижала его ладонь к груди.

Автор думает, что это был кульминационный момент, вероятно, дьявол был поблизости и, услыхав слова Лили, подумал: «Ну погоди, малышка, ты хочешь ускользнуть из моих рук, но не тут-то было, я устрою так, что ты всю жизнь будешь платить за это кровавую дань!..»

Юлиан, который самым чистосердечным образом хотел «узаконить» свою дружбу с Лили перед строгой директоршей, так же чистосердечно сказал себе: «Зачем настаивать, когда и без этого можно продолжать!» Эти не высказываемые вслух слова еще с библейских времен всегда наготове даже у самого честного в мире мужчины.

— Ну, как хочешь...— сказал он.

Здесь автор кладет перо, чтобы поразмыслить. Что было бы, если бы Юлиан настоял на своем и они представились бы строгой директорше? Не увела бы его судьба далеко в сторону? Может быть, он никогда бы не оказался на ЗПЦМ и в доме заместителя директора Штерева.

Но Юлиан не настоял. Он сказал Лили: «Как хочешь!»— и ушел с чистой совестью.

В этой любовной истории все шло своим чередом.

---

[1] Кефей и Кассиопея — царь и царица Эфиопии, родители Андромеды.

Как-то поздним вечером, в мае, он тайком привел ее в свою комнату и уже за полночь проводил домой. Следы визита невинной девушки ничем не удалось скрыть, хозяйка наутро все поняла — а надо сказать, что она надеялась когда-нибудь выдать свою дочь Калинку за Юлиана,— и подняла невообразимый скандал. Она пожелала тотчас узнать имя «распутницы», чтобы («как полагается в городке Н.») ее могли «заклеймить позором» все порядочные жители городка Н. Но Юлиан голько рассмеялся и, не желая слушать возмущенных криков, выскочил на улицу. После обеда его вызвали к бай Трифону — тот все еще заведовал отделом агитации и пропаганды горкома.

— Садись! — бросил бай Трифон, строго взглянув из-под насупленных бровей, и принялся угрожающе крутить кончик усов.— Моя дражайшая половина требует, чтобы ты назвал имя девушки?

Юлиан кивнул.

— Если ты назовешь, я собственными руками...— Он показал Юлиану свою широкую ладонь,— так тебя отделаю, что ты долго не сможешь сесть на мягкое место! Разве не достаточно того безобразия, что ты натворил, вы еще хотите опорочить имя девушки! Ее опозорить...

— Да я и не собираюсь ничего говорить,— твердо ответил Юлиан.— Это наше личное дело.

— В противном случае я исключил бы тебя из комсомола!.. А теперь ты должен будешь пойти к ее родителям и признаться. Пусть вас тайно считают женихом и невестой. Когда встанете на ноги, поженитесь. Пойди собери вещи, найми телегу и переезжай вот по этому адресу — я все уладил. Жена не желает тебя видеть. Да и перед Калинкой как-то неудобно! — Бай Трифон протянул Юлиану бумажку с адресом, вытащил сигареты, вздохнул и закурил.

Уже когда Юлиан взялся за ручку двери, он крикнул ему вдогонку:

— Деньги-то у тебя есть?!

— Найдутся,— ответил Юлиан.

Юлиану предстояло остаться в городке Н. еще месяца три-четыре — подготовиться к вступительным экзаменам. Он собирался поступать в МЭИ [1]. Поэтому в новых апартаментах он не думал долго задерживаться. Это был старый дощатый барак, перегороженный на две половины. На одной из дверей висел заржавевший замок — вероятно, эту половину использовали под складское помещение. Стоял этот барак в глубине яблоневого сада, на южной окраине городка, у дороги на станцию Н.

Лили с двумя своими подружками пришла помочь Юлиану устроиться на новом месте. Увидев его жалкое жилище — глиняный пол, щели в дощатых стенах, голую лампочку, на длинном шнуре свисавшую с потолка, подружки смутились, а Лили чуть было не расплакалась, считая себя виновной в бедственном положении любимого.

Когда подружки ушли, Юлиан рассказал Лили, какой совет дал ему бай Трифон.

— Я что-то сомневаюсь,— сказала Лили нерешительно.

— Как хочешь,— пожал плечами Юлиан. Потом он наклонился и поцеловал ее глаза, которые стали наполняться слезами. Обняв девушку, он сказал: — Если честно признаться, мне тоже не по душе тайное обручение.

— Тогда оставим все как есть,— Лили наклонилась, сорвала травинку и принялась теребить ее пальцами.

— Ладно,— сказал Юлиан.— Я на все согласен... Только бы у тебя не было неприятностей.

Они вернулись в барак. Вечерело. Запущенный яблоневый сад скоро утонул в серых, унылых сумерках.

Однажды, разбираясь в своих вещах, он случайно наткнулся на большую золотую пендару, которую подарил ему отец на память о бабушке и в честь окончания гимназии. Он отнес ее в ювелирную мастерскую и заказал обручальное кольцо, на внутренней стороне которого попросил выгравировать свое имя.

Как-то в субботу, в июне, наши герои отправились на прогулку за город. Дошли до виноградников и поднялись на вершину холма. Там Юлиан взял Лили за левую руку, поцеловал и надел на безымянный палец это золотое кольцо. Девушка чуть не потеряла сознание от неожиданной радости, потом бросилась любимому на шею, целовала его и приговаривала: «Мой, мой!» Наконец она успокоилась, спрятала кольцо на груди и стала ждать, надеясь, что он заговорит на «эту тему».

---

[1] Механико-электротехнический институт.

Но Юлиан обошел «этот вопрос» молчанием и стал ей показывать созвездия Зодиака — отсюда, с вершины холма, их особенно хорошо было видно.

Когда они спускались с холма, девушка оступилась и, упав, повредила себе позвоночник. Юлиану почти всю обратную дорогу до города пришлось нести ее на руках.

Две недели она пролежала в больнице, а когда ее выписали, продолжала ходить согнувшись, опираясь на палку. Юлиан не смог дождаться, когда она выздоровеет; но тяжело заболела мать, и он, получив аттестат, срочно уехал в Горно-Ряхово, чтобы с ней повидаться.

Через месяц он вернулся в Н. за вещами. Ему предстояло ехать в Софию поступать в институт. Лицо Лили стало еще красивее, но она по-прежнему ходила согнувшись, опираясь на палку, и даже слегка волочила правую ногу. В первую минуту, увидев ее, Юлиан испытал двойственное чувство, стоял в растерянности, не зная, что делать. Он был рад ее видеть, и в то же время перед ним была какая-то другая Лили. Прежняя любовь рушилась со стремительной быстротой, в душе, вытесняя ее, росло какое-то совсем другое чувство, лишенное чувственности. Это было острое, болезненное сострадание. Обжигающий ком стоял у него в горле, слезы жгли глаза. Хотя в некотором отношении он и опередил своих сверстников, все же ему как-никак не исполнилось и двадцати лет.

Лили же мгновенно догадалась о происшедших в нем переменах. Она побледнела, на лицо ее как бы легла густая тень, потускнел лазурный блеск глаз, а на лбу выступили капельки пота.

— Не теряй на меня время,— сказала она.— Тебе надо собираться. Я бы с радостью помогла, но сам видишь...— ее пухлые губки искривились,— от меня мало толку.

Но Юлиан заявил, что он не двинется с места, если она не пойдет с ним. Поколебавшись, Лили согласилась — якобы от страха, как бы любимого не хватил солнечный удар. По дороге, видя, с каким трудом она передвигается, Юлиан не раз пожалел о своей настойчивости. Его охватило отчаяние, не было сил притворяться. Когда они добрались до барака, он усадил ее на стул, подложил за спину подушку, чтобы удобнее было сидеть, а сам устроился рядом с видом осужденного.

— Вот сдам вступительные экзамены и сразу же приеду с тобой повидаться,— сказал он мягко, положив ладонь на ее маленькую ручку.

Она молча кивнула.

— Я буду заскакивать к тебе каждую субботу и воскресенье.

Она улыбнулась, но ничего не ответила. Потом неожиданно схватила его руку и, закрыв глаза, прижала к груди.

— Что ты! Лили! — воскликнул он.

— Тише, тише...— прошептала она и попросила, не отпуская его руки: — Давай помолчим.

Они помолчали.

Потом Лили встала и взяла свою палку.

— Я пошла, мне к определенному часу на процедуры.— Она снова улыбнулась, стараясь его подбодрить.— Наклонись, я тебя поцелую!

Юлиан наклонился, Лили поцеловала его в лоб. Он хотел было обнять ее, но она его оттолкнула.

— Почему? — спросил он.

— Я хочу, чтобы ты сохранил меня в памяти... такой, как я была прежде,— ответила она смущенно, но с кокетством, которое ей совсем не шло.

Юлиан подождал, чтобы затихли ее шаги и постукивание палки, и, опустившись на колени, уперся локтями о край кровати. На душе у него стало пусто — словно пронесся тот ветер, что дул на вершине холма, когда они с Лили рассматривали созвездие Девы, и унес с собой всю радость его жизни. Он спрашивал себя: в чем его вина? Шаг за шагом исследовал дорогу, по которой они прошли вместе. Он никогда ничего не сделал против ее воли, напротив, прислушивался к каждому ее желанию. Они шли свободно и беззаботно, как ласточки, свившие гнездо под стрехой отцовского дома в Горно-Ряхове... Только в одном он был виноват — что не схватил ее за руку, когда она бежала вниз по склону холма и звала, чтобы он ее догонял.

Наконец он поднялся и принялся увязывать книги — ему предстояла дорога.

Автор хочет напомнить читателям, что в городке Н. его снова увидели лишь спустя семнадцать лет.

От автора

Бай Сандо, бывший владелец харчевни «Столб и ночлег», передал Продану Протопопову (редактору журнала «Алгоритм») стопку бумаг, оставшихся после Юлиана, когда он так неожиданно покинул дачу в канун Нового года. Среди бумаг автор обнаружил две тетради с записями: одни велись в хронологическом порядке, другие — как придется.

Содержание этих заметок посвящено тем событиям, о которых читатель уже знает из рассказов третьих лиц и от самого автора. Одну из тетрадей Юлиан озаглавил: «Софийские заметки», другую: «В городе Н. спустя семнадцать лет». Автор решил опубликовать заметки, которые имеют непосредственное отношение к судьбе героя или раскрывают те или иные черты его характера.

Из тетрадей Юлиана

1. Софийские заметки

За два часа до отправления

Трифон Василчов

Часа за два до того, как я собрался отправиться на станцию (я уже договорился о телеге), явился нарочный из горкома партии и сказал, что меня вызывает Трифон Василчов.

Бай Трифон встретил меня своими обычными словами: «Ну, как дела, герой-любовник?»— но на лице его не было особого воодушевления. И все же он кивнул, предлагая мне сесть, а сам закурил свои вонючие сигареты. Помолчал, что-то обдумывая.

— Если бы ты не отличался такими успехами в гимназии, я вряд ли предложил бы тебе сесть как почетному гостю.

Он снова помолчал, выдохнул, словно нарочно, в лицо мне облако отвратного дыма и протянул запечатанный конверт:

— Это письмо для Руси,— сказал он.— Его постоянная штаб-квартира — гранд-отель «София», сынок мой — коммерческий директор гостиницы, на конверте все написано. Отдашь ему сразу же, как ступишь на софийскую землю.

Я кивнул и положил письмо в записную книжку. Бай Трифон, видно, заметил, что я слушаю его вполуха, и повысил голос:

— Так ты отдашь ему, понял? С вокзала — прямо в гранд-отель и чтобы никакой самодеятельности. Ясно?..

— Да ты не беспокойся, бай Трифон! — Я попытался было улыбнуться.— Раз дело такое срочное...

— Это касается не меня, а тебя,— пояснил бай Трифон, уже смягчившись.— Я там предлагаю, где тебя лучше устроить. Мы с отцом твоим все обсудили, когда он в прошлый раз заезжал... Но посмотрим, что получится... Ты не бойся, я ему не сказал про твои проделки.

— Спасибо,— выдавил я.

Он поглядел на меня задумчиво, а чуть позже добавил:

— Я расспросил докторов в больнице...

Голос его стал глуше, он снова вытащил сигареты, пожал плечами и закурил.

— И что они?..

— На сегодняшний день никакой надежды... И за будущее не ручаются. Смещение позвонков, затронуты нервы, словом, возможно, она останется калекой.

— Да, мне очень ее жалко,— сказал я.

Бай Трифон вышел из-за стола, походил взад-вперед по кабинету и, подойдя, положил мне на плечо свою тяжелую руку.

— Я хочу сказать честно и по-мужски, что я думаю по этому поводу. Будь внимателен, деликатен, но не совершай еще одного греха, еще более тяжкого,— не обнадеживай ее. Ты никогда к ней не вернешься, это яснее ясного. А потому не обманывай. Как говорится, лучше горечь выпить разом, чем в час по чайной ложке.

Я встал, криво усмехнулся и подал на прощание руку.

Заместитель министра Диньо Диновский

Мягкие черты лица, полный, с брюшком. Одет как обычно одеваются начальники: в черном костюме и галстуке приглушенных тонов. Я заметил, что большие начальники будто специально стараются не носить светлых костюмов, а уж ярких галстуков — упаси боже!

Он так был поражен моим желанием учиться не только в МЭИ на механико-инженерном, но и в университете на физико-математическом, что некоторое время сидел с раскрытым ртом, будто я упал к нему на стол прямо с Марса.

— Почему это производит на вас такое впечатление, товарищ Диновский? — спросил я, в свою очередь удивившись.

— Твой отец отказался изучать инженерное дело, да к тому же в Москве! А ты хочешь кончить сразу два факультета...

Я знал, почему мой отец в свое время отказался поехать в Москву, а Диновский снискал все лавры, и потому кровь хлынула мне в лицо. Но я сдержался, только подумал: «Ну, подожди, я верну это тебе сторицей!» Теперь самое главное было получить разрешение учиться в двух вузах.

Диновский по-своему истолковал мое сильное волнение, а потому усмехнулся и самодовольно подкрутил седой ус.

— Браво, браво! Наша молодежь растет духовно: за один год — десятилетия. Это тебе не при капитализме...

И он пообещал походатайствовать за меня перед министром просвещения.

Конкурсные экзамены на инженерно-механический я сдал отлично, и этот успех, видно, поколебал упорство министра, уже подточенное ходатайством Диновского. Мне наконец разрешили сдавать и на физико-математический факультет.

Позднее я узнал, что мои первые успехи не сыграли в этом вопросе никакой роли. Решающим аргументом в мою пользу послужил «материальный стимул». Дело в том, что министр строил в это время двухэтажную загородную виллу, да еще с садом и мозаичным бассейном. Цемент был тогда большим дефицитом (он почти целиком шел на строительство фундаментов и стен водохранилищ), а Диновский, как крупный начальник в промышленности, все уладил.

Бай Диньо потом признался, что полюбил меня с первого взгляда. «Ясное дело, не чужие вроде — вместе с твоим отцом учился, партизанили...»

Он расчувствовался и пригласил меня в воскресенье на обед.

— У нас собираются видные люди! — добавил он.

Я поблагодарил за приглашение, и, когда уже повернулся, чтобы уйти, он вдруг как бы спохватился.

— Подожди-ка! — крикнул мне в след.— Ты ведь член комсомола?

— Конечно! — успокоил его я.

— У тебя никаких взысканий?

— Чист, как агнец божий! — засмеялся я от всей души.

— Ну, тогда будешь дорогим гостем,— заключил он.

Барак

Если бы существовала такая электронно-вычислительная машина, которая объективно и беспристрастно могла бы оценивать, насколько человек справляется со своим делом, и на основе этих данных определенная служба (как в сказке!) справедливо распределяла бы жилую площадь, то я наверняка жил бы в бараке не с земляным, а с дощатым полом. Но поскольку такой ЭВМ не существует, я не получил того, что мне полагается. Жить в бараке с земляным полом зимой — это даже не романтично.

Со вчерашнего дня обильно сыплется с неба снег — такой снег шел когда-то в школьные годы. Я заметил, что в те славные времена морозы лютовали, а ветер наметал высокие сугробы. Мой барак стоит посреди большой поляны далеко от главной дороги. Мир вокруг тихий и белый. Справа высится груда ящиков из-под каких-то станков. Если их не очень мелко порубить, то они приносят большую пользу. Я размахиваю топориком, весь окутанный снежной канителью,— словно я в чесальной мастерской, где разделывают тюки с прессованным хлопком-сырцом.

Смотрю на груду ящиков и подсчитываю в уме, на сколько дней мне хватит этого топлива — дней на десять, не больше. Топлю только по вечерам, вернувшись из института или библиотеки, и печурку разогреваю лишь настолько, чтобы пар не шел изо рта.

Позапрошлым вечером опоздал на автобус, вернулся пешком; шел холодный дождь пополам со снегом. Пока добрался до родного очага, вымок до нитки. Растапливал печку, а у самого кровь застывала в жилах. Так стучали зубы, а в голове мелькнула мысль: уж не сглупил ли я, отказавшись от теплой меблированной комнаты в гранд-отеле?

Так набил дровами печку, что верхняя конфорка раскалилась докрасна, а от самого меня шел пар, как от горячего минерального источника. Переодевшись, развесил одежду на двух стульях сушиться, а тому «типу», что жалел о теплой комнатушке в гранд-отеле, сказал: «Ты развратник!» И так как на этого «типа» мои слова не произвели никакого впечатления, крикнул: «Идиот! Мой дед преступил веру, сжег икону и распятие, протестуя против несправедливости! Так неужели же я не устою перед искушением! — Тут я сжал кулаки.— Зачем человеку жизнь, если он не в состоянии сохранить свое человеческое достоинство?» Не знаю, внял ли он моим словам или испугался сжатых кулаков, только тип этот исчез — его как ветром сдуло.

Красноватые отблески пламени тускнеют, темнота поглощает их. Так постепенно в моей памяти потускнел и образ Лили. Я прекрасно сознаю, что поток времени поглощает самые дорогие воспоминания. Я стараюсь задержать в памяти любимые черты и в то же время понимаю, как это ни ужасно, что забвение — процесс необратимый.

Бай Рашко

Как-то ранним утром, за три дня до Нового года, кто-то постучал в дверь барака. Это оказался бай Рашко.

— Заходи, заходи,— пригласил я его внутрь.

— Не пугайся, ничего не случилось, но я приехал за тобой. Собирай вещи — и поехали.

— Значит, так?..— сказал я, помолчав, и изобразил подобие улыбки. «Куда теперь?» — подумал я в отчаянии.

Однако бай Рашко вовремя уловил мою растерянность и поспешил меня успокоить:

— Я нашел тебе приличную комнату, у одних старичков.

— О! Весьма благодарен, хотя и здесь мне не так уж плохо. Я жду, что вот-вот освободится место в общежитии...

— Когда оно освободится, ничего не помешает тебе его занять,— усмехнулся он с легкой иронией.— Удивительный вы народ, Евтимовы. Доведись вам тонуть, все равно кричать станете, что все в полном порядке.

Возможно, он был прав, но у меня не было времени подумать над этой фамильной чертой характера. Бай Рашко спешил перевезти меня на новую квартиру. до того, как он может понадобиться шефу.

Комнатка, куда я переехал, тоже находилась в мансарде и была чистой и светлой, окнами на Львиный мост. Хозяева, старик со старушкой, ночевали в соседней комнате, а днем все время проводили на кухне. У них был сын, но он уехал работать крановщиком в Ливию, на четыре года. Взяли они с меня недорого, попросив, чтобы я снабжал их за это продуктами — дом был шестиэтажный, без лифта, с высокими и крутыми лестничными ступенями, и, если бы старикам пришлось каждый день спускаться и подниматься по этой лестнице, они вряд ли бы дожили до возвращения сына.

— Я буду заботиться о вас,— заверил я их,— как если бы вы были моими дедушкой и бабушкой. Кроме того, я люблю ходить в магазины и стоять в очередях.

Это было правдой. Я испытывал удовольствие, делая то, что не было непосредственно связано с машинами, квантовой физикой, такими капризными цефеидами, как Бетельгейзе... И не потому, что все это надоело. Напротив! Когда, стоя в очередях, скажем, за мясом, я слушал разговоры о луке и картошке, мне казалось, что я как бы нахожусь в самой гуще жизни, ближе к реальной действительности. Я рассуждал над тем, что для народа проблемы, связанные с Бетельгейзе, ничуть не важнее, чем проблемы, связанные со снабжением мясом и овощами; убеждался, что государству более необходимы хорошие специалисты в экономике, чем в астрономии. И еще я ду-

мал о том, что (si j'étais roi — будь я королем) уж я бы навел во всем этом железный порядок. А какие выводы можно сделать, если бы я сидел дома и не ходил в магазины и на рынок.

Когда мы спустились с моей мансарды, бай Рашко сказал:

— Хорошо, что все уладилось. Теперь ты не будешь мерзнуть, а я — дрожать!

— Ты что, дрожал от страха? — удивился я.— Почему?

— Как «почему»? — покачал он головой.— Представь себе, что было бы, если бы товарищ Диновский узнал, что ты живешь на складе. Во-первых, мне влетело бы по первое число за то, что я поселил тебя в таком жалком жилище, во-вторых, наказали бы за то, что я распоряжаюсь ведомственными помещениями без разрешения.

— Напрасно ты боялся. В случае, если бы все обнаружилось, ваш покорный слуга сделал бы заявление, что сам наткнулся на пустующий барак и проник внутрь с помощью взлома.

— Гм-м,— протянул бай Рашко, с сомнением пожав плечами.

— Клянусь честью, написал бы и подписался!

Хроника

Вместо того, чтобы послать на стройку, комитет комсомола откомандировал меня в Белоградчик — убирать Астрономическую обсерваторию. В комитете сидели две девушки, на радостях я расцеловал их. Они поняли мою реакцию и не возмутились.

Начался второй курс...

У меня большое горе — умерла мама. Поехал в Горно-Ряхово на похороны. В Н. не заезжал, не было сил.

В начале года записался на музыкальные курсы. Так нравятся уроки рояля, что решил заниматься дополнительно у проф. М. Платить приходится очень дорого, потому вынужден давать частные уроки математики. Но удовольствие, которое получаю, все окупает. Тут и Пифагор и Эйнштейн. Говоря поэтическим языком, рояль — уменьшенная модель мира, над которым машет крылом интегральное уравнение всего Мироздания. День крайне перегружен, но я держусь, хожу для стариков за продуктами, даже иногда играю с хозяином в домино. Зная, какое это для него удовольствие, сжимаю зубы и сажусь в кухне за стол и... «принципиально» проигрываю. После каждого моего «поражения» он чувствует себя как Наполеон при победе под Маренго...

Знакомство с Верой

Занятия механикой, астрономией, музыкой, частные уроки для поступающих в вуз, магазины, комсомольские собрания — все это целиком заполняет мое время. Некогда передохнуть, уж не говоря о том, чтобы вести записи.

Но вот в начале четвертого курса для меня началась весна, хотя для всех именно в это время наступил мрачный период осени и зарядили унылые дожди. Произошли два «неординарных» события. Сначала расскажу об одном. В математическом журнале вышла моя статья, посвященная применению линейных дифференциальных уравнений второго порядка при установлении механических и электрических колебаний. На другой день после публикации меня вызвал декан физико-математического факультета, известный математик профессор Детчев, повел в пустую аудиторию и, указав на черную доску, попросил показать, что я знаю о теоремах Ляпунова и Лапласа, а также и об элементах корреляционной теории.

Я приступил к делу. С помощью формул показал все, что знал, а когда дошел до коэффициента корреляции, он поднял руку и тихо сказал:

— Достаточно. Как вижу, у вас, молодой человек, много пороха в пороховнице. Римляне когда-то говорили: «Орла видать по полету!» Неплохо сказано... Чем вы думаете заняться после окончания института? Я слышал, вы еще собираетесь получить и диплом инженера-механика?

— Да,— сказал я.— Я учусь в МЭИ.

— Если вы захотите сочетать инженерное искусство с физикой, из вас может получиться хороший работник в области экспериментальной физики. В этом случае...— Он помолчал.— В этом случае вы могли бы стать спустя какое-то время моим ассистентом. Я, со своей стороны, тоже мог бы кое-что для вас сделать. За десять лет вы могли бы получить научные степени, то есть в сокращенные сроки стали бы доктором наук. Разумеется, я имею в виду — заслуженно, без «особого» покровительства.

— Разумеется! — подхватил я.— Я скорее готов стать учителем начальной школы, чем получать научные степени нечестным путем.

— Я в этом не сомневаюсь.

— Благодарю.

— Не за что,— он похлопал меня по плечу.— Я беру вас под свою опеку и обещаю, что за десять лет сделаю из вас доктора физико-математических наук. Согласны?

— Согласен,— усмехнулся я.

Он подошел, наклонился и доверительно сказал:

— Я уже кое-что знаю из вашей биографии. То, что вы учительский сын и еще в гимназии писали статьи и печатались.

— Всякую мелочь...— сказал я.

— Божья искра проявляется и в мелочах. А теперь я хочу вас пригласить... в «Видинскую встречу». Вы колеблетесь? Но это вполне приличное заведение. Там собираются математики, и я хочу вас представить... Поедим жареной форели и запьем стаканчиком новосельской гамзы.— Он откашлялся и нарочито строгим голосом повелел:— Идемте же!

В ресторане «Видинская встреча» у математиков был свой стол. За ним уже сидели двое профессоров: Иванов и Христакиев. Христакиев — светило, почетный член нескольких академий. Ему уже за семьдесят... Надо сказать, что в этой высокоинтеллектуальной компании я почему-то совсем не чувствовал себя не в своей тарелке. И все же... Несмотря на похвалы Дечева и благожелательную улыбку Христакиева, меня охватило мрачное настроение. Новосельское вино не доставляло никакого удовольствия. Утешало только одно — сознание, что в этот вечер я сошел с рельсов тягостной «ординарности».

На другой день, словно по заранее разработанному сценарию, вчерашняя история повторилась. Только на этот раз с деканом МЭИ, проф. Кирчевым. Сначала он похвалил меня за статью, а потом, взяв под руку, провел в лекционный зал. Попросил решить задачу.

Кирчев оставил мне две таблицы и, закурив, отошел к окну.

Задачу я решил приблизительно за 12 минут, включая время, потраченное на справку. Ответ был: вероятность, что из 1000 изделий число первосортных находится между 652 и 760, равна 0,99945. Решение задач этого типа основано на использовании интегральной теоремы Лапласа.

— В твои годы я решал подобные задачи приблизительно за 12—13 минут, сейчас я решаю их за 15,— вздохнул он.— А Эйнштейн и Планк щелкали их как орехи — в 2—3 минуты! Что, разумеется, совсем не означает, что мы всего лишь в четыре раза менее гениальны, чем они!— засмеялся он.

Потом он спросил меня, куда я намерен направить свои стопы после окончания института. Я пожал плечами.

Профессор Кирчев был коренастым, с большой головой и каким-то несоразмерно большим лбом. Почти плешивый. А его круглые карие глаза всегда выражали растерянность и удивление.

— Если ты еще не решил, чему отдать предпочтение, то мы предлагаем тебе место почасовика — преподавателя высшей алгебры. Кроме того, мы поможем тебе в сокращенные сроки получить ученые степени. Соглашение оформим договором сроком на десять лет.

Я рассмеялся и тут же глубоко об этом пожалел. Круглые глаза профессора чуть не вылезли из орбит от неописуемого удивления.

— Простите, профессор Кирчев,— поспешил я принести извинения.— Ради бога простите! Профессор Дечев из университета вчера предложил мне то же самое, слово в слово. Вот я и не сдержался...

— Это лишь говорит о том, что мы оба о тебе заботимся, неблагодарный!— В его голосе прозвучала смесь обиды и горечи.

— Я благодарен, но... мне не нужны ничьи заботы. Если человек, получивший два диплома, не сумеет сам пробить себе дорогу в жизни, значит, государство зря тратило деньги на его образование, а сам он зря протирал штаны за партой...

Однажды майским утром, в перемену между двумя лекциями, когда я прохаживался по коридору, ко мне подошла черноволосая красавица, удивительно стройная, в желтом свитере и фирменных вельветовых брюках.

— Меня зовут Вера, я дочь Диньо Диновского, старого друга вашего отца,— сказала она.

— О! — воскликнул я, искренне удивившись.

— Вы что, не верите?

— Конечно! Как мог такой в высшей степени ординарный человек создать такое в высшей степени неординарное произведение искусства?

— Ах, оставьте эти банальности. Вам они не к лицу. К тому же,— добавила она,— я не для того к вам подошла, чтобы выслушивать далеко не лестные мнения об отце.

— А зачем же вы подошли?

— Чтобы пригласить вас на обсуждение моего реферата.

— Вот как? — удивился я.— И какая же тема?

— Функциональность и артистизм в архитектуре.

Поскольку я молчал, выискивая связь между темой и своими интересами, она уточнила:

— Я в этом году кончаю архитектурный.

— Вот оно что... Значит, нас связывает давняя дружба наших родителей.

— Так вы придете?

— Конечно! — воскликнул я.— С превеликим удовольствием, но при одном маленьком условии — что увижу вас не в брюках, а в юбке.

Она так удивилась, что даже порозовела.

— Вам не кажется, что вы переходите границы приличия?

— Видите ли, Вера,— сказал я вместо ответа.— Брюки на женщине действуют на меня, как стакан прокисшего, превратившегося в уксус прошлогоднего вина...

— Велика беда! — пожала она плечами.— Если вы думаете, что ваши взгляды могут хоть как-то повлиять на современных женщин, вы глубоко ошибаетесь. Они всегда будут одеваться по своему вкусу и так, как это им удобно.

В ее тоне послышались легкая злость и вызов. Я рассмеялся.

— Тогда вам не остается ничего другого, как заключать браки друг с дружкой.

— Если вы будете публично болтать подобные глупости, вас станут презирать все женщины,— сказала она, и на лице ее выразилась досада.

— Не сердитесь, Вера, не принимайте сказанное так близко к сердцу. Я ведь всего-навсего пошутил.

— Если пропустить мимо ушей ваше высказывание относительно брюк, то, я бы сказала, вы не лишены некоторой интеллигентности. Среди наших девушек вы котируетесь...

— И что же дают за килограмм живого веса?

— Они ценят вас как сильного математика и хотят услышать, как вы относитесь к художественному образу в архитектуре... Что же касается «живого веса», как вы изволили выразиться, то... Впрочем, вас ведь, кажется, женщины мало интересуют?

— За исключением тех случаев, когда они в юбках.

После обеда я пошел послушать ее реферат. Высказался в пользу функциональности, но непременно в сочетании с художественным образом.

Вера пришла в плиссированной юбке.

Я пригласил ее прогуляться по парку. Она охотно согласилась. Мы выпили кофе и по рюмке коньяку в буфетном павильоне. Вечер был ясный, звездный, но на этот раз у меня не появилось желания смотреть на небо. Звезд как будто не существовало.

Рассказ о Вере

Я, Диньо Диновский, заместитель министра тяжелой промышленности, по образованию — инженер-механик.

Родился в селе Долно-Ряхово. Вместе с отцом Юлиана закончил энскую гимназию. Мы учились в одном классе и сидели за одной партой. Это наше старое знакомство побудило меня позаботиться о его сыне, когда тот закончил МЭИ и физико-математический факультет университета. Есть такая поговорка: «Сделай человеку добро — он отплатит тебе злом», но, с другой стороны: «Чему быть, того не миновать!»

И уж раз я начал с поговорок, то следует привести и такую: «Яблоко от яблони недалеко падает». А отец Юлиана всегда имел левоэкстремистский уклон. Поддавался своим увлечениям с удивительным фанатизмом, за что и был в свое время снят с руко-

водящего поста. Когда в его родном селе кооперировали землю, он сплошь и рядом нарушал демократические методы, не желая строго придерживаться принципов добровольности. Помню, как однажды, еще в школьные годы, на заседании кружка он жестоко избил одного из легионеров, даже не предупредив о своих намерениях руководство РМС [1]. Хорошо еще, что легионеры не предприняли ответную акцию, иначе мы, будучи неподготовленными, наверняка проиграли бы «сражение». Во время коллективизации, клеймя противников кооперативного строя, Иван красной краской писал на их воротах: «Здесь живет кулак — враг народа». Нежелающих вступать в ТКЗХ он снимал со снабжения, не разрешал отпускать им керосин и деготь. Подобные методы борьбы чужды нашей морали, нашим понятиям о демократии и гуманизме, дискредитируют партийную политику. Мы должны придерживаться методов разъяснения и убеждения. Это наше оружие. А красный террор применяется только в экстремальных ситуациях, в случаях крайней необходимости. Поэтому позднее околийский комитет партии осудил ошибки Ивана Евтимова и снял его с поста председателя ТКЗХ.

О его фанатизме красноречиво говорит еще один факт. В 1946 году партией было принято решение послать в СССР на специализацию группу наших товарищей, имеющих среднее образование. Энский комитет партии выдвинул две кандидатуры — мою и Ивана Евтимова. Я согласился, потому что сознавал, насколько важна роль интеллигенции в построении социалистического общества. Мы должны были создать с в о и кадры инженеров, химиков, архитекторов и других специалистов, на буржуазных спецов рассчитывать не приходилось. Но к этой элементарной истине Евтимов остался слеп. Он отказался под предлогом, что крайне необходим своему кооперативному хозяйству. Будто без него все бы развалилось, будто не могли найти ему замену!.. Что же, в конце концов, из этого вышло? Я стал и н ж е н е р о м, а он вернулся на место учителя горно-ряховской семилетки.

Но когда ко мне пришел Юлиан и попросил помочь ему — он хотел одновременно учиться на двух факультетах разных учебных заведений,— я сделал все, что было целесообразно в этот момент, и министр просвещения дал свою положительную резолюцию. Справедливости ради нужно сказать, что парень мне очень понравился: красивый, энергичный, жаждущий знаний и дисциплинированный — не сует носа куда не следует... Только взгляд его настораживал: то твердый, то дерзкий — точь-в-точь как у отца — то мягкий, словно бархатный, то загадочный. Один бог знает, какие мысли бродили в голове этого юноши.

Есть одна поговорка, арабская или турецкая, не знаю, да это и не важно, которая гласит: чтобы узнать человека, нужно с ним пуд соли съесть. Сейчас для этого существуют определенные службы, отделы кадров.... и все же для того, чтобы до конца узнать человека, надо съесть с ним хотя бы солонку. С отцом Юлиана мы так или иначе такую солонку соли съели. А вот с самим Юлианом не довелось. Я доверился первому впечатлению, забыв, что оно может быть обманчиво. Мало ли мужчин влюбляются в красавиц с первого взгляда, а потом всю жизнь мучаются и клянут себя? Уже тогда ко мне поступил сигнал, который должен был бы насторожить. но, как я уже говорил, чему быть, того не миновать, я оставил его без внимания, истолковал ошибочно. А парень уже тогда показал коготки.

Это было в первый год его обучения, в самом начале. По каким-то причинам этот герой остался без жилья, и Рашко, мой шофер, устроил его в бараке, принадлежавшем транспортному отделу. Я же узнал об этом только в конце ноября от второго замминистра машиностроения, а тот — от своего шофера. Но это не важно. Узнав, я подумал: «Ну и гордец! Не пожелал прийти ко мне и попросить, чтобы я подыскал ему жилье, а поселился на каком-то складе, да еще когда на носу зима! Что за ребячество?» Возмутившись, я поднял было телефонную трубку, но... «Зачем, думаю, спешить? Пусть он столкнется и с оборотной стороной нашей жизни, пусть научится ценить добро», а в записной книжке сделал пометку: в конце года вернуться к этому вопросу. Но когда подошло время и я навел справки, оказалось, что Юлиан уже подыскал другое жилье.

Сначала я было подумал, что юноша не обратился ко мне за помощью и поселился в бараке из гордости — а надо сказать, что Евтимовы по характеру люди гордые, легко на поклон не идут. Потом вспомнил его бархатный, мягкий взгляд и решил, что он просто постеснялся обременить меня личными просьбами... Только теперь пони-

[1] Рабочий молодежный союз.

маю истинную причину. Разумеется, наследственные, родительские черты не пустые слова, они что-то вроде бомбы замедленного действия, которая в самый неожиданный момент может взорваться в поведении следующих поколений и произвести никем не предвиденный урон. Так вот, теперь я понимаю, что его поведение — это отнюдь не проявление гордости или стеснительности, а чистейший эгоизм, нежелание считать себя кому-нибудь обязанным. Он не обратился ко мне за помощью лишь потому, что не хотел связывать себя никакой благодарностью. Вы понимаете? Вот в чем истина!

Причин, почему я впал в легкомысленное благодушие, много, но я хотел бы выделить самую главную: в этом юноше было море обаяния, и этому обаянию все мы и заплатили дань. Для того чтобы вы могли представить себе силу этого, я бы сказал — «магического» обаяния, достаточно сказать, что даже моя дочь потеряла голову, а она женщина современная, независимого нрава, эмансипированная до мозга костей, образованная, имеющая профессию... Она тоже была ослеплена!

Вообще, что касается моей жены и дочери, то они оказались самыми настоящими ротозейками. Настолько были очарованы, что решили, будто он сказочный принц, одаренный чуть ли не всеми человеческими добродетелями. С того момента, как моя дочь стала приглашать его в гости, ходить с ним на прогулки, в кино и на концерты, его достоинства стали постоянной темой наших разговоров — за обедом и ужином. Началось это приблизительно со второй половины последнего курса, когда обоим предстояло получить дипломы: ему диплом инженера-механика и физика-математика, а дочери — архитектора.

Я тоже оказался простофилей. Может быть, повлияла атмосфера обожания, царившая в доме? Кто знает! Лично мне больше всего импонировали его скромная манера держаться, трудолюбие и прежде всего «перспективность».

Когда он получил оба диплома, я лично предложил ему работу заместителя начальника одного из отделов нашего министерства. Это была первая ступенька, откуда он мог шагнуть либо на вершину робототехники, либо занять руководящий пост во Внешторге.

Научную деятельность я не считаю бог знает какой перспективной. Что она может дать? Самое большее — профессорскую кафедру. А у нас профессоров хоть пруд пруди. И что они получают? Возможно, деньги на «Ладу» он и может накопить за полтора года, но только при условии, что не будет ни есть, ни пить. Другое дело — генеральный директор крупного внешторговского предприятия: заграничные командировки, представительства, заключение сделок на миллионы левов. Словом, то, что надо.

Такие мысли приходили мне в голову потому, что — как и следовало ожидать — дочь моя влюбилась без памяти и я волей-неволей, заботясь о ней, должен был думать и о будущем своего зятя. Вера была красавицей и ни в чем не уступала Юлиану. О ее воспитании я побеспокоился с раннего возраста, она умела себя держать, играла на рояле, прилично говорила по-русски. Архитектура была для нее временным занятием... Появятся дети — и прости-прощай профессия! У женщин она чаще всего превращается в бремя, под тяжестью которого семейство трещит и лопается по швам. Но когда я заговорил с Юлианом о его будущем, у меня просто глаза на лоб полезли, ей-богу! Он, к моему превеликому удивлению, оказался в высшей степени непрактичным человеком, я бы даже сказал, легкомысленным: голова его была забита всевозможными завиральными идеями. О министерстве он и слышать не хотел.

— Чиновником? — воскликнул он смеясь.— Да ни в коем случае! И не заикайтесь, чиновничье место я буду обходить за сто километров...— и при этом смотрел на меня такими изучающими глазами, словно я был музейным экспонатом.

— Что же тогда?

— Только на производство и в науку!

— И как ты себе это представляешь? — спросил я.

— Вот когда получу диплом, тогда и буду думать. Но скорей всего — работа инженером и почасовое преподавание астрономии или, в худшем случае, высшей алгебры. Посмотрим... Меня и электроника привлекает, точнее — микроэлектроника. Позапрошлой ночью мне приснился сон...

— Какой сон? — включилась в разговор моя жена.

— Микроэлектронный? — усмехнулся я мрачно.

— Да,— улыбнулся Юлиан моей жене.— Представьте, будто я просыпаюсь и вижу возле своей кровати...

— Кого? — спросила дочь. Выражение глаз ее говорило о том, что сама она целиком и полностью на стороне электроники.

— ...существо в форме зонтика с четырьмя ручками, вернее ножками, похожими на человеческие, да еще на роликах. На спине, покрытой оцинкованной жестью, масса разных ящичков, коробочек и термосов...

— Инте-рес-но,— протянула жена.

— Очень! — кивнул Юлиан.— Но для того, чтобы вы могли понять этот сон, я должен рассказать небольшую предысторию. Вера знает, я живу у одних старичков — деда с бабкой,— замещая, так сказать, их сына, который никак не вернется из Ливии. Я хожу для них в магазин, покупаю молоко, хлеб, брынзу, иногда по порции сосисок или пакетик вьетнамского кофе. Вечерами играю со стариком в домино, чтобы доставить ему удовольствие. Так они забывают, что покинуты единственным сыном... да, в сущности, и всем миром. Теперь я стал меньше уделять им внимания, а скоро, быть может, и вовсе перееду, и они останутся на своей мансарде одни...— При этом Юлиан многозначительно посмотрел на мою дочь, а она, храбро выдержав его взгляд, почему-то немного покраснела.— Так вот,— продолжал Юлиан.— Я просыпаюсь и вижу возле кровати это существо. И как будто я это не я, а тот самый старик — несчастный, одинокий человек, о котором я вам рассказывал. Во сне ведь и такое бывает...

— Да, да! — подтвердила жена.— Со мной тоже случается!

— Вот видите! К тому же существо это вдруг заговорило человеческим голосом, разумеется металлическим. «Не грусти,— говорит оно мне,— старик, на жизнь надо смотреть весело, до самого последнего вздоха. Я теперь буду замещать вашего жильца, Юлиана».

— Ты собираешься сконструировать робот для одиноких людей?— спросила Вера.

— Умница, догадалась,— ласково взглянул на нее Юлиан.— И поэтому я хочу попросить, чтобы меня послали стажироваться на завод микроэлектроники.

— А как же быть с твоей основной специальностью инженера? С астрономией и высшей алгеброй? — спросил я.

— Посмотрим.— Он наклонил голову и впервые обдал меня тяжелым, открыто недружелюбным взглядом.— Я на чужое место не сяду... Что же касается министерства, и разговора быть не может!

«Ишь ты, волчонок! — подумал я.— Намекает, да еще каким тоном!»

И тут впервые мне стало грустно за дочь, страшно за ее будущее. Я всегда подозревал, что в характере Евтимовых есть что-то от «леса». Ведь бабка Юлиана слыла самовилой [1]! Да что там говорить, дед его был расстригой и мясником, у отца, с его перегибами, характеристика подкачала... Бедная моя дочь!

Мне кажется, взаимный интерес и тяга друг к другу возникли у них, когда Юлиан стал активно интересоваться архитектурой. За короткое время этот тип — очень способный, но абсолютно неуравновешенный — так поднаторел в архитектуре, что стал помогать Вере в расчетах и чертежах. То же получилось и с музыкой. Оказалось, что Юлиан блестяще играет на рояле. Черт подери, и откуда у него время заниматься еще и музицированием?! Словом, вскоре они увлеклись игрой в четыре руки.

Но кроме общих интересов большую роль в их сближении сыграла моя супруга. Она не только не предостерегла Веру, но, наоборот, приглашала парня в гости, оставляла их наедине... пока наконец не случилось то, что и должно было случиться при подобных обстоятельствах.

Я счел своим долгом серьезно поговорить с Юлианом и как-то вечером пригласил его в свой кабинет.

— Юлиан,— сказал я ему,— насколько я знаю, ты и моя дочь вот уже некоторое время живете как муж и жена... Не думаешь ли ты, что с моральной точки зрения это... Словом, что вы должны как-то узаконить ваши отношения? В порядочных семьях такое недопустимо...

Он, представьте себе, пренебрежительно усмехнулся, подумал, а потом заявил:

— Если Вера хочет выйти за меня замуж, я не имею ничего против. Можем оформить брак. Но до этого момента вопрос о женитьбе не вставал, и поэтому я должен согласовать все с ней.

Когда я это услышал — у меня в глазах потемнело. В наше время девушки сна-

---

[1] Лесная русалка *(фольк.)*.

чала спрашивали своих «ухажеров», каковы их намерения, обещают ли мужчины на них жениться, а уж потом разрешали... А теперь... тьфу! Сходятся, все равно что животные. И это произошло в моем доме с моей собственной дочерью! Куда катится наш мир, черт подери?!

Через пятнадцать минут Юлиан вернулся и учтиво меня уведомил, что Вера ничего не имеет против того, чтобы расписаться, и сделают они это как-нибудь в свободное время.

Так или иначе через три недели они узаконили свои отношения.

Но с того момента, как они расписались, оба почему-то резко изменились, и, я бы сказал, в худшую сторону.

Я впервые услышал, как Юлиан спорил с Верой по вопросам архитектуры. Разумеется, в этом нет ничего дурного, пусть спорят! Но манера, тон этого спора мне не понравились. Дочь защищала высотное строительство, а Юлиан выступал против. Он утверждал, что высотное строительство обезличивает людей, а потому — антидуховно и антигуманно. Вера возражала, обвиняя супруга в допотопности вкуса и нежелании считаться с современностью. «Современность,— говорил Юлиан,— создается людьми, и от них зависит, какой ей быть — красивой или уродливой». Она смеялась над ним, называя наивным мечтателем, не понимающим объективных законов развития, к которым следует приспосабливаться. Он доказывал, что подобные взгляды ведут к пораженчеству и поддерживать их могут лишь люди с ограниченными возможностями и конвенциональным мышлением. Дочь моя возмутилась: «Ах, так, значит, МЫ не такие одаренные личности, как ТЫ, МЫ ограниченные! — И она пошла в свою комнату, но, прежде чем захлопнуть за собой дверь, зло бросила:— Да, мы ходим по земле, а не витаем в облаках, как некоторые провинциальные фантазеры!». А Юлиан крикнул ей вслед, что бог не дал вам крыльев...

В таких случаях я пытался вмешаться:

— Ты ведешь себя грубо, так, как когда-то твой отец, напрасно обижаешь людей...

— Мой отец держался грубо и был беспощаден с врагами народа! — резко отвечал он и всегда переходил в наступление. Очень не любил, когда я говорил о его отце, и всегда его защищал.— А ты, уважаемый тесть, этих врагов защищаешь! Неужели тебе до сих пор не ясно, что, если бы мой отец и его сподвижники не проявили непримиримости к классовому врагу, кооперирование села длилось бы до второго пришествия. И мы бы дорого за это расплачивались!

— Как ты смеешь так разговаривать? — возмущалась жена.— Как-никак он отец твоей жены и, кроме того, заместитель министра! — С тех пор как в нашем доме стали говорить «откровенно», и особенно после того, как молодые перестали ладить, моя жена в корне изменила отношение к Юлиану.

— Какое это имеет значение? — спрашивал он с ядовитой усмешкой.— И с каких пор моя уважаемая теща стала вмешиваться в разговоры о политике? Еще недавно ее интересовали совсем другие вещи. С кем танцевала на приеме в энском посольстве жена торгового представителя X или какие ковры в гостиной директора У — настоящие, персидские, или искусственные... А теперь она встревает в серьезные мужские разговоры... Как объяснить эту разительную перемену?

Странные и противоречивые чувства вызвал у меня Юлиан.

Зная его отца, я должен был бы отнестись к нему с недоверием и даже с известной долей враждебности. Должен был бы! Однако не могу! И что уже совершенно невероятно: вместо того, чтобы его невзлюбить, я, наоборот, стал как-то мягче и уступчивее...

Правильнее было бы сказать, что чувство мое к нему было не противоречивым, а просто хорошим. Он мне, черт подери, был симпатичен, хотя я и сознаю, что все же он еще тот фрукт. Поэтому спустя некоторое время, когда он получил звание доктора математических наук, я ему сказал:

— Вот что, милый зять, хватит тебе заниматься автокарами и преподавательской деятельностью, пора браться за что-нибудь более серьезное и более перспективное! В министерстве открылась вакансия на пост начальника Управления робототехники. Это высокая должность, но она тебе по плечу. Когда-нибудь она может привести тебя к креслу министра.

На эти мои слова он наклонил голову — не в знак благодарности, а как бы готовясь меня боднуть. Его отец тоже когда-то принимал такую же позу.

— Благодарю,— говорит,— за внимание и доверие, но я в этом не нуждаюсь.

Если помните, я вас в свое время предупреждал, что не стану протирать штаны в кабинетах министерства и кресло министра меня не соблазняет.

— Что же тогда тебя соблазняет, мил человек? — вышел я из себя.— Может, все-таки есть хоть что-то в мире, что тебе по душе. Как я понимаю, моя дочь тебе тоже больше не нравится! Что ты за человек? Куда ты идешь?

Он мне ответил так:

— Я иду туда, куда ведут меня ум и сердце, дорогой тесть! А вот куда они меня приведут, этого я не знаю. Им дана полная свобода.

— Ладно,— говорю я,— значит, на ближайшее время у тебя нет никаких планов.

— Наоборот,— отвечает,— есть! По крайней мере, на ближайшие месяцы.— И усмехается:— Я собираюсь поехать в Смолянскую обсерваторию и написать там небольшой труд, который мог бы средствами математики объяснить образование новых звезд! Написав этот труд, я смогу, между прочим, претендовать на место старшего научного сотрудника...

— Ты собираешься уехать в Смолян? — Я приподнялся со стула.— А ты спросил свою жену, согласна ли она бросить все и затеряться с тобой в этой глуши?

— Сейчас спрошу,— ответил он мне преспокойно.— Потерпите десять минут.

И пошел спрашивать.

— Стой! — остановил я его.— А если она откажется? Что ты будешь делать?

— Мы это обсудим.

— За те же десять минут?

— За десять.

— Да идите вы ко всем чертям!

Тут уж я действительно вышел из себя.

— За десять минут решаете пожениться! За столько же — разойтись. Знать больше о вас ничего не желаю!

Я схватил с вешалки шляпу и пальто и ушел. Этот разговор состоялся днем, во время обеденного перерыва. Когда же я вечером вернулся, все, вероятно, было уже решено. Жена ходила с красными, опухшими глазами — она явно плакала. Вера играла на пианино. На лице у нее было выражение хитрости и удовлетворенности, как у кошки, которая здорово выдрала нахального кота.

— Ну, что вы решили?

— Мы решили развестись,— сказала Вера.

— Он ушел,— вздохнув, добавила жена.

— То есть как?!

— А так! — бросила Вера.— После того как мы выяснили отношения, он собрал вещи, вызвал грузовое такси и уехал. Завтра он сообщит мне по телефону свой адрес... Мы остаемся добрыми друзьями.

Вот что за человек Юлиан Евтимов! Ты ему: хороший дом, хорошую жену, прекрасную работу, блестящее будущее... А он поворачивается к тебе спиной. Пойди его разбери.

2. В городе Н. спустя семнадцать лет

Встреча

Поезд прибыл на станцию Н. Я вышел из вагона и был приятно удивлен: ни тебе секретарши с букетом цветов, ни заместителя директора с дежурной улыбкой, ни председателя профкома, спешащего произнести краткое приветственное слово. «Ну, слава богу,— подумал я удовлетворенно.— Верно, запоздали или случилось что-то непредвиденное!» И еще: «Нынче судьба ко мне милостива. Дай бог, чтобы это было доброй приметой».

Позднее мне пришлось войти в роль мастера и терпеливо ждать заводской «джип», который отвез бы меня в город.

Я обошел территорию вокзала. Все помещения под навесами были забиты продукцией керамического завода, ждавшей отправки. На запасных путях я насчитал семь вагонов, груженных машинами для ЗПЦМ. На всем лежала печать нерадивости, бесхозяйственности и лени. Хотя обеденное время еще не подошло, возле вагонов и навесов не было ни души; царила гнилина, пахло нефтью и перегретым железом. Солнце нещадно палило.

Я сел на скамейку и закурил. Семнадцать лет тому назад с этой станции я уехал в столицу — сдавать экзамены в институт. И вот я снова здесь! За последние годы я бывал в Горно-Ряхове несколько раз — на похоронах матери, потом на похоронах отца и еще... уже не помню, по каким делам, может, в связи с продажей дома (его купили соседи). Выходил в окружном центре, а оттуда добирался до родного села на красном автобусе по черной ленте нового шоссе. Так уж получалось, что через станцию Н. я всегда проезжал транзитом.

Какая-то внутренняя потребность, если хотите — неудовлетворенность, пришпоривала меня все эти семнадцать лет: жажда творить, познавать, изменять и фантазировать, разумеется, в меру своих сил и возможностей. Я не психолог, а потому не могу проанализировать, чем именно была вызвана эта моя неудовлетворенность. Но чувствовал я ее очень остро. Особенно когда попадал в обстановку застоя, рутины, невозмутимого спокойствия, тишины и лености. К чему должна была привести меня эта неудовлетворенность? К добру или злу? Эти вопросы я не смел себе задавать. Потому что, стоило их задать, как мне начинало казаться, что сам я подобен сосуду без дна — сколько бы в него ни наливали, он никогда не наполнится доверху. Возникало такое чувство, будто счастливое состояние, называемое удовлетворенностью, никогда меня не посетит.

С этой станции я уехал когда-то с аттестатом об окончании гимназии, вернулся доктором физико-математических наук. За это время я написал две книги о происхождении звезд и рождении новых и еще целый ворох статей по этому же вопросу. После окончания МЭИ и университета молодым инженером поступил на завод мотокаров, через четыре года стал начальником цеха, ездил на специализацию в Советский Союз, четыре года жил на Западе (представлял Техноимпорт), руководил монтажными работами на двух металлургических заводах и вот теперь назначен директором завода по переработке цветных металлов... Если это не деятельность, не успех, так что же?!

Может быть, чувство неудовлетворенности можно объяснить неудачами в личной жизни? Кто знает? Но вертеровских трагедий я, по крайней мере, не переживал. В душе теплится лишь воспоминание о романтической, почти детской любви и легкомысленном браке. Остальные, случайные, связи не оставили во мне и следа.

Откуда это состояние общей, я бы сказал глобальной, душевной неудовлетворенности?

Две недели назад генеральный директор объединения «Цветная металлургия» пригласил меня посетить энский завод-гигант по переработке цветных металлов, чтобы я мог предварительно познакомиться с трудностями, которые ожидали меня при завершении монтажных работ. Положение было, прямо скажем, отчаянное. Потом мы обедали в ресторане гранд-отеля «Республика». Нас сопровождал замдиректора ЗПЦМ инженер Штерев. Сутулый человек с лицом христианина эпохи раннего христианства.

Пообедав, мы проехали вдоль главной улицы города. Хотя витрины новых магазинов сильно изменили его облик, меня все же охватило чувство умиления, словно я попал в отчий дом после долгих лет отсутствия, ведь как-никак я провел здесь школьные годы! Если бы рядом не сидел генеральный, я бы непременно попросил шофера остановиться, вылез и пошел бы пешком — хотелось пройтись ладонью по шершавой стене какого-нибудь старого дома. Я расчувствовался, вспоминая прошлое и заново переживая время своей первой любви. Но генеральный, пересилив дремоту, в которую его клонило после сытного обеда, начал разбирать причины отставания монтажа, и я вынужден был вернуться к действительности, отмахнувшись от прошлого. Мне еще предстояло с ним встретиться.

Сквер возле станции

Не успел я сойти с поезда, как мне стали попадаться мои старые «знакомцы». Первым меня встретил станционный скверик. В тот день, когда я уезжал в Софию сдавать экзамены и, поджидая поезд, все ходил вокруг этого скверика и тяжело вздыхал, он весело улыбался своими пестрыми цветами. Меня провожала девушка, Лили, которую я еще недавно очень любил. Несколько месяцев тому назад она упала и повредила позвоночник. Теперь Лили ходила согнувшись, волоча ногу и опираясь на палку. Стыдно сказать, но любовь моя с этого момента стала испа-

ряться, на смену пришло чувство сострадания. Я знал, что получается как-то нечестно, но ничего не мог с собой поделать.

Так вот... Лили пришла меня проводить. После случившегося несчастья бедняга привязалась ко мне еще больше. Оба мы делали вид, что ничего не изменилось, хотя она отлично все понимала и не строила никаких иллюзий относительно нашего будущего. Мы медленно прогуливались вокруг садика, разглядывали цветы и продолжали вводить друг друга в заблуждение. Я даже уверял Лили, что буду приезжать к ней на субботу и воскресенье, а она умоляла не совершать никаких безумств, а учиться. «Да и незачем тратить столько денег,— говорила она.— Для этого есть каникулы. К тому же на будущий год я тоже приеду поступать на филологический, и мы будем видеться каждый день... Верно же?» — «Конечно! — отвечал я.— Но год — это целая вечность!» — «Он пролетит, ты и сам не заметишь. Amor omnia vincit — любовь все побеждает!»

Пока я мотался возле сквера, к одному из навесов подкатил грузовик. Из кузова, пробудившись от сна, выскочили трое рабочих, лениво зафырчал погрузчик.

Я снова пошел в аппаратную. Начальник вокзала по-прежнему дремал, его помощник стриг ногти, а телеграфист мрачно листал станционный журнал. «Ну погодите, я призову вас к порядку! — пригрозил я им мысленно.— Семь неразгруженных вагонов стоят на запасных путях, бездельники!» Сам же учтиво поклонился (когда я зол, я всегда становлюсь очень вежливым, такая уж у меня привычка).

— Простите, пожалуйста...— начал я.

— Вам что, делать нечего? — перебил меня раздраженно телеграфист.

— Напротив! — Я миролюбиво улыбнулся.— Именно делом я и хочу заняться.

При этих словах начальник вокзала, стряхнув дремоту, вытаращил на меня глаза. А я подумал: «Этот амортизированный осел еще целую неделю не приступит к разгрузке вагонов с м о и м и машинами!» — и чуть было не скрипнул зубами. Однако пришлось промолчать — ведь для них я был мастером, и никто не догадывался, что от меня во многом зависит их дальнейшая судьба.

— Не найдется ли у вас какого-нибудь садового инструмента — мотыги, скажем, или граблей?..

— Зачем они вам потребовались, любезнейший? — спросил начальник и посмотрел на меня как на ненормального.

— Я хочу покопаться в скверике,— ответил я.

— Скверик принадлежит станции и не является площадкой для игр.

Пришлось клятвенно заверить, что я не испорчу станционного недвижимого имущества и верну им сквер в полном порядке.

Они дали мне инструмент, и я принялся за работу.

Таким образом я вдохнул жизнь не только в увядшие растения, но и в самые дорогие для меня воспоминания.

А служащие вокзала, боюсь, приняли меня или за маньяка, пристрастившегося к садоводству, или за чокнутого.

Шофер джипа

Когда мы ехали со станции в город, шофер джипа меня обхамил, за что я вполне справедливо решил его проучить — заставил под дождем топать до города.

Разъяренный, он явился в гостиницу «Стол и ночлег» и готов был вцепиться мне в глотку, м н е — мастеру Юли. Но, узрев меня в официальном костюме за накрытым столом, до того растерялся, что разом забыл о том, как я угнал его джип. Он «проглотил» свой гнев — как же можно гневаться на начальство? Сводить счеты с самим директором, по его мнению, было бы верхом идиотизма. Такие подлецы со всеми сводят счеты, но только не с вышестоящими.

Грубость подобных людей не задевает моего честолюбия, но возмущает во мне Человека, призванного самой природой радоваться красоте. И так как я не всепрощающий христианин, а внук попа-расстриги, поднявшего руку на самого бога, и сын коммуниста, я не могу стоять со скрещенными руками и наблюдать, как хамство вредит Человеку, мешает радоваться красоте. Сначала я решил наказать этого шофера, но потом раздумал. Здесь, на заводе, из-за отставания с монтажом обстановка была как на войне, рабочих рук не хватало, и потому не было времени для педагогических опытов. Я распорядился, чтобы его послали на станцию наблюдать

за разгрузкой оборудования и доставкой его на завод. Там «свой брат» не больно-то ему позволит размахивать кулаками и материться, а если что — оплатит той же монетой.

День первый. Знакомство с Маей

В день моего первого посещения завода генеральный директор на обратном пути только и говорил о плачевном состоянии дел и пытался разобраться в причинах катастрофического отставания с монтажом. По его мнению, главным виновником был прежний директор — кутила и, мягко выражаясь, дамский угодник. К тому же он был слишком либерален, а здесь требовалась твердая рука. Я слушал его рассеянно, только иногда кивал в знак согласия. У меня обо всех этих вещах сложилось свое мнение, но не хотелось пускаться в длинные споры.

Он бубнил, в окне возникали и стремительно проносились мимо зеленые фрагменты бескрайнего летнего пейзажа, а я думал о прошедших годах, спрашивал себя: когда же наконец перестанут делать из меня затычку в местах прорыва и дадут в мое распоряжение научно-исследовательский институт, где бы я мог работать над интересующими меня проблемами, или оставят в покое, разрешат спокойно заниматься галактикой? К этому времени я уже сказал все, что знал о старых и новых звездах — я на них насмотрелся, но наступил час поговорить с галактиками и черными дырами на языке компьютеров.

Не так давно мне предложили заведование кафедрой в университете, затем место старшего научного сотрудника в институте по ядерной энергетике и, наконец, из Академии сообщили, что открылось вакантное место заместителя директора Смолянской обсерватории. Я сел и стал размышлять, что же предпочесть, которая из этих «служб» поднимет меня на новый уровень познания... И именно в этот момент меня вызвали в министерство и спросили: не соглашусь ли я заняться монтажом завода по переработке цветных металлов в городе Н. «В городе Н.?» Это подействовало на меня магически, и тем не менее я нашел в себе силы отказаться.

Тогда вызвали меня для разговора в самое ответственное учреждение, где между прочим уведомили, что многие отрасли отечественной тяжелой промышленности испытывают острейшую нужду в медном и цинковом прокате и в бронзе. Мы разговаривали о различных вещах, и — опять же между прочим — меня спросили: могли бы эти нуждающиеся отрасли рассчитывать на м о й прокат, скажем, в начале будущей весны?

Монтаж машин, как я смог убедиться своими глазами, был доведен только до половины. От меня требовалось за шесть месяцев сделать то, что мой предшественник с трудом успел сделать за год. Что ж, прокат цветных металлов очень важен, и не было нужды меня в этом убеждать! Я ответил, что «нуждающиеся» отрасли тяжелой промышленности могут на меня рассчитывать.

Сразу же после моего приезда я решил дать бой ловкачам и скептикам. Пусть рабочие и служащие завода поймут, какие им предстоит решать задачи, а я испытываю удовольствие от первого удара по равнодушию и расхлябанности.

Явился я на завод за час до начала работы. Певчие птички только что пробудились в соседнем парке и принялись насвистывать песенки; края перламутровых облаков, которые гнал по небу утренний ветер, едва порозовели. Я отдал распоряжение дежурному телефонисту вызвать по тревоге руководство завода — моего зама Штерева, главного инженера и председателя профкома. Когда они явились в мой кабинет несколько озадаченные и с кислыми лицами (исключая Штерева), я изложил первую меру, направленную на укрепление трудовой дисциплины вверенного мне коллектива. Главный инженер отнесся к этому равнодушно, Штерев искренне встревожился, а председатель профкома, неодобрительно покачав головой, заявил, что, прежде чем принимать крутые меры, следовало бы обсудить их предварительно на партбюро и на дирекции; на это я возразил, что «крутые» меры будут до тех пор, пока мы не покончим с позорным отставанием, и никаких «консилиумов» проводить не стану. Он тотчас проявил полное понимание, откашлялся и деловито принялся вертеть телефонный диск — собирать членов профкомитета.

К сожалению, «жатва» моего первого удара оказалась слишком богатой. Опоздал почти весь инженерный состав, сотни рабочих явились на свои места со значительным опозданием. Я сразу же подписал приказ о наказании виновных и дал распоряжение вывесить объявления, что и впредь все нарушения дисциплины будут стро-

го наказываться. Не избежала «последнего предупреждения» и секретарша Штерева, которая самовольно покинула канцелярию — оказалось, в этот день у нее была свадьба. Свадьба свадьбой, но чтобы уехать, она должна была получить разрешение.

Вечером, договорившись с партийным секретарем, мы созвали весь коллектив завода на митинг. Я не мастак толкать речи и потому все, что думал, высказал собравшимся коротко и напрямик. «Государству,— сказал я,— срочно требуются медный и цинковый прокат, без него не может существовать наша тяжелая промышленность, поэтому с сегодняшнего дня на заводе вводится особое положение, вплоть до окончания монтажа. Будем работать с максимальным напряжением. Малейшие нарушения трудовой дисциплины будут сурово наказываться. Я хочу, чтобы мы договорились честно и по-мужски: кто в состоянии выдержать этот режим, пусть остается, кто не в состоянии, пусть уходит, так сказать, по взаимной договоренности. В добрый час! С теми, кто решит работать в полную силу, мы будем дружить, а кто будет сачковать, ловчить и хныкать, заранее предупреждаю — не пройдет! Даю полчаса на размышление. Кто остается, пусть идет в столовую, кто уходит с завода, пусть собирает вещи. Мы никого не держим!»

К чести рабочего класса, только семеро выразили желание покинуть завод. Мы расстались с ними, что называется, полюбовно.

Тем, что пошли в столовую, я распорядился выдать за мой счет по сто граммов водки и хорошую закуску — на войне, как на войне. По-мужски, без рассусоливания и нытья!

А в полдень этого «мужского» дня я влюбился в жену своего заместителя, Маю Штереву.

Когда я увидел Маю, я вдруг осознал, вернее почувствовал, что передо мной женщина, которую я подсознательно искал всю жизнь и наконец нашел! Сердце мое запело гимн сотворения чуда, а мир наполнился божественными звуками бетховенской музыки.

Моя любовь к Лили, какой бы романтикой она ни была окутана — вечерние прогулки, любование звездами, поэтическое настроение, блаженная беззаботность,— лишь юношеское увлечение. Лили любила меня всей душой, я же влюбился из потребности в кого-нибудь влюбиться, она мне нравилась больше других девушек.

С Верой меня связывала постель и ничего больше, мы стали жить вместе, потом поженились, но между нами никогда не было глубокой духовной связи. Больше того, ее и не могло быть. Наши вкусы, взгляды на жизнь были слишком разными. Ей, например, нравились высотные здания, она видела за ними будущее, а я их ненавидел. Она упивалась Гершвином, я же боготворил Моцарта. Когда мы развелись, у меня было такое чувство, будто я вышел наконец на воздух из душной комнаты.

Но откуда мне знать — может, Мая походила на нее? Может, эта любовь «с первого взгляда» обманывала меня.

Мир с появлением в моей жизни Маи стал во сто крат краше. Я забросил все привычные занятия и ночные бдения и снова вечерами был поглощен созерцанием неба. Мне не хотелось возвращаться в дом. Долгие часы я проводил на винограднике бай Сандо. Поднявшись на взгорок, засаженный розовыми кустами, я расстилал на траве пиджак и опускался на землю. Как в детстве, когда я жил у дядюшки Первана и спал под открытым небом возле овечьих загонов.

Я лежал на траве и разглядывал небесный купол. Царица Кассиопея сидела на своей серебряной скамеечке, мотала пряжу и слушала скучную болтовню своего царственного супруга Кифея. Арктур напрасно протягивал руки к волосам Вероники. Мрачный бык с недовольным видом уставился на мир красным глазом Альдебарана.

Мне было интересно, как Мая относится к супружеской верности? Меня это живо интересовало, потому что кроме нас двоих существовал третий — супруг Штерев, и он стоял между нами, как олицетворение совести.

Осенние мотивы

1

В начале октября начались проливные дожди. Им не было конца. После сухой весны и засушливого лета осеннее небо затянуло тучами, дороги развезло. Даже то немногое, что уродилось, потонуло в жидкой грязи, да и некому было собирать — техника буксовала.

Снабжение продуктами — овощами, мясом, брынзой и так далее — становилось все хуже. Скудным стало меню в заводской столовой. Одна капуста да рисовый суп. Рабочие стоически переносили лишения, а вот строители, возводившие корпуса будущих общежитий, принялись потихоньку складывать вещи. Каждый день по дороге на станцию уходили каменщики, бетонщики, опалубщики. Они знали, что их рукам везде найдется работа, и «перебазировались» на стройки, где пирог был помягче и сон послаще.

Перспектива срыва намеченных сроков все чаще стала маячить у меня перед глазами. Ночью, если мне удавалось заснуть, я то и дело вздрагивал и просыпался, или вовсе не смыкал глаз до утра. В конце концов я решил «нанести визит» одному очень важному лицу — начальнику отдела снабжения.

«От тебя, братец,— подумал я,— зависит, смогут ли мои рабочие на будущий год жить как полагается или им придется ютиться в дощатых бараках».

Этот самый начальник — сухощавый, смуглолицый, с горящими как угли глазами (верно, его предки состояли в родстве с татарским ханом Ногаем), принял меня подобающим образом. Едва я успел войти, как он крикнул, чтобы принесли коньяк и бразильский кофе и, подобно правоверному, воздел руки к потолку своего просторного кабинета.

— Аман! — воскликнул он.— Помилуйте! Не распинайте меня на кресте! Я ведь не Христос, который, если верить Евангелию, накормил пять тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами! На мне весь город с его фабриками, заводами и ресторанами, да еще гранд-отель! Каждому я должен выделить понемногу от того малого, что я получаю. Умоляю, не распинайте меня!

— Согласно договору, который мы с вами заключили,— сказал я,— вы наш должник — и по мясу, и по овощам, и по жирам, и по сахару... Я настаиваю, чтобы в следующую доставку этот долг был погашен. Вы знаете, что ЗПЦМ — новостройка республиканского масштаба.

— Знаю! Как не знать! Я даже беру на себя смелость утверждать, что о некоторых вещах я осведомлен лучше, чем вы, и... я вообще самый осведомленный человек в городе! Вы, например, не знаете, что на будущей неделе в окружном центре открывается международный симпозиум! Первый секретарь сам мне звонил и предупредил, чтобы мы не ударили лицом в грязь. Наши — ладно, но иностранцы... у них не должно остаться плохого впечатления. Вопрос государственный! Не так ли? Люди судят о положении в государстве по тому, что есть на столах. Верно?.. Не знаете вы и того, что на следующей неделе наш секретарь выдает дочку замуж и по этому случаю в гранд-отеле состоится торжественный прием. Так вот, вы человек ответственный, и я вам скажу: такие, казалось бы, вполне естественные, но не запланированные мероприятия срывают выполнение договоров даже новостройкам республиканского масштаба, какой является ваш завод. Войдите в мое положение! Обещаю, что при следующей поставке я сделаю для вас все, что в моих силах!

Я горячо поблагодарил его, пожал крепко руку и ушел. Как-никак человек угостил меня настоящим бразильским кофе и коньяком «Преслав».

Потом я созвонился с моими друзьями на станции и узнал, в какой день придет очередной состав с продуктами. В этот день, соблюдая секретность, мы привезли на станцию товарные весы, установили их на платформу и, когда вагоны с продуктами прибыли, отмерили себе все, что полагалось по задолженности. Потомок хана Ногая бросился было к телеграфисту, чтобы связаться с округом или с первым секретарем, но мрачный человек был непреклонен.

— Инструкция разрешает разговоры только служебного характера! Вы человек посторонний, покиньте аппаратную.

Нам полагалось сто килограммов говядины, а в морозильнике мы обнаружили шесть свежезамороженных поросячьих тушек.

— Не смейте трогать поросят!— кричал директор, грудью защищая драгоценный товар.— Двух я должен первому секретарю для банкета в гранд-отеле, а остальные заказаны для симпозиума... Не прикасайтесь!

— Берите тех, что для свадьбы! — приказал я своим ребятам.— А остальных, так и быть, пожертвуем науке, пусть ответственные товарищи знают, что рабочий класс уважает технический прогресс!

Потом я отправился к первому секретарю. Он уже был уведомлен о случив-

шемся на станции, но на его лице нельзя было прочесть ни одобрения, ни порицания.

— Ты хорошо сделал, что проявил заботу о рабочих, но это не те методы, к которым следует прибегать в подобных делах. Представь, что было бы, если бы туда явились и другие директора со своими ребятами... Какая получилась бы заваруха!

— Мы все разделили бы по-братски,— сказал я.— А что касается поросят, то бросили бы жребий.

— За этих поросят я ему еще шею намылю! — заметил секретарь.— Я лично никаких поросят не заказывал.

— Не обижайся, обещаю, что придумаю для свадебного стола что-нибудь не хуже этих поросят.

Накануне свадебного банкета я попросил нашего повара сварить пятнадцать килограммов фасоли и столько же картошки и сделать из этого густое пюре. На другой день утром сам пришел на кухню, попросил три противня, на которых обычно запекали мясо, и собственноручно «изваял» моих поросят. Сверху мы их густо посыпали красным молотым перцем, залили желатином и украсили петрушкой. Ну никак ие отличишь от настоящих!

Эффект был таким, как я и ожидал. Большинство обнаружили подлог только после того, как воткнули вилки и приготовились отрезать лакомый кусочек. Раздался общий хохот. Фальшивые поросята имели огромный успех и были съедены с большим аппетитом. Потом мы пели и танцевали. Пришли и Штеревы. Я попросил оркестр сыграть «Дунайские волны». К моему удивлению, никто из гостей не бросился танцевать — оказалось, что большинство просто не умеют танцевать вальс... Я встретился глазами с Маей; немного побледнев, она улыбнулась.

Мы вышли на танцевальную площадку и оказались единственной парой. Первые же такты унесли нас в совсем иной мир — мир красоты и счастья,— все вокруг перестало существовать. Нас несли и качали сказочные голубые волны.

Когда вальс кончился, все зааплодировали. Я отвел Маю к мужу. Он сидел мрачный, с лицом христианина, отрекшегося от земной суеты и возносящегося душой к богу.

2

Я редко пользовался комнатой, снятой у Штеревых, но не проходило дня, чтобы она вместе с Соней не навестила меня на даче бай Сандо, где я обосновался. Мы совершали вылазки на виноградник, где играли с Соней в жмурки или прогуливались по саду — Соня бежала впереди нас по тропке, вьющейся между плодовыми деревьями.

Иногда я заезжал за ними, и мы направлялись в город. Ходили в кондитерскую, качались в парке на качелях или смотрели фильмы для детей в летнем кинотеатре. И у Маи и у меня возникло тайное желание сблизиться — боже, какое блаженство испытывал я, когда наши руки случайно соприкасались!

Были вечера, когда я не мог побороть желания увидеть и услышать ее. Потребность эта брала верх над благоразумием, и я приходил к Штеревым в гости, Мая играла для меня на пианино Шумана или Чайковского, а этот блюдолиз Боян Спиров многозначительно следил за нами. Штерев молча курил, и на лице его блуждала улыбка — верно, так улыбались христианские мученики перед тем, как их бросали на растерзание диким зверям.

Случалось, мы ходили вместе к общим знакомым. Там нередко включали проигрыватель — звучали вальсы, танго и фокстроты (чаще всего почему-то аргентинское танго), и мы с Маей танцевали, мне тогда казалось, что я лечу с ней среди звездных просторов.

В это время Боян Спиров с лицом благодетеля рассказывал Штереву разные байки. Тот смотрел на нас с убийственно благостной улыбкой и молча курил.

Как-то в конце октября, под вечер, на меня напала такая тоска, что я потерял голову — сел в машину и помчался к Штеревым. Соня с няней ушли гулять. Мая сидела одна, наигрывала «Осеннюю песню» Чайковского. Я сел послушать, а когда она кончила, сам не знаю как, оказался возле ее ног. Она вскрикнула, вскочила и хотела было убежать.

— Нет-нет, мы не должны...— прошептала она, побледнев.

Взгляд ее наполненных ужасом глаз был устремлен туда, где обычно сидел Штерев.

Она наклонилась, быстро поцеловала меня и выбежала во двор — в одном платье, без шали.

Я вышел следом и накинул ей на плечи пальто. Было холодно, начал порошить первый снежок.

Зимние мотивы

1

25 декабря завершили монтаж оборудования. В этот же день закончился и учебный год на курсах по обработке цветных металлов. Все выпускники остались работать на заводе. Через три дня устроили общезаводской банкет. Собрались в помещении столовой; земляной пол под ногами промерз, в щели задувал ветер. Люди продрогли, переступали с ноги на ногу, согревались водкой. Подняв стаканы, поглядывали на меня. Поднял рюмку и я.

— Товарищи! — сказал я.— Благодарю вас и низко кланяюсь за то, что вы одолели все трудности, оказались тверже железа... не устрашились дождя и стужи. Каждому из вас жму руку и хочу выпить за ваше здоровье!

Было дьявольски холодно, а потому не до длинных речей.

Потом раздали премии: председатель профкома — рабочим, а я — инженерам. Рабочие получили по бронзовому значку и бутылке вина. Инженеры — по золотому значку и грамоте. Две грамоты были отпечатаны золотым — Штереву и крановщику бай Симо,— остальные красным. Бай Симо, получив свою грамоту, поклялся перед всем коллективом своей честью, что никогда больше не спустится с крана в рабочее время. А Штерев чуть не расплакался. И это — мужчина!

Потом мы пели хором партизанские песни и лирические, а когда согрелись — высыпали во двор, вышли за ворота и устроили на поляне большой хоровод.

2

Мы с Маей были очень осторожны. В городе уже начали о нас шушукаться. Штерев похудел, глаза ввалились, лицо стало похоже на лик святого.

30 декабря главная семидесятиметровая заводская труба выпустила в серое зимнее небо огромные клубы черного дыма. Мы на неделю опередили установленный правительством пусковой срок. По этому случаю в канун Нового года я устроил прием в гранд-отеле «Республика».

Приехали представитель секретариата ЦК и окружной секретарь, пришли поздравить нас директора Керамического и Стекольного заводов, инженеры и бригадиры...

Среди гостей была и дочь нашего мэра — Саша. Пышнотелая, с живыми глазками на розовощеком личике, несколько бесцеремонная, она ходила по залу в сопровождении целого хвоста поклонников, среди которых я с удивлением узрел нашего приятеля Бояна Спирова.

Были на вечере и Штеревы, но я, не решившись уделять внимание Мае, присоединился к ухажерам Саши. По моей просьбе оркестр часто исполнял аргентинское танго, и я с небольшими перерывами танцевал только с ней. Но через какое-то время я заметил — глаз у меня наметанный,— что Спиров хочет заполучить «лакомый кусочек». Черт подери! Этот подлец, потеряв надежду соблазнить Маю, переориентировался на дочь мэра — единственную наследницу двухэтажного городского дома, загородной виллы с бассейном, сада, гаража и виноградника... что для всех было секретом полишинеля.

Оркестр в седьмой раз заиграл танго. Спиров подлетел к Саше и положил руку на ее мягкую полную талию. Но в тот же момент я взял его за ворот и резко повернул к себе лицом. Он вытаращил глаза, как будто перед ним было страшное привидение.

— Куда это ты разлетелся? — крикнул я.— Не смей прикасаться к порядочной девушке... да еще у всех на глазах!

— Да вы что? — Он открыл было рот, но тотчас его закрыл, дрожа от страха.

— Здесь тебе не низкопробный кабак! — в свою очередь я выкатил глаза и так тряхнул его за ворот, что его голова мотнулась из стороны в сторону, как у марионетки.— Иди-ка лучше дежурить и не безобразничай здесь!

— Куда дежурить? — Он побледнел как полотно.

— Забыл?..— погрозил я пальцем.— Ну я тебе припомню на первом же директорском совете, послезавтра! Не видать тебе повышения по службе как своих ушей. Работу побоку — и на банкет, ухаживать за чужими дамами?

Он стоял как громом пораженный, и я снова крикнул:

— А ну, марш!

Он бросился к выходу, а я рассмеялся, повернулся к Саше:

— Не бойся, девочка, пока я в городе, никто тебя не обидит!

Вокруг толпился народ, и все избранный! Удивлялись Спирову, удивлялись и мне — но с уважением.

— Оркестр! — крикнул я.— Вальс!

И пригласил Маю.

До полуночи оркестр играл только танго и вальсы, а я танцевал только с Маей.

После официального приветствия все поздравляли друг друга с Новым годом, близкие целовались. Когда я целовал Маю, она вздрогнула и закрыла глаза. Заметили ли это другие, не знаю, потому что все уже достаточно выпили шампанского.

Разъезжаться начали около трех часов ночи. Штерев ужасно напился, и пришлось попросить двух заводских бригадиров, чтобы они помогли дотащить его до машины. Они усадили его на заднее сиденье, Мая села рядом со мной. Шел снег, и в свете фар снежинки казались позолоченными. Я повел машину, но не в сторону дома Штеревых, а на станцию.

— Ты куда? — шепотом удивленно спросила Мая.

— Ты разве спешишь? — так же шепотом ответил я.

Она не ответила, но я почувствовал, как она легонько ко мне прижалась.

Штерев спал.

Когда мы приехали на станцию, начальник и телеграфист уже не вязали лыка. Помощник был трезв — ему выпало дежурство. Я поздравил друзей с Новым годом, преподнес им ящик гамзы, и мы расцеловались. Тут же была Мая, я ее тоже поцеловал. На этот раз и я закрыл при этом глаза.

А Штерев все спал в машине.

Очень много оказалось дел, связанных с синхронизацией работы в различных цехах, отлаживанием производственного процесса и наладкой отдельных узлов. Поэтому до десятого января я никак не смог выкроить время, чтобы заскочить к Штеревым.

Одиннадцатого вечером я купил коробку конфет, а для Сони — медвежонка, который передвигался и махал лапами. Уже стоя у двери и собираясь нажать на кнопку звонка, я представил себе ласковый упрек в глазах Маи, представил, как, мысленно поцеловав эти печальные глаза, скажу: «Я был по горло занят. Разве муж не говорил тебе, какую колоссальную работу мы провернули за эти дни?»

Открыл мне Штерев. На лице его, как мне показалось, блуждала виноватая улыбка. Я прошел за ним в холл, сел на свое обычное место, справа от пианино и только тут заметил растерянность хозяина. Виноватая улыбка сменилась мрачным и в то же время страдальческим выражением.

Он с какой-то тупой обреченностью уставился на конфеты и игрушку и не спешил их взять.

— А где Мая и Соня? — невольно оглядываясь, спросил я и внезапно почувствовал, что холл безнадежно пуст, что в нем холодно, как в покинутом людьми обиталище.— Почему их нет? В городе, что ли, задержались?

Штерев еще больше ссутулился.

— Они не в городе,— сказал он тихим и ровным голосом.— У меня эти дни все не было времени объясниться с тобой наедине. Уж ты прости, пожалуйста. Виноват. Мая с Соней уехали в Санданск. Да, да, в Санданск. Доктора уже давно обнаружили у Сони начальную форму астмы... Странно, что Мая не говорила тебе об этом...

Я швырнул коробку конфет на пианино и бессознательно, со всей силой, сжал горло медвежонка.

— Что за выдумки! Какая еще астма? Никакой астмы у Сони нет. Что за врач ее осматривал?

Штерев молчал.

— И почему так неожиданно?

Штерев сел в кресло, закурил.

— Потому,— продолжал он все тем же тихим и ровным голосом,— что в Сандански нашлось место учительницы литературы, на год. Мы этим решили воспользоваться.— Он развел руками:— До следующего декабря Маи и Сони здесь не будет...

Я скрипнул зубами, что ж, год — не такой уж большой срок. Я тоже стерплю...

Положив медвежонка рядом с конфетами, я вышел.

Вернувшись на виллу бай Сандо, я обнаружил подсунутое под дверь письмо. Оно было от Маи из Сандански.

«...Я уехала сама. Муж ни в чем не виноват. Он так беспомощен, что я не нашла в себе сил смертельно его обидеть. Не сердись! Постарайся найти утешение в своих звездах, пусть они внушат тебе, что нам не следует продолжать эту опасную игру. Мая».

На другой день в центральном книжном магазине в отделе книг на русском языке я наткнулся на новую книгу известного советского математика. С помощью математических исследований он излагал свою гипотезу происхождения звезд, галактик и вообще Вселенной. Вернувшись домой, я стал с карандашом в руках штудировать этот труд. Только к утру оторвался от чтения, обнаружив, что печка давно погасла, комната выстыла, превратившись в холодильник, а постель со вчерашнего дня не разобрана. В этой книге открывался прямой путь к истине. Точнее, не совсем прямой — где-то в середине он отклонялся и, как мне показалось, уводил несколько в сторону. «Вот тебе случай попробовать свои силы! — подумал я.— В двух твоих книгах ты тоже шел к истине. А сейчас есть возможность приблизиться к ней еще больше...»

Я вышел во двор. Падал тихий снежок. Я взял его в горсть, растер лицо, потом, вернувшись, набросил полушубок и снова сел за стол.

К обеду я набросал в тетради нечто вроде рабочего плана: в какие дни и часы я буду трудиться над своей основной задачей (завод должен был работать на полную мощность и перевыполнять производственный план), в какие дни и часы — садиться за уравнения — пусть маленькими шажками, продвигаясь все дальше по пути к истине о происхождении миров.

Я готов был денно и нощно — круглосуточно! — вести сражение.

Неписаные законы

Время шло, и наши отношения со Штеревым выровнялись. Мне даже стало немного приятнее с ним общаться, потому что он и сам переменился и уже не вызывал во мне отвращения: не смотрел на меня униженно-умоляюще, не улыбался обреченно-страдальчески. Тьфу! Терпеть не могу малодушных и слабых мужчин (и откуда только берутся такие слюнтяи?). Им даже как-то неудобно наставлять рога... Теперь — скрыв от меня свое сокровище в Сандански — он воспрял духом, перестал малодушничать и стал больше походить на человека. И все же, когда он был рядом, мне все казалось, что он не человек, а амеба.

Через две недели после нашего разговора «по душам» я получил по почте перевод — деньги, которые я платил ему пять месяцев, считаясь его квартирантом. Это было справедливо, потому что после первого визита я ни разу не поднялся на второй этаж. Кроме того, возвращая деньги, он предупреждал меня, что я в его доме персона нон грата, вообще больше не желает видеть меня в своем доме. Посмотрим! Пусть выпадет первый снег...

Мне хочется сказать несколько слов о письме Маи. Я не верю в его искренность. Она сочинила это письмо из страха,— боялась, как бы не рухнуло ее кукольное счастье! — а может, из жалости к мужу. Милосердные женщины склонны к самопожертвованию, но у них это быстро проходит — у жизни свои неписаные законы.

Встреча

Дела на заводе шли хорошо. Мы регулярно давали государству медный и цинковый прокат, бронзу. Перевыполняли план. Я был рад, да и какой генерал не радуется, когда его армия наступает и одерживает победы? Однако радость была неполной. Я сознавал, что все у меня, казалось бы, обстоит отлично, но на сердце почему-то пусто. Если попытаться выразить это образно, то я сравнил бы свое сердце с окном, плотно закрытым ставнями.

Я все реже ходил на прогулки в поля, все реже поднимался на холм посреди виноградника, все реже смотрел вечерами на темный, бездонный небесный купол. Вообще не вглядывался в небесную высь! Там были галактики, которые вместо того, чтобы удаляться от места первоначального взрыва, словно назло возвращались обратно к центру; двигаясь не центробежно, как того хотело уравнение, а центростремительно — им было плевать на то, что их движение противоречит теории расширения Вселенной! Мне необходимо было открыть уравнение, которое объяснило бы это настроение «ретро» у некоторых (а их, возможно, миллионы) галактик. Я задавал себе вопрос: почему все бесчисленное множество разнообразнейших форм, в которых проявляется вечная материя, должно непременно рождаться из одного, е д и н с т в е н н о г о первоначального взрыва? Даже если он «сверхвеликий»? Почему этих первоначальных взрывов не миллионы... и они не повторяются многократно? И при каждом таком «первоначальном» взрыве рождается новая в с е л е н н а я? Ведь глупо твердить, что есть только «одна» вселенная! Вселенных бесконечное множество. Они встречаются и расходятся, и, быть может, при этом отдельные миры сливаются в аннигиляционных, то бишь уничтожительных об[illegible]тиях.

Замечательная, удивительная работа мне предстояла! Но все эти три месяца у меня не было желания засесть за чистые белые листы. Чем ближе подходил декабрь, тем больше я впадал в растерянность, тем чаще в голову лезли самые разные фантазии. Я вообще бросил заниматься уравнениями. Должно было что-то случиться—например, чтобы выпал глубокий снег, чтобы мир вокруг побелел и погрузился в тишину, чтобы тишина эта заговорила и... чтобы распахнулись наконец закрытые ставни, и в сердце ворвались жизнь и свет...

Снег выпал в начале декабря. Я шел пешком, возвращаясь домой из книжного магазина, когда меня обогнал «Москвич» и остановился впереди, метрах в двадцати, у кромки тротуара. Из машины выскочила Соня. Она заметно выросла. На ней были мокасины и белая меховая шапочка.

— Дядя Юлиан! — крикнула она и бросилась в мои объятия.

Я приподнял девчушку и поочередно поцеловал ее розовые щечки.

— Я говорю, что это ты, а мама: «Глупости! Тебе показалось...»

Шел густой, пушистый, великолепный снег. Надвигались вечерние сумерки. Когда мы подошли к «Москвичу», его передняя дверца отворилась и оттуда высунула голову Мая.

— Соня, тебе попадет! Почему ты выскакиваешь без разрешения?..

— Но, мама! Это ведь и правда дядя Юлиан,— ответила девочка, не выпуская моей руки.

Мая была без шапки, в расстегнутом кожаном пальто и короткой юбке, не прикрывавшей колен. Она подала мне левую руку, а правую даже не сняла с руля.

— Это действительно ты,— сказала она как-то равнодушно.— Ну, здравствуй!

— Здравствуй, Мая. Как ты поживаешь?

Холод подступил к моему сердцу, но в то же время я явственно почувствовал, что «ставни» стали легонько раскрываться.

— Когда вы приехали?

— Неделю назад,— ответила она и повернулась к Соне.— Ты все еще не села?! — Голос у нее был нарочито сердитый.

— Дядя Юлиан поедет с нами! — тянула меня Соня к машине.

— В другой раз, моя девочка,— сказал я и помог ей устроиться на заднем сиденье.— До свиданья, Мая!

Я протянул ей руку, она взглянула на меня, как мне показалось, с тревогой и какой-то глубокой болью... а может, мне только показалось, потому что падал густой снег и зимние сумерки стали тоже густыми и синими.

— До свидания,— ответила Мая и, закрывая дверцу, добавила: — Мы еще увидимся.

Машина медленно тронулась с места.

Какой снег!

Снежные сугробы закрыли дорогу через перевал. Пришлось контейнеры с металлом, присланным для переработки, спускать на санях. Опасно, но ничего не попишешь! Да и — кто знает почему? — опасности меня больше не волновали. Я только боялся за парней, которые должны были управлять санями. Поэтому решил сам спуститься первым — проверить все на себе и проложить трассу.

Сегодня во второй половине дня Мая, возвращаясь с завода — куда она ездила к мужу,— остановила свой «Москвич» у моих дверей и посигналила.

Я вышел.

— Тридцать первого, вечером, я приду. О д н а,— сказала она и, помолчав, добавила: — Этому мучению надо положить конец, я больше так не могу!

— Спасибо тебе,— сказал я, распахивая пальто и прижимая Маю к груди.

— Муж повезет Соню к родителям, они задержатся там до позднего вечера,— успевала говорить она в перерыве между поцелуями.

— Я буду ждать тебя, Мая.

Она с трудом перевела дыхание, будто взбежала на крутизну, улыбнулась и сказала:

— Потом мы вместе вернемся домой... Я накупила много игрушек, мне хочется вместе с тобой украсить елку.

— Да, да,— сказал я.— А как же супруг?

— Я приеду в четыре часа. Выйди в это время на веранду и посмотри на дорогу. Ты увидишь мой «Москвич», как только я въеду на взгорок. Хочется, чтобы ты меня встретил.

— Хорошо. Я встречу тебя на шоссе.

Я долго стоял и смотрел вслед удалявшейся машине, а когда «Москвич» скрылся за поворотом, вдруг осознал, что это была наша последняя встреча. Кто внушил мне это? Чистый белый снег? Ясный простор, ширившийся перед глазами? Ветер, тоненько звеневший на ледяной струне? И вот наступило 31 декабря.

Я написал письмо Лили и положил конверт во внутренний карман полушубка. Опущу в почтовый ящик на станции — оттуда письма вынимают три раза в день. Вот удивятся мои друзья на станции, увидев, что я уезжаю... Лили получит письмо завтра, часов в двенадцать дня. Я не хочу, чтобы она ждала меня напрасно. Завтра же пошлю ей еще поздравительную открытку — уже из Софии.

Спущусь сейчас во двор, выведу машину на шоссе, но поверну ее не в сторону города и дома Штеревых, а в направлении завода — оттуда теперь проложена новая, прямая дорога на станцию.

Потом вернусь в дом, поднимусь на второй этаж, выйду на веранду и буду ждать, когда на взгорке покажется Маин «Москвич». Мой багаж уже в машине. Письмо к Лили в кармане...

Какой снег! Какой белый снег, падая, укрывает землю...

Сверхкраткое послесловие автора

Перефразируя слова замминистра Диньо Диновского, бывшего тестя Юлиана, скажем:

«Ну что за человек Юлиан Евтимов! Любимая сама к нему пришла, а он от нее отказался!»

Разве не чудак?

«Должно быть, чудак!» — думаю я.

■

ГОРЕЛОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА

Советский переводчик с болгарского. В ее переводе опубликованы книга Георги Райчева «Маленький мир» (совместно с В. Андреевым; М.—Л., 1962), повести «Моя незнакомка» Богомила Райнова (Л., 1970), «Чужой человек» Любена Дилова (Л., 1977), «Пшеничное зерно и Океан» Митко Яворски (София-Пресс, 1980), роман «Все и никто» Йордана Радичкова (Л., 1979).

Из словацкой поэзии

Перевод АСАРА ЭППЕЛЯ

«Строить всю долгую жизнь...»

Любой разговор о современной поэзии — это всегда разговор и о трудностях, которые переживает сегодня поэзия. Авторов становится больше, а сборники стихов читаются все меньше. Книжки безнадежно пылятся на прилавках магазинов. Виноваты поэты? Или духовно облинившийся у телевизора читатель? А может быть, время? Современная поэзия находится в кризисе — такая констатация стала общим местом критических дискуссий в самом широком международном масштабе.

Словакия не является исключением из правила. И в этой традиционно «поэтической стране», где поэзия испокон века была призванным лидером национальной духовной жизни и законодателем в художественной культуре, в последнее время все чаще звучат голоса, озабоченные утратой былого авторитета, падением общественного престижа и — главное — популярности поэтического слова. На конференции о современной словацкой поэзии осенью 1986 года об этом говорилось с пристрастием, душевной болью, растерянностью. При всем том даже скептикам было ясно, что современная литература отнюдь не оскудела талантами, что недавний поэтический взлет, пришедшийся на сложнейшую пору консолидации общества в первой половине 70-х годов, не мог быть случайным эпизодом и остается настойчивым напоминанием о творческих резервах сегодняшней поэзии.

Этот взлет был связан прежде всего с именами таких зрелых, сложившихся творцов, как А. Плавка, П. Горов, В. Мигалик, М. Руфус, М. Балек и др. Им в первую очередь принадлежала заслуга сохранения преемственности в развитии словацкой социалистической поэзии. Сложнее выглядела ситуация с молодым поколением. Гражданственный опыт, аккумулированный в поэзии зрелых мастеров, мог послужить молодым в качестве исходной опоры, все же остальное — и самое главное, новизна и содержательность авторской исповеди — целиком зависело от их собственных творческих усилий, в конечном же счете от уяснения места и миссии поэзии на новом этапе развития социалистического общества. Это самоопределение молодых во второй половине 70-х — начале 80-х годов происходило не без трудностей и противоречий, отозвавшись у многих дебютантов налетом инфантилизма, запоздалым взрослением, ослаблением заинтересованного контакта с современником.

Но тогда же заявили о себе и новые, перспективные тенденции, «точки роста» современной поэзии. Подборка стихотворений из Штефана Стражая, Яна Замбора и Даниэла Гевьера дает вполне определенное, хотя, разумеется, и далеко не полное представление об этом.

Первый сборник стихотворений Стражая, самого старшего из них, «Вещам на столе» вышел еще в 1966 году; в 1986 году он выпустил свою восьмую книжку «Улица Малиновского, 96». Его творческий путь проходил без крутых виражей и зигзагов. Поэт созревал постепенно, вместе со временем, не запаздывая, но и не слишком опережая его. Он лишь все требовательнее всматривался в себя и своего современника, без позы и фразы стараясь говорить о главном. Это поэзия чуткого соразмышления, доверительного диалога с читателем: о том единственно стоящем, что в суете будней часто бесследно уходит в песок, о дефиците тепла и любви, о совести, чести и милосердии, о доме души, который «ты будешь строить всю долгую жизнь». Это задумчивая поэзия внятного этического призыва, обращенного к современнику. Его стихотворения всегда предельно конкретны, поэтический язык преднамеренно прост, взрывная метафора возникает, как правило, лишь в конце, придавая очередной житейской зарисовке неожиданный, символический смысл. Поэтические миниатюры Стражая по спрессованной в них сюжетике часто сродни микроновеллам. Стремясь как можно шире распахнуть двери поэзии навстречу пестрому потоку повседневности, Стражай полностью отказался от рифмы, презрев опасность прозаизации

стиха. Поиски новых форм помогали освободиться от шаблона, найти один из путей преодоления субъективной камерности, худосочной интимизации, пагубно сказывающихся на творчестве некоторых молодых.

Ян Замбор нашел и ясно выразил свою главную тему в третьем сборнике стихотворений — «Лошадь в городском квартале» (1983). Это тема издержек современной городской цивилизации, все заметнее отчуждающей человека от естественных истоков бытия, от простых радостей спокойного, неторопливого общения с природой, тщетно умоляющей о защите. Подобно Стражаю, он тоже зовет современника хоть ненадолго остановить свой бег, оглянуться окрест, чтобы «в непоседливом лесу людей» поздороваться однажды не на ходу, чтобы дослушать ребенка...

За последние десять лет стремительную эволюцию претерпело и творчество незаурядно одаренного Даниэла Гевьера. От первых юношеских стихов (сборник «Карусель бабочек», 1974) с безоблачно идиллической интонацией он в последний сборник («Кино нон-стоп», 1981, «Электронный клоун», 1983, «Движущийся берег», 1984, «Человек ищет море», 1984) пришел к поэзии широкого тематического диапазона. В стихотворениях Гевьера отчаянно бьются ритмы современной жизни со всеми приметами технической цивилизации конца XX века; его поэзия насквозь, иногда даже избыточно метафорична, но яркая праздничность одежды не является для нее самоцелью. По сути своей она полна все той же этической озабоченностью о мире, питается токами душевного контакта с людьми, занята поисками в человеке мыслящем человека чувствующего, способного отозваться на тихую просьбу о помощи, разделить не только радость, но и чужое страдание, чужую боль.

Молодая поэзия —«сколько надежды в непонятном ее явлении...».

ЮРИЙ БОГДАНОВ

ШТЕФАН СТРАЖАЙ

Еще раз

Еще бы вдохнуть
студеного воздуха,
ошеломляющего горло.
Еще бы увидеть снег,
покрывший
неровный потрескавшийся
асфальт.

Еще бы ощутить стужу,
увидеть голые деревья,
скребущие мглистое небо.
Еще бы — чтоб дрогли губы,
чтоб взмокла рубаха,
чтобы горячка зноя.
Еще бы вдохнуть,
еще жить.

© Štefan Strázay, 1979, 1981, 1985

ШТЕФАН СТРАЖАЙ — ŠTEFAN STRÁŽAY (род. в 1940 г.)

Словацкий поэт. Автор поэтических сборников «Вещам на столе» («Veciam na stole», 1966), «Рассвет, но неопределенный» («Úsvit. ale neurčitý» 1971), «Праздники» («Sviatky», 1974), «Играм» («Igram», 1975), «Подгораны» («Podhorany» 1977).

Публикуемые стихи взяты из книг «Палина» («Palina». 1979) «Двор» («Dvor». 1981), «Свободный стих в словацкой поэзии» («Voľný verš v slovenskej poézii» 1983), «Улица Малиновского, 96» («A Malinovského 96». Bratislava, Slovensky spisovatel, 1983).

Черешни

После войны, на светлом,
солнечном дворе, придирчиво
и честно
делили мы с братом черешни.
Он медленно
брал их из своей доли,
неторопливо и молча съедал.
Я — свои.

Его не стало. Все
снова поделено. Все теперь
принадлежит ему.
Цветут черешни.

По дороге

— Не знаю, куда это мы все время ходим,
а мальчик остается с бабкой;
она хорошая, но ведь старая и совсем ветхая,
и пускай мальчишка, как ты говоришь,
не забудет поесть; он же
сидит, наверно, сейчас на постели
нахохленный, одинокий.

В панельном доме

Девушки, вышедшие сюда замуж
и с улыбками переехавшие,
понемногу увядают.

Под майским солнцем яблоневый цвет
засыпает немытую посуду,
русые головы, руки.

Мужчины всё позже возвращаются
домой. А меня и вовсе
не увидишь.

Отовсюду во тьме
гулких лестничных клеток
светятся волчьи
детские
зубы.

Офелия

Офелия,
несколько уже усталая,
с морщинками у губ
и в уголках красивых глаз,
с ребенком, квартирой,
возможно, счастливая
мужняя жена,
иногда, изредка
она
вспоминает, как в белом наряде
белоснежно юна
долго плыла по воде
мертвая.

Подснежник

На балконе городского дома,
высоко над сутолокой улицы,
над витринами, перекрестками, тротуарами
появляется девушка в бикини.

Случайно глянешь и видишь, как
неуместна тут эта девушка с сильными ногами,
почти нагая, невыспавшаяся, наверно, и сердитая.
Но сколько надежды
в непонятном ее явлении.

Все твое

Люблю все твое:
свитер, побывший белым
в транспорте городишка,
туфельки, моделированные
мостовыми, волосы,
спаленные уличным фонарем,
руки, смахнувшие
тихую пыль
движением, боящимся
завтрашнего рассвета,
твою тень на белой стене,
отвагу, с какой по утрам
вступаешь в реальный мир,
запах, напитавший жилье,
вздохи осенью,
пылкость и заколки,
запотевающие зимой,
битую посуду,
дуновенье угасающего песка,
твою необычную память
и снова руки,
от которых комната хорошеет.

Долгая жизнь

Не говори, что сперва
поставишь дом,
посадишь сад,
а потом наглядишься
на жену и детей —
сперва приласкай их.
Дом твой, правда,
будет поменьше,
чем у других,
но строить ты его будешь
всю долгую
жизнь.

ЯН ЗАМБОР

Абсолютный рекорд скорости

Всякий день добираться из Марафона в Афины.

Чмокнуть в щеку жену.
Недослушать ребенка.
Поздороваться на ходу.
Поговорить на бегу.
Доучиться,
решить,
устроить,
прибавить газу,
обогнать,
успеть
все
увидеть,
услышать,
попробовать на вкус,
понюхать,
потрогать —
скоропалительно, жадно.
И любить.
И стихи диктовать во время езды.

Какую победу объявим людям, Филиппид,
покуда мозг наш не расплющился на асфальте?

Приблизительно, похоже

«Сейчас трудновато записать чистое
пенье птиц, шум камышей, журчанье
ручья»,— сказал мне звукооператор.

© Jan Zambor, 1983

ЯН ЗАМБОР — JÁN ZAMBOR (род. в 1947 г.)

Словацкий поэт. Автор сборников стихов «Зеленый вечер» («Zelený večer», 1977), «Неотложное» («Neodkladné», 1980) теоретического исследования «Иван Краско и поэзия чешского модерна» («Ivan Krasko a poézia českej moderny», 1981).

Публикуемые стихи взяты из сборника «Лошадь в городском квартале» («Kôň na sídlisku». Bratislava, Smena, 1983).

Думаете, если трубы высокие,
в горах воздух без химии?
Считаете, вода в роднике
родниковая?
А хлеб,
картошка, капуста?
Едим-то мы что?

«Корь?» — спрашиваешь врача.
«Трудно сказать определенно;
ведь ребенку сделана прививка».

А что есть настоящая любовь?
Что есть добро, что — зло,
что — правда, что — ложь?
И про это знаем, увы, приблизительно.
И тут возможна
фатальная ошибка.

Похоже, она тебя любит.
Похоже, ты поступаешь правильно.

А когда утром садишься за руль,
тебе кажется,
что ты, похоже, все успеешь,
что не откажут
тормоза
и на город
не упадет
бомба.

Женщина из безымянного мира

По утрам вижу молодую красивую женщину,
помогающую туловищу мужа
сесть в машину. Они из соседнего дома, мне
о них ничего не известно. Производственная травма?
Авария?.. Сколько жен бросали
мужей по пустякам, а эта
отворяет дверцу, кладет на заднее сиденье
костыли и портфель, усаживает
троих детей, протирает
запотевшие стекла:
движения терпеливы и естественны,
на лице ни тени
досады или тоски.
Смущает только,
что она не поднимает глаз:
то ли времени нет —
ведь приходится все самой,—
то ли это броня
от всегда ожидаемого удара?

Еще долго

уезжать со столичного вокзала,
выходить на заброшенном полустанке.
В майском лесу набредать на озерки в пыльце,
вызволять из зарослей

впервые слетевшего
пищащего птенца
и чувствовать стук его крохотного сердца,
проходить мимо гудящих пчелами крон,
подставлять лицо частому дождю,
устраиваться в домике под горой —
этой извечной кладовой кислорода,
вдыхать последние голубые глотки
древнего края,
древней работы,
древнего уклада,
древней речи.
Садиться на заброшенном полустанке,
выходить на столичном вокзале.
Сливаться с непоседливым лесом людей,
множеством детей, мужчин и женщин,
светлых голов и золотых рук,
и замечательных рукотворных вещей;
вступать в стремительную эту, влекущую сумятицу,
в скрежеты, грохоты, рокоты...

ДАНИЭЛ ГЕВЬЕР

Мой скверный вкус

Люблю расстроенные пианино,
аляповатые плакаты,
альбомные стихи,
глаза маленьких девчонок
(как дерзко глядят они в сторону!),
бередит меня мальчишечий блюз,
который бренчат
кустарные гитары,

© Daniel Hevier, 1983

ДАНИЭЛ ГЕВЬЕР — DANIEL HEVIER (род. в 1955 г.)

Словацкий поэт. Автор сборников стихов «Карусель бабочек» («Motýli kolotoč», 1974), «С отцом в саду» («S otcom v záhrade», 1976), «Птица пьет из колеи» («Vták pije z kol'aje», 1977), «Кино нон-стоп» («Nonstop», 1981), «Движущийся берег» («Pohyblivý breh» 1984), «Человек ищет море» («A Muž hl'adá more»).

Публикуемые стихи взяты из книг «Электронный клоун» («Elektrónkový klaun». Bratislava, Slovensky Spisovatel, 1983) и из сборника «Свободный стих в словацкой поэзии».

обожаю клоунов и шутов,
баронов Мюнхгаузенов
и гадких утят,
которым
никогданикогданикогда
не обернуться королевскими лебедями...
Такие со мной дела.

Четыре времени года

Сперва весна,
садимся в такси из цветов,
глядим,
как снаружи зеленеет месяц.
Потом лето.
Лежим на горячем песке,
среди мокрых лодок,
и я собираюсь
собрать весь мед
с твоего тела.
Осенью
заводим пластинку с дождем,
слушаем,
как у лампы кружат
слюдяные ночные бабочки.
Утром наступает зима,
и мы, чудесно голодные
и усталые,
убираем снег
возле нашей постели
и ставим снеговиков
из подушек.

Вешалки для усталых душ

Дождь ли,
солнце
или весна,
или беснуются снежные войны,
в зале ожидания — всегда несколько человек.
Какой-то волной
выбрасывает их
на вокзальные лавки.
Приходят и уходят поезда,
кого-то забирают,
кто-то остается,
и глядит в одну точку,
и развешивает в воздухе усталые души:
алкоголики всю ночь трезвы,
седовласый Чингисхан
лежит навзничь и прислушивается
к топоту коней, которые больше не прискачут,
старик с косицей [1],
женщина, ненавидящая зеркала,
парень неразлучный с булыжником.
Господский одеколон вон того мужчины
берет за руку
дешевые духи той вот женщины,
и на глазах у всех
оба отправляются в свадебное путешествие;
за пыльными занавесками
начинает мелькать пейзаж;

[1] Горцы в Словакии прежде заплетали волосы в косы.

стеклянная ночь
сыплется серебряным прахом,
и зал ожидания с немногими пассажирами
тотчас
обращается сверкающим экспрессом,
летящим по крышам мира
далеко,
далеко
в небо

и еще
дальше.

Три назначения огня

Благодарю тебя
за дозволение быть
преследователем,
губителем,
воздухоплавателем в твоей вселенной,
за счастье
предать тебя пламени,
а потом
от него
спасти.

Огонь горит,
жжет и сжигает,
так учит Коменский
в «Orbis pictus»[1].

■

[1] «Orbis sensualium pictus» — «Мир чувственных вещей в картинках» *(лат.)* — книга известного чешского педагога и мыслителя Яна Амоса Коменского (1592—1670).

ЭППЕЛЬ АСАР ИСАЕВИЧ (род. в 1935 г.)

Советский поэт, переводчик. Переводит в основном польских, а также итальянских, немецких и англоязычных поэтов. Пишет для детей. В «ИЛ» в его переводе напечатаны поэмы К. И. Галчинского «Ниобея», С. Гроховяка «Totentanz in Polen», подборка рассказов Ю. Тувима и др.

ТОМ ШАРП

Дальний умысел

РОМАН

Перевод с английского В. МУРАВЬЕВА

Не смехом единым

Роман о литературе — эка невидаль! Роман о массовой литературе Запада — делов-то! Роман о мирном и даже очень счастливом сожительстве непотребного чтива с наисерьезнейшей, наиморальнейшей Литературой с большой буквы — тоже, пожалуй, известное дело, где-то слыхали и чуть ли не читали. Ничем нас не прельстишь, все знаем заранее, еще получше, чем задним числом.

Итак, роман о литературе: о неисповедимом пути книги — от окончания творческого процесса до читателя, о том пути, который всякое общество со времен Гутенберга обеспечивает и обставляет по-своему. Литература — явление социальное, а стало быть, и является читателям по законам и обычаям такого-то общества. Все вроде бы нормально, а между тем, если приглядеться, все нелепо, дико, несообразно — не то смешно, не то чудовищно. Тут-то и появляется на сцене приметливый — большего и не требуется — сатирик Том Шарп.

Вот он и объект предстоящей сатиры — горестная участь литературного творчества на Западе, подверженного всемогущей рекламе, подвластного непременной купле-продаже, пребывающего под мрачным надзором неусыпно-блюстительной критики. Фальсификация литературы, подмена критериев, внедрение ложных стандартов — а ведь литература, как ни крути, все-таки учебник жизни, и ее фальсификаторы это прекрасно понимают.

Что же до сатирика, то он, проникнув на кухню массовой литературы, оказывается в мире назойливых мнимостей и пытается изничтожить их, порождая ложные, издевательские подобия — пародии на ненастоящих людей и их поддельные создания.

А пародии бывают смешные и не смешные. С этим, вероятно, никто и спорить не станет. Однако само по себе это утверждение еще почти ничего не значит; оно даже несколько обманчиво, есть в нем некая лукавая огульность. Ведь осмеяние может быть своего рода признанием и искуплением, приглашением в шутовской, скоморошеский хоровод-процессию: как известно, в республиканском Риме встречали триумфаторов насмешками и дразнилками.

Есть такая встреча и у Шарпа: читатель, надо думать, убедится, что и нынче в США, по древнеримскому обыкновению, триумф, безобразие и «паблисити»— примерно одно и то же.

Если же пародия, напротив,— убийственное изобличение, то она должна вызывать горькую, презрительную усмешку, причем объект пародии-изобличения более или менее уничтожается, и на его месте возникает личина, за которой не скрыто ничего, как за «Маской Красной Смерти» Эдгара По, или скрыта мертвая иллюзия совести, как у того же «безумного Эдгара» в «Уильяме Уилсоне».

Есть такое страшноватое назначение у пародии: стирать с лица земли. Но, увы, исполнив это назначение, она, пародия, либо становится попросту ненужной ввиду исчезновения своего объекта, хотя он, может, и не совсем исчез и не явился

© Tom Sharpe, 1977

ТОМ ШАРП — TOM (Thomas Ridley) SHARPE (род. в 1928 г.)

Английский писатель, сатирик и юморист. Автор романов «Кембриджский балаган» («Porterhouse Blue», 1974), «Пейзаж с Блоттом» («Blott on the Landscape», 1975), «Беглец от прогресса» («The Throw Back», 1978), «За грехи отцов» («Ancestral Vices», 1980), авантюрно-комической трилогии «Уилт» («Wilt», 1976), «Выбор Уилта» («The Wilt Alternative», 1979) и «Уилт на пределе» («Wilt on High», 1984).

Роман «Дальний умысел» был опубликован в Англии в 1977 году («The Great Pursuit». London, Secker and Warburg).

бы в другом облике!— либо подменяет его и сама на чужих правах осваивается в жизни, постепенно напрочь теряя свои комические свойства.

Такова, например, Тень у Ханса Кристиана Андерсена и у Евгения Шварца, и, как это ни странно (но в общем-то легко объяснимо), Шварц, чувствительный драматург XX века, пожалел свою гротесково спародированную действительность и кое-как восстановил ее в первозданных правах; Андерсен же, сентиментальный сказочник века XIX, беспощадно показал подмену жизни, то и дело совершавшуюся на его глазах, и предсказал такие же подмены в будущем.

Словом, ирония — дело опасное, тем более убийственная ирония отрицания. Ею, как опасной бритвой, недолго и порезаться, особенно если рука дрожит — положим, даже и от праведного гнева. Недаром Некрасов, отнюдь не обделенный способностями именно по части истребительной иронии, писал:

Я не люблю иронии твоей.
Оставь ее отжившим и не жившим...

Стало быть, что же: прицельная, ироническая пародия с ее непременной дьявольщинкой, по-разному очевидной и в «Докторе Фаустусе» Т. Манна, и в «Мастере и Маргарите» М. А. Булгакова (причем в виду здесь имеются не столько воландовские, сколько евангельские главы)— вредна и плоха? Вовсе нет: без нее даже и смех не в смех, а у «цветов невинного юмора» подчас чересчур парфюмерный запах; просто шутки с нею плохи, и поэтому, как говаривал Щедрин, «всякий человек да опасно ходит».

Иной читатель, пожалуй, наконец вскинется: ну, что это такое — Эдгар По, Андерсен и Шварц, Некрасов, Томас Манн и почти обязательный сейчас Булгаков, а теперь еще и Щедрин туда же? «Эва, скажут, наплел, собака!» (это уже Зощенко). Но тем не менее раз уж мы наконец приблизились к тексту самого сейчас популярного в Англии комического автора, придется еще помянуть ярчайшего, щеголевато-виртуозного насмешника английской литературы XX века Ивлина Во, с которым Тома Шарпа нередко и пока не очень заслуженно, хотя и не без толку, сравнивают; помянуть и другого соотечественника, автора «Шутовского хоровода», «Контрапункта» и антиутопии «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли. Можно бы назвать и других классиков жанра — благо, английская комическая традиция богата, как никакая другая,— впрочем, их на первой же странице называет сам Том Шарп. На десятой-одиннадцатой странице читатель наверняка прибавит к ним Диккенса, а мы пока вернемся в XX век.

И Олдосу Хаксли, и Ивлину Во Шарп явно сродни: подобно им, он раздувает свои головокружительные и переливчатые, как мыльные пузыри, сюжеты насмешничеством, иногда жестоким и прицельным, порой неразборчивым и расплывчатым, и вроде них ищет, рискнем даже сказать —изыскивает смеховые лазейки в самую настоящую, доподлинную, задетую смехом за живое действительность.

Вот тут и уместно еще раз вспомнить, что пародии все-таки бывают и смешные тоже — те, которые совпадают со своими объектами и преображают их, обнаруживая их своеобычную нелепую и несуразную пластику; которые их издевательски, но оттого не менее впечатляюще оживляют.

Оживлены смехом и персонажи романа Тома Шарпа «Дальний умысел», подобной лабиринту истории похождений двух героев-шутов и двух шутовских текстов, причем как герои, так и тексты множатся, множатся и перетасовываются прямо на глазах.

Итак, имеется герой — литературный агент, устроитель и толкач Фредрик Френсик, к счастью своему, несостоявшийся писатель, это во-первых; а во-вторых — антигерой, мученик от литературы, ее подвижник и радетель, непризнанный, увы, гений Питер Пипер.

Мерещится и третий главный персонаж — и тоже комический: во всяком случае, у всех троих политический инфантилизм почти что одинаков. Кто же он, этот третий? Да лирический герой произведения (так обычно называют отошедшего в сторону, стыдливо затуманившегося автора)— некто Том Шарп, юморист с репутацией сатирика, которую он в данном случае оправдывает не в ущерб отчаянному юмору. В своем романе он немножко путает себя с Фредриком Френсиком (с Питером Пипером — не путает) и его руками сводит, по-видимому, свои счеты с массовой литературой Запада, которая на каждом повороте грозит оказаться и оказывается подложной судьбой человека. Промежду собой Френсик и Пипер играют с подачи Шарпа двумя творениями: сочинением не то Пипера, не то Фолкнера, не то Томаса, опять же Манна или Вулфа, не то вообще Хемингуэя — «Поиски утраченного детства» (да, да, разумеется: прустовские «поиски утраченного времени» в нелепейшей автобиографической упаковке) и задушевно-порнографическим романом, совсем уже неизвестно чьим сочинением под заковыристым, намекающим на некое былое-прошлое заглавием «Девства ради помедлите о мужчины».

Пародия — знак и облик мнимости, несостоятельности в заявленном качестве: и, начиная с литературного агента Френсика, который зарабатывает на жизнь вывороченными наизнанку сомнительными суждениями чужого ума, все и вся в романе Шарпа зыблется, теряя собственное значение и назначение и приобретая иное, мнимое и недостоверное.

А между тем события романа возникают откуда ни возьмись; их порождают нечаянные остроты, обмолвки, чуть ли не описки авторского, да и не только авторско-

го пера. В этом, скажем не обинуясь, лучшем романе Шарпа возникающие события как бы вопреки своей прихотливости сплетены особенно плотно, и, пропустив невзначай оброненную шутку, можно упустить строго и четко скомпонованную последовательность, взаимозависимость происшествий. И, как в хорошем детективном романе, всякая неожиданность и любая случайность рано или поздно окажется на своем сюжетном месте: головоломка сложится.

Очень характерное событие — рекламный, подстроенный триумф Питера Пипера в нью-йоркском порту. Он попадает с корабля на бал-маскарад, вернее сказать — в шутовскую свистопляску, где на него примеряют газетные личины, грубо размалеванные американской политической пропагандой. Он — совсем не тот, за кого его принимают; но и правда ведь он — не он. На самом-то деле он не автор «омерзительно-сладострастного» романа «Девства ради помедлите о мужчины», которому надо обеспечить неимоверный тираж! Но уж тут он, хочешь не хочешь, становится де-факто его автором.

Одна мнимость подменяется другой, пущей мнимостью — и Питер сам уже толком не знает, Питер он или нет, кто он вообще такой, где начинается и где теряется его собственная жизнь. До поры до времени, однако, он только и жив в своем невинно-смеховом качестве, в качестве шута горохового, и потеряй он его — ничего не останется от Питера Пипера.

Но он его не потеряет, будьте покойны: порукой тому сюжетная чехарда, которую услужливо устраивают подсобные персонажи, как всегда у Шарпа, колоритные до гротеска. Персонажей этих раз-два — и обчелся, но за каждым поворотом сюжета они преображаются, усваивают новые роли — кстати, почерпнутые из двух действующих романов.

Из романов, обращенных заглавиями к нам, читателям, а текстом — к романическому повествованию, выпрыгивают зеркальные подобия реальности, и до блеска отполированная реальность оказывается пародийным зеркалом романов. Идет обмен образами, точно солнечными зайчиками; происходит пародийное порождение сюжета, пляска образов и подобий, жутковато-веселая и весело-жутковатая. Чего в ней нет — так это натужного серьезничанья, некоммуникабельности и бездуховности — того, чем страждет, как бледной немочью, литература, называющая себя «экзистенциальной», и тем более «экзистенциалистская» критика Запада. Правда, в серьезности роману Шарпа отказать нельзя: ведь он являет собой обрамленное сюжетом подобие (пародию) судьбы нескольких человек. Слово «серьезный» тут, вслед за Далем, очень не любившим этого слова, хочется заменить чем-нибудь из его словарной груды синонимов: «заправский, нешуточный; нешутя, по делу, истинно, взаправду, взабыль и пр.». Вот и ядовитые шуточки Шарпа шутятся «нешутя, по делу...».

Как известно, все животные равны между собой, но некоторые из них особенно равны. И особенно мнима среди мнимостей романа вышеупомянутая анонимная книга «Девства ради помедлите о мужчины». Как и автор ее, скрыто названный — по законам детективного жанра — буквально на первых страницах романа.

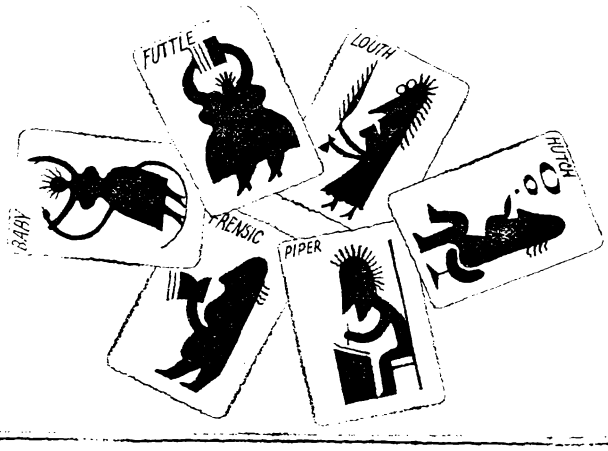
Однако же опознание этого таинственного автора, всеобщего двойника, происходит своим чередом, не раньше и не позже, чем его находит живой комический сюжет. А для этого надо Питеру Пиперу стать мнимым трупом, а Фредрику Френсику — мнимым сыщиком. Тут-то и обнаружится, что...

Да ничего такого на самом-то деле не обнаружится, кроме того, что ясно было с самого начала: что подлинная нравственность (а без нее литературы нет, есть лишь ее бесовское подобие) равно чужда позерству, празднословию и любоначалию — «змее сокрытой сей», по слову Пушкина — и что диктат критики над литературой даже не то что плох (то есть плох, конечно, но не в этом суть)— он несостоятелен.

Питеру Пиперу, то ли Пьеро, то ли Гамлету, суждено окончательно потерять лицо, но обрести призвание, вернуться в лоно англоязычной классики, недоноском которой он и был. Чуткое ухо уловит здесь, должно быть, контрапункт: сливаются воедино плясовые и пронзительно-патетические ноты, сопровождавшие «одиссею» этого антигероя современной буржуазной культуры Запада. Из загробного мира американской «глубинки» он — Питер Пипер!— утверждает и даже по-своему обеспечивает нетленность классики — нашу веселую и твердую, как хороший почерк, сопричастность непреходящей классической литературе. Необязательно она, конечно, веселая, эта сопричастность: много чего накопилось помимо смеха и кроме шуток в нашем отношении к классике и в наших отношениях с посредниками между великой литературой и нами грешными.

Вопреки вездесущей фальши с ее ловушками и подменами, нравственность все-таки может восторжествовать — благодаря жестокой, злой, саркастической насмешке, и прежде всего над самим собой. Таков урок жизни Фредрика Френсика. «Истинная добродетель — признавать собственные недостатки и оправдывать чужие»,— писал когда-то декабрист Николай Бестужев. Задача, если вдуматься, сатирическая, смеховая. Вот и роман Шарпа, может быть, и перенасыщен смехом, но питателен своей подспудной серьезностью. Смехом жив человек, это конечно. С этим, вероятно, и спорить никто не станет. Но не смехом единым.

В. С. МУРАВЬЕВ



Глава 1

Когда Френсика спрашивали, с какой стати он нюхает табак, он объяснял, что по недосмотру судьбы родился на два столетия позже, чем ему следовало. Вот когда бы он жил-поживал да радовался: в век разума, стиля, прогресса, развития и тому подобного, самого ему, Френсику, подходящего. Ни то, ни тому подобное вовсе ему не подходило, а восемнадцатый век был вовсе не таков, и он это прекрасно знал, но тем паче восторгался и тем пуще забавлял слушателей, как бы доказывая им, что вкус к нелепице духовно роднит его со Стерном, Свифтом, Смоллетом, Ричардсоном, Филдингом и другими гигантами — зачинателями романа, мастерами из мастеров. Сам-то он был литературный агент и огулом презирал свой ходкий бумажный товар, так что подлинное его восемнадцатое столетие помещалось на Граб-Стрит и Джин-Лейн, лондонских улочках, где ютились тогдашние писаки-поденщики: он почтительно копировал их вопиющие чудачества и показной цинизм — отпугивая таким образом бесперспективных авторов. Короче говоря, мылся он от случая к случаю, летом носил шерстяные фуфайки, ел сколько влезет, с утра пил портвейн, усердно нюхал вышеупомянутый табак; и всякому его клиенту, хочешь не хочешь, надо было применяться к этим дурным обыкновениям. Зато в контору он являлся рано, прочитывал все поступающие рукописи, тут же отсылал обратно некондиционные и немедля пристраивал прочие — вообще был на редкость деловой человек. Издатели смотрели ему в рот. Уж если Френсик предрекал, что книга пойдет, то она шла. У него был нюх на бестселлеры, сущее чутье.

Ему нравилось думать, что чутье это наследственное: отец его, оборотливый виноторговец, отлично вынюхивал дешевое, но пристойное столовое винишко и не постоял за расходами на образование сына, которое, вместе с нюхом более против отцовского изощренным, помогало Френсику обставить соперников. Правда, прямой связи между его добротным образованием и хваткой знатока доходного чтива не было. Нет, Френсик набрел на свой талант окольным путем: и как в его неподдельном восхищении восемнадцатым столетием был тайный выверт, так, не без выверта, он открыл секрет чужого литературного успеха.

В двадцать один год он вступил на жизненное поприще с оксфордской степенью магистра английской филологии и с намерением безотлагательно написать великий роман. Год он простоял за прилавком отцовского магазина в Гринвиче и просидел за письменным

Рисунки художника Н. Ящука.

столом в своей комнатушке в Блэкхите — и решил, что для начала сойдет и роман не такой уж великий. Еще три года он сочинял рекламные тексты, создал дружно отвергнутый издательствами опус о жизни продавца гринвичской винной лавки и навсегда расстался с мыслью о писательстве. Когда Френсику стукнуло двадцать четыре, он и без всякого чутья понимал, что романистом ему не быть: дюжины две литературных агентов уже открестились от него с тем же приговором. Однако якшался он с ними не зря — ему очень понравилась их профессия. Жизнь у них была, это уж точно, занятная, вольготная и чрезвычайно уютная. Романов они не писали, зато имели дело с романистами (а Френсик по молодости лет усматривал в этом особую привилегию), ни от кого не зависели и, кстати, в отличие от того же Френсика, не слишком-то разбирались в литературе. Ели они и пили всласть, постоянно кого-нибудь угощали и угощались, а весьма невзрачный Френсик был обречен природою тешить беса чревоугодием, а не блудодейством — то бишь любил вкусно поесть. Словом, он нашел свое призвание.

В двадцать пять лет он открыл контору на Кинг-Стрит, рядом с овощным рынком «Ковент-Гарден» и поблизости от главнейшего лондонского литературного агентства «Кертис Браун», дабы иной раз, даст бог, воспользоваться почтовым засылом; и рекламировал свои услуги в «Нью стейтсмене», еженедельнике, читателей которого, судя по всему, особенно тянуло к литературной карьере, им, Френсиком, столь недавно отвергнутой. Затем он уселся в кресло, ожидая, пока его захлестнет поток рукописей. Ожидать пришлось долго, и только он было задумался, станет ли отец дальше платить за снятое под контору помещение, как почтальон принес сразу две бандероли. В одной из них был роман мисс Силии Туэйт со Старой Насосной Станции, что в Бишопс-Стортфорде; прилагалось письмо, сообщавшее, что «Сияние любви» — первый опыт мисс Туэйт.

Читая тошнотворную писанину, Френсик нимало не усомнился, что опыт именно первый. Это была псевдоисторическая чушь, замешенная на романтических слюнях: повествование о безнадежной любви молодого сквайра и жены отбывшего в дальний поход крестоносца, столь озабоченного целомудрием покинутой супруги, что за этой заботою явственно проступала патологическая добродетель самой мисс Туэйт. Френсик вежливо отписал, что «Сияние любви» — вещь непродажная, и отправил рукопись обратно в Бишопс-Стортфорд.

Другая бандероль, казалось бы, принесла больше обещаний. Роман был тоже первый, назывался «Поиски утраченного детства» и принадлежал перу мистера П. Пипера, обитателя пансиона «Приморский» в Фолкстоне. Френсику роман показался прочувствованным и довольно впечатляющим. Детство у мистера Пипера было несчастливое, однако же своих малосимпатичных родителей он выписал донельзя тщательно, живо изобразив свои отроческие годы в Ист-Финчли. Френсик тут же переслал роман в издательство «Джонатан Кейп» и сообщил мистеру Пиперу, что предвидится выгодная сделка и хорошая пресса. Он ошибся. «Кейп» книгу не взял. «Бодли Хед» — тоже. Не взял и «Коллинз». Вообще все лондонские издательства отвергли ее — с комментариями от полупочтительных до издевательских. Френсик осторожно оповестил об этом Пипера и вступил с ним в переписку касательно изменения текста навстречу редакторским пожеланиям.

Не успел он оправиться от этой оплеухи, как получил другую, куда более увесистую. Журнал «Букселлер» без лишних слов сообщил, что первый роман мисс Силии Туэйт «Сияние любви» издательство «Коллинз» купило за пятьдесят тысяч фунтов, а издатели в Америке — за четверть миллиона долларов, и мисс Силия почти наверня-

ка получит Памятный Приз имени Жоржетты Хейер[1] — за историческую романтику. Френсик недоверчиво перечел скупые журнальные строки — и переменил подход к литературе.

Если издатели готовы были платить такие деньги за чувствительную белиберду, оскорбляющую его, Френсика, образованный вкус, стало быть, все суждения о задачах современного романа, почерпнутые из книг Ф. Р. Ливиса[2] и непосредственно от своей научной руководительницы доктора Сидни Лаут, в денежно-издательском мире — совершеннейший вздор и вдобавок очень опасны для его посреднической карьеры.

Постигнутый этим откровением, Френсик в корне переиначил свои взгляды. Способы оценки остались прежними, но перевернулись вверх тормашками. Всякий роман, сколько-нибудь отвечавший требованиям, предъявляемым Ф. Р. Ливисом в его «Великой традиции» и предписанным мисс Сидни Лаут в монографии «Нравственный роман», Френсик с порога отвергал как издания не заслуживающий; зато сочинения, которые для его учителей были ниже всякой критики, он проталкивал в печать всеми силами. Такие-то суждения навыворот и принесли ему успех. К тридцати годам он стяжал у издателей завидную славу: он рекомендовал только выгодные книги. Роман после Френсика не надо было дорабатывать и можно было почти не редактировать. В нем было ровно восемьдесят тысяч слов; на исторический сюжет, учитывая прожорливость любознательных читателей, давалось сто пятьдесят тысяч. Начиналась книга эффектно, продолжалась еще эффектнее и заканчивалась эффектом сногсшибательным. Короче, в романе имелось все, что надо читающей публике.

Но если от Френсика к издателям романы поступали почти готовенькие, то это потому, что рукописи чающих публикации авторов редко миновали его досмотр, не преобразившись. Распознав секрет успеха по «Сиянию любви», он требовал одного и того же от всякой книги, и одна получалась не хуже другой, как пудинги или коктейли: секс и кровь, забористый сюжет, любовные перипетии, загадки и тайны, а в придачу еще намек на значительность, на культурный вклад. Этого как бы намека на значительность Френсик добивался во что бы то ни стало. За это почтенные газеты удостаивали книгу благосклонного отзыва, и читателям казалось, будто они совершают некое паломничество и преклоняются перед чем-то эдаким, пусть и не очень понятным. Такою смутной многозначительностью Френсик приманивал изрядно потребителей, презирающих бездуховное чтиво. Он всегда требовал какой-никакой существенности, которую вообще-то числил, вместе с глубинным проникновением, по убыточному разряду; но губительна для книги она была лишь в больших дозах, как фунт мышьяку в кастрюле бульона — гомеопатическая же кроха существенности лишь возбуждала читательский аппетит.

Возбуждала его как могла и Соня Футл, распорядительница заграничными сделками. Раньше она работала в нью-йоркском агентстве и по-американски деловито наладила бесценные контакты с заокеанскими издателями. А рынком США пренебрегать не приходилось. Там и распродавали шире, и платили с продажи больше, и книжные клубы заказывали баснословные тиражи. Расширяя коммерческий охват, Соня Футл сама раздалась в три обхвата, так что о замужестве ее и речи не могло быть. Именно это, помимо всего

---

[1] Жоржетта Хейер (1902—1974) — чрезвычайно плодовитый автор массовой беллетристики исторического и детективного жанра.

[2] Френк Раймонд Ливис (1895—1978) — видный и влиятельнейший английский литературовед и критик, требовавший от литературы в первую очередь укрепления нравственных устоев и оздоровления духовного климата буржуазного общества. *(Здесь и далее прим. перев.)*

прочего, побудило Френсика сменить титул агентства на «Френсик и Футл» и сделать Соню полноправной спутницей жизни своих авторов. Кстати же, она обожала книги о сложности человеческих взаимоотношений, каковой сложности Френсик терпеть не мог. Он взял себе материал попроще: боевики, детективы, секс без романтики, историческую стряпню без секса, студенческие катавасии, научную фантастику и всякую всячину. Соне Футл достались романтический секс, историческая романтика, женское и негритянское освобожденчество, переходный возраст, сложности в личных отношениях и книги о животных. Животные были у нее в особом фаворе, и Френсик, которому однажды едва не откусил палец прототип главной героини «Чаепития с выдрами», испытывал по этому поводу превеликое облегчение. Он бы, пожалуй, спровадил ей и Пипера, но тот раз и навсегда прилип к Френсику, единственному хоть как-то ободрившему его агенту, и Френсик, чей успех был перевертышем злополучия Пипера, смирился с мыслью о том, что от него не отделаться, как и Пипер никогда не отделается от разнесчастных «Поисков утраченного детства».

Раз в год являлся он в Лондон со свежей версией своего романа, и Френсик вел его обедать, объясняя, почему не годится именно эта версия, — а Пипер возражал, что подлинно великий роман выводит подлинных людей в подлинных ситуациях и должен противостоять канонам коммерческой беллетристки. Расставались они, впрочем, по-дружески: Френсик — восхищаясь нечеловеческим упорством своего подопечного, а Пипер — намереваясь начать роман заново, в другом пансионе другого приморского города, и опять разыскивать свое утраченное детство. Так, год за годом, роман перекраивался, а стиль видоизменялся согласно очередному образцу Пипера. Тут уж Френсику некого было винить, кроме себя. На заре их знакомства он опрометчиво посоветовал Пиперу штудировать «Нравственный роман» мисс Лаут, и между тем как сам он познал на опыте гибельность ее литературных воззрений для всякого нынешнего романиста, Пипер эти воззрения усвоил. Благодаря мисс Лаут «Поиски утраченного детства» были переписаны под Лоуренса, потом под Генри Джеймса; Джеймса оттеснил Конрад, Конрада — Джордж Элиот; была версия диккенсовская, была даже а-ля Томас Вулф; а в некое лето написалась, страшно сказать, и фолкнеровская. И в каждой версии маячила на заднем плане фигура отца, изнывала несчастная мать, и в боренье достигал половой зрелости сам застенчивый юный Пипер. Он изощрялся в переимчивости; однако же откровения его по-прежнему были пустяковыми, а действия в книге не прибавлялось. Френсик махнул на него рукой, но отталкивать не стал. Соня Футл никак не могла его понять.

— Зачем тебе это надо? — спрашивала она. — Толку от него ни на грош, а обеды, между прочим, денег стоят.

— Он — мое memento mori[1], — загадочно отвечал Френсик, имея при этом в виду, что Пипер — живой труп того юного и целеустремленного романиста, каким некогда был он сам, и попрание литературных идеалов которого обеспечивает репутацию фирмы «Френсик и Футл».

Однако Пиперу был отведен лишь один искупительный день года; в прочие триста шестьдесят четыре Френсик соединял приятное с полезным. У него был прекрасный аппетит и отличная печень, а отец отпускал ему со скидкой отличные вина, так что угощать он мог на славу: в издательском мире преимущество несравненное. Другие агенты уходили с деловых обедов покачиваясь и не слышали, какие романы обсуждаются, покупаются и публикуются, а Френ-

[1] Помни о смерти *(лат.)*.

сик ел себе и ел, пил да пил, превознося ad nauseam[1] свой читкий товар и хвастаясь «находками». Среди оных был некто Джеймс Джеймсфорт, чьи романы имели такой потрясающий успех, что он скрывался от подоходного налога в алкогольном тумане за пределами Англии.

Это нетрезвое петляние Джеймсфорта из одного прибежища в другое кончилось тем, что в один прекрасный день Френсик предстал как свидетель перед Королевской скамьей Высокого суда пра-

восудия по делу о клевете, возбужденном миссис Дездемоной Хамберсон против Джеймса Джеймсфорта, автора книги «Клешни вдовы», и «Пултни Пресс» — издательства, эту книгу опубликовавшего. Френсик свидетельствовал битых два часа и сошел в зал пошатываясь.

Глава 2

— Пятнадцать т ы с я ч фунтов плюс судебные издержки? — переспросила наутро Соня Футл.— За непреднамеренную клевету? Не может быть.

[1] До тошноты *(лат.)*.

— Почитай, удостоверься, — предложил Френсик, протягивая ей «Таймс». — Там рядом, обрати внимание, про пьяного шофера: задавил двух детей и оштрафован на целых сто пятьдесят фунтов! Мало того, у него, бедняги, на три месяца отобрали права.

— С ума сойти. Сто пятьдесят фунтов за двух задавленных детей и пятнадцать тысяч — за оклеветанную женщину, о которой Джеймс и понятия не имел!

— Задавленных на пешеходной дорожке, — горько добавил Френсик. — Заметь себе: не где-нибудь, а на пешеходной дорожке.

— Бред. Собачий бред сивой кобылы, — сказала Соня. — Нет, как доходит до суда, так вас, англичан, хоть на цепь сажай.

— Джеймсфорт, наоборот, сорвался с цепи, — сказал Френсик. — Нам он теперь не автор. Он больше знать нас не хочет.

— Да мы-то здесь при чем? Мы фактической проверкой в гранках не занимаемся. Это «Пултни» обязаны были. Вот бы и отловили клевету.

— Черта с два. Как это, интересно, «отловить», что некая Дездемона Хамберсон проживает в графстве Сомерсет, выращивает люпины и причастна к «Женскому институту»? Такое нарочно не придумаешь.

— Ну, повезло тетке. Надо же — пятнадцать косых только за то, что ее обозвали нимфоманкой! Ничего себе. Да пусть меня сто раз так обзовут, я еще спасибо скажу, если за пятнадцать...

— Держи карман, — сказал Френсик, пресекая это крайне маловероятное предположение. — За пятнадцать-то тысяч я бы тоже запросто нанял пьяного шофера и раздавил бы ее прямо на пешеходной дорожке. Поделили бы с ним на двоих пятнадцать тысяч минус сто пятьдесят — и неплохо бы заработали. А если уж на то пошло, угробили бы заодно и мистера Гальбанума: зачем посоветовал «Пултни» и Джеймсфорту обратиться в суд?

— Ну, клевета-то непреднамеренная, — возразила Соня. — У Джеймса и в мыслях не было опорочить эту женщину.

— Само собой. Однако же он ее опорочил, а согласно Акту о диффамации от 1952 года, охраняющему в подобных случаях интересы авторов и издателей, клевета является непреднамеренной, если приняты были все разумные меры, чтобы...

— Разумные меры? Какие такие — разумные?

— Маразматик-судья счел, что вот такие: надо было пойти в архивы Сомерсет-Хауса и выяснить, не родилась ли в 1928 году девочка по имени Дездемона и не вышла ли она в 1951 году замуж за некоего Хамберсона. Дальше — просто: ищешь фамилию Хамберсон по ежегодникам Ассоциации люпиноводов; если ее там нет, соображаешь: а не проверить ли списки членов «Женского института» или, пожалуй, сомерсетскую телефонную книгу? Ничего этого сделано почему-то не было, и вот пожалуйста: с них пятнадцать тысяч, а мы — пособники авторов, клевещущих на беззащитных женщин. Давайте шлите романы на адрес фирмы «Френсик и Футл» — как раз угодите на скамью подсудимых. Мы теперь изгои в издательском мире.

— Ну, уж не так все ужасно. Вляпались мы впервые, и кто же не знает, что Джеймс — отчаянный пропойца, с него и спросу-то нет, кого он там где обидел.

— С него, может, и нет, зато с нас есть. «Пултни» уже распорядились: Хьюберт звонил мне вчера вечером, чтобы мы ему романов больше не слали. Только пойдет об этом слушок — и увязнем по уши в финансовой, мягко говоря, трясине.

— Обязательно, конечно, надо кого-то подыскать взамен Джеймса, — сказала Соня. — Такого мастака по части бестселлеров враз не вырастишь.

— Люпины будем выращивать,— угрюмо отозвался Френсик и пошел к себе в кабинет.

День выдался преотвратный. Телефон трезвонил почти без умолку. Авторы интересовались, скоро ли их потянут на Королевскую скамью Высокого суда правосудия за то, что они использовали имена однокашников, а издательства возвращали принятые к публикации романы. Френсик сидел, снимал трубку, нюхал табак и старался быть вежливым. Часам к пяти ему это стало совсем невмоготу, и когда позвонил редактор «Санди график», не хочет ли он тиснуть обличительную статейку насчет британских законов о клевете, Френсик сорвался.

— Чего вы от меня хотите? — орал он.— Чтоб я сунул голову в петлю, а меня бы вздернули за пренебрежение к суду? Кажется, и так этот чертов кретин Джеймсфорт собирается опротестовать судебное решение!

— На том основании, что клеветнический пассаж про миссис Хамберсон — целиком ваша вставка, да? — полюбопытствовал тот.— Защитник, помните, как раз и предположил...

— Дьявол меня раздери, да я самого вас упеку за клевету! — завопил Френсик.— От Гальбанума я стерпел такой намек, только чтоб не скандалить в суде, а вы повторите-ка мне это при свидетелях — живо окажетесь на скамье подсудимых!

— Трудновато вам придется,— посочувствовал редактор.— Тот же Джеймсфорт будет против вас свидетельствовать. Он ведь клянется, что вы с ножом к горлу требовали опорочить миссис Хамберсон, а когда он не согласился, изменили текст прямо в гранках.

— Это гнусная ложь! — вскричал Френсик.— Скажут еще, что я сам пишу за своих авторов!

— А что, разве нет? —вежливо удивился редактор. Френсик осыпал его проклятиями и ушел домой с головной болью.

Четверг был не лучше среды. «Коллинз» отверг пятый роман Уильяма Лонроя «Седьмое небо», как перегруженный сексом. Из «Трижды Пресс» завернули «Напоследок» Мэри Гоулд по обратной причине, а «Касселз» отказалось печатать «Бельчонка Сэмми» из-за того, что бельчонок пекся только о себе и упускал из виду общественное благо. «Кейп» вернул одни романы, «Секер» — другие. Никто ничего не взял. И вдобавок разразилась драматическая сцена: престарелый священнослужитель, чью автобиографию Френсик снова отказался пристраивать под тем подлым предлогом, что будто бы мало кого заинтересует ежедневная хроника приходской жизни в Южном Кройдоне, сокрушил зонтом вазу и удалился вместе со своей рукописью только после того, как Соня пригрозила позвонить в полицию. К обеду Френсик просто ополоумел.

— Не могу больше,— заныл он, отскакивая от звякнувшего телефона.— Если меня, то меня нет. Скажи, что меня хватил удар, что меня вообще...

Просили его. Соня прикрыла трубку ладонью.

— Марго Джозеф. Она говорит — иссякла и не знает, сумеет ли кончить...

Френсик скрылся к себе в кабинет и скинул трубку с рычажка.

— Все, я ушел и сегодня не вернусь,— сказал он Соне, когда та возникла в дверях через несколько минут.— Буду сидеть и думать.

— Заодно почитай,— сказала Соня и шлепнула бандероль ему на стол.— Утренняя. Распечатать — и то было некогда.

— Вот я распечатаю, а она взорвется,— мрачно сказал Френсик и развязал шпагат. Однако в пакете ничего страшного не оказалось:

только аккуратная машинопись и конверт, адресованный мистеру Ф. А. Френсику. Френсик не без удовольствия оглядел девственные страницы и незахватанные углы: никто, стало быть, к машинописи не прикасался, от сбытчика к сбытчику она не бродила. Потом он глянул на титульный лист, украшенный заглавием: «ДЕВСТВА РАДИ ПОМЕДЛИТЕ О МУЖЧИНЫ. РОМАН». Имени автора не было, обратного адреса тоже. Странно. Френсик вскрыл конверт и прочел краткое, деловое и загадочное послание.

КЭДВОЛЛАДАЙН И ДИМКИНС
СТРЯПЧИЕ
596 Сент-Эндрю стрит
Оксфорд

Досточтимый сэр!

Всю корреспонденцию касательно возможного сбыта, публикации и вопросов авторского права по поводу прилагаемой рукописи надлежит адресовать нам на имя лично П. Кэдволладайна.

Автор, пожелавший остаться в совершеннейшей тайне, предоставляет договорные условия и выбор соответствующего псевдонима целиком на Ваше усмотрение.

Готовый к услугам

Перси Кэдволладайн

Френсик несколько раз перечел письмо, прежде чем обратиться к рукописи. Очень это было странное письмо. Совершеннейшая тайна? Договорные условия и выбор псевдонима целиком на его усмотрение? Доселе ему попадались только авторы тшеславные и авторы назойливые, и такое смирение говорило само за себя. Прямо-таки умилительно. Ах, если бы мистер Джеймсфорт оставлял все на его усмотрение! Френсик открыл первую страницу машинописи под названием «Девства ради помедлите о мужчины» и принялся читать.

Спустя час он читал не отрываясь, и табакерка его разверзлась на столе, а складки штанов были полны табачной трухи. Френсик вслепую потянулся за табаком, ввернул в ноздрю щедрую щепоть и вытер нос третьим носовым платком. Задребезжал телефон в соседнем кабинете. Люди всходили по лестнице и стучались в Сонину дверь. Снаружи, на улице, тарахтели машины. Френсик отключился от посторонних шумов. Он перевернул страницу и стал читать дальше.

В половине седьмого Соня Футл окончила дневные труды и собралась уходить. Дверь в кабинет Френсика была закрыта, но вряд ли он бы ушел не сказавшись. Она приотворила дверь и заглянула. Френсик сидел за столом, неподвижно взирая на темные крыши «Ковент-Гардена», и слабо улыбался. Знакомая поза, поза открытия.

— Не может быть,— сказала она в дверях.

— А ты прочти,— сказал Френсик.— На меня не полагайся. Сама прочти.— И он как бы отстранил машинопись легким жестом.

— Находка?

— Бестселлер.

— Уверен?

— Абсолютно.

— Роман, конечно?

— Н-ну,— сказал Френсик,— хотелось бы думать, что роман.

— Небось похабщина,— сказала Соня, распознав симптомы.

— Похабщина,— возразил Френсик,— это не то слово. Воображение, начертавшее — если воображение может начертать — эту эпопею бесстыдства,— такого воображения не хватало маркизу де Саду.

Он поднялся и протянул ей машинопись.

— Крайне желательно выслушать твое мнение,— заключил он, как бы вернувшись на уровень собственного достоинства.

Вечером Френсик отправился к себе в Хампстед чуть ли не вприпрыжку, но наутро вернулся тишком, и в ежедневнике Сони возникла сдержанная запись: «Обговорим роман за обедом. Ко мне никого не пускать». Он прошел в кабинет и запер за собой дверь.

Все утро напролет Френсик, по-видимому, был целиком поглощен голубиной возней на соседней крыше. Он сидел за столом, уставившись в окно, иногда звонил по телефону или черкал карандашом на листочке. Большей частью сидел просто так. Но видимость обманчива: дух Френсика витал над привычным литературным ландшафтом, где каждое лондонское издательство просительно разевало клюв, где на всяком перекрестке заключались взаимовыгодные сделки и услуги обменивались на одолженьица. Но Френсик собрался хитрить. Мало ведь запродать книгу — это любой дурак сможет, дай только выгодный товар. Нет, нужно пристроить ее именно кому следует, чтобы сделка имела полный эффект и нужные последствия, чтобы она всячески укрепила репутацию книгопродавца и послужила его дальнейшей выгоде. И уж само собой, к выгоде его авторов.

В расчеты его входило будущее: он предвидел неудачи знаменитых авторов — и книги, успеху которых помешает авторская безвестность. Френсик тасовал воображаемые карты — это он умел. Иногда он уступал книги мелким фирмам за пустячные авансы, хотя мог бы договориться с фирмой побольше об авансе покрупнее. Такие жертвы потом окупались — скажем, изданием романа, которого и пятьсот экземпляров едва ли разойдутся, но почему-либо нужного Френсику в печати. Свои резоны Френсик не оглашал, равно как имена маститых авторов, зарабатывающих на жизнь детективами или полупорнографией, укрываясь под псевдонимами. Тут простирался покров тайны, и даже Френсик, чей ум был полон неверными уравнениями личностей и вкусов, покупок и цен, долгов и платежей,— даже он понимал, что посвящен далеко не во все. Расчеты расчетами, но в конечном счете вывозит всегда удача, а в последнее время удача изменила Френсику. Значит, надо действовать осторожненько — и в это утро Френсик был предельно осмотрителен.

Он обзвонил приятелей-юристов и удостоверился, что стряпчие «Кэдволладайн и Димкинс» — старая, надежная и весьма почтенная фирма, обслуживающая самую респектабельную клиентуру. Лишь затем набрал он оксфордский номер мистера Кэдволладайна — чтобы напрямик поговорить о присланном романе. Поверенный изъяснялся по старинке. К его глубочайшему сожалению, встреча мистера Френсика с автором не представляется возможной. Инструкции предполагают совершеннейшую тайну: любые переговоры должен вести лично мистер Кэдволладайн. Разумеется, все лица и происшествия в романе вымышленные. Да, если угодно, мистер Френсик может включить в договор дополнительный параграф, освобождающий издательство от финансовой ответственности на случай возбуждения дела о клевете. Он, впрочем, всегда полагал, что подобный параграф составляет неотъемлемую часть всякого договора между издателем и автором. Френсик сказал, что да, конечно, составляет: он просто хотел лишний раз подчеркнуть этот момент, поскольку имеет дело с автором-анонимом. Мистер Кэдволладайн выразил полнейшее понимание.

Френсик положил трубку увереннее, нежели снял, и смелее возвратился на круги своя, к воображаемым сделкам. Он пошел проторенной тропкой, мысленно задержавшись возле нескольких видных издательств и миновав их. Такому роману, как «Девства ради помедлите о мужчины», нужен был издатель с безупречной репутацией, отсвет которой лег бы на книгу. Френсик отсеивал одного за другим и наконец сделал свой выбор. Рискованный, конечно: однако игра стоила свеч. Но сначала требовалось мнение Сони Футл.

Она высказала его за обедом в итальянском ресторанчике, где Френсик обычно угощал своих более или менее второстепенных авторов.

— Редкостная книжица,— заметила она.

— Пожалуй что,— признал Френсик.

— Но что-то в ней есть. Есть искренность,— сказала Соня, понимая, чего от нее ждут.

— Согласен.

— Проникновенность.

— Само собой.

— Крепкий сюжет.

— Железный.

— И есть подтекст,— сказала Соня.

Френсик перевел дух. Как раз на это слово он и надеялся.

— Думаешь, есть?

— Да. Честное слово. Есть вот в ней что-то такое. Нет, хорошо, правда. Ей-богу, хорошо.

— Н-ну,— сказал Френсик, как бы сомневаясь,— я, может быть, отстал от времени, но...

— Да ну тебя. Перестань дурака валять.

— Любезный друг,— сказал Френсик.— Я вовсе не валяю дурака. Вот ты сказала — есть подтекст, и слава богу. Я этого слова ждал и дождался. Стало быть, роман придется по вкусу тем духовным самоистязателям, которые радуются книге, только если она их раздражает. Но про себя-то я знаю, что с точки зрения подлинной литературы это сущая дрянь — и невелика важность, что знаю, однако инстинктами своими надо дорожить.

— У тебя, по-моему, вообще нет инстинктов.

— Литературный — есть,— сказал Френсик.— И он говорит мне, что книга мерзкая, претенциозная, а значит — ходкая. Все в порядке: содержание — гадость, слог и того гаже.

— Слог как слог,— пожала плечами Соня.

— Тебе-то, конечно, все едино. Ты американка, вашу нацию классика не тяготит. Вам что Драйзер, что Менкен, что Том Вулф, что Сол Беллоу — какая разница? Имеете право. Я как нельзя больше ценю это безразличие, оно обнадеживает. Если уж вы без труда проглатываете вывороченные фразы, источенные запятыми и перетянутые скобками, где неприкаянные глаголы тычутся во все стороны, а оговорки цепляются друг за друга; фразы, которые, чтобы вразумительно спародировать, и то надо раза четыре перечесть со словарем — я ли стану вам перечить? Твои земляки, чей раж самоусовершенствования я никогда не мог оценить, в такую книгу просто влюбятся.

— Ну, содержание-то им не особенно в новинку. Было, и не так давно: вспомни-ка «Гарольда и Мод» [1].

— Но не в таком омерзительно подробном исполнении,— заметил Френсик, отхлебнув вина.— И без лоуренсовщины. Вообще же это как раз наш козырь: ему — семнадцать, ей — восемьдесят. За права престарелых! Разве не звучит? Да, кстати, когда Хатчмейер будет в Лондоне?

— Хатчмейер? Ты что, обалдел? — удивилась Соня. Френсик протестующе помахал вилкой с длинной макарониной.

— Ну-ну, выбирай выражения. Я тебе не хиппи.

— А Хатчмейер тебе не «Олимпия Пресс» [2]. Он мещанин до мозга костей и к этой книге близко не подойдет.

— Подойдет, если подманим,— сказал Френсик.

— Подманим? — недоверчиво спросила Соня.— Это как?

---

[1] Роман на базе киносценария американского писателя Колина Хиггинса (род. в 1941 г.).

[2] Парижское издательство порнографической и сенсационной литературы на английском языке.

— Я, собственно, решил запродать книгу самому что ни на есть почтенному лондонскому издателю,— сказал Френсик,— а уж потом перепродать права Хатчмейеру в Америку.

— Кому же это ты здесь запродашь?

— Коркадилам,— сказал Френсик.

— Старинная, обомшелая фирма,— покачала головой Соня.

— Вот именно,— сказал Френсик.— Престижная. И на грани банкротства.

— Им сто лет назад надо было отделаться от половины своих авторов,— сказала Соня.

— Ладно от авторов, лучше бы отделались от главы фирмы, от самого сэра Кларенса. Ты его некролог читала?

Оказалось — нет, не читала.

— Очень любопытно. И поучительно. Сколько, ах, сколько у него заслуг перед Литературой! То бишь сколько напечатал он поэтов и романистов, которых никто не читал и не читает! В итоге — банкротство.

— Вот, значит, и не смогут они купить «Девства ради помедлите о мужчины».

— Купят, куда они денутся? — сказал Френсик.— На похоронах сэра Кларенса я перекинулся парой слов с Джефри Коркадилом. Он по стопам отца не пойдет. Коркадилы выкарабкиваются из восемнадцатого столетия, и Джефри нужен бестселлер. Они возьмут «Девство», а мы пощупаем Хатчмейера.

— И по-твоему, на Хатчмейера это подействует? — усомнилась Соня.— Что ему Коркадилы?

— Как что, а почет? — сказал Френсик.— У них же монументальное прошлое. На камин-то Шелли опирался, в кресле-то непорожняя миссис Гаскелл сидела, а на ковер и вовсе Теннисона стошнило. А сколько первоизданий! Хоть и не вся «великая традиция», а все же изрядный кусок истории литературы. И в такую преподобную компанию Коркадилы возьмут наш роман — за бесценок, конечно.

— Ты думаешь, автору этого хватит? А деньги ему нипочем?

— Деньги он получит от Хатчмейера. Мы его, голубчика, хорошенько выдоим. Но автор, конечно, небывалый.

— Судя по книге — да,— сказала Соня.— А еще почему?

— Непробиваемый аноним,— сказал Френсик и изложил инструкции мистера Кэдволладайна.— Так что у нас своя рука владыка,— заключил он.

— Дело за псевдонимом,— сказала Соня.— Убьем-ка мы сразу двух зайцев: пусть автора зовут Питер Пипер. Хоть раз в жизни увидит человек свое имя на книжной обложке.

— Ты права,— грустно согласился Френсик.— Боюсь, что иначе бедняге Пиперу не видать этого как своих ушей.

— Вдобавок сэкономишь на ежегодном обеде и не придется читать новую версию «Поисков утраченного детства». У него какой сейчас образец?

— Томас Манн,— вздохнул Френсик.— Фразы на две страницы — заранее ужас берет! А ты думаешь, можно эдак-то разделаться с его литературными мечтаниями?

— Как знать? — возразила Соня.— Поглядит человек на свою напечатанную фамилию, почувствует себя на какое-то время автором — может, и хватит с него?

— Да, уж либо так, либо никак, это я более чем головой ручаюсь,— сказал Френсик.

— Ну вот, и ему кое-что перепадет.

После обеда Френсик отправил рукопись Коркадилам. На титульном листе, под заглавием, Соня припечатала «сочинение Питера Пипера». Френсик долго, убедительно разъяснял по телефону ситуацию Джефри Коркадилу и запер свой кабинет вполне собой довольный.

Через неделю редколлегия Коркадилов обсуждала «Девства ради помедлите о мужчины» перед лицом прошлого, осенявшего развалины их издательской репутации. Панельные стены зала заседаний были обвешаны портретами знаменитых покойников. Шелли среди них не было, миссис Гаскелл — тоже; их замещали меньшие светила. В застекленных шкафах выстроились первоиздания, а музейные витрины хранили писательские реликвии. Перья гусиные и перья стальные, послужившие автору «Уэверли» [1], перочинные ножички, чернильница, которую Троллоп будто бы забыл в поезде, песочница Саути и даже кусочек промокашки, который, будучи поднесен к зеркалу, обнаруживал, что Генри Джеймс однажды, на удивление потомству, написал пошлое слово «дорогая».

Посреди этого музея, за овальным столом орехового дерева, сидели, соблюдая еженедельный обряд, директор издательства мистер Уилберфорс и главный редактор мистер Тэйт. Они прихлебывали мадеру, грызли тминные печеньица и неодобрительно поглядывали то на рукопись, лежавшую перед ними, то на Джефри Коркадила. Трудно сказать, что им больше не нравилось — она или он. Замшевый костюм в обтяжку и вышитая сорочка Джефри Коркадила были совсем не к месту. Сэр Кларенс весьма бы не одобрил. Мистер Уилберфорс подлил себе мадеры и покачал головой.

— Я категорически против,— сказал он.— По-моему, совершенно несуразно и даже непредставимо, чтобы мы освятили своим именем, титуловали бы, так сказать, публикацию этого... опуса.

— Вам что, книжка не понравилась? — спросил Джефри.

— Не по-нра-ви-лась? Да с моей стороны просто подвиг, что я ее дочитал.

— Ну, на всех не угодишь.

— Нам никогда и не предлагали ничего подобного. Все-таки надо подумать о собственной репутации...

— И о собственном превышении кредита,— сказал Джефри.— Говоря напрямик, нам надо выбирать между репутацией и банкротством.

— Но зачем же такая, бывают и другие книги,— взмолился мистер Тэйт.— Вы ее хоть прочли?

— А как же,— кивнул Джефри.— Я знаю, отец мой взял себе за правило не читать никого после Мередита, но я...

— Ваш бедный отец,— с чувством сказал мистер Уилберфорс,— должно быть, ворочается в гробу при одной мысли о...

— Да-да, именно в гробу, где к нему, надо полагать, скоро присоединится так называемая героиня этого омерзительного романа,— добавил мистер Тэйт.

Джефри поправил сбившийся локон.

— Помнится, папу кремировали, так что затруднительно ему будет ворочаться, а ей — присоединяться,— небрежно заметил он. Мистер Уилберфорс и мистер Тэйт стали торжественны, а Джефри вернул на лицо дружелюбную улыбку.— Итак, насколько я понял, ваши возражения сводятся к тому, что в романе описана любовная связь семнадцатилетнего юноши и восьмидесятилетней женщины?

— Да! — сказал мистер Уилберфорс громче обычного.— Хотя как тут можно говорить о л ю б о в н о й связи?..

— Ну, сексуальные отношения. Что спорить о словах?

— Нет-нет, не в словах дело,— сказал мистер Тэйт.— И даже не в отношениях. Это бы все еще ничего. Где об отношениях, там пусть, куда ни шло. Ужасает то, что между отношениями. Я и понятия не имел... впрочем, не важно. Но это же просто кошмар какой-то.

— Вот ради этих самых пассажей между отношениями,— сказал Джефри,— книгу и будут раскупать.

Мистер Уилберфорс недоверчиво покачал головой.

---

[1] Вальтер Скотт.

— Лично я склонен думать, что мы идем на риск, на опаснейший риск судебного преследования за непристойность,— сказал он.— И обоснованного преследования.

— Именно, именно,— отозвался мистер Тэйт.— Да что тут, возьмите хоть сцену с креслом-качалкой и душем...

— Умоляю,— простонал мистер Уилберфорс.— Хватит уж того, что мы это прочли и похоронили в памяти. Неужели нужна еще эксгумация?

— Уместное слово,— сказал мистер Тэйт.— Даже и самое заглавие...

— Ладно, ладно,— сказал Джефри.— Согласен, все это несколько безвкусно, однако же...

— Что значит «однако же»? А помните, как он ее...

— Ну Тэйт, ну не надо, ну ради бога не надо,— слабо запротестовал мистер Уилберфорс.

— Повторяю,— продолжал Джефри,— я готов согласиться, что это варево не на всякий вкус. Да ну вас, Уилберфорс. Хотите, я наберу вам с полдюжины книг почище этой.

— Нет, я, слава богу, ни одной такой не помню,— заметил мистер Тэйт.

— Одну, назовите одну!— возопил мистер Уилберфорс.— Хоть одну, которая могла бы сравниться!..— И перст его затрясся над рукописью.

— Та же «Леди Чаттерли»,— сказал Джефри.

— Ха! — сказал мистер Тэйт.— Да по сравнению с этим «Леди Чаттерли» — девственница!

— И вообще, «Чаттерли» же запрещена,— сказал мистер Уилберфорс.

— О, небо,— тяжко вздохнул Джефри Коркадил.— Ну, кто ему объяснит, что викторианцы вместе с их нравами канули в Лету?

— И очень жаль, что канули,— заметил мистер Тэйт.— Кое с кем из них мы прекрасно ладили. Безобразия начались с «Источника одиночества».

— Была там еще и другая гадкая книжонка,— сказал мистер Уилберфорс,— но ее хоть не мы опубликовали.

— Безобразия,— вставил Джефри,— начались, когда дядя Катберт сдуру пустил под нож «Самоучитель бальных танцев» Уилки и напечатал вместо него «Определитель съедобных грибов» Фашоды.

— Да, с Фашодой — это он зря,— согласился мистер Тэйт.— На вскрытиях нас все время поминали недобрым словом.

— Вернемся в нынешний век,— сказал Джефри,— который не лучше, чтоб не сказать — хуже минувшего. Френсик, как видите, предложил нам роман, и мы, по-моему, должны его принять.

— Прежде мы с Френсиком дела не имели,— сказал мистер Тэйт.— Говорят, Френсик берет недешево. Сколько он хочет на этот раз?

— Чисто номинальную сумму.

— Чисто номинальную? Френсик? Что-то непохоже на него. Обычно он запрашивает втридорога. Тут какая-нибудь ловушка.

— Да чертова эта книга и есть ловушка. Дураку ясно,— сказал мистер Уилберфорс.

— Френсик смотрит на вещи шире,— сказал Джефри.— Он предвидит заокеанскую сделку.

Оба старца шумно вздохнули.

— А-а, ну да,— сказал мистер Тэйт.— Американский рынок. Тогда, конечно, другой разговор.

— Вот именно,— сказал Джефри,— и Френсик убежден, что американцы оценят эту книгу по достоинству. Вовсе тут не все похабщина, многое сделано по-лоуренсовски, не говоря уж о прочих писателях, которые тоже просвечивают. Блумзберийская группа, Вирджи-

ния, понимаете ли, Вулф, Мидлтон Марри и тому подобное. И философское опять же содержание...

— Ага, ага, —кивнул мистер Тэйт.— На такую наживку американцы клюнут, только нам-то что с этого?

— А десять процентов американского гонорара,— сказал Джефри.— Это нам как?

— И автор согласен?

— Мистер Френсик уполномочен согласиться за него и полагает также, что если книга станет там бестселлером, то ее начнут бешено раскупать здесь.

— Если, если,— сказал мистер Тэйт.— Если да, то да. А кто издаст в Америке?

— Хатчмейер.

— Ишь ты,— сказал мистер Тэйт.— Теперь хоть кое-что понятно.

— Хатчмейер,— заметил мистер Уилберфорс,— негодяй и мошенник.

— И один из главных воротил американского книжного рынка,— прибавил Джефри.— Если уж он возьмет книгу, то книга пойдет. И авансы у него сказочные.

— Признаюсь,— кивнул мистер Тэйт,— что я никогда не мог проникнуть в тайны американской книготорговли, но авансы действительно сказочные, и Хатчмейер в самом деле воротила. Может быть, Френсик и прав. Шанс тут, пожалуй, есть.

— Наш единственный шанс,— заверил Джефри.— Иначе пойдем с молотка.

Мистер Улберфорс налил себе мадеры.

— Ужасное унижение,— сказал он.— Подумать только, до чего мы докатились — до псевдоинтеллектуальной порнографии.

— Ну, если это нам поможет удержаться на плаву...— сказал мистер Тэйт.— Да, а кто такой этот, как его, Пипер?

— Извращенец,— объявил мистер Уилберфорс.

— Френсик говорит, что это молодой человек, преданный литературе,— сказал Джефри.— Это его первый роман.

— Будем надеяться, что и последний,— сказал мистер Уилберфорс.— Впрочем, можно, кажется, пасть еще ниже. Как звали ту мерзавку, которая сама себя кастрировала и написала об этом книгу?

— Как то есть с а м а себя? — изумился Джефри.— Это вряд ли возможно. Еще, положим, с а м себя..

— Вы, наверное, имеете в виду книжонку под названием «Обыкновенное убийство», сочинение некой... Маккаллерс [1], что ли,— сказал мистер Тэйт.— Лично я ее не читал, но слышал, что ужасная гадость.

— Итак, все согласны,— сказал Джефри, чтобы избежать опасного поворота беседы. Мистер Тэйт и мистер Уилберфорс скорбно кивнули.

Френсик приветствовал их решение без особого восторга.

— Почем еще знать, выгорит ли с Хатчмейером,— сказал он Джефри за обедом в ресторане «Уилерз».— Главное сейчас, чтобы газетчики не пронюхали, а то отпугнут его. Давайте-ка для пущего туману называть это дело «Девством».

— Что ж, очень подходяще,— сказал Джефри.— Девственные гранки будут месяца через три, не раньше.

— Стало быть, хватит времени обработать Хатчмейера.

— Вы думаете, правда есть шанс, что он откупит?

— Шансов сколько угодно,— сказал Френсик.—Мисс Футл имеет на него огромное сексуальное влияние.

[1] «Обыкновенное убийство» — документальная повесть американца Трумэна Капоте (1924—1984). См. «ИЛ» № 2—4, 1966 г.

— Поразительно,— сказал Джефри, содрогнувшись.— Но, судя по «Девству», о вкусах лучше не спорить.

— Соня, кстати, замечательно торгуется,— сказал Френсик.— Она всегда запрашивает такие авансы, что американцы аж глазами хлопают. И понимают, что она верит в книгу.

— А этот ваш Пипер согласится на десятипроцентные отчисления?

Френсик кивнул. У него был по этому поводу разговор с мистером Кэдволладайном.

— Автор предоставил мне решать за него все финансовые вопросы,— сказал он, ничуть не отклоняясь от истины. Так обстояли дела к прибытию Хатчмейера, который объявился в Лондоне со своей свитой в начале февраля.

Глава 3

Про Хатчмейера говорили, что он самый безграмотный издатель в мире и что, начав карьеру менеджером, он учредил затем мордобой на книжном рынке и однажды выдержал восемь раундов с самим Норманом Мейлером. Еще говорили, что ни одной закупленной книги он сроду не прочел и вообще читает только чеки и банкноты. Говорили еще, что он — владелец половины амазонских джунглей и что, глядя на дерево, он видит суперобложку. Много разного, чаще нелестного, говорили о Хатчмейере: во всем этом была толика правды, и за разноречивыми россказнями таился секрет его успеха. А что секрет был, в этом никто не сомневался, ибо удачливость Хатчмейера превосходила всякое понимание. Легенды о нем мешали спать издателям, отвергнувшим «Историю любви» Эрика Сигела, когда автор просил за нее ломаный грош; презревшим Фредерика Форсайта, проворонившим Иана Флеминга и теперь ворочающимся с боку на бок, проклиная свою бестолковость. Сам же Хатчмейер спал прекрасно. То есть для больного человека просто изумительно, а болен он был всегда. Френсик переедал и перепивал своих соперников; Хатчмейер же давил их ипохондрией. Когда он не страдал язвой или желчнокаменной болезнью, то жаловался на кишечник и сидел на строгой диете. Издатели и посредники за его столом по мере сил управлялись с шестью блюдами, одно сытнее и неудобоваримее другого, а Хатчмейер ковырял кусочек вареной рыбки, грыз сухарик и прихлебывал минеральную водичку. Из таких кулинарных поединков он выходил с тощим животом и тугой мошной, а гости его кое-как доплетались до дома, сами не понимая, что за муха их укусила. Но опомниться им не удавалось: Хатчмейер сегодня был в Лондоне, завтра — в Нью-Йорке, послезавтра — в Лос-Анжелесе. Разъезды его имели двоякую цель: заключать договоры наспех и безотлагательно и держать подчиненных в страхе божием. Иной раз похмельный автор еле мог вывести свою фамилию, не то что прочесть мелкий шрифт, а в договорах Хатчмейера шрифт был мельче мелкого. Оно и неудивительно: петит сводил на нет все, что печаталось крупным шрифтом. И наконец, чтобы иметь дело или обделывать делишки с Хатчмейером, надо было сносить его обращение. А Хатчмейер был хамоват — отчасти по натуре, отчасти же в пику литературному эстетству, донимавшему его со всех сторон. Оттого-то он так и ценил Соню Футл, что она не лезла ни в какие эстетические рамки.

— Ты мне прямо как дочь,— проурчал он, приветственно облапив Соню в номере «Хилтона».— Ну, что же на этот раз принесла мне моя крохотулечка?

— Гостинчика,— отвечала Соня, высвободившись и взгромоздившись на велосипедный снаряд, всюду сопровождавший Хатчмейера. Тот присел на самое низкое кресло в комнате.

— Да не может быть. Романец?

Соня кивнула, усердно крутя педали.

— Как называется? — поинтересовался Хатчмейер, пропуская дело наперед удовольствия.

— «Девства ради помедлите о мужчины».

— Чего ради «помедлите о мужчины»?

— Девства,— сказала Соня и вовсю заработала педалями.

Хатчмейер углядел ляжку.

— Девства? Религиозный, что ли, роман с пылу с жару?

— Это мало сказать — с жару: сам как огонь.

— Что ж, по нашим временам не худо. Тиражное барахло: всякие там сверхзвезды, дзэн-буддисты, как починить ваш автомобиль или там мотоцикл. Девство тоже кстати — как раз год женщин.

Соня приостановила педали.

— Нет, Хатч, тебя не туда понесло. Это не про Богородицу.

— Как нет?

— Так вот и нет.

— Стало быть, не она одна девственница? Ну-ка, ну-ка, расскажи, это даже интересно.

И Соня Футл принялась рассказывать с высоты велосипедного седла, завораживающе поводя ногами вверх-вниз, дабы убаюкать критические способности Хатчмейера. Тот почти не сопротивлялся и, лишь когда Соня перестала крутить педали, сказал:

— Забыть, наплевать и растереть. Ну и белиберда! Ей восемьдесят, а она знай подставляется где ни попадя. Обойдемся.

Соня слезла со снаряда и, подбоченившись, нависла над Хатчмейером:

— Не ерунди, Хатч, послушай меня. Только через мой труп ты отбрешешься от этой книги. Это экстра-класс.

Хатчмейер радостно улыбнулся. Во берет за глотку! Торги — не торговлишка.

— Давай расхваливай.

— Ладно,— взялась за дело Соня.— Когда читают книги? Молчи, сама скажу. От пятнадцати до двадцати одного года. И время есть, и охота не притупилась. У кого самые высокие показатели грамотности? У шестнадцати-двадцатилетних. Верно?

— Верно,— согласился Хатчмейер.

— Конечно, верно! И вот тебе пожалуйста: семнадцатилетний парень, поиски себя.

— Какие еще поиски! Ты меня не потчуй фрейдистской мертвечинкой. Не те времена.

— Времена не те, да и он не тот. Мальчик без патологии.

— Да ты что! А чего же он лезет на бабушку?

— Она ему не бабушка. В ней женское...

— Погоди, деточка, дай мне сказать. Ей восемьдесят, какое там в ней женское. Уж я-то знаю. Жене моей Бэби пятьдесят восемь, а женского — один скелет. Хирурги-косметологи из нее столько повынимали, что ахнешь и закачаешься. За пазухой один силикон, окорока тянутые-переобтянутые. Девственность ей обновляли раза четыре, а с лицом я со счету сбился.

— И почему все это? — сказала Соня. А потому, что она хочет быть женщиной с головы до пят.

— Ну да, женщиной. Почти вся подмененная.

— А все-таки читает. Верно?

— Еще бы нет! За месяц больше, чем я издаю в год.

— Вот именно. Читает молодежь, читают старики. А прочих вежливенько отсылаем туда-сюда.

— Ты вот скажи Бэби, что она старуха, и сама вежливенько отправишься туда-сюда. Она за это кому хочешь пасть порвет — я тебе говорю.

— А я тебе говорю, что пик грамотности дает возрастная группа от шестнадцати до двадцати лет, потом зияние — и снова пик, начиная с шестидесяти. Права я или нет?

— Ну, права,— пожал плечами Хатчмейер.

— А книга о чем? — спросила Соня.— О том, как...

— Как один чокнутый сопляк путается с чьей-то бабкой. Где-то уже это было, давай что-нибудь поновее. Да и с тухлой клубничкой неохота возиться.

— Нет, Хатч, нет, ничего ты не понял. Это не тухлая клубничка, а история любви. Они по-человечески важны друг другу. Он нужен ей, а она ему.

— А мне они оба ни на хрен не нужны.

— Они черпают друг у друга то, чего каждому недостает. Он впитывает ее зрелость, умудренность, вкушает плод опыта...

— Вкушает? Плод? Ох, берегись, ей-богу, сблюю.

— А она заражается его юношеским жизнелюбием,— напирала Соня.— Я тебе честно говорю: это большая литература. Глубокая, значительная книга. Она высвобождает. Это экзистенциально. Это... Помнишь, как было с «Подругой французского лейтенанта» нашего Джона Фаулза? Все Штаты ходуном ходили. А теперь Америка созрела для «Девства». Да, ему семнадцать, ей восемьдесят — а все-таки он ее любит. Поймя ты, Хатч: Л-Ю-Б-И-Т. Пожилые и престарелые будут все как один покупать книгу, чтобы узнать, чем их обделяет судьба, а студенты клюнут на филозофрению. Только подай — а пой-

дет нарасхват! Культуртрегеров поймаем на претензию, авангард — на порно, а сопливых — на чувствительность. Это же блюдо на целую семью! Таких тиражей...

Хатчмейер встал и прошелся по комнате.

— Знаешь, тут ты, может, и верно протумкала,— сказал он.— Я вот спросил себя: «Схватится Бэби за эту книгу?» Как пить дать, схватится. А уж если она глотает, то все облизываются. Сколько?

— Два миллиона долларов.

— Два миллиона... Ты мне что, мозги пудришь?

Хатчмейер даже рот разинул. Соня снова влезла на велосипедный снаряд.

— Два миллиона. Нет, не пудрю я тебе мозги.

— Иди гуляй, детка, иди гуляй. Два миллиона? За один роман? Отбой.

— Два миллиона — или я пошла показывать ножки Майленбергу.

— Этому скалдырнику? Да откуда у него два миллиона! Бегай ты без штанов взад-вперед по Авеню Америк хоть с утра до вечера — никто столько не даст.

— Американские права, дешевое издание, фильмы, телепостановка, серийные выпуски, книжные клубы...

— Ты давай позабористее,— зевнул Хатчмейер.— Клубы у меня под рукой ходят.

— А с этой книгой они тебя обойдут.

— Ну, пусть даже купит Майленберг. Он тебе цены не даст, а я все равно перекуплю. И что мне с этого будет?

— Слава,— хлопнула козырем Соня,— мировая слава. Сразу влепишь в десятку: «Унесенные ветром», «Эмбер навечно», «Кукольная долина», «Доктор Живаго», «Аэропорт», «Мешочники». Да ты же в «Ридерз дайджест альманах» попадешь!

— В «Ридерз дайджест альманах»? — восхищенно переспросил Хатчмейер.— Ты думаешь, даже так?

— Думаю? Знаю. Престижная книга о скрытых жизненных возможностях. Не бульварщина какая. Переплюнешь Мэри Бейкер Эдди с ее христианской наукой. Это же словесная симфония. Заметь, кто здесь купил — фирма слава тебе господи!

— Кто? — с подозрением спросил Хатчмейер.

— Коркадилы.

— Коркадилы? Старейшее издательство...

— Не старейшее. «Марри» старше.

— Ну, ладно, старое. Почем?

— Пятьдесят тысяч фунтов,— наудачу брякнула Соня.

Хатчмейер уставился на нее.

— Коркадилы — пятьдесят тысяч за эту книгу? Пятьдесят косых?

— Да, пятьдесят косых. И с ходу. Без лишних разговоров.

— А я слышал, они на мели,— сказал Хатчмейер.— Их что, откупил какой-нибудь араб?

— Нет, не араб. Это семейная фирма. Сам Джефри Коркадил выложил пятьдесят тысяч: понял, что книга того стоит. Думаешь, стали бы они рисковать такими деньгами, если б собирались сматывать удочки?

— Японский бог,— сказал Хатчмейер.— Да, видать, на это дерьмо делают крупные ставки... и все ж таки два миллиона! Никогда еще за роман столько не давали. Роббинс берет миллион, но ведь это Роббинс!..

— В том-то и дело, Хатч. Думаешь, я прошу два миллиона за так? Дура я тебе, что ли? К тому же два миллиона делают книгу. Ты их платишь, люди об этом знают — и каждый кидается читать роман — надо же понять, с чего это ты раскошелился. Про тебя всякому интересно. Ты впереди всех. Да и фильм обязательно...

— С фильма в доле. Только не процентик, а пополам.

— Идет,— сказала Соня.— Режь подметки на ходу. Пополам так пополам.

— Да, еще мне нужен автор, этот ваш, как его... Пипер,— заявил Хатчмейер.

— Автор тебе нужен? — вмиг насторожилась Соня.— А зачем тебе автор?

— Для ходкого сбыта. Будем его совать в нос публике: вон видали, этому только подкладывай старух. Турне по Штатам, автографы, телеинтервью, лекции — в общем, на всю катушку. Мы его разделаем под гения.

— Не думаю, что ему это понравится,— смущенно сказала Соня.— Он очень робкий и замкнутый.

— Это он-то робкий? Заголился и давай стесняться? — удивился Хатчмейер.— Да за два миллиона он любой зад обязан дочиста вылизать!

— Сомневаюсь, что он согласится...

— Либо согласится, либо пошел он,— обрезал Хатчмейер.— Уж если я готов нянчиться с его книжонкой, то ему сам бог велел соглашаться. Точка, решено.

— Ладно, раз тебе так надо,— сказала Соня.

— Да, мне так надо,— сказал Хатчмейер.— И тебя мне тоже надо...

Соня еле унесла ноги и помчалась с договором на Ланьярд-Лейн.

Френсик явно заждался ее.

— Довела до ума,— пропела она, сотрясая плясом кабинет.

— Ну и ну,— сказал Френсик.— Ах ты умница.

— С одним условием.— Соня приостановилась.

— С условием? Что за условие?

— Сперва хорошие новости. Книга ему понравилась. Он от нее без ума.

— А не рановато? — прищурился Френсик.— Он ведь даже случая не имел и заглянуть-то в эту клоаку.

— Ну, я ему рассказала... так, в общем — и ему очень понравилось. Пора, говорит, преодолевать опасный возрастной разрыв.

— Опасный возрастной?

— Да, между поколениями. Он как-то чувствует...

— Чувства его оставь-ка себе,— сказал Френсик.— Тот, кто говорит о преодолении опасного возрастного разрыва, не дорос до простейших человеческих эмоций.

— Он считает, что «Девство» окажет такое же благотворное влияние на молодежь и престарелых, какое «Лолита»...

— Оказала на родителей? — предположил Френсик.

— На пожилых мужчин,— сказала Соня.

— К этим хорошим новостям нам только не хватает заразиться проказой.

— Ты погоди, ты сначала послушай, какую цену он дает.

— Ну? — послушал Френсик.

— Два миллиона.

— Два миллиона? — Френсик постарался унять дрожь в голосе.— Фунтов или долларов?

Соня с упреком посмотрела на него.

— Френзи, ты скотина, неблагодарная скотина. Я, значит...

— Миленькая, я просто хотел выяснить, сколько жути ты мне поднесешь на десерт. Если твой дружок из мафии готов заплатить за эти словесные помои два миллиона фунтов — тогда все, надо быстро складываться и улепетывать. Так чего же он, ублюдок, хочет?

— Во-первых, видеть договор с Коркадилами.

— Пожалуйста, договор в порядке.

— Не совсем. В этом договоре почему-то нет ни слова о тех пятидесяти тысячах фунтов, которые Коркадилы уплатили за «Девство»,— сказала Соня.— Маленький такой недочетик.

— Пятидесяти тысячах фунтов? — ахнул Френсик.— Да где им...

— Хатчмейера надо было ошеломить.

— Что у него вместо головы? Коркадилы не наскребут и пятидесяти тысяч пенсов, не то что...

— Конечно. Это он знает. Я ему сказала, что Джефри рискнул собственным состоянием. Понятно теперь, почему он хочет видеть договор.

Френсик задумчиво потер лоб.

— Ну, положим, всегда можно составить другой договор. Уговорить Джефри подписать его, показать Хатчмейеру и разорвать,— сказал он наконец.— Джефри это, конечно, не понравится, но с двухто миллионов ему тоже... Еще что?

— Это уж тебе совсем не понравится,— замялась Соня.— Он требует, чтобы автор совершил турне по Штатам: автографы, телевидение и рассказы про возлюбленных старушек.

Френсик достал платок и отер лицо.

— Требует, говоришь? — возмутился он.— Не может он этого требовать. У нас автор своей рукой договора не подпишет, не то что на люди показаться: какой-то псих с агорафобией или чем-то в этом роде, а Хатчмейер хочет, чтобы он торговал мордой по американскому телевидению?

— Именно требует, Френзи, не х о ч е т, а т р е б у е т. Либо автор едет, либо адью.

— Значит, адью,— сказал Френсик.— Он не поедет. Слышала ведь, что сказал Кэдволладайн: полная анонимность.

— И два миллиона ничего не меняют?

Френсик покачал головой.

— Я сказал Кэдволладайну, что мы запросим большую сумму, а он мне — что не в деньгах дело.

— Два миллиона — это не просто деньги. Это состояние.

— Знаю, но...

— Попробуй-ка поговори еще раз с Кэдволладайном,— сказала Соня и протянула ему трубку. Френсик попробовал и говорил долго. Но мистер Кэдволладайн был неколебим. Да, да, два миллиона долларов — это целое состояние, однако для его клиента абсолютная анонимность все же важнее, и его инструкции гласят... Словом, разговор вышел пустой и удручающий.

— Что ж нам — сесть, сложить руки и смотреть, как двадцать процентов от двух миллионов смывает в канализацию? — спросила Соня. Френсик уныло поглядел вдаль, за ковент-гарденские крыши, и вздохнул. Двадцать процентов от двух миллионов — это, как ни считай, четыреста тысяч долларов, побольше двухсот тысяч фунтов, и это — их комиссионные. А из-за процесса Джеймса Джеймсфорта они только что потеряли еще двух прибыльных авторов.

— Должен быть какой-то выход из положения,— пробормотал он.— Ведь Хатчмейер в тех же потемках, что и мы,— он тоже не знает, кто автор.

— Почему же это не знает? — возразила Соня.— Знает. Питер Пипер проставлен на титуле.

Френсик глянул на нее с обновленным восхищением.

— Питер Пипер,— задумчиво проговорил он.— Да, это, пожалуй, мысль.

Они заперли контору и отправились в пивную через улицу.

— Как бы нам соблазнить Пипера представиться автором...— сказал Френсик после двойного виски.

— А у него просто нет другого пути в печать,— сказала Соня.— Если книга пойдет...

— Книга-то пойдет. У Хатчмейера все идет.

— Ну, значит, и Пипер выбьется в другой разряд и авось найдет себе какого-нибудь издателя на «Поиски».

— Нет, это не для него,— покачал головой Френсик.— Боюсь, у Пипера принципы. А с другой стороны — если вставить Джефри в договор обязательство опубликовать «Поиски утраченного детства»... Не наведаться ли к нему сегодня же? Он устраивает такую обыкновенненькую вечериночку. Да, это едва ли не путь. Пипер лоб расшибет, лишь бы напечататься, а бесплатное турне по Штатам... Давайка тяпнем за успех предприятия.

— Попытка — не пытка,— сказала Соня.

Прежде чем ехать к Коркадилу, Френсик вернулся в контору и составил два новых договора. В первом из них Коркадилы обязывались выплатить пятьдесят тысяч за «Девства ради помедлите о мужчины», вторым — гарантировали публикацию очередного романа мистера Пипера «Поиски утраченного детства»: аванс — пятьсот фунтов.

— В конце концов, чем мы рискуем? — сказал Френсик Соне, снова запирая контору.— Если даже Джефри не согласится на пиперовский аванс — ладно, заплатим из своих. Главное — добиться твердокаменной гарантии, что они опубликуют «Поиски».

— Джефри тоже светят десять процентов от двух миллионов,— заметила Соня на прощанье.— Надеюсь, это его подстегнет.

— Уж я, видит бог, постараюсь,— сказал Френсик и подозвал такси.

Вечериночки Джефри Коркадила Френсик однажды в злую минуту обозвал подбериночками. Гости стояли или прохаживались с бокалами и легкими закусками; говорили — беглыми полунамеками — о книгах, пьесах и авторах, нечитаных, невиданных и неведомых, но способствовавших двуполому и однополому сближению: затем все и устраивалось. Френсик в общем-то предпочитал здесь не появляться — здешние шуточки были небезопасны. Всюду таилась сексуальная угроза; а к тому же он побаивался разговориться о чем-нибудь, в чем ни бельмеса не смыслил. Будет уже — поговорили этак-то в университетские годы. Наконец, не было здесь и женщин, взыскующих мужа: бывали либо перезрелые, либо неотличимые от мужчин. Как-то Френсик нечаянно подал надежду видному театральному критику — с ужасающими последствиями. Он все еще предпочитал вечеринки, где могла встретиться возможная жена; а у Джефри, того и гляди, тебя самого замуж возьмут.

Так что Френсик захаживал сюда редко, а свою интимную жизнь свел к тихим интрижкам с переспелыми женщинами, терпимыми к его вялости и необязательности, и к оглядыванию девушек в метро, от Хампстеда до Лестер-Сквер. Однако на этот раз он явился по делу — и, конечно, угодил в толпу. Френсик обзавелся бокалом и пошел искать Джефри. Найти его было нелегко. Став главным Коркадилом, Джефри приобрел сексапил, которого ему раньше не хватало. К Френсику тут же пристал поэт из Тобаго: требовалось его мнение о «Зазнайке-негре», а то поэт находил Фербенка где-то божественным и где-то отталкивающим. Френсик сказал, что мнение это целиком разделяет и что Фербенк был замечательно плодовит. Лишь час спустя, нечаянно запершись в ванной, он наконец вышел на Джефри.

— Дорогой мой, так нельзя,— сказал тот, когда Френсик, минут десять проколотив по двери, освободился с помощью какого-то косметического баллончика.— Надо вам знать, что в комнате для мальчиков у нас запираться не принято. Это так неспонтанно. Ведь всякая случайная встреча...

— Это не случайная встреча,— сказал Френсик, затаскивая Джефри в ванную и снова запирая дверь.— У меня к вам разговор, и немаловажный.

— Только не запирайте!.. О господи! Свен ужасно ревнивый. Он впадает в неистовство. Понимаете, кровь викингов.

— Плевать на кровь,— сказал Френсик,— я с предложением Хатчмейера. Основательным.

— Боже мой, опять вы с делами,— сказал Джефри, вяло опускаясь на сиденье унитаза.— Основательное — это сколько?

— Два миллиона долларов,— сказал Френсик.

Джефри схватился, чтоб не упасть, за рулон туалетной бумаги.

— Два миллиона долларов? — выговорил он.— Неужели же д в а м и л л и о н а? Может, вы мне голову морочите?

— Ничуть,— сказал Френсик.

— Так это же изумительно! Какая прелесть! Лапочка моя...

Френсик пихнул его обратно на сиденье.

— Есть одна загвоздка. Точнее говоря, две загвоздки.

— Ах, ну почему всегда должны быть какие-нибудь загвоздки? Разве без них мало в жизни сложностей?

— Надо было поразить его суммой, уплаченной вами за книгу,— сказал Френсик.

— Но я же почти ничего не платил. Собственно...

— Вот именно, а все-таки пришлось ему сказать, что уплачен аванс в пятьдесят тысяч фунтов, и он хочет видеть договор.

— Пятьдесят тысяч фунтов? Любезный мой, да у нас...

— Знаем,— сказал Френсик,— можете не объяснять мне свое финансовое положение. У вас... скажем так, туго с наличными.

— Мягко говоря,— сказал Джефри, теребя обрывок туалетной бумаги.

— Хатчмейеру это тоже известно — потому-то ему и понадобился договор.

— Какой толк? В договоре...

— Вот здесь у меня,— сказал Френсик, роясь в кармане,— другой договор, который Хатчмейеру больше понравится. Там написано, что вы согласны уплатить пятьдесят тысяч...

— Спокойненько,— сказал Джефри, поднимаясь с унитаза,— если вы думаете, что я подпишу договор на пятьдесят тысяч, то вы очень ошибаетесь. Я не такой уж финансист, но тут все ясно.

— Ну что ж,— сердито сказал Френсик, складывая договор,— раз так, привет и до свидания.

— Почему же привет? Ведь договор у нас с вами давно подписан.

— Привет не вам, а Хатчмейеру. Заодно уж попрощайтесь с вашими десятью процентами от двух миллионов долларов. Если вам дороже...

Джефри снова сел на унитаз.

— Вы это, значит, всерьез,— сказал он наконец.

— Какие тут шутки,— отозвался Френсик.

— И вы правда ручаетесь, что Хатчмейер согласился уплатить эту невероятную сумму?

— Если я говорю,— сказал Френсик со всем достоинством, какое позволяла ванная,— значит, так и есть.

Джефри скептически покосился на него.

— Верить Джеймсу Джеймсфорту, так... Ну, ладно, ладно. Простите. Ужасный все-таки сюрприз. И чего же вы от меня хотите?

— Подпишите вот этот договор, а я дам вам расписку на пятьдесят тысяч фунтов. Она послужит гарантией...

Кто-то забарабанил по двери.

— Давайте вылезайте,— гремел нордический голос,— я знаю, чем вы там занимаетесь!

— О господи, Свен,— сказал Джефри, пытаясь отпереть.— Успокойся, радость моя! — крикнул он.— У нас деловая беседа.

Позади него Френсик на всякий случай вооружился унитазной щеткой.

— Деловая! — вопил швед.— Знаю я ваши дела...

Дверь распахнулась, и ванная предстала яростному взору Свена.

— Зачем он со щеткой?

— Свен, милый, ну будь умницей,— увещевал Джефри. Но Свен еще не решил — плакать или драться.

— Как ты мог, Джефри, как ты мог!..

— Никак он не мог,— отрезал Френсик. Швед смерил его взглядом.

— И с таким неказистым, гадким человечишкой...

Френсик разъярился в свою очередь.

— Неказистым — пусть,— заорал он,— а гадким — это вы заткнитесь!

Ценой легкой потасовки в дверях Джефри увлек рыдающего Свена по коридору. Френсик вложил оружие в держак и сел на край ванны. К тому времени, как Джефри вернулся, была обдумана новая тактика.

— На чем мы остановились? — спросил Джефри.

— На том, что ваш petit ami [1] назвал меня гадким человечишкой,— сказал Френсик.

— Миленький, простите, пожалуйста, но вам еще повезло. На прошлой неделе он чуть не убил одного, а тот, бедняга, всего только пришел починить биде.

— Так вот о договоре. Я, пожалуй, готов на уступки,— заявил Френсик.— Вторая книга Пипера, «Поиски утраченного детства», обойдется вам в каких-нибудь тысячу фунтов аванса...

— В т о р а я книга? Это он еще один роман пишет?

— Заканчивает,— сказал Френсик,— и он куда почище «Девства». Уступаю вам его почти за бесценок, бог с вами, только подписывайте договор для Хатчмейера.

— Ну давайте,— сказал Джефри.— Поневоле доверяюсь вам.

— Если через неделю не получите договор обратно и не кинете его в корзину, идите к Хатчмейеру и разоблачайте,— сказал Френсик.— Вот вам и гарантия.

Так, в ванной у Джефри Коркадила, были подписаны два договора. Френсик, отдуваясь, поплелся домой, а на другое утро Соня показала один из них Хатчмейеру. Сделка вступила в силу.

Глава 4

А в Эксфорте, в пансионе Гленигл, перо Питера Пипера выводило строгие палочки и ровные завитки на сорок пятой странице его записной книжки. В соседнем номере с воем разъезжал пылесос миссис Окли, мешая Пиперу создавать восьмую версию автобиографического романа. Изготовлялась она по образу и подобию «Волшебной горы», что отнюдь не облегчало дела. Многоярусные периоды, для вящей иронии перенасыщенные у Томаса Манна точными деталями, не слишком подходили к описанию семейных перипетий 1953 года в Ист-Финчли, но Пипер упорствовал. Он твердо знал, что упорство пристало гению, и еще тверже — что он гений. Пусть его пока не признают: в некий день мир оценит по достоинству его неустанные труды. И вот, наперекор пылесосу и холодному ветру с моря, поддувавшему в оконные щели, Пипер писал и писал.

На столе располагались полукругом принадлежности его святого ремесла: записная книжка с нужными мыслями и оборотами ре-

[1] Дружок *(франц.)*.

чи, дневник с глубокими соображениями насчет жизни вообще и перечнями дневных свершений, частокол авторучек и бутылка полуиспарившихся черных чернил. Испарять чернила — это изобрел сам Пипер. Он ведь писал для потомства, и важнее всего было, чтобы написанное сохранилось как можно дольше и не поблекло. Одно время Пипер, в подражание Киплингу, употреблял индийские чернила, но они залепляли перо на первом же слове. Потом он сделал нечаянное открытие: если не закупоривать в сухой комнате бутыль Уотерменовских Полуночных чернил, то они густеют получше индийских, сохраняя, однако, текучесть достаточную, чтобы написать целое предложение, не протирая пера носовым платком. Страницы с золотистым чернильным отливом выглядели очень значительно, а чтобы сберечь свой труд от времени, Пипер покупал гроссбухи в кожаных переплетах, предназначенные для старомодного счетоводства и нотариальных контор, и, невзирая на вертикальную разлиновку, начинял их своими романами. Всякий заполненный гроссбух был в некотором роде законченным произведением искусства. Почерк Пипера — мелкий и поразительно ровный — струился по страницам сплошным потоком. В романах его диалогов было очень мало, а уж если разговаривали, то полновесными, насыщенными и нескончаемыми предложениями; так что ни абзацев, ни пробелов почти не было. Все гроссбухи тщательно сохранялись. Когда-нибудь, может быть даже после его смерти, когда гений его станет очевиден, ученые проследят по этим нетленным листам его творческий путь. Следовало принять во внимание потомство.

Но ни пылесос за стеной, ни вторжения хозяйки и уборщиц принимать во внимание не следовало. Пипер дорожил своим рабочим временем, а работал он по утрам. После обеда он прогуливался по той приморской аллее, возле которой жил в данный момент. После чая Пипер снова писал, а после ужина — читал: сначала написанное за день, затем — роман, принятый за образец. Читалось ему все-таки быстрее, чем писалось, и «Тяжелые времена», «Ностромо», «Женский портрет», «Миддлмарч» и «Волшебную гору» он знал досконально, а «Сыновей и любовников» буквально от корки до корки. Так, читая одни только шедевры величайших писателей, он оградил себя от зловредного влияния мелкотравчатых романистов.

Помимо шедевров он черпал вдохновение в «Нравственном романе». Эта монография лежала у него на ночном столике, и перед тем, как выключить свет, Пипер перечитывал и мысленно прожевывал страницу-другую заклинаний мисс Лаут. Она особенно требовала «помещать характеры в плодотворную эмоциональную сферу, так сказать, в контекст зрелого и разностороннего мировосприятия, соответствующий действительному опыту романиста, усугубляя таким образом жизненность творений писательского вымысла». Действительный опыт Пипера включал восемнадцать лет жизни с отцом и матерью в Финчли, смерть родителей в дорожной катастрофе и десять лет скитаний по пансионам — и нелегко ему было подыскивать контекст зрелого и разностороннего мировосприятия. Однако же он сделал, что мог, подвергнув неудачный брак покойных мистера и миссис Пипер детальному рассмотрению, дабы наделить их, как повелевала мисс Лаут, зрелостью и жизненностью. Эта эмоциональная эксгумация открыла в них чувства, ими не испытанные, и глубины, которых у них не было. В действительности мистер Пипер был просто опытным слесарем-водопроводчиком. В «Поисках» он стал слесарем-туберкулезником, сложной натурой, раздираемой неимоверно противоречивыми чувствами к своей жене. А с миссис Пипер случилось, пожалуй, еще хуже. Преобразившись из мисс Изабел Арчер во фрау Шоша, она возымела пристрастие к философским словопрениям, хлопанью дверьми и демонстрации обнаженных плеч, а также тайное сексуальное влечение к своему сыну и к соседу по дому; на

самом деле все это привело бы ее в смертельный ужас. Мужа миссис Пипер из «Поисков» презирала, супружеские отношения были ей отвратительны. Наконец, сам Пипер являлся на страницы романа четырнадцатилетним вундеркиндом, отягощенным избытком самопознания и проницающим подлинные чувства родителей друг к другу: если бы все это было так, то оставалось только выгнать его из дому, во избежание общего безумия. Однако мистер и миссис Пипер не сошли с ума, а сын их благоденствовал под родительским кровом, потому что на самом деле в свои четырнадцать лет он был очень заурядным подростком, а все прозрения обрел задним числом. Едва ли у него и были какие-нибудь чувства, но поскольку были, постольку объектом их служила школьная учительница словесности мисс Пирс, которая опрометчиво похвалила юного Питера за рассказ, почти дословно переписанный из ветхого номера журнала «Горизонт», найденного в классном книжном шкафу. Так отрок Пипер встал на писательскую стезю и двинулся по ней четыре года спустя, когда усталый шофер автоцистерны заснул за рулем и пересек шоссе на скорости шестьдесят миль в час, стерев с лица земли мистера и миссис Пипер, мирно кативших с тридцатимильной скоростью к друзьям в Амершем. Таким образом восемнадцатилетний Питер унаследовал дом в Финчли, внушительную страховку и сбережения родителей, а заодно получил возможность строить жизнь по-своему. Дом он продал, все деньги поместил в банк и начал их тратить, чтобы появился материальный стимул к писанию. Десять лет спустя, написав несколько миллионов неоплаченных слов, он оказался практически без гроша.

Поэтому в совершенный восторг привела его телеграмма из Лондона: СРОЧНО ВЫЕЗЖАЙТЕ ПОВОДУ ИЗДАНИЯ РОМАНА ИТП АВАНС ТЫСЯЧА ФУНТОВ ТЕЛЕФОНИРУЙТЕ НЕМЕДЛЕННО ФРЕНСИК.

Пипер немедленно телефонировал и поспел к полуденному поезду, дрожа от радостного предвкушения. Наконец-то он признан.

В Лондоне Френсик и Соня тоже предвкушали, но не радостно, а скорее мрачновато.

— Что же будет, если он откажется? — спросила Соня Френсика, меривше го шагами кабинет.

— Это один бог ведает,— отозвался Френсик.— Слышала, что сказал Кэдволладайн: «Поступайте, как знаете, но клиент мой должен оставаться в стороне». Стало быть, либо Пипер, либо крышка.

— Ну, я хоть кстати вынула из Хатчмейера еще двадцать пять тысяч долларов плюс проездные расходы на турне,— сказала Соня.— Может быть, это решит дело.

— С кем бы другим,— усомнился Френсик,— а у Пипера принципы. Бога ради, не оставляй без присмотра верстку «Девства» — не надо ему видеть, что он якобы написал.

— Когда-нибудь все равно ведь прочтет.

— Когда-нибудь пусть, а сейчас надо, чтоб он согласился на турне и получил какие-то хатчмейеровские деньги. Труднее будет идти на попятную.

— Ты думаешь, он купится на предложение Коркадилов издать «Поиски утраченного детства»?

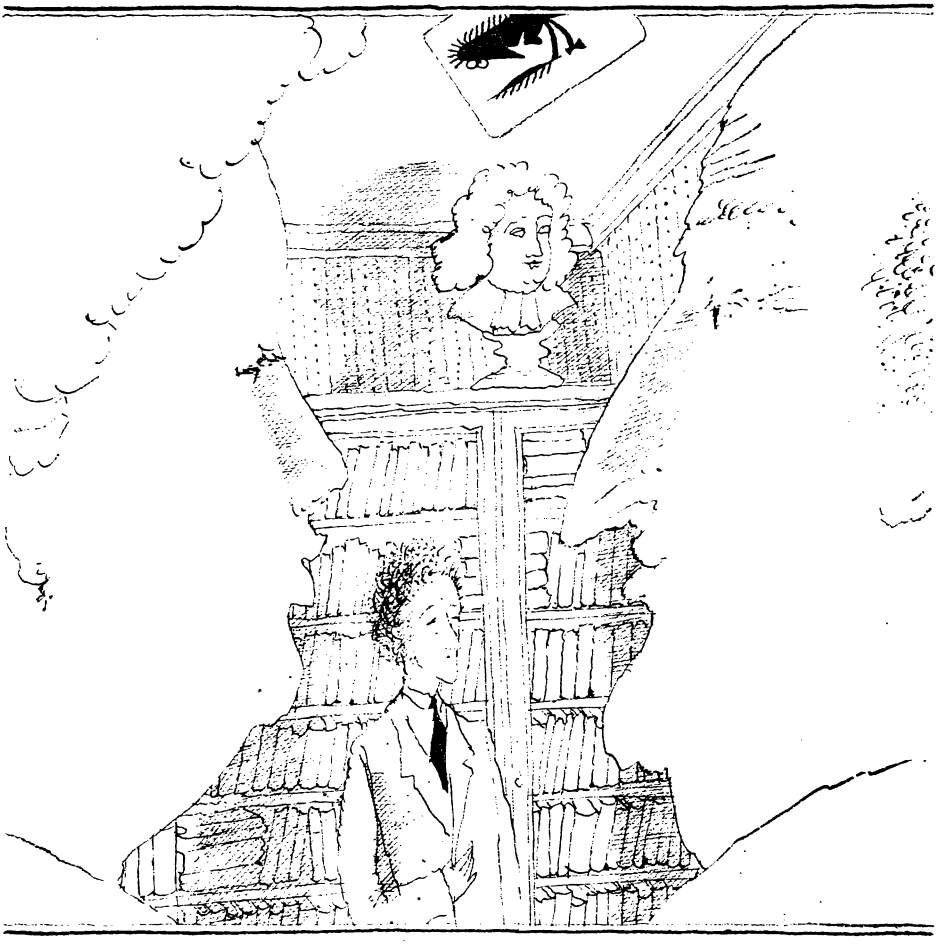
— Это наш главный козырь,— сказал Френсик.— Ты пойми, что Пипер из той разновидности дуралеев, которых съело dementia novella [1], иначе говоря — библиомания. Симптом болезни — оголтелое желание попасть в печать. Ладно, протащу в печать и Пипера. Вот ему на подносе тысяча фунтов — невероятно, если припомнить его беспомощную чушь. Вот еще двадцать пять тысяч долларов за турне.

[1] Новейшее помешательство *(лат.)*.

Выложим карты и поглядим, что будет — может, и ничего. Но Коркадил — это наш туз. Пипер ведь мать родную укокошит — лишь бы опубликовать «Поиски».

— А ты говорил, его родителей нет в живых,— удивилась Соня.

— В живых нет,— подтвердил Френсик.— Насколько я знаю, у бедняги нет в живых ни одного родственника. Не удивлюсь, если окажется, что мы — его самая близкая родня.



— Удивительно другое — что делают с человеком двадцать процентов комиссионных от двух миллионов долларов,— сказала Соня.— Ты в роли приемного отца — это и во сне не увидишь.

И еще удивительнее было видеть, как один намек на публикацию романа взбодрил Пипера до неузнаваемости. Он явился на Ланьярд-Лейн в синем костюме, предназначенном для лондонских поездок, источая неприступное самодовольство. Френсик встревожился: он предпочитал авторов смирных и опечаленных.

— Познакомьтесь с мисс Футл, моим партнером,— сказал он вошедшему Пиперу.— Она ведет наши дела по ту сторону океана.

— Рад познакомиться,— Пипер отвесил сдержанный поклон, на манер Ганса Касторпа из «Волшебной горы».

— Я прямо в восторге от вашей книги,— объявила Соня.— По-моему, это изумительно.

— Вы полагаете? — сказал Пипер.

— Такая глубина,— не унималась Соня.— Такой подтекст!

На заднем плане сцены поеживался Френсик. Он бы так не напирал, да и Сонина беззастенчивость — недаром она была родом из Джорджии, с рабовладельческого Юга — ему претила. Зато Пиперу, кажется, того и было надо. Он покраснел.

— Спасибо на добром слове,— проговорил он.

Френсик решил вмешаться.

— Та-ак, значит, насчет договора с Коркадилами о публикации «Поисков»...— Он посмотрел на часы.— Пойдемте-ка через улицу, обговорим дело за рюмкой.

В пивной Соня опять взяла быка за рога:

— Коркадилы — одно из старейших лондонских издательств. Они очень чопорные — но мы-то со своей стороны просто обязаны сделать ваш роман достоянием самой широкой аудитории.

— Тут в чем дело,— сказал Френсик, вернувшись с двумя бокалами джина и тоника для себя и Сони и с двойным джином для Пипера,— вам нужна известность. Для начала подойдут и Коркадилы, но у них плохо поставлен сбыт.

— Плохо поставлен? — удивился Пипер, никогда не опускавшийся в такие низины жизни.

— Они ведут дела по старинке, а если и возьмут «Поиски» — что еще толком неизвестно,— то сумеют ли продвинуть? Вот в чем вопрос.

— Но вы же сказали — они согласны? — неуверенно возразил Пипер.

— Да, они сделали предложение, хорошее предложение, но примем ли мы его? — сказал Френсис.— Это и стоит обсудить.

— Да,— согласился Пипер.— Да, стоит.

— Как насчет рынка в Штатах? — обратился к Соне Френсик.

— Если уж продавать американцам,— покачала головой Соня,— то не от Коркадилов. От кого-нибудь пошустрее, кто сумеет хотя бы рекомендовать книгу.

— Вот и я думаю,— сказал Френсик.— Престиж — да, он есть у Коркадилов, но подать книгу как надо — этого они не сумеют.

— Но...— заявил вконец растерянный Пипер.

— Разрекламировать в Штатах первый роман — не пустячное дело,— сказала Соня.— Да еще и автор — англичанин: нужен он им, как...

— Как рыбе зонтик,— перехватил Френсик, не любивший пятиногих собак.

— Я как раз об этом,— сказала Соня.— А они, Коркадилы, не желают этого понимать.

— Не желают? — вопросительным эхом откликнулся Пипер.

Френсик пошел за напитками. Вернувшись, он услышал, что Соня начала маневр.

— В Штатах английский автор так просто не пройдет. Разве что автор боевика. Еще лучше — исторического романа. Если бы «Поиски» были про похождения времен регентства или — это уж самое лучшее — про Марию Стюарт, тогда бы никакой проблемы. Такое им только подавай, а «Поиски» с их глубинами...

— Погоди-ка, а вот «Девства ради помедлите о мужчины»? — прервал Френсик.— Перед этой книгой Америка не устоит.

— Никак не устоит,— признала Соня.— Вот если только автор не сможет поехать...

И оба погрузились в угрюмое молчание.

— Почему он не сможет поехать? — спросил Пипер.

— Нездоров,— сказала Соня.

— Робкий, замкнутый,— подхватил Френсик.— Недаром ведь укрылся за nom de plume[1].

— За nom de plume? — переспросил Пипер, пораженный тем, что какой-то автор не хочет видеть своего имени на обложке книги.

— Да, это очень печально,— сказала Соня.— Вот он не поедет — и два миллиона долларов пойдут псу под хвост.

— Два миллиона долларов? — повторил Пипер.

— И все потому, что у него остеохондроз, а американский издатель все равно требует рекламного турне.

— Какой ужас,— сказал Пипер, а Френсик и Соня кивнули еще угрюмее.

— Вдобавок у него ведь жена и шестеро детей,— заметила Соня. Френсик вздрогнул. Жена и шестеро детей возникли помимо сценария.

— Какой ужас,— сказал Пипер.

— Остеохондроз в последней стадии,— продолжил Френсик,— значит, новой книги уже не будет.— Это возникло тоже помимо сценария. Но Соня была тут как тут.

— Ему бы эти два миллиона — может быть, хватило бы на этот, знаешь, новый курс лечения...

Френсик поспешил за другой порцией напитков. Есть риск перестараться.

— Послать бы кого-нибудь вместо него,— сказала Соня, искательно и сурово заглядывая в глаза Пиперу.— Ведь у него nom de plume, американский издатель его в глаза не знает...— Она многозначительно прервалась: авось дойдет.

— А почему нельзя сказать всю правду американскому издателю? — спросил Пипер.

Вмешался Френсик, вернувшийся с двумя одинарными и одной тройной порцией джина.

— Потому что Хатчмейер такой сукин сын, что сразу воспользуется несчастьем и сбавит цену,— сказал он.

— Кто такой Хатчмейер? — полюбопытствовал Пипер.

— Это уж ты ему объясни,— сказал Френсик Соне.

— Да как сказать — крупнейший американский издатель. Он продает больше, чем все лондонские издательства, вместе взятые, а уж если покупает, то покупает с потрохами.

— А если нет, то дело плохо,— прибавил Френсик.

— Вот удастся уломать Хатчмейера, чтобы взял «Поиски»,— разъяснила Соня,— и конец всем вашим трудностям. Пишите себе спокойно — деньги будут, книги пойдут.

Пипер представил такую лучезарную перспективу и отхлебнул тройного джина. Сколько уж лет он ждал этого самого: увидеть наконец «Поиски» в печати, и вот если Хатчмейер согласится... о, блаженство! В его отуманенном мозгу забрезжило встречное понимание. Соня это заметила и поспешила помочь.

— Если бы, конечно, как-нибудь свести вас с Хатчмейером,— сказала она.— Положим, он думает, что вы написали «Девство»...

Пипер уже воспринимал.

— И взял бы «Поиски»,— сказал он, слабея под тяжестью немедленных сомнений.— А сам автор этой книги — он не против?

— Против? — сказал Френсик.— Милый человек, вы ему одолжение сделаете. Другой книги он не напишет, а если Хатчмейер откажется...

— Вам только и нужно поехать вместо него в турне,— сказала Соня.— Не более того.

Френсик шлепнул карту покрупнее.

— Заплачено вам будет двадцать пять тысяч долларов плюс проездные расходы.

[1] Псевдоним *(франц.)*.

— А реклама какая! — сказала Соня.— Да заодно и отдохнете.

Пипер был совершенно согласен. Да заодно и отдохнет.

— А это никак не противозаконно? Поехать и притворяться, что написал чужую книгу? — спросил он.

— Разумеется, с позволения подлинного автора: с письменного позволения. Нет, ничего противозаконного. Хатчмейеру знать об этом необязательно — но куда же ему читать все купленные книги: он бизнесмен! Ему надо, чтоб автор был тут как тут, подписывал книги и показывался публике. И второй роман он закупает на корню.

— Но вы же говорили, что автор второго романа не напишет? — недоуменно спросил Пипер.

— Вот именно,— парировал Френсик,— значит, вторая книга того же автора и будет «Поисками утраченного детства».

— Попадете в обойму,— сказала Соня.— Вы заодно с Хатчмейером — это стопроцентный успех.

Они свернули за угол в итальянский ресторанчик и продолжили беседу. Пипера все-таки что-то смущало.

— Но если Коркадилы берут «Поиски», значит, все затрудняется? Они же знают автора той, другой книги.

— Нет-нет, в лицо не знают,— заверил Френсик.— Видите ли, все дела он ведет через нас и в Лондон явиться не может, так что это останется между нами троими. Никто другой не узнает.

Пипер с ухмылкой опустил взгляд на спагетти. Как все просто и ясно. Вот оно, признание, рукой подать. Он посмотрел Соне прямо в лицо.

— Ну что ж. В любви и на войне все средства хороши,— сказал он, и Соня улыбнулась ему, поднимая бокал.

— Выпьем за это,— сказала она.

— За новоявленного писателя,— сказал Френсик.

Они выпили. К ночи, на квартире у Френсика, Пипер подписал два договора. Первым из них «Поиски утраченного детства» предоставлялись Коркадилам за аванс в тысячу фунтов. Второй выражал согласие Питера Пипера, автора романа «Девства ради помедлите о мужчины», на рекламное турне по Соединенным Штатам.

— С одним условием,— сказал виновник торжества, когда Френсик откупоривал по этому случаю бутылку шампанского.

— С каким? — спросил Френсик.

— Что мисс Футл поедет со мною,— сказал Пипер. Пробка выстрелила в потолок. Соня, разлегшаяся на тахте, весело рассмеялась.

— Я «за»,— сказала она.

Френсик был тоже «за». Вскоре он переволок осоловелого Пипера в другую комнату и уложил его на постель.

Во сне Пипер блаженно улыбался.

Глава 5

Проснувшись наутро, Пипер лежал и млел в тихом ликовании. Его публикуют. Он едет в Америку. Он влюблен. Все его мечтания сбылись разом, как по волшебству. И совесть Пипера не грызла. Он встал, пошел в ванную и одобрительно поглядел на свое отражение: в нем явно проступали черты, прежде незаметные. Что он был обязан своим нечаянным счастьем чужому остеохондрозу — это он уже перешагнул. Гений его заслужил награду и вот получил ее. Долгие годы разочарований несколько притупили принципы, вдохновлявшие его ненапечатанные романы. К тому же недавно ему подвернулась автобиография Бенвенуто Челлини. «Каждый в долгу перед своим талантом»,— сказал Пипер, бреясь, затуманенному отражению, мысленно добавив, что упускать удачу — значит пренебрегать фортуной. Да, и ведь еще Соня Футл!

Пипер был столь предан своему таланту, что на чувства к живым людям у него времени почти не оставалось, а какое было — тратилось на увиливание от хищных незамужних хозяек пансионов и на смутное обожание их молоденьких постоялиц. И все девушки, которые ему попадались, со второго слова обнаруживали полное безразличие к литературе. Пипер берег себя для великой любви, такой же, какая обуревала персонажей читанных им великих романов: для общения облагороженных умов. И Соня Футл, чувствовал он, была та самая женщина, которая его поистине оценила и с которой он мог установить подлинные отношения. Последние сомнения насчет поездки в Америку чьим-то дублером отпадали, раз Соня едет с ним. Пипер добрился, пошел на кухню и прочел записку от Френсика: он, мол, ушел в контору, а Пипер чтобы устраивался как дома. Пипер стал устраиваться как дома. Он позавтракал и понес свой дневник с бутылкой полуиспарившихся чернил в кабинет Френсика, где, за широким письменным столом, принялся выписывать лучезарный образ Сони Футл.

В отличие от Пипера, Френсик был настроен вовсе не лучезарно.

— Того и гляди, лопнет все это дело,— сказал он прибывшей Соне.— Ну, напоили мы бедолагу, ну, подписал он договор, а вот теперь возьмет да откажется, что тогда?

— Я ему откажусь,— сказала Соня.— Он у нас нынче получит аванс за поездку, а ты веди его к Коркадилам, кончай с договором на «Поиски». Пришьем намертво.

— Такую бы речь да в уста Хатчмейеру,— сказал Френсик.— Ишь ты, пришьем, говоришь, намертво. Опорное слово — намертво. М-да, а у меня, видишь ли, сомнения.

— Да ведь для него же стараемся,— сказала Соня.— Единственный способ протолкнуть «Поиски» в печать: ты что, знаешь другой?

Френсик кивнул в знак согласия: не знает.

— У Джефри будет припадок, когда он увидит, что ему всучили. «Волшебную гору» в Ист-Финчли — это же глаза на лоб полезут! Почитала бы ты Пипера под Конрада в том же самом Ист-Финчли, поняла бы, чем торгуешь.

— Я подожду рецензий,— сказала Соня.— Пока что мы худобедно отхватили четверть миллиона. Фунтов, Френзи, не каких-нибудь вшивых долларов. Ты об этом подумай.

— Я об этом и думаю,— сказал Френсик.— А ты, наоборот, прикинь, что будет, если дело сорвется. Мы ведь в безработные попадем.

— Ничего не сорвется. Я тут звонила Элеоноре Бизли, заведующей телепрограммой «Книги, которые вы прочтете». С нею у нас расчеты особые. Так вот она согласилась втиснуть Пипера на будущей неделе...

— Нет,— сказал Френсик.— Этого не будет. Не дам я тебе Пипера никуда втискивать.

— Слушай, лапочка,— сказала Соня,— давай ковать железо, пока горячо. Заявит Пипер на всю Англию, что он автор «Девства» — и вляпался обеими ногами.

Френсик бросил на нее осуждающий взгляд.

— Вляпался обеими ногами? Чудесно. Ай да мы, не хуже мафии. И пожалуйста, не зови меня «лапочкой». Как угодно, только не «лапочкой». А насчет заявлений на всю Англию — как по-твоему, это очень понравится Кэдволладайну и его безымянному клиенту?

— Кэдволладайн в принципе согласился на дублера,— сказала Соня.— Какие у него могут быть претензии?

— Есть, знаешь ли, разница между «в принципе» и «на деле»,—

заметил Френсик.— Он всего-то навсего обещал снестись по этому поводу с клиентом.

— Ну и что же?

— Пока ничего,— сказал Френсик,— и я даже как-то надеюсь, что тот запретит. По крайней мере хоть перестану разрываться между совестью и корыстью.

Но не суждено ему было перестать разрываться. Через полчаса пришла телеграмма: КЛИЕНТ СОГЛАСЕН ЗАМЕЩЕНИЕ ТЧК АНОНИМНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО КЭДВОЛЛАДАЙН.

— Теперь что хотим, то и делаем,— сказала Соня.— Пойду соглашусь за Пипера выступать в среду и попробую устроить очерк о нем в «Гардиан». А ты давай к Джефри, чтоб сегодня обстряпать договор на «Поиски».

— Не так-то это просто,— сказал Френсик.— Джефри ведь думает, что Пипер написал «Девство», а Пипер «Девства» не только не писал, но даже и не читал...

— Вот и поведи его обедать, поднакачай, а там уж...

— Слушай,— сказал Френсик,— ты, может, это — займешься киднапингом? У тебя получится.

Между тем Пипера вовсе не нужно было накачивать. Он пребывал в блаженном состоянии духа, обосновался у Сони в кабинете и многозначительно поглядывал на нее, пока она звонила туда-сюда, предлагая ежедневным газетам интервью с автором проданного за неслыханную цену романа «Девства ради помедлите о мужчины». По соседству Френсик занимался обычными делами. Он позвонил Джефри Коркадилу, договорился, что Пипер подъедет во второй половине дня, рассеянно выслушал скулеж двух авторов, бившихся над сюжетом, постарался их убедить, что все образуется, и отмахивался от своей интуиции, которая подсказывала ему, что с Пипером фирма «Френсик и Футл» зарвалась. Наконец, когда Пипер пошел в уборную, Френсик перехватил Соню.

— Чего это? — по-заокеански лаконично спросил он, выдавая тем самым свое смятение.

— «Гардиан» согласилась взять у него интервью завтра, а из «Телеграфа» говорят...

— Я про Пипера. Чего это он ухмыляется и глаза пучит?

Соня улыбнулась.

— А тебе в голову не приходило, что он, может быть, ко мне неравнодушен?

— Нет,— сказал Френсик.— Что другое, а это, упаси бог, не приходило.

— Тогда исчезни,— сказала Соня, перестав улыбаться.

Френсик исчез и поразмыслил над этой нежданной и ошеломительной новостью. Он привык твердо полагать, что для нормальных мужчин Соня интереса не представляет, неравнодушен к ней один Хатчмейер, а Хатчмейер разбирался в книгах и женщинах, как свинья в апельсинах. Если Пипер в нее скоропалительно влюбился, то это совсем запутывало ситуацию, и без того, на взгляд Френсика, достаточно запутанную. Он сел за стол, соображая, что ему сулит влюбленность Пипера.

— Зато теперь мое дело сторона,— проворчал он и снова сунул нос в соседний кабинет. Но Пипер был уже там и глядел на Соню обожающим взором. Френсик вернулся к себе и позвонил ей.— Попался голубок,— сказал он.— Корми его с рук, ставь корытце и укладывай, если угодно, к себе в постельку. Человек одурел.

— Хочешь — ревнуй. не хочешь — не ревнуй,— отозвалась Соня, улыбаясь при этом Пиперу.

— Просто умываю руки,— возразил Френсик.— Не желаю участвовать в растлении невинности.

— Претит? — поддразнила Соня.

— Чрезвычайно,— ответил Френсик и положил трубку.

— Кто это звонил? — спросил Пипер.

— Так, один редактор издательства «Хейнеманн». У него ко мне слабость.

— Хм,— буркнул Пипер.

И пока Френсик обедал у себя в клубе, что бывало, лишь когда ущемляли его личность, тщеславие или остаток мужского достоинства, Соня потащила одурелого Пипера в «Уилерз» и пичкала его мартини, рейнским, лососиной и своим объемистым обаянием. За обедом он успел на разные лады сообщить ей, что она — первая женщина в его жизни, чья неотразимая физическая привлекательность равна духовной, женщина, созданная для него и к тому же сознающая истинную природу творческого акта. Соня отнюдь не привыкла к таким пылким изъяснениям. Дотоле редкие попытки соблазнить ее были немногословны и обычно ограничивались вопросом, даст она или не даст, так что методика Пипера, почти целиком заимствованная у Ганса Касторпа из «Волшебной горы» и для пущей живости сдобренная Лоуренсом, показалась ей обворожительной. Есть в нем что-то старомодное, решила она, и так это мило, так непривычно. К тому же Пипер, изнуренный писательскими трудами, был все же представителен и не лишен угловатого шарма, а Соне с ее комплекцией угловатый шарм требовался в самом неограниченном количестве. Словом, такси до Коркадилов ловила вконец раскрасневшаяся и разомлевшая Соня.

— Только язык там не слишком распускай,— предупредила она, когда машина колесила по лондонским улицам.— Джефри Коркадил — важная шишка, он привык сам разговаривать. Верно, он закидает комплиментами «Девства ради помедлите о мужчины», а ты знай себе кивай.

Пипер кивнул. В обновленном, радостном мире все было возможно и все позволено. Ему же, как признанному автору, кстати и подобала скромность. У Коркадилов он показал себя с наилучшей стороны. Вдохновившись видом чернильницы Троллопа под стеклом, он пустился описывать свою писательскую технологию, особо подчеркнул значение полуиспарившихся чернил, обменялся договорами на «Поиски» и ответил на похвалы «Девству», которое Джефри назвал первоклассным романом, очень уместной иронической улыбкой.

— Поразительно, как только он ухитрился написать эту похабную книжонку,— прошептал Джефри Соне на прощанье.— Я, знаете, ожидал увидеть какого-нибудь патлатого хиппи, а тут — милочка, да он же прямиком с Ноева ковчега!

— Не надо судить по наружности,— заметила Соня.— Дивная будет реклама для «Девства»! Я ему устроила выступление в программе «Книги, которые вы прочтете».

— Ой, какая вы умничка,— сказал Джефри.— А как американская сделка — это уже точно?

— Точнее некуда,— заверила Соня.

Они опять взяли такси и поехали на Ланьярд-Лейн.

— Бесподобно,— сказала она Пиперу.— Давай и впредь говори про ручки и чернила, рассказывай, как пишешь свои книги, и помалкивай об их содержании — тогда все будет в лучшем виде.

— О содержании, по-моему, и речи не было,— отозвался Пипер.— Я думал, что разговор пойдет совсем иначе, что мы больше коснемся литературы.

Он высадился на Чаринг-Кросс-Роуд и остаток дня листал книги в магазине «Фойлз», а Соня вернулась в контору — доложиться Френсику.

— Как по маслу,— сказала она.— Джефри он оставил в дураках.

— Ничего удивительного,— проворчал Френсик.— Дурацкое дело

нехитрое. А вот погоди, как начнет его допрашивать Элеонора Бизли про изображение сексуального «я» восьмидесятилетней женщины... тогда все и ухнет.

— Она не начнет. Я сказала ей, что он избегает разговоров о завершенных вещах: пусть, мол, выспрашивает биографию и как он работает. А про перья и чернила у него выходит очень убедительно. Ты, кстати, знал, что он употребляет полуиспарившиеся чернила и гроссбухи в кожаных переплетах? Правда, странно?

— Скорее странно, что он не пишет гусиными перьями,— сказал Френсик.— Одно бы уж к одному.

— Вот-вот. Завтра утром — интервью Джиму Флосси для «Гардиан»; а «Телеграф» хочет дать очерк о нем в цветном приложении к вечернему выпуску. Я тебе говорю — телега покатилась.

Вечером, по пути к себе на квартиру, Френсик мог воочию убедиться, что телега и в самом деле покатилась. Газетные киоски оповещали: СДЕЛКА ВЕКА: ДВА МИЛЛИОНА БРИТАНСКОМУ РОМАНИСТУ.

— Какие сети мы сплетаем, когда обманывать решаем,— вздохнул Френсик и купил газету. Рядом с ним Пипер любовно поглаживал новоприобретенное увесистое издание «Доктора Фаустуса» в зеленой обложке и соображал, как использовать манновский симфонизм в своем третьем романе.

Глава 6

На следующее утро телега разогналась не на шутку. Навидавшись Сони во сне, готовый к дальнейшим испытаниям, Пипер явился в контору обсуждать свою жизнь, литературные мнения и творческие установки с Джимом Флосси из «Гардиан». Френсик и Соня были начеку, опасаясь какого-нибудь срыва, но опасались они напрасно. Может, романы Пипера и оставляли желать лучшего, но как мнимый романист он был на высоте. Он поговорил о Литературе вообще, язвительно упомянул двух-трех нынешних корифеев, но большей частью превозносил полуиспарившиеся чернила и обличал вечные перья, препятствующие литературному творчеству.

— Мое писательское кредо — мастеровитость,— объявил он,— я верю в уменья былых времен, в ясность и отчетливость письма.

Он рассказал, как Пальмерстон требовал от служащих по международной части прежде всего хорошего почерка, и заклеймил презрением шариковые авторучки. Его пристрастие к каллиграфии так подавляло, что мистер Флосси скоренько закруглился, на удивление себе ни словом не обмолвившись о книге — виновнице интервью.

— Да, таких авторов мне пока что встречать не доводилось,— признался он провожавшей его Соне.— Насчет киплинговской-то бумаги, бог ты мой, а?

— Чего же вы хотите от гения? — спросила в ответ Соня.— Чтоб он рекламировал свой собственный блистательный роман?

— А что, этот гений в самом деле написал блистательный роман?

— Купленный за два миллиона долларов. Вот как нынче ценятся откровения.

— Да еще невесть чьи,— сказал мистер Флосси, нечаянно угодив в самую точку.

Даже Френсик, предвидевший неминуемую катастрофу, несколько успокоился.

— Если он дальше так будет держаться, то мы, пожалуй, выйдем сухими из воды,— сказал он.

— Пройдем яко по суху,— подхватила Соня.

После обеда поехали в Гринвич-Парк: Пипер мимоходом обронил, что некогда проживал близ места взрыва в «Тайном агенте»

Конрада, и фотограф из «Дейли телеграф» хотел непременно заснять его, так сказать, на месте происшествия.

— Это будет драматичнее,— сказал он, явно полагая, будто взрыв произошел в действительности. Они сели на речной трамвай у моста Чаринг-Кросс, и Пипер сообщил очередному интервьюеру, мисс Памеле Теннистон, что Конрад очень сильно повлиял на него. Мисс Теннистон занесла этот факт к себе в блокнотик. Пипер сказал, что Диккенс на него тоже повлиял. Мисс Теннистон и это записала. По пути от Лондона до Гринвича она исписала влияниями весь блокнот; собственно же о творчестве Пипера было едва упомянуто.

— Насколько мне известно, роман «Девства ради помедлите о мужчины» представляет собой историю любви семнадцатилетнего юноши...— начала было она, но Соня тут же вмешалась.

— Мистер Пипер не намерен обсуждать содержание романа,— отрезала она.— Мы его держим в некотором секрете.

— Но он же может сказать...

— Скажем просто, что это книга первостепенной важности, открывающая новые перспективы преодоления возрастных барьеров,— предложила Соня и увлекла Пипера фотографироваться — почему-то на борту «Катти Сарка» у Музея мореходства и возле Обсерватории. Мисс Теннистон уныло плелась за ними.

— На обратном пути только про чернила и гроссбухи,— шепнула Соня Пиперу, и тот внял ее совету. В конце концов мисс Теннистон вернулась к себе в редакцию и сочинила очерк с корабельно-мореходным оттенком, а Соня тем временем отконвоировала поднадзорного в свою контору.

— Превосходно,— сказала она.

— Да, но не лучше ли мне все-таки прочесть книгу, раз уж я будто бы ее написал? Ведь я даже не знаю, о чем она.

— Прочтешь на пароходе, по пути в Штаты.

— На пароходе? — удивился Пипер.

— Плыть куда приятнее, чем лететь,— сказала Соня.— И Хатчмейер готовит тебе в Нью-Йорке гала-прием, а в гавани легче собрать толпы. Ладно, с интервью покончено, а телепрограмма в будущую среду. Поезжай-ка ты в свой Эксфорт, соберись в дорогу. Возвращайся к вечеру во вторник, я тебя проинструктирую накануне выступления. Отплываем в четверг из Саутгемптона.

— Ты изумительная,— пылко сказал Пипер.— Ты сама не понимаешь, какая ты.

Он успел на вечерний эксфортский поезд. Соня засиделась в конторе: она сладко грустила. Ей еще никогда не говорили, что она изумительная.

Френсик на следующее утро ей тоже этого не сказал. Он ворвался в белой ярости, размахивая свежим номером «Гардиан».

— Ты, кажется, уверяла, что разговор без меня шел только о чернилах и перьях! — заорал он на изумленную Соню.

— Ну да. И он вел себя просто ангелом.

— Тогда будь добра, объясни мне, откуда взялось вот это про Грэма Грина! — вопил Френсик, тыча ей под нос статью.— Да-да, именно здесь: второсортный писака. Грэм Грин — второсортный писака! Все слышали? Да он у тебя полоумный!

Соня прочла статью и нехотя признала, что это, пожалуй, слишком.

— Зато неплохая реклама,— добавила она.— Такие высказывания сделают ему имя у читателя.

— Скорее составят материал для судебного процесса,— огрызнулся Френсик.— Ты почитай, почитай вот про «Подругу французского лейтенанта»... Да Пипер в жизни слова не написал, достойного пуб-

ликации, а тут он, изволите видеть, мигом раздраконил с полдюжины первейших романистов! Слушай, что он говорит про Во, цитирую: «...крайне примитивное воображение и низкопробный стиль». Да было б ему известно, что Ивлин Во — один из лучших стилистов нашего времени! Или «примитивное воображение» — сам-то он, идиот собачий, хоть бы что-нибудь мог вообразить! Нет, скажу я тебе, по сравнению с разгулявшимся Пипером ящик Пандоры — это просто зефиры и амуры!

— Он имеет право на свои мнения,— упрямо сказала Соня.

— На такие мнения никто права не имеет,— отрезал Френсик.— Одному богу известно, что скажет клиент Кэдволладайна, когда прочтет приписанные ему изречения, и вряд ли Джефри Коркадилу будет приятно узнать, что он публикует автора, для которого Грэм Грин — второсортный писака!

Он удалился к себе и мрачно размышлял о том, откуда и что громыхнет теперь. Чутье безобразно подводило его.

Гром грянул незамедлительно, однако с самой неожиданной стороны. Громыхнул сам Пипер. Он вернулся в эксфортский пансион Гленигл, переполненный любовью к Соне, к жизни, к своей новообретенной репутации романиста и предчувствиями будущего счастья,— вернулся и нашел на почтовом столике бандероль. В ней была верстка «Девства ради помедлите о мужчины» и письмо от Джефри Коркадила с нижайшей просьбой не задерживать ее. Пипер поднялся с бандеролью к себе и сел за чтение. Это было в девять вечера. К полуночи он дочитал до половины широко раскрытыми глазами. В два он кончил читать роман и начал писать письмо Джефри Коркадилу, где постарался недвусмысленно выразить свое отношение к «Девству» как роману, как порнографии и как надругательству над человеческим достоинством и интимными переживаниями. Письмо получилось длинное. В шесть утра он опустил его в почтовый ящик и лишь после этого улегся в постель, измученный многочасовым омерзением и терзаемый совсем иными, прямо противоположными вечерним, чувствами к мисс Футл. Пролежав без сна несколько часов, он наконец задремал, очнулся после полудня и неверным шагом побрел гулять по берегу — а может быть, и покончить с собой. Женщина, которую он любил и которой доверял, провела, оплела, обманула его. Хитрыми уловками она вынудила его принять на себя авторство гнусной, тошнотворной, порнографической... нет, слов тут не хватало. Никогда он ей этого не простит. Примерно час он тусклым взором созерцал океанскую гладь; потом вернулся в пансион полон решимости и сочинил немногословную телеграмму — оповещение, что он не намерен далее участвовать в комедии и не желает более никогда в жизни видеть мисс Футл. Отправив ее, он поведал дневнику самые свои черные мысли, поужинал и лег спать.

Утром гроза разразилась над Лондоном. Френсик благодушествовал. Пипер убрался из его квартиры, и тем самым отпала необходимость разыгрывать гостеприимство перед типом, чья речь состояла из требований относиться к литературе серьезно и перечисления женских достоинств Сони Футл. И требования и перечисления были Френсику очень не по вкусу, а когда Пипер стал читать за завтраком вслух пассажи из «Доктора Фаустуса», Френсик убежал из собственного дома даже раньше обычного. Теперь Пипер был в Эксфорте, утро прошло без истязаний; но в конторе его ждали иные ужасы. Бледная как смерть Соня чуть не в слезах комкала какую-то телеграмму, и только он было собрался спросить ее, в чем дело, как зазвонил телефон. Френсик снял трубку: Джефри Коркадил.

— Вероятно, это у вас такая манера шутить? — грозно полюбопытствовал он.

— То есть какая? — спросил Френсик, думая о статье в «Гардиан» насчет Грэма Грина.

— Да письмо же! — заорал Джефри.

— Какое письмо?

— Да от Пипера! Вероятно, это очень смешно, что он поливает грязью собственную книжонку?!

— Что там такое с его книгой? — заорал Френсик в свой черед.

— Как, то есть, «что там такое»? Прекрасно вы знаете, о чем я!

— Понятия не имею! — крикнул Френсик.

— Он тут пишет, что это мерзейшая писанина, которую ему выпало несчастье читать...

— Вот дерьмо,— сказал Френсик, лихорадочно соображая, где же это Пипер раздобыл экземпляр «Девства».

— И про это есть,— сказал Джефри.— Где же там у него? Ага, вот: «Если вы хоть на миг предполагаете, что я готов по коммерческим мотивам проституировать свой пока что неведомый, но, полагаю, отнюдь не ничтожный талант, приняв самую отдаленную, как бы вчуже, ответственность за то, что по моему и всякому нормальному разумению можно определить лишь как порнографические извержения словесных экскрементов...» Вот оно! Я же помнил, что где-то будет про дерьмо. Ну, и что скажете?

Френсик ядовито поглядел на Соню и подумал, что бы ему такое сказать.

— Н-не знаю,— промямлил он,— в самом деле странно. Откуда он взял эту чертову книгу?

— Как, то есть, «откуда он взял»? — возопил Джефри.— Он же ее написал, нет, что ли?

— Видимо, да,— сказал Френсик, соображая, не безопасней ли заявить, что он не знает, кто ее написал, а Пипер — мошенник. Не слишком безопасная, впрочем, позиция.

— Что значит «видимо, да»? Я послал ему верстку собственной его книги и получил в ответ дикое письмо. Можно подумать, что он впервые читает эту гадость. Он у вас сумасшедший или как?

— Да,— согласился Френсик, приняв это предположение как ниспосланное с небес,— да, напряжение последних недель... нервозность и все прочее. Очень, знаете ли, перенапряжен. С ним бывает.

Ярость Джефри Коркадила немного улеглась.

— Не то чтобы я особенно удивился,— признал он.— Если уж кто спит с восьмидесятилетней старухой, он, конечно, должен быть слегка не в себе. Ну, и что мне теперь делать с версткой?

— Пришлите ее мне, я с ним разберусь,— сказал Френсик.— И на будущее: не адресуйтесь вы к Пиперу без меня, ладно? Я, кажется, его понимаю.

— Рад, что хоть кто-то его понимает,— сказал Джефри.— Лично я больше таких писем получать не хочу.

Френсик положил трубку и обернулся к Соне.

— Ну,— закричал он,— ну, я так и знал! Так и знал, что это случится! Слышала, что он сказал?

Соня печально кивнула.

— Это наша ошибка,— сказала она.— Нужно было предупредить, чтобы верстку прислали нам.

— Черт с ней, с версткой,— скрипнул зубами Френсик,— ошиблись мы раньше, когда вообще связались с Пипером. Ну что нам дался Пипер? На свете сколько угодно нормальных, небрезгливых, по-хорошему озабоченных деньгами авторов, готовых подписаться под любой дребеденью, а ты подсунула мне своего Пипера.

— Уж поздно разговаривать,— сказала Соня,— ты лучше посмотри, какая от него телеграмма.

Френсик посмотрел и рухнул в кресло.

— «Неизбывно твой Пипер»? В телеграмме? Никогда бы не поверил... Ну, что ж, по крайней мере конец нашим скорбям, хотя один

дьявол знает, как мы объясним Джефри, что с Хатчмейером все пошло насмарку...

— Не пошло,— сказала Соня.

— Но Пипер же пишет...

— Плевать, что он пишет. Я его хоть на себе повезу в Штаты. Он получил хорошие деньги, мы запродали его паршивую книжонку, и он обязан ехать. Поздно уже расторгать договоры. Еду в Эксфорт, разберусь на месте.

— Послушайся ты меня, оставь его в покое,— сказал Френсик.— С этим молодым гением...— Но тут зазвонил телефон, и когда через десять минут он дообсудил с мисс Голд новую концовку «Рокового рывка», Сони и в помине не было.— «В аду нет фурии такой»...— пробурчал он и пошел к себе в кабинет.

Время было послеобеденное, и Пипер прогуливался по набережной, квелый, как запоздалая перелетная птица, которую подвели ее биологические часы. Летом он обычно переселялся в глубь страны, в места подешевле; но уж очень по душе ему был Эксфорт, маленький курорт, сохранявший эдвардианское, слегка чопорное обличье и как бы объединивший Ист-Финчли с Давосом. Он чувствовал, что Томасу Манну понравился бы Эксфорт: ботанические садики, поле для гольфа, пирс и мозаичные туалеты, эстрада и пансионатские домики, обращенные на юг, к Франции. В маленьком парке, отделявшем Гленигльский пансион от набережной, росло даже несколько пальм. Пипер прошел под их сенью, поднялся по ступеням и как раз поспел к чаю.

Но вместо чая в холле ожидала его Соня Футл. Она, не переводя дыхания, примчалась из Лондона, дорогой отработала тактику, а короткая стычка с миссис Окли насчет кофе для приезжих еще укрепила Сонину боеготовность. Ведь Пипер отверг в ее лице не только литературного агента, но и женщину, а в этом смысле с нею шутки были плохи.

— Нет, уж ты меня выслушаешь,— заявила она столь громогласно, что невольными слушателями стали все обитатели пансионата.— Не так все просто, как тебе кажется. Ты взял деньги и теперь...

— Ради бога,— опешил Пипер,— не кричи так. Что люди подумают?

Вопрос был дурацкий. Люди глядели на них во все глаза и явно думали одно и то же, простое и очевидное.

— Подумают, что ты не стоишь женского доверия,— еще громче возгласила Соня, используя момент,— что ты не хозяин своему слову, что ты...

Но Пипер обратился в бегство. Рыдающая Соня не отставала от него ни на ступенях, ни на улице.

— Ты подло обманул меня. Ты воспользовался моей неопытностью, ты внушил мне...

Пипер наобум свернул в парк и там, под пальмами, попробовал перейти в наступление.

— Это я тебя обманул? — возмутился он.— Ты сказала мне, что книга...

— Ничего подобного. Я сказала, что это бестселлер. Я не говорила, что она хорошая.

— Хорошая? Отвратительная! Чистейшей воды порнография! Она подрывает...

— Порнография? Ты шутишь, наверное. Или не читал никого после Хемингуэя, если думаешь, что всякое описание сексуальной жизни — порнография.

— Нет,— запротестовал Пипер,— нет, но я думаю, что такое описание подрывает самые устои английской литературы...

— Не рядись в высокие слова. Ты просто сыграл на том, что Френзи верит в твой талант. Битых десять лет он впустую пытался

пробить тебя в печать, и теперь, когда нам чудом это удалось, ты изволишь артачиться.

— Не артачиться. Я не знал, что за ужас эта книга. Я обязан беречь свою репутацию, и если мое имя будет стоять на обложке...

— Твою репутацию? А как с нашей репутацией? — горько вопросила Соня. Они чуть не смяли автобусную очередь, но в последний момент исхитрились обойти ее с фланга.— Ты подумал, что ты с нею делаешь?

Пипер покачал головой.

— Ладно, бог с нами, речь о тебе. Какую такую репутацию?

— Писательскую,— сказал Пипер.

— Кто из них слышал о тебе? — воззвала Соня к автобусной очереди.

По-видимому, никто не слышал. Пипер кинулся к берегу боковой аллейкой.

— Больше того — никто и не услышит! — кричала ему вслед Соня.— Ты думаешь, Коркадилы станут теперь публиковать твои «Поиски»? Разуверься. Они затаскают тебя по судам, оберут до гроша и занесут в черный список.

— Меня — в черный список? — не понял Пипер.

— Да, тебя — в черный список авторов, отрезанных от печати.

— На Коркадилах свет все же клином не сошелся,— возразил Пипер, чрезвычайно растерянный.

— Если ты угодил в черный список, тебя никто не станет печатать,— немедля нашлась Соня.— Ты после этого конченый писатель, finito.

Пипер поглядел на морскую рябь и подумал, каково быть конченым писателем, finito. Довольно ужасно.

— И ты в самом деле думаешь...— начал он, но Соня уже сменила пластинку.

— Ты говорил, что любишь меня,— прорыдала она, хлопнувшись на песок неподалеку от пожилой четы.— Ты сказал, что мы...

— О господи,— сказал Пипер.— Перестань же, пожалуйста. Ну, хоть не здесь.

Но Соня не перестала: и там, и во всех других местах она то выставляла напоказ сокровенные чувства, то угрожала Пиперу судебным преследованием за нарушение условий договора, то сулила ему славу гениального писателя, если договор будет соблюден. Наконец он начал поддаваться. Черный список огорошил его.

— Что ж, наверное, можно печататься потом под другим именем,— сказал он, стоя у края пирса. Но Соня покачала головой.

— Милый, какой ты наивный,— сказал она.— Неужели ты не понимаешь, что ты сразу виден во всех своих созданиях. Ты же не сможешь скрыть своей единственности, своей яркой оригинальности...

— Наверное, не смогу,— скромно признал Пипер,— это правда.

— Ну конечно, правда. Ты же не какой-нибудь писака, сочинитель по шаблону. Ты — это ты: Питер Пипер. Френзи всегда говорил, что ты уникален.

— Да? — сказал Пипер.

— Он положил на тебя больше сил и времени, чем на любого другого нашего автора. Он верил в тебя, как ни в кого,— и вот наконец выпал твой случай, твоя возможность пробиться к славе...

— С помощью чьей-то чужой омерзительной книги,— заметил Пипер.

— Ну и пусть чужой, хуже, если б собственной. Вспомни «Святилище» Фолкнера. И изнасилование. Кукурузный початок.

— Ты хочешь сказать, что это написал не Фолкнер? — в ужасе спросил Пипер.

— Да нет, именно что он. Написал, чтобы его заметили, чтобы добиться признания. До «Святилища» его книги не раскупались, а после

он стал знаменитостью. Тебе же сам бог послал чужое «Девство»: ты ничуть не отступаешь от своих творческих принципов.

— Под таким углом я об этом не думал,— признался Пипер.

— А потом, уже известным и великим романистом, ты напишешь автобиографию и разъяснишь все про «Девство»,— продолжала Соня.

— Да, напишу,— сказал Пипер.

— Так едешь?

— Да. Да, еду.

— Ой, милый.

Они поцеловались на краю пирса, и осеребренная луной волна прибоя мягко всплеснула под их ногами.

Глава 7

Через два дня торжествующая, но изнуренная Соня переступила порог конторы и объявила, что Пипер разубежден и согласен.

— И ты привезла его с собой? — недоверчиво спросил Френсик.— Это после той телеграммы? Господи боже мой, да ты прямо околдовала этого беднягу: ни дать ни взять Цирцея с любимым боровом. Как это тебе удалось?

— Устроила сцену и отослала его к Фолкнеру,— лаконично объяснила Соня.

Френсик пришел в ужас.

— Только не к Фолкнеру. Он уже был прошлым летом. Даже Манна — и того легче примирить с Ист-Финчли. Я теперь всякий раз, как вижу пилон...

— Я ему говорила не про «Пилон»[1], а про «Святилище».

— Ну, это еще куда ни шло,— вздохнул Френсик.— Хотя представить себе кончину миссис Пипер в мемфисском бардаке, перемещенном в Голдерс-Грин... Так он готов ехать в турне? Невероятно.

— Ты забываешь, что мое призвание — торговля,— сказала Соня.— Мне бы в Сахаре жарой торговать.

— Верю, верю. Да, после его письма Джефри я уж думал, что дело наше пропащее. И он, значит, вполне примирился с авторством, по его выражению, наиотвратнейшей писанины, какую ему выпало несчастье читать?

— Он считает, что это — необходимый шаг на пути к признанию,— сказала Соня.— Я кое-как убедила его на время поступиться критическим чутьем, чтобы достичь...

— Какое у него к черту критическое чутье,— прервал Френсик,— не морочь мне голову. Только нянчиться я с ним больше не согласен.

— Поживет у меня,— сказала Соня,— и нечего ухмыляться. Я хочу, чтоб он был все время под рукой.

Френсик подавил ухмылку.

— Что же у вас теперь на очереди?

— Программа «Книги, которые вы прочтете». Будет проба перед телевыступлениями в Штатах.

— Пожалуйста,— согласился Френсик.— И уж во всяком случае это способ сделать его автором «Девства» — с помощью, что называется, максимальной огласки. После этого куда он денется, вляпается, так сказать, обеими ногами.

— Френзи, милочка,— сказала Соня,— ты прирожденный паникер. Все пройдет как нельзя лучше.

— Твоими бы устами да мед пить,— сказал Френсик,— но я успокоюсь, когда вы отбудете в Штаты. А то налить-то нальешь, да мимо рта пронесешь и...

— Не пронесем,— самодовольно сказала Соня,— не тот случай. Пипер у нас пойдет на телевидение...

— Как агнец на заклание? — предложил Френсик.

[1] Роман У. Фолкнера.

Эта вполне уместная аналогия пришла в голову и самому Пиперу, которого уже начали мучить угрызения совести.

«Нет, Соню я несомненно люблю,— поведал он своему дневнику; теперь, у Сони на квартире, дневник служил ему средством самовыражения вместо «Поисков».— Но вот вопрос: не жертвую ли я своей честью художника, что там Соня ни говори о Вийоне?»

К тому же и конец Вийона Пиперу не импонировал. Для самоуспокоения он снова перечел интервью с Фолкнером в сборнике «Писатели о своем труде». Взгляд мистера Фолкнера на творческую личность весьма и весьма обнадеживал. «Художник совершенно аморален,— читал Пипер,— в том смысле, что он берет, заимствует, клянчит и крадет у всякого и каждого, лишь бы завершить свой труд». Пипер изучил интервью с первого до последнего слова: наверное, зря он бросил свою миссисипскую версию поисков, перестраиваясь на «Волшебную гору». Френсик забраковал «Поиски» в Йокнапатофе под тем предлогом, что такая плотная проза как-то не годится для романа об отрочестве. Но ведь Френсик опутан денежными соображениями. Вообще-то Пипера очень удивила неколебимая вера Френсика в его талант. Он уж начал было подозревать, будто Френсик откупается от него ежегодными обедами; но Соня заверила его, что ничего подобного. Милая Соня. Сколько от нее радости. Пипер восторженно отметил этот факт в своем дневнике и включил телевизор. Пора было лепить образ, подходящий для телепрограммы «Книги, которые вы прочтете». Соня сказала, что образ — это очень важно, и Пипер, с его обычным навыком подражателя, решил уподобиться Герберту Гербисону[1]. Когда Соня вечером явилась домой, он сидел за ее туалетным столиком и снисходительно цедил в зеркальце благозвучные и затертые фразы.

— Тебе нужно всего-навсего быть самим собой,— объяснила она ему.— Копировать кого-то нет ни малейшего смысла.

— Самим собой? — удивился Пипер.

— Ну да, держаться непринужденно. Как со мной.

— Ты думаешь, это будет правильно?

— Милый, это будет бесподобно. Я договорилась с Элеонорой Бизли, чтоб она из тебя жилы не тянула. Можешь рассказывать ей, как ты работаешь, про перья и прочее.

— Лишь бы она не стала меня спрашивать, почему я написал эту чертову книгу,— мрачно сказал Пипер.

— Ты их просто очаруешь,— уверенно сказала Соня. И продолжала настаивать, что все сойдет за милую душу через три дня, когда Пипера повели гримироваться для интервью.

На этот раз Соня ошиблась. Даже Джефри Коркадил, чьи авторы редко писали «Книги, которые вы прочтете», так что он эту программу почти никогда не смотрел,— и тот заметил, что Пипер несколько не в себе. Он сообщил это Френсику, к которому был приглашен на случай, если понадобятся новые безотлагательные объяснения, кто же все-таки написал «Девства ради помедлите о мужчины».

— Да, пожалуй, что действительно не очень-то,— согласился Френсик, тоскливо глядя на телеэкран. И то сказать, сидел Пипер напротив Элеоноры Бизли под тающим заглавием передачи с видом умалишенного.

— Сегодня у нас в студии мистер Питер Пипер,— сказала мисс Бизли, адресуясь к телекамере,— чей первый роман «Девства ради помедлите о мужчины» вскоре выходит в издательстве Коркадилов, ценою 3 фунта 95 пенсов. Право его публикации было приобретено за неслыханную сумму в (микрофон, задетый ногою Пипера, сдобно хрюкнул)... американским издателем.

[1] Популярный диктор английского телевидения.

— Что ж, неслыханную — это тоже годится,— сказал Френсик.— Нам и такая реклама отнюдь не помешает.

Но мисс Бизли поспешила восполнить нечаянный пробел. Она обернулась к Пиперу.

— Два миллиона долларов — очень щедрая плата за первый роман,— сказала она.— Вы, надо полагать, были весьма поражены, оказавшись...

Пипер с грохотом скрестил ноги. На сей раз ему удалось не только пнуть микрофон, но заодно и опрокинуть стакан воды на столе.

— Прошу прощения,— выкрикнул он. Вода стекала по ноге мисс Бизли, а она продолжала выжидательно улыбаться.— Да, весьма поражен.

— Вы не ожидали такого потрясающего успеха?

— Нет,— сказал Пипер.

— Господи, да хоть бы он дергаться перестал,— сказал Джефри.— Можно подумать, что у него пляска святого Витта.

Мисс Бизли ободряюще улыбнулась.

— А вы не хотели бы рассказать нам что-нибудь о том, как возник у вас замысел этой книги? — спросила она.

Пипер дико поглядел в глаза миллионам телезрителей.

— Я не...— начал он, но тут нога его судорожно дернулась и опять сшибла микрофон. Френсик закрыл глаза, а телевизор глухо зарокотал. Когда Френсик отважился снова посмотреть на экран, его заполняла настоятельная улыбка мисс Бизли.

— «Девства ради» — очень необычная книга,— говорила она.— Это история чувства, рассказ о том, как молодой человек полюбил женщину гораздо старше его годами. Скажите, а вы долго размышляли над своим сюжетом? То есть давно ли эта тема захватила ваше воображение?

На экране снова крупным планом появился Пипер. Лоб его был усеян бисером пота, челюсти ходили ходуном.

— Да,— простонал он наконец.

— О боже, мне это зрелище просто не по силам,— сказал Джефри.— Беднягу, кажется, сейчас хватит удар.

— И роман ваш, конечно, потребовал немалых трудов? — спрашивала далее мисс Бизли.

Пипер снова принялся ловить воздух ртом, отчаянно озирая телестудию. Потом глотнул воды и выдавил: «Да».

Френсик отер платком лоб.

— Да, кстати,— сказала неутомимая мисс Бизли с веселой улыбкой, отдававшей помешательством,— насколько я знаю, у вас очень и очень своеобразный стиль работы. Вы ведь, помнится, говорили мне, что пишете всегда набело?

— Да,— сказал Пипер.

— И пользуетесь особыми чернилами?

Пипер по-особому заскрежетал зубами и кивнул.

— А мысль эту подал вам Киплинг?

— Да. «Кое-что про меня». Это там,— отрывисто подтвердил Пипер.

— Ну, кажется, пошло,— сказал Джефри, однако мисс Бизли обманула его надежды: она слыхом не слыхала об автобиографии Киплинга.

— Кое-что про вас мы найдем в вашем романе? — спросила она, оживляясь. Пипер метнул на нее яростный взгляд. Вопрос ему явно не понравился.

— «Кое-что про меня» — там о чернилах,— сказал он.

— Про вас — о чернилах? — несколько недоуменно заулыбалась мисс Бизли.

— Он готовил чернила по особому рецепту,— сказал Пипер,— вернее, бой ему их готовил.

— Бой? О, как это интересно,— проговорила мисс Бизли, не чая выбраться из дебрей. Но Пипер завел ее еще глубже.

— Если сам готовишь индийские чернила — они темнее.

— Конечно, еще бы. И что же — такие темные, очень густые индийские чернила помогают вам писать?

— Да нет,— сказал Пипер,— они залепляют перо. Я пробовал разбавлять обыкновенными — никакого толку. Канальцы все равно засоряются.— Он вдруг замолк и с ненавистью поглядел на мисс Бизли.

— Канальцы? Вы говорите — канальцы засоряются? — переспросила она, очевидно полагая, что Пипер имеет в виду некие тайные протоки вдохновения.— То есть ваша...— Она тщетно попыталась на ходу приискать какой-нибудь современный кибернетический термин.— Ваша, так сказать, муза...

— Ведьма,— поправил Пипер, верный Киплингу.

Мисс Бизли снесла оскорбление как должное.

— Вы говорили о чернилах,— подсказала она.

— Я сказал, что они засоряли канальцы. Я не мог написать больше слова за один раз.

— Оно и неудивительно,— заметил Джефри.— Ужасно было бы странно, если б мог.

По-видимому, это соображение пришло на ум и самому Пиперу.

— То есть приходилось все время прерываться и прочищать перо,— объяснил он.— Так что теперь я...— Он запнулся.— Это глупо звучит.

— Это звучит идиотически,— сказал Джефри, но мисс Бизли и ухом не повела.

— Продолжайте, продолжайте,— подбодрила она.

— Ну, теперь я беру бутылку Полуночных, даю им наполовину испариться, и когда они становятся такие, знаете, клейкие, я макаю перо и...— Пипер исчерпался.

— О, как это интересно,— сказала мисс Бизли.

— Все-таки хоть что-то высказал, и на том спасибо,— заметил Джефри. Сидевший рядом Френсик скорбно смотрел на экран. Теперь он понимал яснее ясного, что затея с Пипером была обречена изначально: черт его дернул согласиться! Раньше или позже все должно было пойти кувырком. Как и телепередача. Тем временем мисс Бизли рискнула вернуться к роману.

— Читая вашу книгу,— сказала она,— я поразилась, как глубоко вы поняли, что сексуальное жизнеощущение зрелой женщины должно выявиться физически. Не ошибусь ли я, предположив, что в вашем творчестве силен автобиографический момент?

Пипер злобно вылупился на нее. Мало того, что он якобы написал «Девства будь оно проклято ради помедлите о мужчины», теперь он же еще оказывается извращенцем-героем этих похабных похождений — нет, слуга покорный! Френсик понял его чувства и ушел с головой в кресло.

— Что вы сказали? — взревел Пипер, возвращаясь к прежней взрывной манере выражения, но уже без всякой запинки.— Вы всерьез думаете, будто я могу подписаться под такой гадостью?

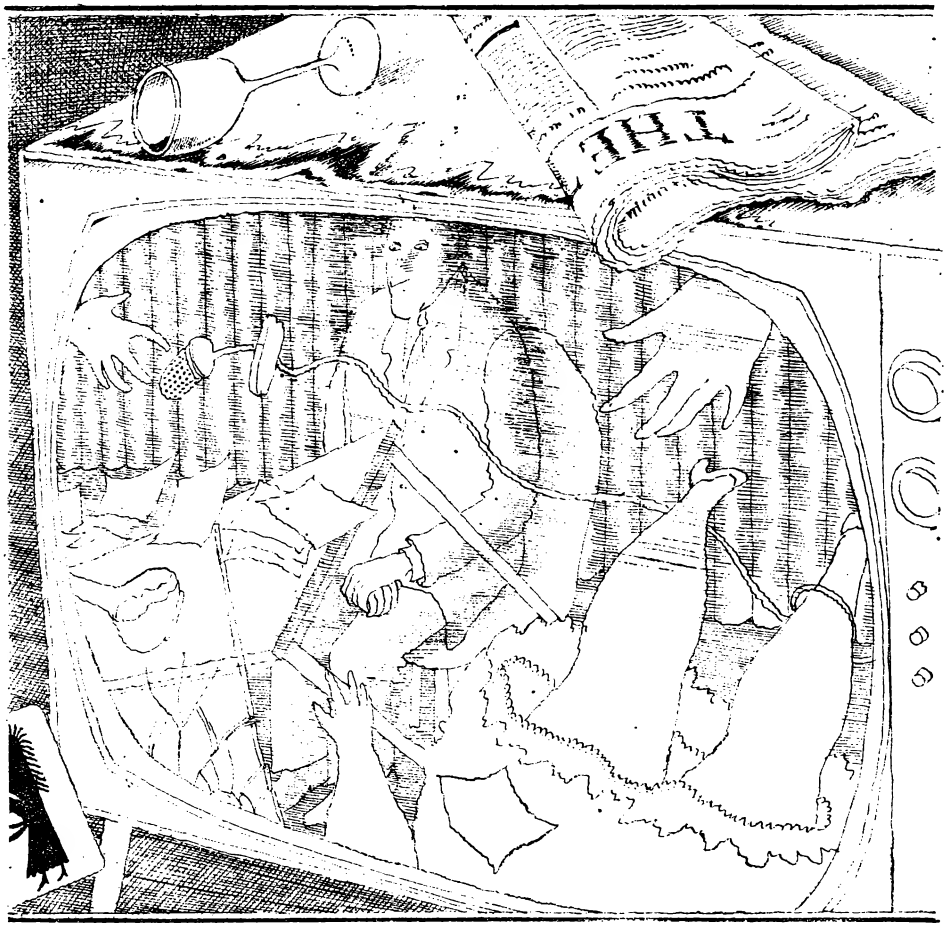
— Ну, я, естественно, думала...— начала мисс Бизли, но Пипер отмел ее предположения:

— Все это более чем отвратительно. Юноша и восьмидесятилетняя старуха! Это подрывает самые основы английской литературы. Это гнусные, чудовищные, патологические излияния, которым не место в печати, и если вы полагаете...

Но зрители программы «Книги, которые вы прочтете» опять-таки никогда не узнали, что, по мнению Пипера, полагала мисс Бизли. Собеседников заслонила мощная фигура женщины, явно очень взволнованной,— она кричала: «Прервать! Прервать!» — и бешено махала руками.

— Господи, святая воля твоя,— ахнул Джефри,— это что еще за дьявольщина?

Френсик не отвечал. Он только зажмурился, чтобы не видеть, как Соня Футл неистово мечется по студии, пытаясь уберечь многомиллионную аудиторию от жутких признаний Пипера. Телевизор угрожающе заскрежетал. Френсик открыл глаза: перед его взором мелькнул летящий микрофон и воцарился беззвучный хаос. В понятном предположении, что на студию проник по ее душу какой-то полоумный мсти-



тель, мисс Бизли сорвалась со стула и кинулась к дверям. Пипер ошалело озирался, а Соня, зацепившись ногой за кабель, сшибла стол, покрытый стеклом, и растянулась на полу с задранной юбкой. Несколько мгновений она брыкалась на виду у публики, затем экран померк и появилась надпись: ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ НАС ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ ПЕРЕДАЧА ВРЕМЕННО ПРЕКРАЩЕНА. Френсик уныло вперился взглядом в эти слова. Они вполне шли к делу. Да, обстоятельства уже ни от кого не зависели, это было совершенно ясно. Принципиальность Пипера и дикая выходка Сони Футл положила конец его карьере литературного агента. Утренние газеты выйдут с заголовками «Автор — не автор». Хатчмейер расторгнет договор и почти наверняка заставит уплатить неустойку. Словом, предвиделись ужасы без

конца и края. Френсик повернул голову и встретил любопытствующий взгляд Джефри.

— Мисс Футл собственной персоной? — спросил он.

Френсик машинально кивнул.

— Чего же ради она крушила телестудию? В жизни не видел ничего удивительнее. Автор, чтоб ему было пусто, принимается чествовать собственный роман. Как он там выразился? Гнусные, чудовищные патологические излияния, подрывающие самые основы английской литературы. Не успеваешь опомниться, как откуда ни возьмись является его агент в женском облике, словно гигантский джинн из бутылки, орет «Прервать!» и швыряется микрофонами. Какой-то кошмар.

Френсик лихорадочно подыскивал объяснения.

— Пожалуй, что вернее назвать хэппенингом,— выдавил он.

— Хэппенингом?

— Ну, знаете, ряд происшествий вне причинно-следственных связей,— промямлил Френсик.

— Причинно... следственных?..— повторил Джефри.— По-вашему, это не будет иметь последствий?

О последствиях Френсик думать не хотел.

— Ну, во всяком случае такое интервью долго не забудется,— сказал он.

— Не забудется? — воззрился на него Джефри.— Да, уж я думаю, оно войдет в анналы.— Он осекся и разинул рот.— Хэппенинг? Вы сказали — хэппенинг? Бог мой, так это, значит, ваших рук дело?

— Моих рук что? — спросил Френсик.

— Ваших рук дело. Ах, вы, стало быть, инсценировали весь этот кавардак. Пиперу велели наговорить несуразицы про свой роман, а тут врывается мисс Футл, буйствует перед телеэкраном, и вы делаете громовую рекламу...

Френсик прикинул и счел это объяснение лучше подлинного.

— А что, ведь неплохая реклама,— скромно сказал он.— Нынче, знаете, все интервью проходят как-то вяло.

Джефри снова подлил виски в стакан.

— Что ж, снимаю перед вами шляпу,— сказал он.— У меня бы духу не хватило измыслить что-нибудь подобное. И кстати, ох как поделом этой Элеоноре Бизли!

У Френсика отлегло от души. Если бы еще перехватить Соню, прежде чем ее арестуют или что там делают с людьми, которые громят телестудии и срывают передачи,— и Пипера, пока он еще не успел все испортить своим литературным гонором,— тогда, может быть, и удастся что-нибудь спасти.

Но перехватывать было незачем. Соня с Пипером давно сбежали из телестудии под аккомпанемент визгливых проклятий и угроз Элеоноры Бизли и пронзительных заверений режиссера программы, что им это даром не пройдет. Они промчались по коридору, кинулись в лифт и захлопнули дверцы.

— Что ты хотела сказать своим...— начал Пипер по пути вниз.

— Замри,— сказала Соня.— Если б не я, хороши бы мы все были по твоей милости, болтун несчастный!

— Но она же сказала...

— Плевать, что она сказала,— прикрикнула на него Соня,— меня волнует, что сказал ты. Каково: автор сообщает миллионам зрителей, что его роман — дерьмо!

— Но это же не мой роман,— возразил Пипер.

— Нет уж, милый, теперь твой. Погоди, увидишь завтрашние газеты. Одних заголовков хватит, чтобы прославить тебя на всю страну. АВТОР ГЛУМИТСЯ ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ НАД СОБСТВЕННЫМ РОМАНОМ. Толкуй после этого, что ты не писал «Девства»! Черта с два кто-нибудь поверит!

— Господи боже мой,— сказал Пипер.— Что же нам делать?

— Уносить отсюда ноги, да поживее,— сказала Соня, раскрывая дверцы. Они пробежали через вестибюль и уселись в машину. Двадцатью минутами позже Соня выключила зажигание у своего подъезда.

— Собирай вещи,— сказала она.— Надо удирать, покуда пресса не чухнулась.

Пипер паковал чемоданы, снедаемый противоречивыми чувствами. Ему навязали авторство омерзительной книги, пути назад нет, придется ехать в турне по Штатам, и он влюблен в Соню. Закончив сборы, он попытался напоследок оказать сопротивление.

— Слушай, я серьезно вряд ли это вынесу,— сказал он Соне, которая волокла чемоданы к двери.— Просто нервов не хватит.

— А у меня, по-твоему, хватит, и у Френзи тоже? Он же мог умереть от потрясения. Ведь он сердечник.

— Он сердечник? — сказал Пипер.— Понятия не имел.

Не имел об этом понятия и Френсик, через час разбуженный телефонным звонком.

— Я сердечник? — сказал он.— И ты нарочно будишь меня среди ночи, чтобы сообщить мне об этом?

— Единственный был способ образумить его. Никак не мог опомниться от этой паскуды Бизли.

— Это я насилу опомнился от вашей передачи. А тут еще над ухом все время зудел Джефри. Презабавно, конечно, почтенному издателю слушать, как его автор поносит свою книгу, называя ее гнусными, патологическими излияниями. Очень душеполезное переживание. И вдобавок Джефри решил, что это ты по моему наущению выскочила с воплем «Прервать!».

— По твоему наущению? — переспросила Соня.— Мне пришлось, чтобы...

— Я-то все понимаю, а он думает, что мы ударили рекламой по нервам.

— Но это же прекрасно,— обрадовалась Соня.— Опять, значит, мы вылезли как ни в чем не бывало.

— Если не завязли по самые уши,— мрачно отозвался Френсик.— Ты вообще-то где? Почему звонишь из автомата?

— Едем в Саутгемптон,— сказала Соня.— Без проволочек, пока он снова не начал пятиться. На «Елизавете Второй» есть свободная каюта, отплытие завтра. Я больше рисковать не хочу: мы попадем на борт любой ценой. А если все-таки не выйдет — запру его от газетчиков в номере какой-нибудь захудалой гостиницы и не выпущу, пока он не выучит назубок все, что ему полагается говорить о «Девстве».

— Полагается? Назубок? Что он тебе — попугай?

Но Соня дала отбой и через минуту уже вела машину дальше по дороге в Саутгемптон.

Утром отупелый и измотанный Пипер нетвердыми шагами взошел по трапу и спустился в свою каюту. Соня задержалась наверху, чтобы дать телеграмму Хатчмейеру.

Глава 8

В Нью-Йорке Хатчмейеру принес эту телеграмму его главный администратор, некто Макморди.

— Торопимся, значит,— сказал Хатчмейер.— Ну давайте торопитесь. Мы тоже кота за хвост тянуть не будем, только и всего. Так вот,

Макморди, мне надо, чтоб вы ему устроили встречу небывалую. Понятно? Выкладывайтесь на все сто. На чем думаете сыграть?

— С такой книгой разве что расшевелить Лигу Престарелых Американок, пусть кидаются на него, как на битла.

— Престарелые на битлов не кидаются.

— О'кей, значит, он не битл, а воскресший Рудольфо Валентино или в этом роде. Какой-нибудь такой киноактер из двадцатых.

— Похоже на дело,— кивнул Хатчмейер.— Ностальгия и тому подобное. Но слабовато. От престарелых особого толку не будет.

— Никакого,— подтвердил Макморди.— Вот если бы этот Пипер был нудист, антисемит и педераст, а с ним любовник-кубинец, негр по фамилии О'Хара — тут бы я расстарался. А такой субъект, охочий до старух...

— Макморди, сколько раз вам говорить, что субъект — это одно, а его подача — другое. Никакой связи тут не требуется. Как хотите, так и подавайте.

— Да, но кому какое дело до английского автора с его первым романом?

— Мне,— сказал Хатчмейер.— Мне до него дело, а я хочу, чтоб было дело еще ста миллионам телезрителей. Понятно? Вот так. Через неделю про Пипера должна услышать вся Америка, а уж как — это ваша забота. Делайте что хотите, но на берег чтоб он ступил, как Линдберг после атлантического перелета. Жмите на все кнопки, тормошите все организации, заигрывайте с любыми лобби — и давайте окружайте его ореолом.

— Ореолом? — усомнился Макморди.— Это с такой-то фотографией на обложке еще и ореолом окружить? Да у него вид как из психбольницы.

— Ну и пусть из психбольницы! Мало ли какой у него вид? Главное — за один день сделать его мечтой всех старых дев. Подключите феминисток, и насчет звездоманов у вас неплохая идея.

— Старушонки, феминистки, педерасты, минитмены — этак, чего доброго, мы устроим погром в гавани.

— Погром,— сказал Хатчмейер,— это хорошо. Напустите на него всех разом. Пришибут полицейского — порядок, хватит какую-нибудь старуху кондрашка — тоже неплохо. Спихнут его в воду — еще лучше. Разделаем его так, что скопом за ним побегут, только он дунет в дудку.

— В дудку? — переспросил Макморди.

— Ну да, как крысы за Крысоловом.

— Крысы? Еще и крыс туда же?

Хатчмейер жалостливо посмотрел на него.

— Иногда, Макморди, вы прямо как неграмотный,— укорил он.— Можно подумать, что вы в жизни не слышали про Эдгара Аллана По. И вот еще что. Когда вы с Пипером как следует разболтаете дерьмо в бочке, шлите его самолетом ко мне в Мэн. Бэби хочет с ним познакомиться.

— Миссис Хатчмейер — познакомиться с этим ханурико м?

Хатчмейер грустно кивнул.

— Угу. Вроде как тогда, помните — вынь да положь ей того писателя, который хвастался, что ему женщины без надобности. Как его, похабника, звали-то?

— Портной,— припомнил Макморди.— Но мы его не залучили. Не захотел приехать.

— Чему удивляться? Странно вообще, что он на ногах стоит. Это же вредно, как я не знаю что.

— Он, правда, издавался не у нас,— заметил Макморди.

— Ну да, и это тоже,— согласился Хатчмейер,— но Пипер-то издается у нас, и раз Бэби его хочет, пусть получает. Ей-богу, Макморди, в ее возрасте, после всех операций и вообще на диете, так вроде бы

уже и хватит. Вы как, смогли бы два раза в день круглый год без передышки? Вот и я тоже не могу. Неуемная женщина. Она этого старушечьего угодника Пипера живьем съест.

Макморди пометил у себя, что Пиперу надо резервировать самолет.

— Там и есть-то, пожалуй, будет особенно нечего после того, как мы его встретим,— мрачно заметил он. — Если сделаем по-вашему, дело может круто обернуться.

— Чем круче, тем лучше. Вот когда моя штопаная супруга с ним разберется, тут он поймет, где круто, где полого. Представляете, на ком теперь она, чертова баба, заклинилась.

— Не представляю,— сказал Макморди.

— На медведях.

— На медведях? — переспросил Макморди. — Не может быть. Как это все-таки, а? На кого другого, а на медведей я бы в случае чего даже не подумал. У одной моей знакомой, правда, была немецкая овчарка, но...

— Да не то! — рявкнул на него Хатчмейер. — Вы, Макморди, все-таки полегче — о жене моей речь, а не о какой-нибудь шлюшонке. Имейте к ней уважение.

— Вы же сами сказали, что она заклинилась на медведях, вот я и подумал...

— С вами, Макморди, та беда, что вы не думаете. Ну, заклинилась, ну, на медведях. Это же не значит, что медведи на ней заклинились. Если женщина на чем-то заклинивается, при чем тут секс? Секс тут ни при чем.

— Не знаю. Я говорю, знал я одну женщину...

— Ну и знакомые у вас, Макморди. Женились бы лучше на порядочной.

— Я и так женился на порядочной. Я по бабам не бегаю. Не тот завод.

— Так принимайте зерновытяжку и витамин «Е», я же принимаю. Вот где подъемная сила. О чем мы говорили?

— О медведях,— причмокнул Макморди.

— Бэби заклинилась на экологии и стала беспокоиться насчет среды. Начиталась, что, мол, животные не хуже людей и вообще. Один такой Моррис написал книгу...

— Морриса я читал,— вставил Макморди.

— Да это не тот Моррис. Этот Моррис работал в зоопарке, возился там с голой обезьяной, вот про нее и написал. Побрил он ее, что ли, хрен его знает. А Бэби прочла — и здрасьте, накупила медведей и прочей сволочи: пусть, мол, бегают. Медведей кругом развелось что собак нерезаных, соседи стали жаловаться, а я как раз подал в яхт-клуб. Нет, Макморди, эти бабы, я вам скажу, у меня вот где сидят.

Макморди пребывал в замешательстве.

— Ежели этот Моррис повредился на обезьянах, так зачем же миссис Хатчмейер медведи? — спросил он.

— Да не голых же обезьян, честное слово, разводить в Мэне! Какой прок! Передохнут после первого снегопада, а надо, чтобы все было как в природе.

— Не знаю, чего тут природного, когда медведи по двору шляются. Я в природе такого не видел.

— Вот и я Бэби сразу сказал. Если, говорю, хочешь завести голого орангутана — заводи, пес с тобой, а медведей — это извините. И знаете, что она мне на это? У меня, говорит, и так в доме уже сорок лет живет голый орангутан, а медведей, говорит, надо оберегать. Оберегать? Каждый весом в триста пятьдесят фунтов — и его оберегай? Нет, уж если кого оберегай, так это меня.

— И что же вы сделали? — спросил Макморди.

— Купил пулемет и сказал ей, что первого же медведя, который вопрется в дом, разнесу в клочья. Ну, медведи как-то это дело раскусили, подались в лес, и теперь у нас тихо.

На море тоже было тихо, когда Пипер проснулся утром в плавучем отеле; но поскольку зрелые годы его жизни прошли по приморским пансионам с видами на Ла-Манш, то он и не слишком удивился. Правда, обстановка была куда лучше, нежели в номере Гленигльского пансиона, однако Пипер не обращал внимания на то, что его окружает. Главное — писать, и на корабле писание продолжалось. Утром он писал за столиком в своей каюте, а после обеда возлежал с Соней на солнечной палубе, обсуждая жизнь, литературу и «Девства ради помедлите о мужчины» сквозь легкую дымку счастья.

«Впервые в жизни я поистине счастлив,— сообщил он своему дневнику и будущим исследователям, которые некогда вникнут в его частную жизнь. — Отношения с Соней придали моей жизни дополнительное измерение и раздвинули в моем уме представление о зрелости. Можно ли это назвать любовью — покажет время, но разве не достаточно уже и того, что наши личности столь взаимосочетаемы? Я сожалею лишь о том, что нас сблизила такая человечески несостоятельная книга, как «Деврадпомомуж». Но как сказал бы Томас Манн с одному ему присущей символической иронией: «Всякое облако подбито серебром» — и невозможно с ним не согласиться. О, если бы случилось иначе! Соня требует, чтобы я перечел книгу и освоил ее слог. Меня это очень затрудняет — оттого, что мне надо казаться автором, и опасаюсь к тому же, как бы стиль мой не ухудшился от такого чтения. Однако же, задача есть задача, и «Поиски утраченного детства» идут отнюдь не хуже, чем могли бы в нынешних трудных условиях».

И много еще чего в том же роде. Вечерами Пипер настоятельно читал вслух свеженаписанные главы «Поисков» Соне, которая предпочла бы танцевать или играть в рулетку. Пипер такого легкомыслия не одобрял. Оно не было слагаемым опыта, образующего осмысленные отношения, на которых зиждется высокая литература.

— А где же действие? — спросила Соня однажды вечером, когда ей были зачитаны итоги дневного творчества.— Как-то у тебя в романе ничего не происходит. Одни описания и раздумья.

— В медитативном романе действенна мысль,— парировал Пипер, в точности воспроизводя текст «Нравственного романа». — Лишь незрелый ум находит пищу во внешней активности бытия. Наши мысли и чувства суть формы протяжения нашей самости, а именно человеческая самость создает великие жизненные драмы.

— Притяжения? — с надеждой переспросила Соня.

— Нет, протяжения,— возразил Пипер.— Третья буква «о».

— А,— сказала Соня.

— То есть нашей сущностной актуализации. Иначе говоря, *дазайна.*

— Дизайна, что ли?

— Нет,— сказал Пипер, который когда-то заглянул одним глазом в Хайдеггера. — Вторая буква «а».

— С ума сойти,— сказала Соня. — Ну, тебе, конечно, виднее.

— И поскольку роман обязан оправдывать себя как способ художественной коммуникации, то он имеет дело с реальностью опыта. Произвольная же игра воображения помимо параметров личного опыта поверхностна и влечет за собой нереализованность наших индивидуальных потенций.

— А ты себя не чересчур ограничиваешь? — спросила Соня. — Ведь если и можно писать о том, что с тобой самим было, так, в конце концов, останется описывать только как встаешь, завтракаешь, идешь на работу...

— Что ж, это тоже важно,— сказал Пипер, который описывал

утром, как он встал, позавтракал и пошел в школу. — Романист наполняет эти факты быта своей неповторимой значительностью.

— Да люди-то вовсе не хотят об этом читать. Они ищут в книгах романтики, секса, волнующих событий. Ищут необычного. Иначе роман не раскупают.

— Ну и пусть не раскупают,— пожал плечами Пипер,— какое это имеет значение?

— Имеет, если ты не намерен бросать литературу и хочешь как-нибудь прокормиться. Возьми то же «Девство»...

— Уже взял,— сказал Пипер. — Я прочитал указанную тобой главу, и, по чести говоря, она просто омерзительна.

— Действительность, знаешь ли, тоже не сахар,— заметила Соня, втайне желая, чтобы Пипер хоть ненадолго спустился со своих высот. — Мы живем в безумном мире. Кругом террор, убийства, насилие, а «Девство» отвлекает от всего этого: оно — о двух людях, которые нужны друг другу.

— И очень плохо, что нужны,— сказал Пипер. — Это противоестественно.

— Летать на Луну тоже противоестественно, а вот летают же. А ракеты, наведенные одна на другую и грозящие обоюдной гибелью? Да куда ни глянь — всюду что-нибудь противоестественное.

— Только не в «Поисках»,— сказал Пипер.

— Тогда какое же они имеют отношение к действительности?

— Действительность,— заявил Пипер, снова черпая фразы из «Нравственного романа»,— есть актуализация вещей в бытийственном контексте. Сфера человеческого сознания — та область, в которой происходит восстановление в правах традиционных ценностей...

Пипер цитировал, а Соня вздыхала и надеялась, что он и в самом деле восстановит в правах традиционные ценности — сделает ей предложение или хотя бы залезет к ней в постель и докажет свою любовь добрым старым способом. Но Пиперу и тут мешали принципы. Ночью в постели он упорно занимался литературой: прочитывал несколько страниц «Доктора Фаустуса» и раскрывал свой молитвенник — «Нравственный роман». Затем он выключал свет и, невзирая на Сонины прелести, мгновенно и крепко засыпал.

Соня лежала без сна в некотором недоумении. То ли женщины его не привлекают вообще, то ли она в частности; наконец она пришла к выводу, что связалась с одержимым, и решила отложить обсуждение сексуальных наклонностей Пипера до лучших времен. В конце концов, важнее всего было охранить его спокойствие и сберечь самообладание — а раз уж ему заодно приспичило целомудрие, то пожалуйста.

Джинна из бутылки выпустил средь бела дня сам Пипер — на верхней палубе, в солярии. Он размышлял над тем, что, по словам Сони, ему не хватает жизненного опыта, без которого писателю не обойтись. А опыт, считал Пипер, дается наблюдением. Он разлегся в шезлонге, приняв позицию наблюдателя, и чуть не ткнулся носом в женщину средних лет, вылезшую из бассейна. На ее ляжках он приметил сзади вмятинки. Пипер раскрыл свой гроссбух для Нужных Фраз и записал: «Ноги, захватанные хищным временем»; потом — запасной вариант: «Отметины былых страстей».

— Что за отметины? — спросила Соня, заглянув ему через плечо.

— Вмятинки на ногах у этой женщины,— пояснил Пипер,— вон, которая садится.

Соня окинула женщину критическим взглядом.

— Они возбуждают тебя?

— Нет, конечно,— возмутился Пипер. — Я просто зафиксировал факт: может пригодиться для книги. Ты же говорила, что мне не хватает опыта, вот я и пополняю его.

— Хорошенькое пополнение опыта,— сказала Соня,— пялиться на пожилых теток.

— Ни на кого я не пялюсь. Я всего лишь наблюдал. Сексуального подтекста в этом не было.

— Могла бы и сама сообразить,— проговорила Соня и снова разлеглась.

— Что сообразить?

— Что не было сексуального подтекста. У тебя его никогда не бывает.

Пипер посидел, подумал над этим замечанием. В нем был оттенок горечи, и он насторожился. Секс. Секс и Соня. Соня и секс. Секс и любовь. Секс без любви и с любовью. Вообще секс. Сомнительнейший источник нескончаемых фантазий, шестнадцать лет нарушавших мирное течение дней Пипера и противоречивших его литературным принципам. Великие романы обходили секс стороной. Они ограничивались Любовью, и Пипер желал следовать их предначертаниям. Он берег себя для великого любовного свершения, которое сольет воедино секс и любовь в горниле всепожирающей и всевознаграждающей прочувствованной страсти, и все женщины его фантазий, все руки, ноги, груди и ягодицы, мечтавшиеся ему порознь, сплавятся и образуют идеальную жену. Одушевленный высочайшим чувством к ней, он будет вправе утолять самые свои низменные побуждения. Пропасть между животной натурой Пипера и ангельской природой его возлюбленной исчезнет в обоюдном пламени и тому подобное. Это обещали великие романы. К сожалению, в них не объяснялось, как это произойдет. Любовь, распаленная страстью, куда-то уводила, и Пипер не очень понимал куда. По-видимому, к счастью. Но во всяком случае идеальный брак освободит его из-под власти фантазий, где хищный и похотливый Пипер рыскал по темным улочкам в поисках невинных жертв и подчинял их своим вожделениям; учитывая же, что вожделел он вслепую и в женской анатомии был полный профан, кончиться это могло либо клиникой, либо полицейским участком.

И вот теперь в Соне он, казалось бы, обрел женщину, оценившую его и вполне пригодную на роль идеальной возлюбленной. Но тут были свои загвоздки: женский идеал Пипера, извлеченный из великих романов, отличала чистота помыслов и глубина чувствований. Но глубинным чувствованиям надлежало оставаться глубинными, а Сониным глубины недоставало — это было ясно даже и Пиперу. Соня источала готовность перейти от слов к делу и путала ему все карты. Во-первых, с нею он не мог быть похотливым хищником. Как можно зверем наброситься на ангела, если ангел, на которого набрасываешься, зверем набрасывается на тебя? Хищнику требуется жертва, нужна пассивность, которой в Сониных поцелуях отнюдь не было. Сжатый в ее объятиях, Пипер чувствовал себя во власти могучей, как слон, женщины; и даже если бы он не был обделен воображением, он не сумел бы вообразить себя при этом хищником. Все предельно затруднялось, и Пипер, глядя с палубы, как разбегаются к горизонту пенные борозды из-под кормы, переживал очередное противоречие Искусства и Жизни. Чтоб разрядить свои чувства, он достал гроссбух и записал: «Зрелые отношения требуют жертвы идеалов в интересах опыта, необходимо встать лицом к лицу с действительностью».

Ближе к ночи Пипер начал становиться лицом к лицу. Перед ужином он выпил две двойные порции водки, за едой осушил бутылку вина с уместным названием «Либфрау-мильх», подкрепил свои намерения чашкой кофе с бенедиктином и в лифте осыпал Соню ласками и обдал перегаром.

— Слушай, это вовсе не обязательно,— сказала она, когда Пипер пустил в ход руки. Но тот был тверд.

— Дорогая, мы же эмоционально зрелые люди,— выговорил он и

по стенке добрел до двери каюты. Соня опередила его и включила свет. Пипер свет выключил.

— Я люблю тебя,— сказал он.

— Да успокой ты свою совесть,— сказала Соня. — И к тому же...

Пипер перевел дыхание и со страстным упорством обхватил ее, они рухнули на постель.

— Какие у тебя груди, волосы, губы...

— У меня началось,— сказала Соня.

— Началось... — бормотал Пипер. — Какая у тебя кожа, какие у тебя...

— Началось у меня,— сказала Соня.

Пипер приостановился.

— В каком смысле началось? — спросил он, смутно чувствуя какой-то подвох.

— В том самом,— сказала Соня. — Дошло?

До Пипера наконец дошло, и местоблюститель автора «Девства ради помедлите о мужчины» кинулся из постели в ванную. Между Искусством и Жизнью оказались непредвиденные противоречия. Физиологические.

А в штате Мэн, в огромном доме над Французовым заливом Бэби Хатчмейер, урожденная Зугг, мисс Пенобскот 1935 года, нежилась на необъятной водяной тахте и думала о Пипере. На ее ночном столике кроме «Девства» лежал витамин «С» и стоял стакан шотландского виски. Она перечла книгу третий раз и вполне уверилась, что наконец-то опубликован молодой автор, способный оценить пожилых женщин. Правда, Бэби трудно было назвать пожилой. В свои сорок, то бишь пятьдесят восемь лет она была сложена как пострадавшая в авариях восемнадцатилетняя девушка и выглядела как забальзамированная двадцатипятилетняя женщина. Словом, у нее было все, что требуется, и это все требовалось Хатчмейеру первые десять лет их брака и оставалось в небрежении следующие тридцать. Он растрачивал свое мужское внимание и бычачий пыл на секретарш, стенографисток, а порою — на стриптизеток в Лас-Вегасе, Париже и Токио. Бэби смотрела на это сквозь пальцы, а он никак не стеснял ее в деньгах и с горем пополам терпел ее художественные, светские, метафизические и экологические увлечения, перед всеми хвастая своим счастливым браком. Бэби нанимала загорелых молодых декораторов и обновляла обстановку и себя даже чаще, чем это было необходимо. Она сделала столько косметических операций, что однажды Хатчмейер, вернувшись из блудной поездки, попросту не узнал ее. Тогда-то впервые и зашла речь о разводе.

— Ах, я тебя больше не задеваю за живое,— сказала Бэби,— ну, ты меня тоже не очень-то задеваешь. Последний раз ты раскачался, помнится, осенью пятьдесят пятого, пьяный в доску.

— Еще бы не пьяный,— съязвил Хатчмейер и тут же пожалел об этом. Бэби живо поставила его на место.

— Я тут вникала в твои делишки,— сказала она.

— А я и не скрываю. В моем положении опасно прослыть импотентом. Если подумают, что мне это дело уже не по возрасту, то и капиталом в случае чего никто не поможет.

— Тебе это дело вполне по возрасту,— сказала Бэби,— только я говорю о другом: о твоих финансовых махинациях. Хочешь развод — пожалуйста. Деньги пополам, выкладывай двадцать миллионов долларов.

— Ты что, спятила? — взревел Хатчмейер.— И думать забудь!

— А ты забудь думать о разводе. Я же тебе говорю: я разобралась в твоей бухгалтерии. И если тебе хочется, чтобы ФБР, Налоговое управление и судейские узнали, как ты уклоняешься от налогов, берешь взятки и субсидируешь преступный мир, то...

Хатчмейеру этого не хотелось.

— Ладно, не будем мешать друг другу,— горько сказал он.

— Только запомни,— посоветовала Бэби,— не дай бог со мной случится что-нибудь внезапное или необъяснимое: фотокопии нужных документов имеются и у моих поверенных, и в банковском сейфе...

Хатчмейер запомнил. Он распорядился, чтобы к сиденью Бэби в ее «Линкольне» приделали дополнительный ремень, и велел ей ездить осторожнее. Дом остался проходным двором для декораторов, актеров, художников и прочих фаворитов Бэби. Однажды вечером ей даже удалось обратать Макморди, после чего она тут же вычла у него из жалованья тысячу долларов — за износ оборудования, как злобно сострил Хатчмейер. Но Макморди такой статьи расходов не признавал и заявил Бэби протест. Хатчмейер возместил ему вдвое и принес свои извинения.

И все же Бэби никак не могла успокоиться на достигнутом. Когда ей не подворачивалось никого и ничего интересного, она читала. Поначалу Хатчмейер даже поощрял ее тягу к печатному слову, решив, что Бэби либо растет над собой, либо сходит на нет. Как обычно в случае с нею, он был неправ. Самоусовершенствование путем косметических операций вкупе с духовными запросами образовало жуткий гибрид. Из недалекой подштопанной шлюхи Бэби стала начитанной женщиной. Это превращение Хатчмейер заметил, вернувшись с франкфуртской книжной ярмарки и застав жену за чтением «Идиота».

— Как ты сказала? — не поверил он своим ушам, услышав, что книга эта увлекательная и полезная. — Для кого это она полезная?

— Для современного общества, пораженного духовным кризисом,— ответила Бэби. — Для нас.

— «Идиот» — для нас? — возмутился Хатчмейер. — Про то, как один малый вообразил себя Наполеоном, пришиб топором старушонку — и это для нас полезно? Большая мне будет польза — как от дырки в голове.

— У тебя и так голова с дыркой. Это же «Преступление и наказание», дуролом. Тоже мне издатель, ничего толком не знает.

— Я знаю, как сбывать книги, читать их я ни хрена не обязан,— заявил Хатчмейер. — Книги — это для тех, кто не находит себя в жизни. Дело делать — кишка тонка, вот и читают.

— Книги нас учат,— сказала Бэби.

— Чему? Апоплексическим припадкам? — спросил Хатчмейер, наконец припомнив, в чем дело в «Идиоте».

— *Эпилептическим.* Это признак гения. Магомет тоже был припадочный.

— Ну, теперь у меня вместо жены энциклопедия,— сказал Хатчмейер,— да еще арабская. — Чем займешься? Превратишь дом в литературную Мекку или как?

Заронив эту идею, он поспешно улетел в Токио, к женщине, которая и говорить-то по-английски не умела, не то что читать. Когда он вернулся, Бэби уже прочла Достоевского насквозь. Она пожирала книги без разбора, как ее медведи — ежевику.

Эйн Рэнд делила ее душу с Толстым; она на удивление лихо одолела Дос Пассоса, намылилась Лоуренсом, попарилась у Стриндберга и отхлестала себя Селином. Конца этому не было видно: Хатчмейер вдруг оказался женатым на книгоедке. Вдобавок Бэби занялась писателями, а Хатчмейер писателей терпеть не мог. Они болтали о своих книгах, а ему приходилось под угрожающими взглядами Бэби кое-как соблюдать вежливость и даже проявлять интерес. Правда, сама Бэби быстро в них разочаровывалась, но присутствие в доме какого бы то ни было писателя так повышало кровяное давление Хатчмейера, что она не скупилась на приглашения и не переставала

надеяться отыскать хотя бы одного, у которого дело не расходилось бы с его печатным словом. И вот наконец объявился Питер Пипер, автор «Девства ради помедлите о мужчины»: тут уж она была уверена, что человек не уступит собственной книге. Она лежала на водяной тахте и наслаждалась предвкушениями. Такая романтическая книга — но романтика не в ущерб содержательности — и такая необычная...

Хатчмейер вышел из ванной, зачем-то напялив бандаж.

— А что, тебе идет,— заметила Бэби, холодно разглядывая его снаряжение.— Носи-ка его почаще. Он придает тебе достоинство.

Хатчмейер отвечал свирепым взором.

— Нет серьезно,— продолжала Бэби.— Как-то он тебя подпирает, что ли.

— Тебя содержать — без подпорки не обойдешься,— сказал Хатчмейер.

— Знаешь, если у тебя грыжа, ты лег бы лучше на операцию.

— Хватит с меня и твоих операций,— Хатчмейер поглядел на «Девство» и прошел к себе в спальню.

— Книга не разонравилась? — крикнул он оттуда.

— Первая у тебя стоящая книга за несчетные годы,— отозвалась Бэби. — Прелесть. Идиллия.

— Иди... куда?

— Идил-лия. Тебе объяснить, что такое идиллия?

— Не надо,— сказал Хатчмейер. — Догадываюсь.

Он улегся и подумал. Идиллия? Ну, если она говорит — идиллия, миллион других женщин скажут то же самое. Тут Бэби как барометр. И все ж таки — идиллия?!

Глава 9

Картина, которая открылась глазам Пипера в нью-йоркской гавани, отнюдь не была идиллической. Даже пресловутая береговая панорама со статуей Свободы не произвела на него впечатления, обещанного Соней. Густой туман навис над Гудзоном, и небоскребы обрисовались, лишь когда лайнер медленно проплыл мимо Артиллерийского Парка и поравнялся с причалом. К этому времени внимание Пипера переключилось с Манхэттена на разношерстное и разноплеменное людское скопище, волновавшееся за таможнями.

— Ох ты, да Хатч и правда устроил тебе королевский прием,— заметила Соня, спускаясь по трапу. Над головами гомонящей толпы на выездном шоссе колыхались транспаранты, двусмысленные — «Добро пожаловать в город гомосеков» и угрожающие — «Пипман, убирайся домой».

— Какой такой Пипман? — поинтересовался Пипер.

— А я почем знаю,— пожала плечами Соня.

— Пипман? — переспросил таможенник, не удостоивший досмотра их чемоданы.— Мне это неизвестно. Его там встречают миллион оголтелых старух и зевак. Одни хотят линчевать его, другие кричат, что линчевать мало. Счастливо добраться.

Соня подтолкнула Пипера и подтащила чемоданы к барьеру, за которым ожидал их Макморди со свитой газетчиков.

— Рад познакомиться, мистер Пипер,— сказал он.— Вот сюда, пожалуйста.

Пипер шагнул, и его облепили фотографы и репортеры, наперебой выкрикивавшие невразумительные вопросы.

— Отвечайте просто: «Отказываюсь отвечать»,— гаркнул Макморди.— Чтоб никто ничего лишнего не подумал.

— Не поздновато ли спохватились? — сказала Соня. — Откуда эти болваны взяли, что он агент КГБ?

Макморди заговорщицки ухмыльнулся, и гудящий рой с Пипером в центре двинулся под вокзальные своды. Отряд полицейских расталкивал прессу, прокладывая Пиперу путь к лифту. Соня и Макморди спускались по лестнице.

— Что это все за чертовщина? — спросила Соня.

— Распоряжение мистера Хатчмейера,— отвечал Макморди,— велено было устроить свалку — вот она и свалка.

— А кто вам велел объявлять его правой рукой Иди Амина? — огрызнулась Соня. — О, господи боже мой!

При выходе на улицу было ясно, что Макморди сервировал Пипера под ста разными соусами. Группа Выходцев из Сибири осаждала подъезд, скандируя: «Солженицын — да, Пиперовский — нет!» На них напирали приверженцы Организации Освобождения Палестины, полагавшие, что Пипер — израильский министр, путешествующий инкогнито с целью закупки оружия; они отбивались с тылу от сионистов, которых Макморди предупредил о прибытии Пипарфата, одного из главарей «Черного Сентября». За ними стайка пожилых евреев размахивала плакатами, обличающими Пипмана; но их вдесятеро превосходили ирландцы, которым было сообщено, что О'Пипер — один из руководителей ИРА.

— Все полицейские — ирландцы,— разъяснил Макморди Соне.— Лучше, чтоб они были на нашей стороне.

— На какой это, черт вас задери, на нашей? — злобно спросила Соня, но тут растворились двери лифта и окруженного полицейскими пепельнолицего Пипера вывели на всеобщее обозрение. Толпа подалась вперед, а репортеры продолжали назойливо допытываться истины.

— Мистер Пипер, может, вы скажете, кто вы такой и за каким чертом изволили приехать? — перекрикнул галдеж кто-то из них. Но Пипер безмолвствовал. Глаза его блуждали, лицо еще больше посерело.

— Правда, что вы лично застрелили?..

— Верно ли, что ваше правительство не собирается приобретать многоголовчатые ракеты?..

— Так сколько же людей все-таки томится в психичках?..

— Знаю я одного, который сейчас туда попадет, если вы что-нибудь быстро не сделаете,— сказала Соня, выпихнув вперед Макморди. Тот быстро затесался в толпу.

— Мистер Пипер ничего не имеет сообщить! — успел он прокричать, пока его не отшвырнул полицейский, только что получивший по голове пивной бутылкой, брошенной в знак протеста против апартеида и южноафриканца Ван Пипера. Соня Футл выдвинулась вперед.

— Мистер Пипер — знаменитый британский романист,— громогласно заявила она, но для таких прямых высказываний время было потеряно. В стену ударились метательные снаряды, разорванные транспаранты стали оружием, а Пипера оттащили назад.

— Я никого не расстреливал,— вскрикивал он.— Я никогда не был в Польше... — Но его не слушали. Захрюкали полицейские рации: требовались подкрепления. Выходцев из Сибири оттеснили Веселые Гомосеки, желавшие заявить о себе. Тем временем кордон прорвали восторженные старушки: они кинулись прямо к Пиперу.

— Нет, ничего подобного! — визгнул он спасаемый от полицейских. — Я самый обыкновенный...

Соня схватила шест бывшего плаката «Чем старше, тем влюбленнее» и сшибла накладные груди одной из самых порывистых поклонниц Пипера.

— Не выйдет! — крикнула она. — Он мой! — и оставила без парика еще одну поклонницу. Веселые Гомосеки шарахнулись от ее всесокрушающего шеста. Пипер с полицейскими прятались за ее спиною, а Макморди кричал и подбадривал. В образовавшейся свалке

сторонники палестинцев объединились с радетелями Израиля и начисто ликвидировали Веселых Гомосеков, продолжив затем собственную битву. Соня затащила Пипера обратно в лифт. Макморди присоединился к ним и нажал кнопку. Минут двадцать они ездили вверх-вниз, не участвуя в борьбе за Пипарфата, О'Пипера и Пипмана.

— Нечего сказать, устроили встречу,— сказала Соня Макморди.— А я-то, дура, привезла беднягу на это побоище.

Бедняга съежился в углу лифта. Не обращая на него внимания, Макморди сказал:

— Нужна реклама — и реклама будет. Первая телепрограмма. Наверное, уже снимают.

— Потрясающе,— сказала Соня,— а дальше чем порадуете? Гибелью «Титаника»?

— Это шарахнет по газетам... — начал было Макморди, но из угла лифта донесся глухой стон: по Пиперу уже шарахнули. Рука его кровоточила. Соня опустилась на колени рядом с ним.

— Что с тобой, миленький? — спросила она. Пипер вяло указал на летающую тарелку с надписью «Долой лагеря!» и бритвенными лезвиями по краям. Соня обернулась к Макморди.

— Это небось тоже ваша идея? — завопила она. — Тарелочки с бритвочками! Да такой штукой можно голову срезать!

— При чем тут я?.. — начал оправдываться Макморди, а Соня остановила лифт.

— «Скорую помощь»! «Скорую помощь»! — кричала она, однако полицейским удалось вывести Пипера из помещения гавани лишь через час. К тому времени заказанное Хатчмейером побоище уже закончилось — и для многих демонстрантов плачевно. Шоссе было усеяно битым стеклом, повсюду валялись изломанные плакаты и канистры из-под слезоточивого газа. По дороге к санитарной машине Пипер изошел слезами. Он крепко сжимал свою раненую руку, укрепляясь в убеждении, что угодил в сумасшедший дом.

— Что-нибудь я не так сделал? — спросил он у Сони дрогнувшим голосом.

— Нет-нет, милый. Все так.

— Все как надо, все отлично! — утвердил Макморди, поглядывая на порез. — Только вот крови маловато.

— Чего вам еще надо? — цыкнула на него Соня. — Увечий? Может, обойдетесь?

— Крови надо,— сказал Макморди. — По цветному телевидению кетчуп не пройдет. Надо настоящую. — Он повернулся к медсестре:— Кровь для переливания захватили?

— Для переливания? Это с такой-то царапиной переливание? — удивилась та.

— Слушай,— сказал Макморди,— у этого малого гемофилия. Хочешь, чтоб он умер от потери крови?

— У меня нет гемофилии,— запротестовал Пипер, но протест его заглушила сирена.

— В срочном порядке! — орал Макморди. — Давай вон ту бутыль!

— Да вы вконец, что ли, спятили? — крикнула Соня, когда Макморди схватился с медсестрой. — Мало ему досталось без вашего переливания?

— Не хочу переливания,— заверещал Пипер. — Не нужно мне крови!

— Вам — нет, а телекамерам — да,— сказал Макморди. — В цвете, понятно?

— Я не буду делать пациенту переливание,— сопротивлялась медсестра, но Макморди уже завладел бутылкой и ковырялся с пробкой.

— Вы же не знаете его группы крови! — вскрикнула медсестра, когда пробка подалась.

— Делов-то,— отмахнулся Макморди и вылил бутыль на голову Пиперу.

— Ну поглядите, что вы наделали,— завыла Соня. Пипер лишился чувств.

— Это мы сейчас,— заверил Макморди.— Аттика у нас покажется детским праздником! — И он пришлепнул на лицо Пиперу кислородную маску. Когда Пипера приняли из машины в носилки, он выглядел мертвее убитого. Залитое кровью и залепленное маской лицо потемнело: в суматохе забыли включить подачу кислорода.

— Он еще жив? — спросил репортер, не отставявший от машины.

— Кто знает? — восторженно отозвался Макморди. Пипера понесли в приемный покой, а испятнанная кровью Соня пыталась унять ошалевшую медсестру.

— Какой-то ужас! В жизни не видела ничего подобного! И это в моей машине! — кричала она на газетчиков и телерепортеров, пока ее не уволокли вслед за пациентом. Когда окровавленные носилки с телом Пипера были погружены на каталку и увезены, Макморди удовлетворенно потер руки. Кругом жужжали телекамеры. Мистер Хатчмейер будет доволен. Товар лицом.

Мистер Хатчмейер был доволен. Он наблюдал побоище по телевизору с явственным одобрением и со всем пылом любителя драк.

— Давай, малый! — заорал он, когда молодой сионист сшиб с ног безвинного пассажира-японца плакатом с надписью: «Помни и не забывай». Сбоку возник полицейский, но его тут же повергла чья-то невидимая рука. Телеизображение затряслось: оператор получил пинка под зад. Потом стало отчетливо видно пожилую женщину, простертую в крови.

— Здорово,— сказал Хатчмейер,— молодец Макморди. Умеет парень проворачивать дела.

— По-твоему умеет,— неодобрительно отозвалась Бэби.

— Что значит по-моему? — отвлекся от экрана Хатчмейер. Бэби пожала плечами.

— Я вообще насилия не одобряю.

— Как так не одобряешь? Без насилия не обойтись. Жизнь есть жизнь: кто кого. Не разбив яиц, яичницы не сделаешь.

Бэби пристально смотрела на экран.

— Из тех двоих уже сделали.

— А это человеческая природа,— сказал Хатчмейер,— человеческую природу не я изобрел.

— Ну да, ты ее просто эксплуатируешь.

— Жить-то надо.

— Кому как,— возразила Бэби. — Тебе надо, а вон та — умирай.

— С тобой говорить — что дерьмо толочь,— рассердился Хатчмейер.

— Самое для тебя подходящее занятие,— сказала Бэби. Хатчмейер уставился на экран, чтоб не видеть и не слышать жены. Из таможни появился отряд полиции с Пипером.

— Вот он, — сказал Хатчмейер. — Видать, обделался с перепугу.

Бэби глянула и вздохнула. Затравленно озиравшийся Пипер вполне отвечал ее надеждам: молодой бледный, чувствительный и ужасно уязвимый. Как Китс под Ватерлоо.

— Кто эта толстуха рядом с Макморди? — спросила она, когда Соня заехала в пах живописному украинцу, плюнувшему ей на платье.

— Да это моя девочка! — радостно вскричал Хатчмейер. Бэби недоверчиво поглядела на него.

— Шутишь. Этой медведице только штанги выжимать, а если тебя разок обожмет — из бандажа выскочишь.

— К дьяволу мой бандаж! — опять рассердился Хатчмейер. — Я тебе просто говорю, что эта лапочка-малышечка торгует книгами, как богиня.

— Торговать, может, и торгует, — сказала Бэби. — Но какая она «лапочка-малышечка» — видней тому русскому, который из-за нее корячится на мостовой. Как, ты сказал, ее зовут?

— Соня Футл, — мечтательно ответствовал Хатчмейер.

— Похоже на то, — согласилась Бэби. — Ишь ведь как она *отфутлболила* того дюжего ирландца. Спасибо, если бедняга когда-нибудь на ноги встанет.

— А ну тебя знаешь куда, — сказал Хатчмейер и удалился в свой кабинет, чтоб не расстраиваться от язвительных комментариев Бэби. Он позвонил в нью-йоркское отделение и велел сделать машинный перерасчет тиража романа «Девства ради помедлите о мужчины», исходя из того, что автор заново разрекламирован. Потом заказал в типографии плюс полмиллиона. Наконец выторговал в Голливуде пятипроцентную надбавку за телесерийный показ. И все это время его осаждал соблазнительный образ Сони Футл и донимали размышления, как бы естественным путем отправить на тот свет останки мисс Пенобскот 1935 года, не расставаясь с двадцатью миллионами долларов. Может, Макморди что-нибудь придумает. Задавить бы ее, гадюку, тем же сексом. А что, это как раз естественно. И кстати, Пипер прямо кидается на старух. Да, это, пожалуй, мысль.

В травматологическом отделении Рузвельтовской больницы терапевты и хирурги боролись за жизнь Пипера. С виду было понятно, что он истек кровью от раны в голове, а между тем налицо все симптомы удушья — словом, отчаянная путаница. И от медсестры никакого толку.

— Тот сказал, что этот кровью обольется,— говорила она главному хирургу, который и так видел, что крови хватает. — И говорит, нужно, мол, переливание. Я-то не хотела, и этот говорит, что не хочет, она тоже: нет, мол, а тот хвать бутыль, этот вырубился, его на реанимацию, а я...

— Ее — на транквилизатор, — громогласно распорядился главный хирург, и визжащую сестру утащили куда надо. Обритый Пипер лежал на операционном столе. Его побрили, пытаясь выяснить, где же рана.

— Куда же она делась, зараза такая? — изумлялся хирург, высвечивая пространство за левым ухом Пипера в поисках кровоточащей раны. Пипер очнулся, но ясности не внес. Порез на руке промыли и забинтовали, а из правой его кисти торчала игла: переливание, которого он страшился, все-таки произошло. Иглу наконец вынули, и Пипер слез со стола.

— Ну, повезло тебе,— сказал главный хирург.— Не знаю уж, в чем с тобой дело, только пока давай ходи тихо. А понять, куда тебя ранило, — это нужен великий хирург. Нам это не под силу.

Пипер, лысый как колено, нашел выход в коридор. Соня, увидев его, разрыдалась.

— О господи боже мой, да что же они с тобой сделали, солнышко мое! — кричала она. Макморди задумчиво оглядел бритый череп Пипера.

— М-да, плоховато, — заметил он и пошел разговаривать. — Проблема у нас, — сказал он хирургу.

— Это у вас-то проблема? Мы и сами не знаем, в чем дело.

— Дело, — сказал Макморди, — вот в чем. Голову быстро и как следует забинтовать. Он, понимаете, знаменитость, кругом телерепортеры, а он выйдет словно и не отсюда, неправильно получится.

— Правильно, неправильно — это ваша забота,— сказал хирург, — а нам хоть бы разобраться, что у него.

— Вы ему голову обрили? — сказал Макморди. — Теперь бинтов навертите. Лица чтоб вообще было не видно. Пусть он будет неизвестно кто, пока волосы не отрастут.

— Не пойдет,— сказал хирург, верный заветам своей профессии.

— Тысяча долларов, — сказал Макморди и пошел за Пипером. Тот явился нехотя, по-детски повиснув на руке у Сони. Когда его вывели после врачебной обработки — Соня справа, медсестра слева,— видны были только испуганные глаза и раздутые ноздри.

— Мистер Пипер сообщить ничего не имеет, — впустую сообщил Макморди.

Миллионы телезрителей это и так понимали: рот его был перебинтован и вообще он мог сойти за человека-невидимку. Телекамеры, жужжа, приблизились, и Макморди опять заговорил:

— Мистер Пипер уполномочил меня заявить, что он и в мыслях не имел, как его замечательный роман «Девства ради помедлите о мужчины» разволнует публику и вызовет столь горячие дебаты еще до начала лекционного турне...

— Его чего? — подсунулся недоуменный репортер.

— Мистер Пипер — крупнейший романист Великобритании. Его роман «Девства ради помедлите о мужчины», опубликованный издательством «Хатчмейер Пресс» по семь долларов девяносто...

— Это что, все из-за романа? — не поверил репортер.

Макморди кивнул.

— «Девства ради помедлите о мужчины» — одна из самых противоречивых книг нашего столетия. Прочтите ее — и вы поймете, чем пожертвовал мистер Пипер, чтоб...

Рядом с ним качающегося Пипера кое-как усаживали в машину.

— А сейчас-то вы его куда везете?

— В частную клинику для врачебного обследования,— ответил Макморди, и машина тронулась. С заднего сиденья доносилось сквозь бинты хныканье Пипера.

— Что такое, ласточка? — проворковала Соня. Но забинтованный Пипер мычал что-то невнятное.

— Какое там врачебное обследование? — спросила Соня у Макморди.— Зачем оно ему?

— Да просто надо сбить со следа прессу и прочих. Мистер Хатчмейер желает, чтобы вы погостили у него в Мэне. Мы сейчас в аэропорт — там ждет личный аэроплан мистера Хатчмейера.

— Я этому мистеру Хатчмейеру, сукиному коту, лично скажу кое-что, — пообещала Соня. — Как это еще всех нас не укокошили.

Макморди повернулся к ним.

— Слушайте,— сказал он,— попробовали бы вы подать иностранного писателя, который не лауреат Нобелевской премии и нигде его не пытали. С такими-то просто. А что ваш Пипер? Ни то ни се. Вот и стараемся: свалка, мало-мало крови и раз — он у нас уже знаменитый. И перебинтованный: это уж на всякого телезрителя. Теперь его физия миллион стоит.

Они приехали в аэропорт: Соня и Пипер взошли на борт самолета «Первоиздание». И только когда они оторвались от земли, Соня стала высвобождать лицо Пипера.

— А голову оставим так, пока волосы не отрастут, — сказала она. — Пипер кивнул забинтованной головой.

Хатчмейер поощрил Макморди из Мэна телефонным способом.

— Возле больницы вышло на пять с плюсом, — сказал он, — миллион телезрителей как минимум обалдели. Да он же у нас вышел

мученик! Жертвенный агнец на алтаре великой литературы. Ну, что я вам скажу, Макморди,— получите прибавку.

— Стараемся,— скромно заметил Макморди.

— А он-то как? — спросил Хатчмейер.

— Да он как-то так, квелый,— сказал Макморди.— Авось перебьется.

— Перебьется как-нибудь, — сказал Хатчмейер. — Авторы — они вообще народ квелый.

Глава 10

Квелый Пипер к концу полета так и не разобрался — почему ему чуть не снесли голову, кто такие О' Пипер, Пипарфат, Пипман, Пиперовский и тому подобные; и все это в дополнение к проблемам, предстоящим ему как автору «Девства». Но в качестве подставного гения Пипер примерил уже столько ролей, что прошлые стали мешаться с теперешними. И сами собой следовали: потрясение, кровопролитие, удушение и воскрешение — и недаром его неповрежденная голова покачивалась на спинке в марлевом тюрбане. Он тупо глядел в окно и думал, что бы такое сделали на его месте Конрад, Лоуренс или Джордж Элиот. Ясно было только, что они на его месте отнюдь не оказались, а больше ничего. И от Сони помощи не было: она размышляла, как бы обратить происшествие себе на пользу.

— Как ни крути, а мы его поддели не хуже, чем он нас, — сказала она, когда самолет пошел на посадку над Бангором. — Тебе расшатали нервы, и ты для турне не годишься.

— Совершенно согласен,— подтвердил Пипер.

Соня тут же обезнадежила его.

— Это ты брось, — сказала она. — У Хатчмейера договор дороже денег. Он и с операционного стола вытащит тебя на публику. Нет, мы к нему подъедем насчет компенсации. Тысяч так в двадцать пять.

— Я бы лучше домой поехал, — сказал Пипер.

— И поедешь, только я уж постараюсь, чтоб на полста косых богаче.

— Так ведь мистер Хатчмейер рассердится? — возразил Пипер.

— По-твоему, просто рассердится? Да он головой потолок пробьет!

Пипер представил, как мистер Хатчмейер пробивает головой потолок, и ему это ничуть не понравилось. Еще один ужас, как будто ужасов и без того не хватает. Когда самолет сел, Пипера просто трясло, и Соня еле-еле вытащила его на трап и с трапа в подъехавший автомобиль. Вскоре они мчались мимо нескончаемых сосен в гости к человеку, которого Френсик как-то по неосторожности наградил титулом «Аль Капоне печатного мира».

— Теперь все разговоры предоставь мне, — сказала Соня, — помни, что ты тихий, застенчивый автор. Скромность, скромность и скромность.

Автомобиль развернулся и въехал в ворота, украшенные надписью: «К Усадьбе Хатчмейера».

— Скромности маловато,— заметил Пипер, окинувши взглядом дом в окружении пятидесяти акров сада и парка, берез и сосен — роскошный памятник романтической неразберихи конца прошлого столетия, деревянное изделие архитекторов Пибоди и Стирнса. Шпили, мансарды, башенки с голубятнями, решетчатые верандочки в круглых оконцах, витые трубы и зубчатые балконы — словом, Усадьба самая внушительная. За въездными воротами автомобили

уже стояли друг на друге. Огромные двери растворились, и дюжий краснолицый мужчина сбежал с крыльца.

— Соня, детка, — заорал он, прижимая ее к гавайской безрукавке,— а это небось мистер Пипер? — Он стиснул руку Пипера и окинул его бешеным взглядом.

— Великая честь, мистер Пипер, вы у нас предорогой гость! — галдел он, затаскивая предорогого гостя вверх по ступеням и вталкивая в дверь. Внутри дом был ничуть не менее примечателен, чем снаружи. Необъятный холл вмещал камин XII века, ренессансную лестницу, средневековые хоры и сатанинский портрет Хатчмейера в миллиардерской позе Дж. Моргана на знаменитой фотографии Э. Стейкена; пол устилала мозаика, во всех деталях изображавшая процесс изготовления бумаги. Пипер осторожно миновал падающие деревья, пробрался между распиленными бревнами, обошел котел кипящей целлюлозы и шагнул на ступеньки, с которых ему улыбалась божественно сложенная женщина.

— Бэби, — сказал Хатчмейер, — познакомься с мистером Пипером. — Мистер Пипер, моя супруга, Бэби.

— Дорогой мистер Пипер,— томно проворковала Бэби, коснувшись его руки и улыбаясь ничуть не более, чем разрешили хирурги.— Я просто сил нет как хотела с вами повидаться. Лучше вашего романа я вообще в жизни ничего не читала, спасибо вам.

Пипер глянул в яснолазурные контактные линзы мисс Пенобскот 1935 года и обомлел.

— Вы очень добры,— пролепетал он. Бэби подхватила его под руку и прошествовала с ним в гостиную.

— Он что, всегда в тюрбане? — спросил Хатчмейер у Сони.

— Не всегда, нет, только если его долбанет летающей тарелкой, — холодно объяснила Соня.

— Только если долбанет летающей тарелкой, — зашелся хохотом Хатчмейер. — Слыхала, Бэби? Мистер Пипер надевает тюрбан, если его долбанет летающей тарелкой. А, каково?

— С бритвами по краям, Хатч. С бритвами, это заметь! — сказала Соня.

— Ну, если с бритвами, тогда конечно, — потух Хатчмейер. — С бритвами — это другое дело.

В гостиной было около сотни людей: все с бокалами и все перекрикивали друг друга.

— Гости,— проревел Хатчмейер, перекрыв гомон,— привет вам всем от мистера Питера Пипера, главного английского романиста после Фредерика Форсайта!

Пипер кое-как улыбнулся и тряхнул головой с неподдельной скромностью. Он все-таки был не главный английский романист. Пока что не главный, и ему очень хотелось это сказать столпившимся поклонницам его таланта. Бэби знала, кого приглашать. На фоне их старческих прелестей ее собственные были как нельзя более привлекательны. Кругом были катаракты и лукавые бельма. Свисали груди, в отличие от бюстов; изобиловали вставные челюсти, пояса-корсеты, лечебные чулки; открытые части тела были исчерчены варикозными венами. И вокруг всякой дряблой шеи и пятнистого запястья сверкали камни, жемчужно-бриллиантовый доспех в золотой оправе, болтавшийся, бренчавший и отвлекавший глаз от проигранной битвы со временем.

— О мистер Пипер, я всего лишь хотела сказать — какое наслаждение...

— Не могу выразить, сколько для меня значило...

— Какая радость встретиться с настоящим...

— Сколько вы сделали, чтобы сблизить...— И Пипера и Бэби подхватила восторженная толпа.

— Ух, дают, — сказал Хатчмейер, — и это всего-то в Мэне. А что будет в столицах?

— И думать не хочу, — отозвалась Соня, беспокойно следя за тюрбаном Пипера, то и дело исчезавшим за высокими прическами.

— Да ну их всех в болото. Ишь накинулись. Ну, два-то миллиона мы, видать, шутя продадим. По машинному расчету после ньюйоркской встречи...

— Встречи? Это побоище ты называешь встречей? — мрачно осведомилась Соня. — Как только нас обоих не прикончили.

— Это было да, — сказал Хатчмейер. — Макморди я дам прибавку. С огоньком работает малый. Да, кстати, у меня к тебе предложение.

— Слышала я твои предложения, Хатч, и сказано тебе — нет.

— А у меня новое, — сказал он и увлек Соню к бару.

К тому времени, как Пипер подписал пятьдесят экземпляров «Девства» и невзначай выпил четыре мартини, все его опасения куда-то делись. Восторг, с которым его приветствовали, отзыва не требовал. Восторг обуревал его с двух сторон: тощие женщины поднапряглись, толстые нежно ворковали. Им было довольно и улыбки Пипера. Только одна женщина с намеком упомянула о романе, и то Бэби тут же вмешалась.

— С тобой, говоришь, попробовать, Хлоя? А зачем бы это пробовать мистеру Пиперу? У него каждая минута на счету.

— Не всякой, стало быть, киске встряска,— заметила Хлоя, отвратительно подмигнув Пиперу. — А судя по книге мистера Пипера, он у нас такой кошкодав!..

Но Бэби оттащила Пипера, прежде чем тот услышал, какой он кошкодав.

— Почему кошкодав?— спросил он.

— Тоже мне киска выискалась, — сказала Бэби, а Пипер простодушно недоумевал, почему в Америке так по-живодерски относятся к кошкам.

— Я отвела вам спальню-будуар, — сообщила Бэби, когда они на пару с Соней эскортировали Пипера по ренессансной лестнице, — оттуда дивный вид на залив.

Войдя в спальню-будуар, Пипер осмотрелся. Первоначально это было сочетание удобства со средневековой простотой, но Бэби обставила спальню так, чтобы она будила чувственность. Сердцевидное ложе стояло на ковре радужной расцветки, почти таком же ярком, как кресло с оторочкой и трельяж в декоративном стиле. В дополнение ансамбля пышная и буйная гитана, топчась в танце на тумбочке, вздымала абажур с кистями, а у фарфорово-синей стены тускло поблескивал комод черного стекла. Пипер сел на постель и поднял глаза к массивным потолочным балкам. Они все-таки обнадеживали, как бы вопреки мишурному спальному убранству. Он разделся, почистил зубы, улегся и через пять минут заснул.

Однако через час он лежал с широко раскрытыми глазами. Сквозь стену за его стеганым изголовьем слышались голоса. Сначала Пипер не мог вспомнить, где он находится: голоса поведали ему об этом. Должно быть, супружеская опочивальня Хатчмейеров соседствовала со спальней-будуаром, а ванные комнаты их сообщались. За следующие полчаса Пипер с отвращением узнал, что Хатчмейер носит бандаж, что Бэби не позволяет ему мочиться в умывальную раковину, что Хатчмейер плевать хотел на ее позволение и что покойница — мать Бэби, а ей самое место в могиле,— зачавши дочь, совершенно напрасно не сделала аборта; наконец, что однажды бедная Бэби запила снотворное из стакана с искусственной челюстью Хатчмейера, который, может быть, соблагово-

лит все-таки не совать свои челюсти в аптечный стакан. От этих удручающих семейных неурядиц разговор перешел на чужие личности. Хатчмейер считал, что Соня — сногсшибательная женщина, а Бэби не видела ничего сногсшибательного в бабище, которая нагло прибрала к рукам одаренного милого несмышленыша. Пипер не сразу узнал себя в этом описании и не успел решить, нравится ли оно ему, как Хатчмейер возразил, что он — сопля и английский хмырь, который случайно попал в струю и накатал ходкую книжонку. Такое мнение о себе Пиперу определенно не понравилось. Он сел в постели, запустил руку под юбки гитане и включил свет. Но супруги уже отвоевались и заснули.

Пипер вылез из-под одеяла и, утопая в ковре, прошел к окну. Внизу, возле длинной узкой пристани, темнели силуэты яхты и большого прогулочного катера; по ту сторону залива смутно виднелась гора под звездным небом и мерцали огни ближнего городка. Волны плескали о каменистый берег; во всякое другое время Пипер непременно поразмыслил бы о красотах природы и о том, как пристроить их в будущий роман. Однако из-за Хатчмейера мысли его направились в другое русло. Пипер достал дневник и записал там, что Хатчмейер — это воплощение вульгарности, низости, глупости и всеобщей продажности современной Америки, а Бэби Хатчмейер, наоборот, обаятельная, тонко чувствующая женщина, прискорбный удел которой — быть замужем за грубым скотом. Потом он снова забрался в постель, прочел главу из «Нравственного романа», чтобы восстановить веру в человечество, и уснул.

За завтраком начались новые испытания. Соня еще не вышла, а Хатчмейер был донельзя дружелюбен.

— Что верно, то верно — читателя надо брать за причинное место,— сказал он Пиперу, который гадал, какой бы кашей лучше позавтракать.

— Зерновытяжка богаче всего витамином «Е»,— заметила Бэби.

— Это для повышения полового тонуса,— сказал Хатчмейер.— А у Пипера он и так дай бог всякому, а, Пипер? Ему, наоборот, нужна пища погрубее.

— Всяческой грубости мистер Пипер отведает твоими стараниями более чем достаточно,— сказала Бэби. Пипер опорожнил себе в тарелку банку зерновытяжки.

— Словом, я говорю,— продолжал Хатчмейер,— читатель любит, чтобы его...

— Мистер Пипер и без тебя знает, что любит читатель,— сказала Бэби.— За завтраком ему слушать твои разглагольствования необязательно.

— Так вот,— старался не замечать жены Хатчмейер,— приходит малый с работы — что ему делать? Хлопнул пивка, посмотрел телевизор, поужинал — и в постель: на жену сил не хватает, ну и берешься за книгу...

— Зачем же за книгу, если не хватает на жену? — перебила Бэби.

— Так устал, что и спать неохота. Надо как-то вырубиться. Вот он берет книгу и воображает, что он не в Бронксе, а... где там у вас дело происходит?

— В Ист-Финчли,— сказал Пипер, давясь кашицей.

— В Девоне,— сказала Бэби.— Действие происходит в Девоне.

— В Девоне? — недоверчиво переспросил Хатчмейер.— С какой стати в Девоне, если он говорит, что в Ист-Финчли. Он писал, ему виднее.

— И в Девоне и в Оксфорде,— упорствовала Бэби. — У нее там большой дом, а он...

— Верно, верно, в Девоне,— подтвердил Пипер.— Я думал о своей второй книге.

— Да ладно, плевать где,— озлился Хатчмейер.— Стало быть, тот малый из Бронкса воображает, что он в Девоне, со старушенцией, которая от него без ума, и — хлоп! — сам не заметил, как уснул.

— Великое дело, подумаешь,— сказала Бэби.— Вряд ли мистер Пипер пишет затем, чтобы кому-то в Бронксе лучше спалось. Он изображает развитие отношений...

— Конечно, изображает, но...

— Неуверенность и колебания молодого человека, чьи чувства и эмоциональные реакции отклоняются от норм, принятых в среде его ровесников.

— Это само собой,— сказал Хатчмейер.— Он ненормальный и...

— Ничего в нем нет ненормального,— возразила Бэби.— Просто он очень одаренный юноша на стадии формирования личности, а Гвендолен...

И пока Пипер управлялся с зерновытяжкой, перепалка насчет замысла «Девства» не смолкала. Пипер «Девства» не писал, а Хатчмейер не читал, так что последнее слово осталось за Бэби. Хатчмейер ретировался к себе в кабинет, оставив Пипера наедине с женщиной, которая, как и он сам, считала его гением, но считала на ложном основании. Гением и милым несмышленышем. Пипер не знал, так ли уж это хорошо, что он — милый несмышленыш в глазах женщины, чьи прелести столь пугающе несогласны между собой. Накануне, при вечернем освещении, он дал ей лет тридцать пять. Теперь его взяли сомнения. Не стесненная лифчиком грудь была впору двадцатилетней; руки выглядели гораздо старше. А главное — лицо, напоминавшее маску, лишенное всякой индивидуальности, абсолютно правильное, неотличимое от тех двухмерных лиц, которые застывшим взглядом преследуют читателя со страниц журналов мод; напряженное, безличное, отглаженное, оно странно притягивало его. И эти лазурные глаза... Пиперу невольно припомнилось «Византийское плавание» Йейтса — самоцветные певчие птицы-игрушки. Чтобы остановить головокружение, он прочел надпись на жестянке из-под зерновытяжки и обнаружил, что ввел в организм 740 мг фосфора, 550 калия, невероятное количество прочих насущно необходимых веществ плюс все разновидности витамина «Б».

— Витамина «Б» здесь, кажется, очень много,— заметил он, избегая ее влекущих глаз.

— Б-комплекс тонизирует,— проговорила Бэби.

— А что делает А-комплекс? — спросил Пипер.

— Витамины комплекса «А» размягчают слизистую,— отозвалась Бэби, и Пипер снова смутно ощутил опасный подтекст разговоров о питании. Он поднял взгляд от жестянки и опять оказался во власти неподвижного лица и лазурных глаз.

Глава 11

Соня Футл встала поздно. Она и вообще была не из ранних пташек, но в этот день заспалась дольше обычного. Вчерашняя усталость взяла свое. Соня спустилась по лестнице и обнаружила, что в доме никого нет, кроме Хатчмейера, который рычал в телефон у себя в кабинете. Она выпила кофе и пошла к нему.

— Не знаешь, где Пипер? — спросила она.

— Бэби его куда-то утащила. Скоро вернутся,— отмахнулся Хатчмейер.— Значит, насчет моего предложения...

— Да брось ты. «Френсик и Футл» — фирма надежная. Дела у нас идут хорошо. От добра добра не ищут.

— Я же тебе предлагаю заместительство,— напомнил Хатчмейер,— и ты все-таки еще прикинь.

— Пока что я прикидываю,— перешла в наступление Соня,— сколько ты должен моему клиенту за увечье, психическую травму и публичный скандал, жертвой которого он вчера оказался по твоей вине.

— Увечье? Травму?! — не поверил ушам Хатчмейер. — Я ему сделал рекламу на весь мир, и я же еще ему должен?

— Да, компенсацию,— кивнула Соня.— Примерно двадцать пять тысяч.

— Двадцать пять... Да ты в уме? Я плачу за книгу два миллиона, а ты хочешь нагреть меня еще на двадцать пять тысяч?

— Хочу,— сказала Соня.— Согласно контракту мой клиент не обязывался претерпевать насилие, побои и смертельную опасность. И поскольку ты организовал это безобразие....

— Бог подаст,— сказал Хатчмейер.

— В таком случае я посоветую мистеру Пиперу отказаться от турне.

— Только попробуйте,— заорал Хатчмейер.— Я с вас семь шкур спущу за нарушение контракта! Я его без штанов оставлю! Я ему такую козью морду...

— Деньги на бочку,— сказала Соня, усаживаясь и выставив коленки на обозрение.

— Вот, ей-богу,— восхищенно сказал Хатчмейер,— ну, у тебя и хватка.

— Есть кое-что и кроме хватки,— сообщила Соня и поддернула юбку выше.— Имеется второй роман Пипера.

— Который запродан мне на корню.

— Это еще вопрос, Хатч, сумеет ли он его дописать. Будешь так с ним обращаться — обмишуришься почище, чем твои собратья со Скоттом Фитцджеральдом. Он очень ранимый и...

— Ладно, слышали уже от Бэби. Робкий, ранимый, как же! Что-то он пишет без особой робости: похоже, шкура у него толще, чем у носорога.

— Да ты же не читал, что он пишет,— сказала Соня.

— Мне и незачем читать. Макморди — тот читал и говорит, что чуть не стравил. А чтобы Макморди стравил...

Они смачно бранились до самого обеда, наращивая и сравнивая ставки в том торгашеском покере, который был их обоюдным призванием.

Хатчмейер, конечно, не раскошелился, а Соня на это ничуть не рассчитывала. Она просто отвлекала его внимание от Пипера.

Зато вниманием Бэби Пипер обделен не был. После завтрака они прогулялись по берегу до павильона, и она утвердилась во мнении, что наконец-то напала на гениального писателя. Пипер не смолкая говорил о литературе, и по большей части столь невразумительно, что Бэби была потрясена до глубины души и ощутила прикосновенность к заветным таинствам культуры. Пипер вынес иные впечатления: он радовался, что у него такая внимательная, увлеченная слушательница, и одновременно недоумевал, как эта понимающая женщина может не видеть всей омерзительности якобы написанной им книги. Он поднялся к себе и хотел было извлечь дневник, когда вошла Соня.

— Надеюсь, ты не сболтнул лишнего,— сказала она.— Эта Бэби — просто упырь.

— Упырь? — удивился Пипер.— Она глубоко чувствующая...

— Упириха в парчевых штанах. И чем же вы занимались все утро?

— Пошли погулять, и она говорила мне, как важно беречь себя.

— Да уж, с первого взгляда видно, что себя она бережет пуще всего на свете. Одно лицо чего стоит.

— Она говорит, что все дело в том, чтобы правильно питаться,— сказал Пипер.

— И стряхивать пыль с ушей,— сказала Соня.— В следующий раз, как она улыбнется, посмотри на ее затылок.

— На затылок? Зачем это?

— А увидишь, как натянута кожа. Если эта женщина засмеется, с нее скальп слезет.

— Ну, во всяком случае она гораздо приятнее Хатчмейера,— заключил Пипер, не забывший, как его честили прошлой ночью.

— Хатч — это моя забота,— сказала Соня,— тут все просто. Пока что он у меня в руках, а ты вот как бы не напортил, если будешь строить глазки его жене и разглагольствовать о литературе.

— Не строил я никаких глазок миссис Хатчмейер,— возмутился Пипер.— Мне бы это никогда в голову не пришло.

— Зато ей пришло, и она тебе строила,— сказала Соня.— И вот еще что: не снимай-ка ты тюрбана. Тебе идет.

— Может и идет, но мне очень неудобно.

— Будет куда неудобнее, если Хатч заметит, что никакой тарелкой тебя не задело,— сказала Соня.

Они спустились к обеду, который прошел гораздо легче завтрака, потому что Хатчмейеру позвонили из Голливуда, и он явился, лишь когда они уже пили кофе; явился и с подозрением поглядел на Пипера.

— О такой книге «Гарольд и Мод» — слышали? — спросил он.

— Нет,— сказал Пипер.

— А в чем дело? — вмешалась Соня.

— А дело в том,— ответил Хатчмейер, зловеще взглянув на нее,— что есть, к вашему сведению, такая книга «Гарольд и Мод», где ему восемнадцать, а ей восемьдесят, и эту книгу, между прочим, уже экранизировали. Вот в чем дело. И хотел бы я знать, как это никто не сказал мне, что я выкладываю денежки за роман, который написан без всякого Пипера и...

— Ты хочешь обвинить мистера Пипера в плагиате? — спросила Соня.— Если да, то учти...

— В плагиате? — взревел Хатчмейер.— Я вам дам — в плагиате! Я говорю —вся история содрана, а меня провели как последнего сопляка и подсунули...

Бэби прервала Хатчмейера, полиловевшего от ярости.

— Если ты собираешься стоять тут и оскорблять мистера Пипера, то я не намерена сидеть и слушать тебя. Пойдемте, мистер Пипер. Оставим этих двоих...

— Стой! — завопил Хатчмейер.— За свои два миллиона я желаю знать, что на это скажет мистер Пипер. Как он будет...

— Уверяю вас, что я не читал романа «Гарольд и Мод»,— сказал Пипер,— и даже впервые слышу о нем.

— Могу за это поручиться,— поддержала Соня.— Да и разница огромная. Там вовсе не о том...

— Пойдемте, мистер Пипер,— повторила Бэби и повела его к дверям Хатчмейер и Соня остались кричать друг на друга; Пипер шагом лунатика пересек гостиную и рухнул в кресло, бледный как смерть.

— Я знал, что это сорвется,— пробормотал он. Бэби недоуменно поглядела на него.

— Что сорвется, деточка? — спросила она. Пипер уныло потряс головой.— Вы же не списывали из этой книги?

— Нет,— сказал Пипер.— Я о ней даже впервые слышу.

— Ну, тогда и беспокоиться не о чем. Мисс Футл с ним сама все утрясет. Они друг другу под стать. А вы бы лучше пошли отдохнули.

Пипер скорбно побрел наверх вслед за нею. Бэби задумчиво отправилась к себе в спальню и включила всю свою интуицию. Она села на тахту, так и сяк обдумывая его слова: «Я знал, что это сорвется». Странно. Что сорвется? Одно было ясно: про «Гарольда и Мод» он слышал впервые. Тут его устами говорила сама искренность, а Бэби Хатчмейер наслушалась довольно фальшивых речей, чтоб распознавать искренние по первому звуку. Немного погодя она выглянула в коридор, подошла к двери Пипера и тихонько приотворила ее. Пипер сидел спиной к ней за столиком у окна. Возле его локтя стояла чернильница, перед ним была раскрыта большая книга в кожаном переплете: он писал. Бэби проникалась этим зрелищем, бесшумно прикрыла дверь и вернулась на свою водяную тахту. Она видела подлинного гения за работой. Современного Бальзака. Снизу все еще доносились раскаты голосов Хатчмейера и Сони Футл. Бэби откинулась на подушку и уставилась в пространство, исполненная ужасающего сознания собственной бесполезности. В комнате рядом одинокий писатель трудился, чтобы передать ей и миллионам ей подобных всю значительность своих мыслей и чувств, трудился над созданием мира, укрупненного его воображением, где возникали и плыли в будущее «красы творенья на радость людям». А внизу эти два торгаша вздорили, грызлись и волокли его труды на рынок. Она же бездействовала. Никчемное она существо, эгоистичное и жалкое. Она повернулась лицом к гравюре Тречикова и вскоре уснула.

Пробудившись через час, она услышала разговор в соседней комнате, глухой и невнятный. Говорили Соня и Пипер. Она прислушалась, но ничего не разобрала. Потом стукнула дверь, и удаляющиеся голоса зазвучали в коридоре. Бэби встала с тахты и прошла в ванную, а оттуда к Пиперу. Книга в кожаном переплете была оставлена на столе, из-за которого получасом позже Бэби встала другой женщиной. Она вернулась опять через ванную, заперла ее за собой и села перед зеркалом, лелея чудовищный замысел.

Замыслы Хатчмейера тоже были довольно чудовищны. После перебранки с Соней он отправился к себе в кабинет, чтобы вытрясти по телефону душу из Макморди за «Гарольда и Мод»; но день был субботний, и Макморди вместе со своей душой болтался неизвестно где. Хатчмейер даже позвонил ему домой — телефон не отвечал. Он бросил трубку, пыхтя от злости и пытаясь раскусить Пипера. Что-то с ним было неладно, а что — никак не ухватишь; не такой он автор, который сочиняет тухлую похабщину; чудной он, что ли, какой-то. У Хатчмейера зародились неясные подозрения. Сколько он перевидал писателей — ни один не был похож на Пипера, то есть ничуть. Все они как заведенные болтали о своих книгах. А этот Пипер... надо бы потолковать с ним с глазу на глаз, заправить его как следует — может, язык и развяжется. Но, выйдя из кабинета, он застал Пипера в женском окружении: Бэби, наново размалеванной, и Сони, которая тотчас сунула ему книгу.

— Что это такое? — отпрянул Хатчмейер.

— «Гарольд и Мод»,— сказала Соня.— Мы с Питером купили ее для тебя в Белсуорте. Прочти — и сам увидишь...

— Он? Прочтет?!.— Бэби издала визгливый смешок.

— Заткнись,— сказал Хатчмейер. Он налил полный стакан виски и протянул его Пиперу.— Виски, Пипер?

— Спасибо, не надо,— сказал Пипер.— Сегодня нет настроения.

— В первый раз вижу писателя, который не пьет,— поразился Хатчмейер.

— В первый раз видишь настоящего писателя — и точка,— сказала Бэби.— Думаешь, Толстой пил?

— Отвяжись,— сказал Хатчмейер.— Откуда я знаю?

— У тебя там стоит прекрасная яхта,— попыталась сменить тему Соня.— Я и не знала, что ты яхтсмен, Хатч.

— Какой он яхтсмен? — фыркнула Бэби прежде, чем Хатчмейер успел заявить, что быстроходней его яхты ни за какие деньги не купишь и что он обставит на пари любого, кто скажет, будто это не так.— У него все показное. И дом, и соседи, и...

— Заткнись,— сказал Хатчмейер.

Пипер удалился в свой будуар записать еще несколько убийственных фраз о Хатчмейере. Когда он спустился к ужину, лицо Хатчмейера было багровее обычного и настроен он был сверхсклочно. Особенно взъярила его откровенность Бэби насчет их семейной жизни: она обсуждала с Соней, как женщина с женщиной, что это значит, когда пожилой муж вдруг ни с того ни с сего напяливает бандаж, и как это влияет на мужской климакс. Его обычное «заткнись» не сработало. Бэби отнюдь не заткнулась, а перешла к другим, еще более интимным подробностям, и когда Пипер вошел в гостиную, Хатчмейер как раз советовал ей пойти утопиться. Пипер же был вовсе не намерен мириться с хатчмейеровским хамством. За годы холостяцкой жизни и чтения великих романов он проникся почтением к Женщине и усвоил очень твердый взгляд на мужские обязанности в браке: совет жене пойти утопиться явно шел вразрез с этими обязанностями. К тому же откровенное торгашество Хатчмейера и его заявление, будто читателей только и надо подзуживать снизу, возмутили его еще с утра. Пипер, напротив, полагал, что надо стимулировать читательское восприятие и что подзуживание снизу восприятие никак не стимулирует. Он решил подчеркнуть это за обедом, и случай вскоре представился: Соня, опять же чтобы сменить тему, упомянула «Долину кукол». Хатчмейер, в надежде избежать дальнейших постыдных разоблачений, сказал, что это великая книга.

— Совершенно с вами не согласен,— возразил Пипер.— Она потакает вкусу публики к порнографии.

Хатчмейер подавился холодным омаром.

— Она — чего? — переспросил он, откашлявшись.

— Потакает вкусу публики к порнографии,— повторил Пипер, который книги не читал, но видел ее суперобложку.

— Вкусу потакает? — сказал Хатчмейер.

— Да.

— Ну, и чем же плохо потакать вкусам публики?

— Это деморализует,— сказал Пипер.

— Деморализует? — спросил Хатчмейер, обмеривая его взглядом и все больше накаляясь.

— Именно.

— Так, а что же прикажете публике читать, если не то, чего она хочет?

— Ну, я думаю,— сказал Пипер и осекся, получив под столом пинок от Сони.

— Я думаю, мистер Пипер думает...— сказала Бэби.

— Плевать, что ты думаешь, что он думает,— рявкнул Хатчмейер.— Я хочу слышать, что Пипер думает, что он думает.— И он выжидательно посмотрел на Пипера.

— Я думаю, что не следует подвергать читателей воздействию книг, лишенных интеллектуального содержания,— сказал Пипер,— и распаляющих воображение сексуальными фантазиями, которые...

— Распаляющих сексуальные фантазии? — взревел Хатчмейер, прерывая цитату из «Нравственного романа».— Это вы здесь сидите и говорите мне, что вы против книг, которые распаляют сексуальные

фантазии — написав самую похабную книгу со времен «Последней вылазки в Бруклин»?

— Да, если на то пошло, сижу и говорю,— принял вызов Пипер.— И опять-таки если на то пошло...

Соня решила, что пора действовать. С мгновенной находчивостью она потянулась за солонкой и опрокинула кувшин воды на колени Пиперу.

— Нет, ты что-нибудь подобное слышала? — спросил Хатчмейер, когда Бэби пошла за новой скатертью, а Пипер отправился переодевать брюки.— Это у него-то хватает наглости говорить мне, что я не имею права издавать...

— Да не обращай ты на него внимания,— сказала Соня.— Он не в себе. Это все вчерашняя передряга. Ему же голову задело — вот он слегка и повредился.

— Ах, ему голову повредило? А я вот ему задницу починю! Я, значит, издаю порнографию? Да я ему покажу...

— Ты лучше покажи мне свою яхту,— сказала Соня, облокотившись сзади Хатчмейеру на плечи, чтобы, во-первых, помешать ему вскочить и кинуться за Пипером, а во-вторых, намекнуть на свою готовность заново послушать его уговоры.— Почему бы нам с тобой не прокатиться по заливу?

Хатчмейер подчинился ее тяжеловесной умильности.

— Кого он вообще из себя строит? — задал он неведомо для себя крайне уместный вопрос. Соня не ответила: она ухватила его под руку, обольстительно улыбаясь. Они вышли на террасу и спустились по тропке к пристани.

Бэби стояла у окна гостиной и задумчиво смотрела им вслед. Она понимала теперь, что Пипер — тот самый человек, которого она ждала, писатель неподдельного достоинства, настоящий мужчина, способный даже втрезве постоять за себя и сказать в лицо Хатчмейеру, что он думает о нем и его издательской кухне. Человек, который признал в ней тонкую, умную и восприимчивую женщину: это она своими глазами прочла у него в дневнике. Пипер восторгался ею так же безудержно, как поносил Хатчмейера — грубого, тупого, неотесанного и своекорыстного кретина. Правда, упоминания о «Девстве» несколько озадачили Бэби: особенно фраза, где оно было названо отвратительной книжонкой. Поскольку речь шла о собственном детище, то это звучало чересчур беспристрастно; и хотя Бэби была здесь не согласна с Пипером, но оценила его еще выше. Он, стало быть, недоволен собой: верный признак преданного своему делу писателя. Глядя сквозь лазурные контактные линзы на медленно отчаливавшую яхту, Бэби Хатчмейер сама исполнилась преданности поистине материнской, почти восторженной. С бездельем и бессмыслицей покончено. Отныне она заслонит собою Пипера от изуверской тупости Хатчмейеров мира сего. Она была счастлива.

Чего никак нельзя сказать о Пипере. Прилив отваги, бросивший его на Хатчмейера, схлынул; им овладела жуткая и горестная растерянность. Он снял мокрые брюки и сел на постель, раздумывая, что же теперь делать. Не надо было покидать пансион Гленигл в Эксфорте. Не надо было слушаться Френсика и Сони. Не надо было ехать в Америку. Не надо было предавать свои литературные принципы. Закат померк, и Пипер наконец пошел искать сменную пару брюк, когда в дверь постучали и вошла Бэби.

— Вы были изумительны,— сказала она,— просто изумительны.

— Очень приятно это слышать,— отозвался Пипер, заслоняя роскошным креслом свои подштанники от миссис Хатчмейер и понимая при этом, что если можно еще больше взбесить мистера Хатчмейера, то именно такой сценой.

— И я хочу, чтоб вы знали, как я ценю ваше мнение обо мне,— продолжала Бэби.

— Мнение — о вас? — переспросил Пипер, копаясь в шкафу.

— Записанное в вашем дневнике,— пояснила Бэби.— Я знаю, я не должна была...

— Что?— пискнул из-за дверцы шкафа Пипер. Он как раз отыскал подходящие брюки и влезал в них.

— Я не устояла,— сказала Бэби.— Он лежал раскрытый на столе, и я...

— Значит, вы все знаете,— проговорил Пипер, появляясь из шкафа.

— Да,— сказала Бэби.

— Господи,— вздохнул Пипер и опустился на тумбочку.— И вы ему расскажете?

— Нет, это останется между нами,— покачала головой Бэби.

Пипер подумал над этим заверением и нашел его не слишком надежным.

— Это ужасно гнетет,— сказал он наконец.— То есть гнетет, что некому выговориться. Не Соне же — какой в этом толк?

— Да, вероятно, никакого,— согласилась Бэби, ничуть не сомневаясь, что мисс Футл вряд ли будет приятно слышать, как умна, тонка и восприимчива другая женщина.

— Хотя она все-таки в ответе,— продолжал Пипер.— Ведь это же была ее идея.

— Вот как? — сказала Бэби.

— Ну да, и она сказала, что все прекрасно обойдется, но я-то знал с самого начала, что не выдержу притворства.

— По-моему, это лишь делает вам честь,— заметила Бэби, усиленно пытаясь сообразить, что имела в виду мисс Футл, уговаривая Пипера притвориться, что он... Нет, выходила головоломная путаница.— Знаете, пойдемте-ка вниз, выпьем чего-нибудь, и вы мне все расскажете.

— Да, мне нужно выговориться,— сказал Пипер,— но разве их там нет, внизу?

— Нет, они уплыли на яхте. Нас никто не потревожит.

Они спустились по лестнице и прошли в угловую комнатку с балконом над скалами, которые обдавал прибой.

— Это мое потаенное гнездышко,— сказала Бэби, указывая на книжные ряды вдоль стен.— Здесь я могу быть самой собой.

Она налила виски в два бокала, а Пипер окинул корешки печальным взглядом. На полках царила такая же неразбериха, как в его жизни; всеядность хозяйки была поразительной. Мопассан склонился на Хейли, а тот подпирал Толкиена, и Пипер, взрастивший свое «я» на нескольких великих писателях, не мог себе представить, как можно быть самим собою в этой мешанине книг. К тому же среди них преизобиловали детективы и прочие боевики, а Пипер относился к развлекательной беллетристике очень сурово.

— Расскажите же мне все по порядку,— вкрадчиво попросила Бэби, пристраиваясь на софе. Пипер отхлебывал из бокала и думал, с чего бы начать.

— Видите ли, я пишу уже десять лет,— сказал он наконец,— и...

За окнами сгущалась ночь, когда Пипер повел свой рассказ. Бэби сидела и слушала как зачарованная. Это было лучше всяких книг. Это была жизнь, не та жизнь, какую она знала, а та, о какой всегда мечтала: волнующая и таинственная, рискованная и ненадежная, тревожащая воображение. Она подливала в бокалы, и Пиперу, возбужденному ее сочувствием, говорилось куда более складно, чем обычно писалось. Он рассказывал историю жизни непризнанного гения, одиноко ютящегося в мансарде за мансардой, созерцающего беспокойное море, недели, месяцы и годы выводящего виденные ею в дневнике восхитительные завитушки, чтобы изъяснить пером на бумаге смысл жизни, раскрыть ее тайные глубины.

Бэби смотрела ему в лицо и окружала рассказ иным ореолом. Желтые туманы заволакивали Лондон. По набережным, где вечерами прогуливался Пипер, зажигались редкие и тусклые газовые фонари. Бэби черпала из полузабытых романов все новые и новые подробности. Наконец появились злодеи, мишурные диккенсовские негодяи, Феджины литературного мира, именуемые нынче Френсик и Футл с Ланьярд-Лейна: они выманили гения из мансарды лживыми посулами. Ланьярд-Лейн! Одно это название переносило Бэби в легендарный Лондон. И «Ковент-Гарден». Но главное — сам Пипер, одиноко стоящий на скале над буйством волн с ветром в волосах и устремляющий взор за Ла-Манш. Вот он сидит перед нею во плоти, с изможденным печальным лицом и измученными глазами, такой же пока неведомый миру гений, как Китс, Шелли и многие-многие другие поэты, которых смерть настигла в молодости. А между ним и грубой, жестокой действительностью — хатчмейерами, френсиками, футлами — только она, Бэби. Впервые в жизни она почувствовала себя нужной. Без нее его загонят, затравят, доведут до... Бэби мысленно предрекла самоубийство или безумие и уж наверняка — беспросветное, безнадежное будущее; ведь Пипер неминуемо станет добычей всех этих ненасытных торгашей, которые сговорились опорочить его. В воображении Бэби развертывались мелодрамы.

— Этого нельзя допустить,— порывисто сказала она, когда Пипер истощил запасы самосострадания. Он скорбно поглядел на нее.

— Что же мне делать? — спросил он.

— Вы должны бежать,— сказала Бэби, подошла к балконным дверям и распахнула их настежь. Пипер с сомнением поглядел на ночной пейзаж. Ветер разбушевался; волны обрушивались на скалы у подножия дома — природа словно подыгрывала нехитрой повести Пипера. Порыв ветра подхватил шторы и взметнул их к потолку. Бэби стояла между ними, озирая темную морскую даль. В душе ее вспыхивали романтические образы. Ночное бегство. Лодчонка во власти морской пучины. Огромный дом, сверкающий в ночи, и влюбленные в объятиях друг друга. Она видела себя в новом обличье: не постылой женой богатого издателя, созданьем рутины и хирургических ухищрений, а героиней великого романа: «Ребекка», «Джейн Эйр», «Унесенные ветром». Она обратила к Пиперу лицо, преображенное решимостью. Глаза ее сверкали, рот был сурово поджат.

— Бежим вместе,— сказала она и протянула руку, которую Пипер осторожно взял.

— Вместе? — спросил он.— То есть...

— Да, вместе,— сказала Бэби.— Ты и я. Сейчас же.

И повлекла Пипера за собой через гостиную.

Глава 12

Посреди залива Хатчмейер боролся со штурвалом. Вечер выпал не слишком удачный. Мало ему было оскорблений от собственного автора — чего не случалось ни разу за все двадцать пять лет его издательской карьеры,— нет, теперь он и вовсе оказался непроглядной ночью на яхте в хвосте тайфуна с экипажем навеселе — пьяной женщиной, которой море было по колено.

— Ура! — закричала она, когда яхту вскинуло и волна разбилась о палубу.— Англия, встречай сынов!

— Нет уж, дудки! — сказал Хатчмейер и бросил штурвал, чтобы, чего доброго, и в самом деле не уплыть в Атлантику. Он стал вглядываться в темноту, потом посмотрел на компас. В этот миг «Ромэн дю Руа» круто развернуло; поток воды обрушился на палубу и хлынул в кубрик. Хатчмейер с руганью припал к штурвальному колесу. В темноте рядом с ним завизжала Соня, от страха или от восторга — Хатч-

мейер не знал и знать не хотел. Он был профан в мореходстве, но все же смутно припомнил, что в шторм вроде бы убирают паруса. Штормы надо пережидать.

— Держи колесо! — крикнул он Соне и пошлепал в каюту за ножом. Когда он вылезал, новая волна накрыла кубрик и хлестнула ему в лицо.

— Это тебе зачем? — спросила Соня. Хатчмейер взмахнул ножом и схватился за леер.

— Чтоб нам в берег не врезаться! — прокричал он, когда яхта вдруг бешено понеслась вперед. Он прополз по палубе, рубя канаты направо и налево, и вскоре забарахтался среди обвисшей парусины. Когда он высвободился, яхту уже не мчало; она плясала на месте.

— Ну и зря,— сказала Соня.— Мне все это здорово нравилось.

— А мне нет,— сказал Хатчмейер, вперившись взглядом в темноту. Понять, где они находятся, было невозможно. Небо нависло черным пологом, а огни вдоль берегов куда-то подевались. Деться им было некуда: стало быть, яхта в открытом море.

— Господи,— угрюмо сказал Хатчмейер. Соня весело играла со штурвалом. Шторм, океан, темная ночь — приключение хоть куда. Это будило в ней боевой настрой — есть с чем помериться силами. Кроме того, уныние Хатчмейера было ей на руку. Вот она и отвлекла наконец его мысли от Пипера, а заодно и от самой себя. Шторм на море не благоприятствует соблазнителям, и попытки Хатчмейера в этом направлении были довольно неуклюжи, тем более что Соня сразу налегла на шотландское виски. И теперь, когда их вздымало и опускало на волнах, она была в море как дома.

— Пересидим шторм и осмотримся,— сказал Хатчмейер, но Соня жаждала действия.

— Запусти мотор,— сказала она.

— За каким чертом? Мы же не знаем, где мы. Еще угодим на мель.

— Мне нужно, чтоб ветер трепал мои волосы и пенные брызги летели в лицо,— продекламировала Соня.

— Пенные брызги? — сипло переспросил Хатчмейер.

— И чтоб настоящий мужчина твердо стоял у руля...

— Мужчина у руля — это можно,— сказал Хатчмейер, отбирая у нее штурвал.

— Да, настоящий мужчина — соль в жилах и сердце как парус. Чтоб заиграла кровь.

— Кровь чтоб заиграла,— проворчал Хатчмейер.— Погоди, вот напоремся на скалу — заиграет у тебя кровь. Черт меня дернул тебя послушаться. Это же надо — выйти в море в такую ночь.

— А ты бы не меня слушал, а прогноз погоды,— сказала Соня.— Прогноз погоды надо слушать, а не меня. Я всего-то и сказала...

— И так помню, что ты сказала. «Давай покатаемся по заливу». Называется «всего-то».

— Вот и катаемся. Бросаем вызов стихиям. По-моему, так просто все замечательно.

Хатчмейер не видел в этом ничего замечательного. Мокрый, иззябший и замызганный, он держался за штурвал и выискивал глазами в темноте береговую линию. Ее нигде не было.

«Шла бы ты к стихиям со своим вызовом»,— горько думал Хатчмейер и удивлялся, почему женщины вообще так легко отрываются от действительности.

Его размышления нашли бы отклик в душе Пипера. Бэби и впрямь преобразилась. Вместо чуткого и восприимчивого существа, описанного в его дневнике, перед ним была необычайно хваткая, напористая женщина, во что бы то ни стало решившая вытащить его из дому сре-

ди ненастной, совершенно не располагающей к бегству ночи. Вдобавок она твердо вознамерилась бежать вместе с ним; а такой поступок, на взгляд Пипера, настолько ухудшил бы его натянутые отношения с мистером Хатчмейером, что тут, пожалуй, и бегством не спасешься. Он излагал это Бэби по пути вслед за нею из гостиной в холл.

— Но ведь не можем же мы так просто уйти вдвоем среди ночи? — возражал он, остановившись на мозаичном изображении котла кипящей целлюлозы. Хатчмейер сверлил его глазами с громадного портрета на стене.

— Почему не можем? — спросила Бэби, чей мелодраматический накал под этими возвышенными сводами, казалось, еще усилился.

Пипер поискал убедительный ответ и не нашел ничего лучше, чем сказать, что Хатчмейеру это, очевидно, не понравится. Бэби зловеще расхохоталась.

— Ничего, проглотит,— сказала она, и прежде чем Пипер успел заметить в ответ, что такое испытание глотательных способностей Хатчмейера чревато убытками лично для него, Пипера, и что он все же предпочел бы дальше морочить Хатчмейеру голову насчет авторства «Девства», нежели рисковать куда больше, сбежав с его женой, Бэби снова схватила его за руку и потащила вверх по ренессансной лестнице.

— Собирайся как можно скорее,— сказала она шепотом перед дверью спальни-будуара.

— Конечно, однако...— Пипер тоже невольно перешел на шепот. Но Бэби уже исчезла. Пипер вошел в спальню и зажег свет. Его чемодан, привалившийся к стене, был чужд всякой мысли о бегстве. Пипер затворил дверь и стал размышлять, как быть дальше. Эта женщина просто с ума сошла, если думает, что он... Пипер побрел через комнату к окну, пытаясь убедить себя, что все это происходит не с ним. Жуткое ощущение галлюцинации возникло у него, еще когда он ступил на берег в Нью-Йорке. Кругом какие-то оголтелые безумцы, тут же претворяющие в действие любой свой бред. «Стреляют с первого взгляда»— это выражение, пришедшее ему на ум, претворилось в действительность через пять минут, когда Пипер, оставив раскрытый чемодан, открыл дверь будуара, высунул голову в коридор и завидел Бэби с большим револьвером в руке. Он живо попятился; еще миг — и она вошла.

— Положи-ка это к себе,— сказала она.

— Это положить? — спросил Пипер, не отводя глаз от револьвера.

— На всякий случай,— сказала Бэби.— Мало ли, кто знает.

Пипер знал. Он боком обошел ложе и замотал головой.

— Поймите же...— начал он, но Бэби уже выдвигала ящики туалетного столика и бросала его белье на постель.

— Не трать время на разговоры. Бери чемодан,— сказала она.— Ветер стихает. Они могут вернуться в любую минуту.

Пипер с надеждой поглядел на окно. Если бы они вернулись сейчас, пока еще не поздно...

— Я все-таки думаю, нам это нужно еще обсудить,— сказал он.

Бэби оставила ящики и повернулась к нему. Ее туго натянутое лицо было озарено светом несбыточных мечтаний. Она стала сразу всеми героинями всех прочитанных романов, всеми женщинами, которые гордо следовали за мужьями в Сибирь или по пепелищам опустошенного Гражданской войной Юга. Она их превосходила: она вдохновляла и охраняла этого несчастного юношу и отнюдь не собиралась упустить свою единственную возможность самоутверждения. Позади оставался Хатчмейер, годы, проведенные в рабстве у скуки и фальши, годы косметических операций и наигранных увлечений; впереди был Пипер, сознание своей нужности, новая жизнь, наделенная смыслом и значением, посвященная молодому гениальному писателю. И в этот наивысший жертвенный миг, венчающий долгие годы ожидания,

он заколебался. Глаза Бэби наполнились слезами; она с мольбой воздела руки.

— Неужели ты не понимаешь, что это значит? — спросила она. Пипер беспомощно глядел на нее. Он отлично понимал, что это значит. Он был один на один в огромном доме с ополоумевшей женою самого богатого и самого влиятельного американского издателя, и она предлагала ему, Пиперу, совместное бегство. Если он не согласится, она почти наверняка расскажет Хатчмейеру подлинную историю «Девства» или изобретет что-нибудь не менее устрашающее — например, что он ее пытался соблазнить. А тут еще и револьвер, лежавший на постели, куда она его бросила. Пипер искоса глянул на него; тем временем Бэби шагнула вперед, роняя слезы и обронив вместе с ними одну контактную линзу. Она пошарила рукой по покрывалу и наткнулась на револьвер. Пипер больше не колебался. Он схватил чемодан, шлепнул его на постель поверх револьвера и принялся торопливо укладываться. Он не останавливался, пока не было уложено все: рубашки, брюки, гроссбухи, ручки и бутыль Уотерменовских Полуночных чернил. Наконец он сел на чемодан, замкнул его и только тогда повернулся к ней. Бэби все еще шарила по постели.

— Не могу найти,— сказала она.— Никак не могу найти.

— Оставим, нам это не понадобится,— сказал Пипер, надеясь избежать хотя бы близкого знакомства с огнестрельным оружием.

— Нет, надо найти,— сказала Бэби.— Я не могу без этого.

Пипер убрал чемодан с постели, и Бэби тут же нашла контактную линзу. И револьвер. Одной рукой сжимая оружие, другой вправляя линзу, она последовала за Пипером в коридор.

— Снеси чемодан вниз и возвращайся за моими вещами.— велела она и пошла к себе в спальню. Пипер сошел по лестнице выдержал горящий взор портрета Хатчмейера и вернулся. Бэби стояла в манто возле своей водяной тахты. Рядом с нею стояли шесть больших дорожных чемоданов.

— Слушайте,— сказал Пипер,— вы уверены, что вам это в самом деле...

— Да, сто раз да,— сказала Бэби.— Я всегда об этом мечтала — оставить эту... эту фальшь и начать заново.

— А вы не думаете?..— попытался опять Пипер, но Бэби не думала. Великолепным прощальным жестом она подняла револьвер и выстрелила по тахте — раз, другой, третий... Взметнулись фонтанчики воды, и комната огласилась гулким эхом выстрелов.

— Символически,— сказала она и швырнула револьвер в угол. Но Пипер этой реплики уже не слышал. Он схватил по три чемодана в каждую руку и поволок их в коридор; от револьверной пальбы ему заложило уши. Теперь-то он точно знал, что она свихнулась; а истекавшая водой тахта напомнила ему о собственной бренности. У подножия лестницы он остановился, тяжело пыхтя. Бэби следовала за ним — призрак в манто.

— Что теперь? — спросил он.

— Возьмем катер,— сказала она.

— Катер?

Бэби кивнула, и перед ее мысленным взором снова зажглись романтические картины. Бежать ночью по воде было совершенно необходимо.

— Но ведь они...— начал Пипер.

— Они собьются со следа,— сказала Бэби.— А мы пристанем южнее и купим машину.

— Машину? — переспросил Пипер.— Но у меня нет денег.

— У меня есть,— сказала Бэби и прошла через гостиную к боковой двери, от которой был сход на пристань. Пипер волок чемоданы за нею. Ветер приутих, но пенистая вода тяжело вздымалась, хлюпая у свай, плеща о скалы и обдавая брызгами Пипера.

— Грузи чемоданы,— сказала Бэби.— Я сейчас вернусь.

Пипер помедлил, оглядывая залив со смешанным чувством. Он и сам не знал, хочется ему или нет, чтобы среди волн появилась яхта с Хатчмейером и Соней. Но яхта не появлялась. Наконец он сбросил чемоданы на катер и увидел Бэби с саквояжем в руках.

— То, что мне причитается,— объяснила она.— Из сейфа.

Подобрав манто, она спустилась на катер и подошла к щитку.

— Мало горючего,— сказала она.— Может не хватить.

Вскоре Пипер курсировал между катером и бензохранилищем в дальнем конце заднего двора. Было темно, он то и дело спотыкался.

— Может быть, хватит? — спросил он после пятого похода, передавая Бэби канистры с бензином.

— Как бы не просчитаться,— ответила она.— А то еще кончится бензин посреди залива.

Пипер снова побрел к бензохранилищу. Он ничуть не сомневался, что совершил ужасную ошибку. Надо было слушать Соню. Она сказала, что Бэби — упырь, и была права. Полоумный упырь. Вот он теперь таскает посреди ночи на катер канистры с бензином — как это понимать? Романисту это даже отдаленно не пристало. Томас Манн скорее умер бы, чем опустился до такого. Д. Г. Лоуренс — тоже. Вот разве что Конрад — но и тот вряд ли. Пипер мысленно просмотрел «Лорда Джима» и не нашел там ничего утешительного, ничего оправдывающего его безумное занятие. Да, именно безумное. Стоя в бензохранилище с двумя канистрами в руках, Пипер заколебался. Нет, всякий порядочный романист погнушался бы участвовать в таком деле. Так-то так, но ведь в его положение они не попадали. Правда, Д. Г. Лоуренс сбежал, помнится, с чьей-то женой Фридой, но сбежал по собственному почину и вообще был в нее влюблен. Питер безусловно не был влюблен в Бэби и делал то, что делал, не по собственному почину. Отнюдь. Перебрав предшественников, Пипер стал раздумывать, как бы не посрамить их. В конце концов, не зря же он десять лет жизни пробыл великим романистом. Он займет нравственную позицию. Что, однако, легче сказать, чем сделать. Бэби Хатчмейер — не из тех женщин, которые такую нравственную позицию оценят. А объясняться времени нет. Лучше всего, пожалуй, остаться здесь и к катеру больше не ходить. Пусть Хатчмейер и Соня, вернувшись, застанут ее там. Трудновато ей будет объяснить, что она делает на борту катера с упакованными чемоданами и десятью пятигаллонными канистрами бензина возле рубки. По крайней мере, она не сможет утверждать, будто он пытался увлечь ее — если сбежать с чужой женой значит ее увлечь. Нет, не сможет — раз его с нею нет. Однако же, на борту его чемодан — надо его как-то оттуда вызволить. Но как? И конечно же, не дождавшись его там, она придет сюда его искать, а тогда... Пипер выглянул из хранилища и, убедившись, что во дворе никого нет, прокрался к дому, обогнул его и вошел в парадную дверь. Вскоре он уже смотрел на катер из-за стекол гостиной. Огромный деревянный дом глухо поскрипывал. Пипер взглянул на часы. Час ночи. Куда запропастились Соня с Хатчмейером? Им уже давно пора быть.

На борту катера Бэби думала то же о Пипере. Почему он задержался? Она включила двигатель, проверила уровень горючего и приготовилась к отплытию: дело было только за ним. Через десять минут она не на шутку встревожилась.

И тревога росла с каждой новой минутой. Море успокоилось, и если он сейчас же не вернется...

— Гении такие непредсказуемые,— пробормотала она и вылезла обратно на пристань. Она прошла за дом, через двор к бензохранилищу и включила свет. Пусто. Две канистры на полу безмолвно свидетельствовали об изменившихся намерениях Пипера. Бэби вышла во двор.

— Питер! — позвала она, и тонкий голос ее заглох в ночном воздухе. Трижды она звала, и трижды никто не отзывался.

— О, бессердечный мальчишка! — воскликнула она и на этот раз получила ответ. Он донесся из дома: грохот и сдавленный крик. Пипер сшиб декоративную вазу. Бэби кинулась к дому, взбежала по ступенькам — и снова позвала. Напрасно. Стоя среди парадного зала, Бэби поглядела на портрет своего ненавистного мужа, и ее переутомленное воображение искривило ему жирные губы высокомерной усмешкой. Он опять выиграл. Он всегда будет в выигрыше, а ей навсегда суждено остаться потехой его праздности.

— Нет! — выкрикнула она в ответ на избитые словеса, которые буйно роились у нее в голове, и на несказанное презрение портрета. Не затем она зашла так далеко, чтобы малодушие литературного гения отняло у нее право на свободу, на романтику и значительность. Она совершит что-нибудь, какой-нибудь символический поступок в знак своей новообретенной независимости. Из праха прошлого родится она заново, как некий феникс из... пламени? Пепла? Символика подталкивала ее. Нужен поступок, после которого нет возврата. Нужно сжечь свои корабли. И Бэби, взбодряемая многосотенным хором героинь романов, бросилась назад, к бензохранилищу, открыла канистру — и бензиновый след потянулся за нею в дом. Она облила крыльцо, плеснула через порог, на мозаичные изображения производства бумаги, на ступеньки гостиной, обдала бензином ковер и вылила остаток в кабинете. Потом, с безоглядной решимостью, которая так пристала ей в новой роли, щелкнула настольной зажигалкой. Язык пламени облизал комнату, огонь пробежал через гостиную, заметался по залу и вырвался наружу. Тогда, и только тогда, Бэби распахнула дверь на террасу.

Между тем Пипер, оправившись от столкновения с вазой, был занят делом. Он слышал зов Бэби и спешил выручать свой чемодан. Пробежав по тропке к причалу, он перебрался на борт катера. Громадный дом высился над ним со смутной, знакомой по книгам угрозой. Его шпили и башенки в духе Раскина и Морриса, крытые дранкой в стиле Пибоди и Стернса, утопали в черном, нависшем небе. Только сквозь окна гостиной пробивался тусклый свет, и так же тускло освещена была внутренность рубки. Пипер никак не мог отыскать свой чемодан среди канистр и багажа Бэби. Куда он, к черту, мог деться? Наконец чемодан обнаружился под норковым манто, и Пипер как раз вытаскивал его, когда вдруг со стороны дома послышался гул и огненный треск. Пипер уронил манто, выбрался из рубки и остолбенел.

Усадьба Хатчмейера пылала. Языки пламени рвались из кабинета хозяина; другие плясали за решетчатыми окнами гостиной. С оглушительным звоном лопались объятые жаром стекла; почти в тот же миг из-за дома взметнулся огненный гриб, и раздался страшный взрыв. Пипер глазел, разинув рот, пораженный грандиозностью происходящего. Тем временем от черной сердцевины дома отделилась легкая фигурка и метнулась через террасу. Да, это Бэби. Эта чертова баба, должно быть... но он не стал выстраивать мысли цепочкой к очевидному заключению, тем более что из-за дома появилась другая цепочка, огненная, и понеслась к берегу вслед за Бэби — по бензиновому следу, оставленному Пипером. Он смотрел, как огоньки, приплясывая, мчатся вниз, и с неожиданным присутствием духа, собственным, а не почерпнутым из «Нравственного романа», выкарабкался на пристань и попробовал отшвартовать катер.

— Надо отплыть, прежде чем огонь...— прокричал он Бэби, оказавшейся рядом с ним. Та глянула через плечо на огневую вереницу.

— О боже мой! — вскрикнула она. Пляшущие огоньки приближались. Она спрыгнула на катер и кинулась в рубку.

— Поздно! — крикнул Пипер. Огоньки подобрались к самому

причалу. Сейчас они перебросятся на груженный бензином катер и... Пипер оставил канат и побежал прочь. В рубке Бэби судорожно схватила манто, бросила его и наконец наткнулась на саквояж. Она обернулась к выходу: огоньки уже доплясали до края пристани и перескакивали на катер. Надежды не было. Бэби глянула на щиток, включила полный вперед и, когда катер рванулся с места, прыгнула в воду, прижимая саквояж к груди. Катер удалялся, набирая скорость. Мелькали огоньки на его борту; потом они исчезли, а катер скрылся в темноте залива; рев огня заглушил рычанье мотора. Бэби подплыла к берегу и выкарабкалась на камни. Пипер отошел от пристани и, стоя на лугу, в ужасе следил за пожаром. Пламя достигло верхнего этажа; окна сверкнули багровым блеском, звонко посыпались стекла, и огненные полотнища захлестнули дранку. Через минуту полыхал весь фасад. Бэби горделиво стояла подле Пипера.

— Прощай, прошлое,— вымолвила она. Пипер обернулся к ней. Волосы облепили ее голову, краска слезла с лица. Одни глаза были живые, и при свете пожара Пипер увидел, что они блещут безумной радостью.

— Умишком повредилась,— сказал он с необычайной прямотой. Пальцы Бэби сжали его локоть.

— Я сделала все это ради тебя,— заявила она.— Тебе ведь понятно? Мы должны были стряхнуть бремя прошлого, отсечь путь назад актом свободной воли и совершить экзистенциальный выбор.

— Экзистенциальный выбор? — вскричал Пипер. Пламя охватило декоративные голубятни, воздух раскалился.— Поджог своего дома ты называешь экзистенциальным выбором? Это никакой не выбор, а настоящее преступление.

Бэби светло улыбнулась ему.

— Прочти Жана Жене, милый,— посоветовала она и потащила его под руку в рощу за лугом. Издали донесся вой сирен. Пипер прибавил шагу. Они как раз добрались до леса, когда ночь снова прорвало грохотом. Где-то в заливе взорвался катер. Грохнуло еще раз. И за огненным клубом второго взрыва Пипер как будто различил мачту яхты.

— О боже мой,— простонал он.

— О мой дорогой,— проворковала Бэби в ответ и обратила к нему счастливое лицо.

(Окончание следует)

МУРАВЬЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (род. в 1939 г.)

Советский переводчик, историк английской литературы критик. Автор книг «Джонатан Свифт» (1968) «Путешествие с Гулливером» (1972). В его переводах издавались книга Вашингтона Ирвинга «Альгамбра», повесть Ф. С. Фитцджеральда «Алмазная гора», роман Мюриэл Спарк «Memento mori», сказочная эпопея Дж. Р. Толкиена «Властелин колец», рассказы О. Генри Уильяма Фолкнера, Ивлина Во и других англоязычных писателей.

РОЛФ ЯКОБСЕН

Перевод с норвежского ЮРИЯ ВРОНСКОГО

Уже более полустолетия стихи Ролфа Якобсена, которому в марте этого года исполнилось восемьдесят лет, пользуются неизменным успехом у норвежских читателей. В августе 1986 года за свой последний сборник «Открыто круглосуточно», стихи из которого предлагаются сегодня читателю, он был удостоен крупнейшей литературной премии Норвегии — «Аскехауг прис», присуждаемой за выдающиеся творческие заслуги. Поэзия Ролфа Якобсена широко известна и за пределами Норвегии — его стихи переводились на двадцать два языка.

В интервью, опубликованном газетой «Ставангер афтенблад» 8 апреля 1986 года в связи с выходом этого сборника, Ролф Якобсен сказал: «Я чувствую себя своего рода антенной, улавливающей сигналы, которые должен довести до сведения всех людей. Когда-то очень давно я говорил, что художник — это человек, обладающий не одной, а двумя нервными системами. Он способен видеть и замечать то, чего не замечают другие. В какой-то степени художник — это сторожевой пес».

Такая позиция характерна для всего творчества Ролфа Якобсена. Он всегда «сторожил» время и видел то, что было скрыто от других глаз. О значении природы в жизни человека, о ее, кроме всего прочего, и целительной функции, необходимой при бурном росте техники, он писал еще в своем первом сборнике стихов «Земля и железо» (1933). Например, в стихотворении «Болота»:

И все они источают чарующий запах,
терпкий запах вина. Издалёка
сквозь лес он ко мне прилетает,
чтобы мысли мои обезболить.

Символично название последней книги Ролфа Якобсена: днем и ночью, круглые сутки сердце поэта открыто людям, все его мысли — о них. Его тревожит как бездуховность сегодняшнего человека, так и его уязвимость в условиях НТР, в условиях современной цивилизации. Никакие дисплеи не передадут прелесть скрипки или блаженство любви, никакие достижения техники не заменят упоения первым весенним днем или ощущения росистой травы под ногами. От «одиночества, холода и сердечной муки», от холода отчуждения спасти человека может только человек.

Впервые в сборнике Ролфа Якобсена представлена интимная лирика. В прежних его книгах она почти отсутствовала. Цикл стихов «Палата № 301» посвящен жене, сорок два года делившей с поэтом все радости и невзгоды и скончавшейся несколько лет назад.

Л. ГОРЛИНА

© Guldendal Norsk Forlag A/S, 1985

РОЛФ ЯКОБСЕН — ROLF JACOBSEN (род в 1907 г.)

Норвежский поэт. Дебютировал в 1933 году сборником стихов «Земля и железо» («Jord og Jern»). С тех пор выпустил еще десять книг. Полные собрания его стихов выходили в 1973, 1977 и 1982 гг. На русском языке в серии «Современная зарубежная лирика» вышла книга «Ролф Якобсен» (М., «Молодая гвардия», 1982), стихи поэта печатались также в сборнике «Из норвежской поэзии» (М., «Прогресс», 1967) и в периодике.

Публикуемые стихи взяты из сборника «Открыто круглосуточно». («Nattåpent». Oslo, Gyldendal Norsk Forlag, 1985).

Деревья осенью

...когда с них облетает лето,
мы вдруг видим, из чего они состоят.
Сосудистая система, позвоночный столб,
сила и беспомощность, кости и хрящи.
Беззащитные. Вот когда
мы их видим насквозь.

Давление на ось

Время одиноких людей.
Время человеческих масс.
Беспомощные, потерянные,
люди ищут тепла друг у друга,
питаются гневом, мечтами, надеждами ближних.

Одинокие
(их никогда не было так много),
протестующие в массовых шествиях
(они никогда не были так сплочены),
становятся ОДНИМ человеком с тысячью голов,
но с ОДНОЙ мыслью, ОДНИМ страхом и ОДНОЙ надеждой.

Наше время превращает нас
в механический привод, в ход поршня, в давление на ось
и в сердечную боль.

Не стойте на пути протеста,
волеизъявления или гнева.
Но сделайте что-нибудь с одиночеством,
холодом и сердечной мукой.

Объясните, пожалуйста

Всё электроны, говорят мудрецы.
Силовое поле, атомные ядра,
кружащие с бешеными скоростями
в совершенно пустом пространстве.

А мы приходим и спрашиваем:
— Откуда берется зубная боль
или радость мороженому
в начале мая.
Объясните, пожалуйста.

Никогда еще

Никогда еще
наши зады не покоились
на таких мягких стульях и широких диванах.

Никогда еще
технократы не проделывали с миром таких чудес,
от которых мы замираем в страхе
и ищем укрытия в самих себе.

Никогда еще
не требовалось таких громких речей
и таких впечатляющих зрелищ,
чтобы отвлечь нас от мыслей и сделать ручными.

Никогда еще не было такой спешки. Никогда
мы не искали так страстно
за покровом слов — человеческий голос,
за вороньим карканьем — сердечное тепло и правду.

Повторите вопрос

Столбики цифр смеются над нами
и пытаются все объяснить.
У них железные челюсти
и лязгающие зубы.
Мы спрашиваем и спрашиваем,
а цифры отвечают.
Не о пении скрипки, конечно,
и не о любовных объятиях.
В этих случаях дисплей кашляет:
— Не понимаю вопроса.
Повторите вопрос.

Вот так-то...

Нам всё говорят: какого черта
мы потеем над буквами, ритмами, запятыми,
когда от нас ждут только шума
и мелькания реклам. Нажал кнопку,
и оглушительно гремит слово.
А буквы
вроде боксерских перчаток: бац! —
удар в челюсть — и человек падает.
Только так.

Эпоха усталости.
Даром это нам не пройдет.
Карьера, страх, страдания, стрессы,
жизнь без будущего...
А нам довольно
и своих забот.

Да, их довольно.
Но все-таки интересно: почему же
вы так устали? Чего вы достигли
в жизни? Почему ночами
лежите без сна? Мы всё понимаем,
и делаем свое дело.

Ведь слово, оно как трава.
Оно есть, и все тут. Подстриги его,
сделай газон. Чтобы топтать.
И топчи.
Оно поднимется снова
и снова, пока существует земля.
Вы его вытопчете,
а оно уже снова растет...
Вот так-то...

Правда

За твоей дверью стоит правда.
В лохмотьях. Больная.
С ребенком на руках. Она хочет войти.
Лают собаки. Ей страшно.
Как ты поступишь? Впустишь ее —
твоя жизнь пойдет иначе.

Не решаешься?
И ты туда же.

Трава

непобедима, как надежда.
Стоит зазеваться,
и она уже всюду —
вырастает вдоль тротуаров и на цоколе
государственного монумента.
Уже через год
на месте битвы зеленеет поросль
и над пеплом разбомбленного города
слышится ее запах.
Она неистребима, как сама жизнь
или как забвение.

Утешение бедных. (Богатые
ее подстригают.) Но траве
ни до чего нет дела.
Дар Земли, неодолимый, как Эрос.
Она стерпит все.

Пройди босиком июньским утром.
Ощути, как она ложится у тебя под ногами
и снова встает. Омывает твои ноги,
как Христос омыл ноги своим ученикам.
Исполнена доброты, но безмолвна.
Даже косца она встретит лишь вздохом.
Трава повсюду. Она возвращается
снова и снова, как сама жизнь,
как дни. И это я должен покинуть?
Неужто совсем?

Север

Почаще гляди на север.
Шагай навстречу ветру, обжигающему щеки.
Найди неторную тропу. Держись ее.
Она короче других.
Что может быть лучше севера?
Сполохи в небе зимой, а летом —
чудо полуночного солнца.
Шагай навстречу ветру. Одолевай горы.
Гляди на север.
Почаще.
Наша страна длинна.
И бóльшая часть ее — север.

Август

После шелкового июля
является бархатный август
с зажженными свечами.
Щеки пылают.
Тяжелые груди
смуглы от солнца. Пора зрелости.
Царственный месяц. Не откладывай.
Люби в августе.
Скоро придет сентябрь
со своими морщинами
и пересохшими губами.
Видишь, носятся ласточки.
Слышится чей-то смех. И внезапно
наступает твой черед.

Страна, где все на иной лад

Как далеко протянулась эта страна,
где все на иной лад!
Ее конец теряется где-то на севере.
А мы теснимся там, где есть почва,
населяем узкие долины,
которые сверху сторожит одиночество.
Тибет Европы, подперший небо, безмолвный
и почти бесконечный, как дума.
Время безжалостно, жизнь требует своего.
Сутолока улиц, тоска, усталость.
Но мы созданы для этой страны,
зачатой на заре времен горами и морем.
Угрюмый, неласковый дом,
нам здесь хватало затрещин.
Зато из нас вышел крепкий народ — мореходы,
властители Северной Атлантики.

А теперь мы достаем золото из морских глубин
и понемногу забываем о своем доме.
Слишком длинны у нас дороги и круты склоны.

И все-таки она жива. Наша Великая Норвегия.
Умытая морем, суровая — горы в сыром тумане.
Взойди на вершину, взгляни на распахнутый мир.
Но не замечтайся, не останься там, наверху,
ведь мы ждем твоих рук и твоей любви.
Нынче трудное время, и мы — часть мира.
Но мы живем в стране, где все на иной лад,
которую не осилит никакой воитель.
И мы не кланяемся так низко, как другие,—
это неудобно на такой крутизне.

Из цикла «Палата № 301»

Швейная машинка

Голова клонится к швейной машинке
все ниже и ниже. Ты засыпаешь
над желтым платьем, которое
к утру должно быть готово.
Луч солнца блестит на ножницах
и на шпульках.
Тихо входит маленький мальчик:
— Она спит.
И твой голос:— Ой,
я, кажется, заснула.
Сонные глаза пробуют мне улыбнуться.
— Осталось совсем немного.

Теперь тебе уже ничего не осталось.
Ни на пятницу, ни на субботу.
И не надо больше спешить
ни тебе, ни мне.

Руки и дом

Твои руки были мне домом.
Они сказали:
— Войди сюда.
За спиной дождь, стужа и страх.
Я жил в том доме, не зная
ни дождя, ни стужи, ни страха,
пока он не рухнул.

Теперь я опять бездомный.
Плащ мой тонок. Дует ветер,
сулит снегопад.

Да знал ли я тебя?

Да знал ли я тебя?
Наверно, чего-то
ты так и не сказала, о чем-то
мы оба с тобой промолчали.

Смутные мысли. Тень,
пробежавшая по лицу.
Что-то в глазах. Нет,
я не хочу об этом думать.
Однако думаю.
У ночи нет звуков,
только странные мысли. Слова,
которые возникают из сна:
да знал ли я тебя?

Светлячки

Помнишь тот вечер со светлячками,
мы ждали автобуса на Веллетри
и увидели, как пожилая чета целуется
под платаном. Это тогда
ты сказала то ли мне,
то ли в пространство:
— Кто долго любил,
тот жил не напрасно.
И я увидел первых светлячков,
трещавших искорками
вокруг твоей головы.
В тот вечер.

■

ВРОНСКИЙ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ — (род. в 1927 г.)

Советский поэт, переводчик. Переводит со славянских и скандинавских языков. В его переводах выходили книги избранных стихов Миры Алечкович, Драгана Лукича, Ивана Цековича, Марчелла Бреслашу, Тадеуша Кубяка, Ролфа Якобсена.

Публицистика

АНДРАШ КЕРЕСТИ

«ЧЭЛЛЕНДЖЕР»: ВИДЕОЛЕНТА

С венгерского

Посвящается Ютке Кошари

Я нажал пусковую кнопку видеомагнитофона фирмы «Ар-си-эй». Он стоит на крышке телевизора включенным с утра до вечера, так что достаточно протянуть руку, и программа, которую в данный момент передают, записывается на пленку. Зарубежному корреспонденту в стране, где телевещание ведется по 93 каналам, работать иначе просто невозможно.

Итак, утром 28 января 1986 года я нажал кнопку записи, и 120-минутная магнитная лента марки «ТДК», вращаясь с самой медленной из возможных скоростей, а стало быть, значительно дольше указанного на кассете времени, не останавливалась до тех пор, пока не кончилась. Лишь месяц спустя я выбрал свободный вечер, чтобы просмотреть запись, запечатлевшую события того утра, а просмотрев, неожиданно для себя увидел, что это не просто фрагменты программ разных каналов американского телевидения, а целый, целостный рассказ. Да, именно так. За подобным материалом для репортажа порой охотишься неделями, даже месяцами, а тут узкая магнитная ленточка сохранила все происшедшее до мельчайших подробностей, причем неизмеримо точнее, нежели мог бы запомнить человеческий мозг. Воспроизводимая видеозапись словно бы расширяет границы экрана, изображение становится объемным, в него можно погружаться, по нему можно путешествовать, проникая в глубины явлений и не отвлекаясь на частности.

28 января 1986 года взорвался американский космический корабль «Чэлленджер», видеолента тронулась в путь, и родилась эта книга — достоверное описание того дня, тех телевизионных программ, того утра.

Хроника

Комиссия. 6 февраля комиссия под председательством бывшего государственного секретаря США Уильяма Роджерса, назначенная для расследования происшедшей в январе катастрофы космического корабля «Чэлленджер», была приведена к присяге. Среди тринадцати членов комиссии — генерал Чарлз Игер, летчик, впервые осуществивший полет со сверхзвуковой скоростью; Нейл Армстронг, первый человек, ступивший на поверхность Луны; Салли Райд, первая женщина-астронавт Соединенных Штатов.

Катастрофа. Экспедиция космического корабля «Чэлленджер», носившая кодовый номер «51-L», впервые была отложена 23 декабря 1985 года. До запуска, перенесенного тогда на 22 января, оставался целый месяц, однако осложнения с аналогичного типа кораблем «Колумбия» вынудили отсрочить полет «простой американки», учительницы Кристы Маколифф и ее товарищей еще на день. Накануне и этой даты устанавливается новая — 25 января. Затем из-за неблагоприятных погодных условий запуск назначают на 26-е. Однако специалисты снова оценивают погоду как неподходящую для старта — произошло неожиданно резкое похолодание. 27 января — первый день, когда запуск был признан реально возможным и проведены предпусковые испытания систем корабля. После полуночи началась заправка топливом подвесного бака. В 5.07 — побудка экипажа. В его составе — командир Фрэнсис Скоби, второй пилот Майкл Смит, астронавты-исследователи Эллисон Онизука, Джудит Резник и Рональд Макнейр, специалист по спутникам Грегори Джарвис и Криста Маколифф. В 7.56 астронавты занимают свои места на борту «Чэлленджера». Но в 9.10 предстартовый отсчет времени неожиданно прерывается: заклинило одну из рукояток бортового люка, и плотно закрыть его не удается. Пока неисправность устраняли, в районе взлетно-посадочной полосы, предназначенной на случай вынужденной посадки, ветер настолько усилился, что в 12.35 запуск решено перенести на следующий день.

Прогноз погоды предвещал к ночи безоблачное небо и температуру воздуха ниже нуля. В половине второго ночи специальная команда по очистке ото льда отправилась проверить состояние поверхнос-

© Kereszty András, 1986

ти космического корабля, установленного на стартовом столе. В 3.00 команда вернулась на базу и предупредила, что за три часа до запуска необходимо будет еще раз проверить степень обледенения «Чэлленджера». Побудка экипажа планировалась в 6.18, однако к этому времени все семеро астронавтов были уже на ногах. В 7.32 из-за низкой облачности и ожидавшегося дождя время посадки экипажа в «Чэлленджер» отложили на час. Этот «лишний» час позволил Скоби и его товарищам позавтракать не спеша и со всеми удобствами. В 8.03 астронавты сели в микроавтобус. В 8.36 они заняли свои места на борту космического корабля. Запуск планировался в 9.38, однако, уступив требованию команды по очистке ото льда, руководители полета были вынуждены отсрочить его еще на два часа.

28 января 1986 года в 11.38.00.010 «Чэлленджер» стартовал. Казалось, полет во всех отношениях проходит нормально. На 57-й секунде центр управления сообщил: двигатели работают с полной нагрузкой, все системы функционируют удовлетворительно.

Последние слова, прозвучавшие с борта «Чэлленджера» и зафиксированные на магнитной ленте, принадлежали командиру корабля Фрэнсису Скоби:

— Roger, go and throttle up,— что означает примерно следующее: «Все в порядке, идем на полной скорости».

Никаких аварийных сигналов из кабины экипажа не поступало; первые признаки катастрофы отметили не приборы, а телевизионные камеры, хотя установленная на борту космического корабля контрольно-измерительная аппаратура исправно, до самого последнего момента подавала на Землю электронные импульсы. А через 73,618 секунды после старта на экране радиолокатора отчетливо обозначились траектории падавших в море многочисленных обломков, и дежурный служащий НАСА констатировал:

— Корабль взорвался.

Невидимое становится очевидным. То, чего не увидели люди, наблюдавшие запуск, и не зафиксировали приборы, стало очевидным, когда проявили отснятые фотоавтоматами пленки и с помощью компьютеров сверхзамедленного действия проанализировали видеозаписи.

Через 0,678 секунды после старта в районе нижнего стыка секций правого твердотопливного ускорителя появилось облачко серого дыма. Ускоритель состоит из одиннадцати базовых секций; дым появился там, где почти вплотную к его корпусу прилегает двигатель «Чэлленджера». В промежутке между 0,836 и 2,5 секунды ясно видны восемь струек дыма, принимающего все более темный оттенок. Через 2,733 секунды после старта струи исчезают: к этому моменту космический корабль развивает такую скорость, что отрывается от своего дымового шлейфа. Время полета 3,375 секунды. Позади «Чэлленджера» на некотором расстоянии еще видны серые клочья дыма; по мнению специалистов, его черно-серый цвет и густота могут свидетельствовать о том, что горит изоляционный материал в месте стыка секций ускорителя, где расположены два так называемых кольцевых уплотнителя.

58,788 секунды полета. В том месте, где из ускорителя пробивался дым, появляется пламя. 59,262 секунды. Начиная с этого момента, огонь виден совершенно отчетливо. Одновременно компьютеры впервые отмечают разную силу тяги правого и левого ускорителей. Сила тяги правого меньше: из него утекает горящий газ. 64,60 секунды полета. Цвет пламени меняется, поскольку начинается утечка водорода, содержащегося в огромном подвесном топливном баке, к которому прикреплены как два ускорителя, так и сам «Чэлленджер». Внутри бак разделен надвое толстой перегородкой; по одну ее сторону находится сжиженный водород, по другую — сжиженный кислород, вместе они образуют горючую смесь, питающую двигатель «Чэлленджера».

72,20 секунды полета. Нижнее крепление, соединяющее правый твердотопливный ускоритель с подвесным баком, ломается. Ускоритель начинает поворачиваться вокруг верхнего крепления. Одновременно с этим через отверстие в корпусе бака продолжается утечка жидкого водорода, та же его часть, что еще остается в баке, переходит в газообразное состояние и с нарастающей силой давит на внутреннюю перегородку. Повернувшись вокруг верхнего крепления, правая ракета-ускоритель ударяет острием в стенку топливного бака, пробивает ее и дает выход теперь уже и кислороду, о чем свидетельствует белое облачко. Это происходит через 73,137 секунды после старта. На высоте 13 800 метров «Чэлленджер» превращается в пылающий факел, мчащийся примерно вдвое быстрее звука. Через пять десятых секунды он разваливается на части.

Анализ обломков. В материалах комиссии по расследованию катастрофы описан принцип соединения секций твердотопливной ракеты-ускорителя. Край стенки одной из секций образует хомут, в который плотно входит штифт другой секции. Аналогичный принцип применяется при склеивании мебели, где выступающая часть одной детали входит в паз другой. Особенность данного соединения в том, что паз и штифт расположены по окружности, а функцию клея выполняет специальная изоляционная гермомастика. Для обеспечения большей безопасности в местах стыка секций устанавливают по два кольцевых уплотнителя, изготовленных из плотной резины; в случае образования зазоров уплотнители сдвигаются и перекрывают их. Среди поднятых со дна Атлантического океана обломков ракеты-ускорителя оказалось два узла, поврежденных до критической степени. Между хомутом № 131 и пригнанным к нему обрезком штифта № 712 зияет отверстие, прожженное в равной мере как снаружи, так и изнутри. Обломок является частью правого ускорителя, обугленного до нижнего межсекционного стыка. Таким образом, совершенно ясно, что изоляция отказала в самом опасном месте — там, где ускоритель крепится к топливному баку. Лишившись нижнего крепления, ускоритель

повернулся вокруг верхнего и подобно копью вонзился в топливный бак.

Влияние холодной погоды. Экспериментальным путем установлено: при запуске твердотопливного ускорителя между хомутом и штифтом образуется зазор размером — в зависимости от силы тяги ускорителя — 0,17 — 0,29 дюйма (0,42 — 0,73 сантиметра). Этот зазор и должен быть перекрыт эластичным кольцевым уплотнителем. Последний, однако, при нормальной и при низкой температуре функционирует по-разному. Эксперименты, проведенные по распоряжению комиссии Роджерса, показали, что при температуре плюс двадцать пять градусов по Цельсию уплотнители принимают исходную форму в пять раз быстрее, чем при температуре, равной нулю.

Двадцать один раз челночные космические корабли взлетали при температуре воздуха выше 17 градусов по Цельсию, тем не менее в четырех случаях один из кольцевых уплотнителей сгорал. Трижды запуск производился при температуре ниже 17 градусов, и два раза один из уплотнителей полностью уничтожался, а в одном случае оказался серьезно поврежденным и второй, подстраховочный уплотнитель. Но в такую холодную погоду, какая стояла перед полетом «51-L», челночные космические корабли еще ни разу не стартовали. В момент запуска «Чэлленджера» температура воздуха составляла всего плюс два градуса по Цельсию, на теневой же стороне правого твердотопливного ускорителя (там, где позднее вышла из строя изоляция) наружная температура стальной обшивки не превышала минус трех градусов.

Что положено знать начальству! Решение о запуске «Чэлленджера» было ошибочным — к такому выводу пришла комиссия по расследованию катастрофы. В документах сказано: те, кто принял это решение, не были знакомы с особенностями функционирования кольцевых уплотнителей: им не было известно, что инструкция фирмы — изготовителя уплотнителей не рекомендует производить запуск при температуре воздуха ниже плюс 11 градусов; не знали они и о том, что представители «Рокуэлл интернэшнл корпорейшн» (разрабатывавшей систему челночного космического корабля) заблаговременно обращали внимание на возможные опасные последствия обледенения тех или иных узлов «Чэлленджера» перед стартом. Те же, кто все это знал, ничего не решали, точнее — они решили, что вопросы эти недостаточно существенны, носят слишком частный характер, чтобы докладывать о них вышестоящему начальству. Быть может, проблема полноценности обмена информацией между разными уровнями управления вообще является одной из острейших проблем конца нынешнего столетия? И не перекликается ли в этом отношении трагедия «Чэлленджера» с трагедией Чернобыля?

Первый документ, забраковавший принцип соединения секций твердотопливных ракет-ускорителей, датирован 21 октября 1977 года. С тех пор было составлено двадцать две служебные записки по поводу недостатков, присущих кольцевым уплотнителям и гермомастике. Дата последней из них — 9 октября 1985 года. Записки циркулировали главным образом по цехам и отделам фирмы-изготовителя, некоторые попадали и в космический центр НАСА в штате Алабама, но ни разу ни одна из них не достигла верхушки управленческой пирамиды.

27 января 1986 года, за день до старта «Чэлленджера», один из инженеров концерна «Тиокол», производящего твердотопливные ракеты, а именно — специалист по изоляционным материалам, обращает внимание своего начальства на то, что по данным метеорологов температура воздуха во Флориде через 11 часов опустится ниже нуля и что запуск космического корабля в таких условиях крайне опасен. Руководители концерна связываются с ответственными деятелями НАСА и проводят с ними длительное совещание по телефону. Инженеры протестуют против запланированного на утро запуска и излагают свои доводы, однако со стороны НАСА дискуссию объявляют неуместной, поскольку-де нет никаких фактических доказательств того, что кольцевые уплотнители на морозе непременно откажут. В результате один из представителей космического центра имени Дж Маршалла в Алабаме возмущенно восклицает: «Что же нам — дожидаться, пока температура поднимется до одиннадцати градусов? А если это произойдет не раньше апреля?!» Вице-президент концерна «Тиокол» просит пять минут отсрочки, чтобы посоветоваться со своими сотрудниками. Однако вновь он звонит лишь спустя два часа. Теперь его инженеры считают, что если первый кольцевой уплотнитель выйдет из строя, то второй наверняка сработает и обеспечит достаточную безопасность. Концерн дает «добро» на запуск, и факсимильная копия соответствующего документа тотчас передается по фототелеграфу.

Что известно обо всем этом высшему руководству? Что знают те, кто назавтра во Флориде даст разрешение на взлет? Ровным счетом ничего.

Из протокола допроса в комиссии Роджерса:

«М-р Маллой (руководитель сектора твердотопливных ракет НАСА): Утром я проинформировал директора программы «Спейс шаттл» м-ра Олдрича о погодных условиях. На основании этой информации он принял решение начать подготовку к старту. О переговорах с концерном «Тиокол» я м-ру Олдричу не сообщал.

М-р Роджерс: Вы можете объяснить почему?

М-р Маллой: Да. Я считал и теперь считаю, что данный вопрос относится к компетенции третьего уровня управления, поскольку именно на этом уровне занимаются отдельными узлами космической техники. На третьем уровне управления мы решаем множество проблем, о которых первый уровень в известность не ставится. Данный же вопрос, повторяю, безусловно является вопросом третьего уровня...»

Что произошло в концерне «Тиокол»! Без четверти девять вечера 27 января специалисты концерна — производителя твердотопливных ракет еще решительно протестуют против рискованного запуска «Чэл-

ленджера». Однако уже к одиннадцати они в письменной форме заверяют, что не видят ничего опасного. Прервав телефонное совещание, вице-президент концерна Джералд Мейсон сперва выслушивает мнения подчиненных, а затем предлагает им покинуть кабинет, заявив, что в данном случае требуется не столько инженерное, сколько деловое решение. Главного инженера Роберта Лунда он просит остаться и строго наказывает ему: «Скиньте свою инженерскую шляпу и наденьте хоть ненадолго цилиндр бизнесмена!»

Из протокола комиссии Роджерса:

«М-р Роджерс: Чем вы объясните, что, по крайней мере внешне, вы с такой же легкостью изменили мнение, как сменили бы шляпу?»

М-р Лунд: С космическим центром имени Маршалла в Алабаме мы сотрудничаем уже давно, и ни разу наше мнение не подразумевало отмены того или иного запуска. В данном случае я не расценивал бы ситуацию так, что мы полностью изменили свою позицию. Мы сами не были в достаточной мере убеждены, что полет невозможен, что ускоритель непременно откажет.

М-р Роджерс: Иными словами, вы искренне ощущали необходимость в более убедительных доказательствах того, что ускоритель непременно выйдет из строя?

М-р Лунд: Да. Хотя предчувствие такое у нас в тот вечер было...»

Резюме доклада Роджерса звучит так:

«Комиссией установлено, что администрация концерна «Тиокол» изменила свою позицию и по настоянию космического центра имени Маршалла в штате Алабама дала согласие на осуществление полета «51-L». Это противоречило мнению инженеров концерна и было сделано единственно с целью угодить крупному заказчику».

Книга

Экран застлан сплошной серой пеленой. Сквозь нее едва различимо проступает грязно-белое пятно. Время от времени вспыхивают разноцветные искорки и гаснут. На прошлой неделе я обнаружил в почтовом ящике уведомление о том, что утром 28 января на крыше нашего многоквартирного дома будут устанавливать коллективную антенну, и администрация заранее приносила извинения за возможные помехи в приеме передач.

— Парашют в небе — завораживающее зрелище... Парашют... И быть может, не один. Напомню еще раз: на борту находилась учительница Криста Маколифф из штата Нью-Гэмпшир. Это ее первый космический полет...

Грязное пятно на экране, похоже, действительно парашют: изображение порой улучшается, и тогда становятся заметными стропы.

Другой голос за кадром — ровный, прекрасно поставленный, знакомый всей Америке. Это Хью Харрис, «глашатай» Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Он ведет предстартовый отсчет времени перед запусками. Харрис первым сообщал свежие вести о ходе экспедиции американских астронавтов на Луну; с тех пор его стали звать просто «вестником», или «вестником Хью».

— Находясь в центре управления полетом, мы поддерживаем радиосвязь со спасательными командами и с помощью телекамер координируем их работу. Парашютисты, которых вы видите на экране,— это, насколько я понимаю, члены поисковых групп, действующих в районе бедствия...

Кнопку записи я нажал 20 секунд назад, опоздав к началу передачи примерно на четверть минуты. Задержал меня телекс: из Будапешта просили прислать фотоматериал на цветную страницу. От «западных» корреспондентов редакция обычно ждет сообщений о крупных уголовных делах, сногсшибательных политических сенсациях, стихийных бедствиях, научных открытиях, значительных технических новшествах, неурядицах в социальной сфере, тогда как от сидящих в соцстранах бывает достаточно информации о том, что пишут газеты.

Обмен телексными посланиями был прерван фразой, раздавшейся из соседней комнаты, где стоит телевизор: «С «Чэлленджером» что-то случилось. Что именно, неизвестно: нечто похожее на взрыв». Так или иначе компания «Эн-би-си» внезапно оборвала трансляцию на полуслове и включила свою нью-йоркскую студию.

На экране, по-прежнему заполненном серо-голубым маревом, то вспыхивают, то исчезают красные и зеленые искорки. Из динамика звучит голос ведущего. По всей вероятности, это Палмер, который читает по утрам новости.

— Мы тешили себя надеждой, что экипажу удалось выпрыгнуть с парашютами. Мы надеялись на это до самого последнего момента. Но, как вы только что слышали, парашютисты оказались членами поисковых групп.

В тусклом прямоугольнике экрана едва угадываются очертания стартовой опоры, одиноко стоящей среди серой пустыни: обгоревшая стальная конструкция, и ни ракеты, ни людей рядом — будто все это не более чем декорация к одному из тех фантастических фильмов, что предсказывают в будущем веке всемирную катастрофу. Снова голос «вестника Хью»:

— Запуск прошел нормально, поступавшие данные также не вызывали тревоги до тех пор, пока сила тяги основного двигателя не достигла 104 процентов. Взрыв, по всей вероятности, произошел на исходе первой минуты после старта. Как сообщили специалисты, корабль взорвался над точкой с координатами 28,64 градуса северной широты и 80,28 градуса западной долготы. К этому месту направляются спасательные команды — несколько катеров и транспортный самолет «С-130». Одновременно в центре управления полетом продолжают анализировать имеющиеся данные. Обо всех новостях мы будем информировать вас по мере их поступления. В эфире центр управления полетом в Хьюстоне...

Все та же картина: стартовая опора, на стальном остове мерцают серебристые блестки.

— Итак, из центра управления полетом поступило известие, что на борту космического корабля «Чэлленджер» произошел взрыв, — сообщает невидимый зрителям Палмер.— Это случилось на высоте около 28 миль над поверхностью моря примерно через минуту после запуска, прошедшего, по мнению НАСА, нормально.

Теперь, судя по всему, на экране центр управления полетом в Хьюстоне. Просторный, напоминающий университетскую аудиторию зал с многоступенчатым амфитеатром столов и кресел. На экране лишенного антенны телевизора лиц не разглядеть, только белеют рубашки с закатанными рукавами. И видно, что все неподвижно сидят на местах. Лишь телеоператор с переносной камерой на плече медленно проходит между рядами. Остальные словно вросли в кресла. Дисплеи компьютеров, лица, руки — все застыло, окаменело в безжизненном однообразии.

— На первой минуте полета произошел страшной силы взрыв, — продолжает по-прежнему невидимый Палмер.— Судьба экипажа, в состав которого входила учительница Криста Маколифф, нам не известна. Несколько минут назад, когда мы увидели в небе парашюты, возникла некоторая надежда, но, как сообщило НАСА, то были члены спасательной бригады, прибывшей в зону, где «Чэлленджер» рухнул в море. Они были выброшены подобно парашютному десанту, чтобы сделать все возможное. Подобное несчастье произошло впервые, но спасательные службы всегда, при каждом запуске людей в космос, находятся в полной готовности, а в перерывах между полетами неоднократно поднимаются в воздух по учебной тревоге. Однако взрыв столь огромной силы оставляет нам мало надежд. Очень и очень мало.

На экране по-прежнему центр управления полетом. Служащие, скорее напоминающие сейчас человекоподобных роботов, чем людей, замерли, впившись взглядами в дисплеи компьютеров. В верхнем ряду слева кто-то встает, медленно спускается по ступеням и выходит из зала.

— Комментатор НАСА сообщил, что, по имеющимся сведениям, космический корабль взорвался,— произносит за кадром Джон Палмер, находящийся в нью-йоркской студии.— Это было первое официальное сообщение. Те, кто наблюдал прямой репортаж о запуске, в том числе и я, видели сильный взрыв и затем два шлейфа дыма, какие оставляют за собой в небе реактивные самолеты. Один из шлейфов, по всей вероятности, тянулся за «Чэлленджером», а другой — за тем твердотопливным ускорителем, который не взорвался.

Еще один служащий центра управления, чиновник, видимо, ранга невысокого, поскольку сидел он во втором ряду, поднимается с места и с бумагами в руке направляется к сидящему в самом верхнем ряду слева.

— Пока нет никакой новой информации, вернемся на некоторое время назад,— говорит Палмер.— Включим видеозапись и посмотрим, что произошло минут 10—15 назад. Старт «Чэлленджера» был перенесен со вчерашнего дня на сегодняшний, но и сегодня откладывался. Вот как выглядела стартовая площадка еще совсем недавно.

В кадре какая-то серая каша. У «первобытных» телевизоров 50-х годов изображение и то было лучше. Видимость настолько скверная, будто передача ведется с другой планеты, как, скажем, в 1969-м с Луны. Стартовая опора сейчас словно живая — существование ее исполнено смысла, необходимости. «Чэлленджер», наподобие обезьяньего детеныша, крепко вцепившегося в шкуру матери, замер, повиснув на гигантском сигарообразном топливном баке.

Голос «глашатая» НАСА, ведущего предстартовый отсчет времени:

«15 секунд. 10, 9, 8...»

Почти во весь экран — покатое крыло челночного корабля, из сопел двигателя струится дым.

«Минус 7, минус 6... Запуск основного двигателя...»

Дым вырывается равномерными сгустками, будто пульсирующая кровь из вскрытой артерии.

«Пять, четыре, три, два, один... Старт!»

Крупным планом нос «Чэлленджера»; в сравнении со всей махиной космического транспорта — крошечный конус, внутри которого — люди.

Голос комментатора теперь звучит торжественно:

«25-я экспедиция по программе «Спейс шаттл» покинула космодром!»

Из центра управления полетом передают команду:

«Внимание, «Чэлленджер»: осевое вращение!»

Голос «вестника Хью»:

«Чэлленджер» поворачивается вокруг своей оси и теперь летит днищем вверх».

Слившиеся воедино ракеты-ускорители, топливный бак и космический корабль похожи на мчащуюся в небе комету с пышным белым хвостом.

— Вы видите повтор старта «Чэлленджера»,— бесстрастным тоном поясняет Палмер.— Все это происходило несколько минут назад. Едва начавшись, экспедиция закончилась катастрофой. Примерно через минуту после запуска корабль взорвался.

Что-то говорит и комментатор НАСА, но из-за помех его едва слышно; удается разобрать лишь последние фразы о том, что нормальная скорость в первой фазе полета — 104 процента, но прежде чем начать набирать ее, корабль притормаживает до скорости 64 процента.

Наискосок снизу вверх пересекает экран распушившая хвост комета, превосходящая своей реальной, явственной красотой любые плоды фантазии, да и саму комету Галлея, которую, в сущности, нельзя было толком разглядеть. Комментатор НАСА перечисляет данные о работе двигателей, скорости и высоте полета и сообщает, что сила тяги двигателей вот-вот достигнет 104 процентов.

Голос из центра управления полетом (чуть слышный, далекий):

«Чэлленджер»! Скорость — полная!»

Голос с космического корабля:

«Все в порядке, идем на полной скорости!»

«Чэлленджер» крупным планом. Подвесной топливный бак не различим на сплошном сером фоне, и кажется, будто белоснежный корабль мчится в гордом одиночестве сам по себе. Затем яркая вспышка, сноп пламени, дым, тотчас застилающий пол-экрана. И в этот момент включают другую камеру. Кому пришло в голову сделать такое? В чьей нервной системе сработал этот чисто режиссерский рефлекс — немедленно заменить померкнувшее изображение любым другим, лишь бы оно было качественным? На экране вдруг возникает какое-то здание с белым куполом, утыканным антеннами и потому похожим на морскую амебу со множеством щупалец. Вновь смена камеры. В кадре на фоне неба не то заяц с быстро растущими ушами, не то рука, составившая из пальцев знак «V» — «победа», не то двурогий древнегерманский шлем.

— Итак, все мы видели взрыв,— произносит Палмер тем же лишенным эмоций тоном.— Он произошел непосредственно после того, как служащий НАСА приказал «Чэлленджеру» ускорить движение и набрать полную скорость. И вот на ваших экранах причудливые фигуры в небе, клубы дыма и пылающий... — неожиданной паузой Палмер все-таки обнаруживает волнение. — Пылающий корабль. Подобного происшествия на мысе Кеннеди еще не случалось.

Облако в небе напоминает кривой сук дерева, или памятник на могиле мученика, или фигуру партизана, погибающего с поднятой вверх рукой, сжимающей пистолет.

— А теперь включаем центр управления полетом в Хьюстоне. Там находится наш корреспондент Дэн Молинэс. Что удалось узнать, Дэн?

На экране мужчина лет тридцати с небольшим. Антенну у нас на крыше еще не отладили, и поэтому на корреспондента, сидящего в помещении, словно валит снег. Корреспондент производит впечатление человека, у которого в жизни все в полном порядке. Аккуратно причесанный, элегантно одетый, он сперва заглядывает в свои записи и лишь затем поднимает лицо. В его спокойных, холодных глазах — непоколебимая уверенность в себе.

— Представь, Джон, тут ничего толком не знают. Ума не приложу, что и сказать. Нет никакой другой информации, кроме полученной от НАСА,— слово в слово все то же, что слышал и ты. Я имею в виду более чем сдержанное сообщение представителя НАСА о том, что (он переворачивает страницу блокнота) «...по имеющимся сведениям, космический корабль взорвался». (На экране надпись: DAN MOLINAS, HOUSTON.) Тут все в каком-то шоке и не желают ничему верить. Но ты же видел пленку, мы тоже видели — нет ни малейших сомнений, что взрыв был неслыханной силы. И можно лишь строить догадки, каким чудом хоть кто-нибудь мог бы там уцелеть... На борту «Чэлленджера» находилось семь человек. (Он смотрит в блокнот и читает.) Фрэнсис Скоби, командир. (На экране вновь текст: Дэн Молинэс, Хьюстон и т. д.) Человек он был опытный, налетал на самолетах 45 разных типов в общей сложности 6500 часов. Вторым пилотом был Майкл Смит. Остальные члены экипажа... э-э... Джудит Резник... Доктор Джудит Резник, а также Рональд Макнейр, Эллисон Онизука, Грег Джарвис и Криста Маколифф... Никакой другой информации, кроме той, что передал комментатор НАСА, у нас нет. Разумеется, мы просили разъяснений, подробностей. Но все пока предпочитают держать свои мнения при себе и не хотят гадать на кофейной гуще. Определенно известно одно: происшествие чрезвычайно серьезное, речь идет о катастрофе поистине экстраординарных масштабов. (Он смотрит в камеру, и выражение его глаз не оставляет сомнений: Дэн Молинэс сообщает именно то, что надо, и именно так, как надо.) ...Как мы видели, астронавтам было еще рано включать механизм отцепления. Я имею в виду тот механизм, который связывает ракеты-ускорители с челночным космическим кораблем. Если хотя бы одна из ракет случайно отцепится и станет падать на населенный пункт, то с помощью вмонтированного в нее специального взрывного устройства ее можно взорвать, послав соответствующий радиосигнал с земли или из кабины космического корабля. Я ни в коем случае не хочу сказать, что сигнал ненароком был послан или что взрывное устройство каким-то образом сработало само. (Взгляд его по-прежнему спокоен и тверд, как у человека, который знает гораздо больше, чем говорит.) Но тем не менее такое устройство существует и в принципе может иметь отношение к подобному происшествию. Корабль взорвался, когда до момента отцепления вспомогательных ракет оставалась еще целая минута. Отцепление же, или, что точнее, отстрел ракет,— это процесс, сопровождающийся небольшим взрывом. Однако, судя по прошедшему после старта времени и по преодоленному расстоянию, до отстрела ракет было еще далеко. Конечно, относительно далеко: ведь при запуске космического корабля все происходит очень быстро. И тем не менее тогда еще не настала пора сработать малому взрывному устройству, отцепляющему ракеты. Короче говоря, в настоящий момент нам пока остается лишь строить догадки, как и что именно произошло.

Внезапно изображение пропадает. Оно сменяется тоскливой панорамой морской равнины, не имеющей ни конца, ни края, где не на чем задержаться взгляду, где горизонт утопает в тумане и ни паруса, ни птиц над волнами.

Вновь на экране Дэн Молинэс. Заглянув в блокнот, он продолжает:

— Еще раз напомню: на борту находилось семь человек, в их числе — учительница Криста Маколифф. Здесь, в центре контроля за полетом, центре управления полетом, пока только гадают о том, что же все-таки случилось. Все пока только... (Он смотрит куда-то вниз, где, видимо, установлен монитор.) Но вот мне сообщают, что у нас есть возможность перенестись во времени немного назад...

Угол белой комнаты, похожей на помещение ультрастерильной прачечной. Круглое отверстие — люк суперсовременной стиральной машины; он распахнут. Пер-

сонал прачечной в белых халатах и белых шапочках. На переднем плане чья-то непокрытая лысеющая голова.

— Эта запись сделана перед посадкой экипажа в «Чэлленджер»,— неторопливо комментирует Дэн Молинэс.— На ваших экранах так называемая белая комната. Она примыкает непосредственно к корпусу корабля, и отсюда через бортовой люк астронавты проходят на свои места.

Перед объективом камеры семеро, четверо из них — в белых халатах и белых, как у продавцов мороженого, шапочках; на заднем плане чья-то черная волнистая шевелюра, лица не видно за головой лысого, но вот он, повернувшись в профиль, отходит в сторону, и мы видим стоявшую за ним улыбающуюся курчавую брюнетку. Изображение теперь несколько лучше, очертания четче. Мужчина в белой шапочке и очках наклоняется, будто что-то поднимая с пола, и нам открывается лицо находящейся рядом с ним молодой белокурой женщины, она весело кивает кому-то. У лысого смеющиеся глаза. Камера, судя по всему, укреплена в углу под потолком, как в крупных универмагах, поэтому и открывающаяся картина напоминает торговый зал, заполненный покупателями. На сером фоне белые пятна; белокурая учительница Криста выглядит ярче остальных: на шее у нее мерцает что-то красно-зелено-синее, в волосах лиловые вспышки. Неподалеку другой женский профиль — лицо греческой статуи; вокруг носа и губ вспыхивают и гаснут красные искорки. Рядом гранитно-серая глыба: лысина Джарвиса.

— Криста Маколифф ждет, когда ей принесут шлем,— комментирует Дэн Молинэс, у которого в жизни все в полном порядке. — Служащий из центра управления полетом здесь, в белой комнате, угостил ее на дорогу яблоком. А в трех милях отсюда, на трибуне для почетных гостей, находились ее муж — адвокат Стив Маколифф и дети — семилетняя, вернее пока еще шестилетняя, Кэролайн и девятилетний Скотт. Они наблюдали старт с трибуны для почетных гостей.

Принесли шлем с толстым шлангом, оплетенным стальной спиралью, как шнур у телефона-автомата. Брюнетка поднимает лицо и смотрит в объектив телекамеры; в ее пышных вьющихся волосах зеленые блики.

— Сейчас на переднем плане, если не ошибаюсь, Джуди Резник, доктор Резник. Среди астронавтов она уже может считать себя ветераном.

Криста улыбается служащему в очках; возможно, это он дал ей в дорогу яблоко.

— Несмотря на то что старт несколько раз откладывался, все пребывали в отличном расположении духа... Последние приготовления перед посадкой в «Чэлленджер»... И экипаж, и группа контроля за запуском знали: на этот раз взлет действительно состоится. Конечно, задержка есть задержка, но уж на этот-то раз... Мне только что сообщили, что через несколько секунд в эфир пойдет прямая трансляция из Белого дома. А пока вновь передаю вас Нью-Йорку...

На экране — знакомая портьера, еще более знакомая надпись: «THE WHITE HOUSE», более чем знакомое лицо Ларри Спикса. Правда, в данном случае и Белый дом, и Голубой зал, где проходят встречи с представителями прессы,— все это серого, защитно-серого цвета.

Голос Палмера:

— Итак, перенесемся в Белый дом и послушаем представителя президента.

Спикс: Президент только что посмотрел видеозапись о запуске «Чэлленджера». Мы не располагаем более подробной информацией, чем любой из сидящих у телевизора, и для печати можем пока сообщить лишь следующее. Президент со своими ведущими сотрудниками находился в Овальном кабинете и готовился к встрече с корреспондентами и редакторами телекомпаний, на которой намеревается затронуть две темы: бюджет и содержание речи «О положении страны». Как вы знаете, сегодня в Белом доме состоится обед с приглашением представителей телевидения. Внезапно в Овальный кабинет вошли вице-президент Буш и советник по национальной безопасности Пойндекстер, они-то и сообщили президенту о случившемся. Совещание тотчас было прервано, и мы все перешли в расположенный по соседству рабочий кабинет президента, где есть телевизор.

Ларри Спикс говорит не поднимая глаз. Выступая, он всегда смотрит под ноги, будто что-то скрывает, будто предпочитает на всякий случай не встречаться взглядом ни с одним из журналистов. Мой лишенный антенны телевизор окрашивает синюю портьеру и галстук представителя президента в сочетание красного и зеленого.

— Президент стал смотреть телепередачу и слушать сообщения корреспондентов о происшедшем вскоре после запуска взрыве. Повторяю: президент встревожен, расстроен и с нетерпением ждет новых сведений. В настоящий момент мы получаем информацию оттуда же, откуда и все граждане страны.

Вопрос из зала:

— Что слышно нового о судьбе экипажа. Ларри?

Обычный репортерский прием на пресс-конференциях: мол, сами мы ничегошеньки не знаем, зато обо всем выспросим и потом процитируем каждое твое слово, Ларри, так что ты уж потрудись выбирать выражения.

— Мы знаем лишь то, что передано по телевидению.— Спикс делает жест рукой, будто клянется. — Надеемся позднее узнать больше.

— Звонили ли из Белого дома на мыс Кеннеди?

— Нет. Из Овального кабинета — нет.

— Окажет ли случившееся какое-либо влияние на сегодняшнюю речь «О положении страны»?

— Не думаю. Но полагаю, что президент сочтет необходимым упомянуть об этом. Как именно — зависит от окончательного исхода дела, о котором стало известно лишь считанные минуты назад.

— Как отразится случившееся на осуществлении космической программы?

— Трудно ответить на этот вопрос спустя всего 15—20 минут после подобного происшествия. — Спикс теперь держится значительно более уверенно. Затронутая тема — его конек, и президент может быть вполне спокоен: все будет сказано так, как следует. Он больше не разглядывает носки ботинок, а решительно смотрит в зал. — Уверен, что данное происшествие не повлияет на решимость Соединенных Штатов продолжать изучение космического пространства и пользоваться теми преимуществами, которые предоставляют нам результаты этого изучения. Как ни трагично случившееся, оно ни в коей мере не снизит заинтересованности Соединенных Штатов в космических исследованиях.

Телевизор окрашивает Спикса всеми цветами радуги.

— Не заставит ли катастрофа «Чэлленджера» основательно пересмотреть всю программу «Спейс шаттл»? — снова громкий вопрос с места.

— Повторяю: ставить вопросы относительно будущего этой программы в высшей степени преждевременно,— учительским тоном, отрывисто, чеканя слова, выговаривает Спикс. — В ходе осуществления программы «Спейс шаттл» Соединенные Штаты потерпели немало неудач, и все-таки она остается одной из самых эффективных космических программ, осуществляемых какой-либо страной.

— Ларри, а что сказал президент? Хотя бы одну цитату... — Это Крис Уоллес, аккредитованный при Белом доме корреспондент компании «Эн-би-си». В руке у него микрофон. Сзади кто-то в ожидании замер с авторучкой и блокнотом в руках.

Все, что теперь говорится, уже не имеет непосредственного отношения к «Чэлленджеру», к взрыву на его борту. Шлем Джудит Резник, улыбка Кристы Маколифф — все это отныне нюансы и сантименты. Трагедия «Чэлленджера» сейчас не более чем ключ к другим темам. Ответ на вопрос, заданный Крисом Уоллесом, нужен ему для вечерней программы, когда он будет передавать из Белого дома последние известия. Задача номер один, стоящая перед любым из аккредитованных здесь корреспондентов, заключается в том, чтобы раздобывать высказывания президента. Не в небо пялиться, что бы там ни происходило, а охотиться за цитатами из произнесенного главой государства — вот что считается в этих стенах делом, достойным настоящего профессионала.

— Не упоминал ли президент о том, что на борту находилась учительница? Ведь это он предложил включить в космическую программу пункт «В космосе — учитель»... — уточняет Крис.

— Нет,— отвечает Спикс. — Президент был настолько потрясен случившимся, что не мог вымолвить ни слова. Когда он смотрел на экран, лицо его выражало взволнованность, скорбь и тревогу. Он слушал в полном молчании.

— Кто-нибудь в Белом доме позаботился о создании комиссии по расследованию или это предоставили сделать НАСА?

— Еще один преждевременный вопрос. Мне нечего на него ответить. В данный момент нас прежде всего беспокоит судьба экипажа и только потом — все остальное.

Снова Крис Уоллес:

— Так было или не было что-нибудь сказано о том, что на борту находилась учительница?

— Все мы помнили, все мы прекрасно знали, что в космос полетела учительница — первое, если можно так выразиться, гражданское лицо. На орбите, правда, до этого побывали члены конгресса, но они ведь не совсем рядовые граждане...

— Возможно ли с научной точки зрения, чтобы кто-нибудь уцелел при подобном взрыве? — спрашивает прокуренным голосом пожилой журналист из тех, кто любит щегольнуть на пресс-конференциях замысловатой формулировкой вопроса.

— На это я не могу ответить.

— Ларри, ты сказал, что о случившемся президенту сообщили вице-президент и Пойндекстер. А откуда вообще в Белом доме узнали о происшествии? — задает вопрос усатый репортер-негр. Чернокожих в числе аккредитованных здесь корреспондентов встретишь не часто.

— Из телепрограммы. Так бывало уже не раз, когда случался какой-нибудь неожиданный инцидент.

— Не откажутся ли после этого случая включать гражданских лиц в состав экипажей?

Спикс молча качает головой, затем, выдержав паузу, отвечает:

— Повторяю: подобные вопросы... Нас в первую очередь интересует сейчас судьба тех семи астронавтов, которые находились на борту. Со всем остальным прошу вас повременить.

Сразу трое корреспондентов выкрикивают свои вопросы, порядок в зале прессы впервые нарушается.

— Изменится ли распорядок дня президента?

— Нет, не изменится,— говорит Спикс.— Вечером он выступит с речью «О положении страны». Единственное изменение заключается в том, что президента будут регулярно информировать о ходе событий в связи с катастрофой.

Слышится женский голос, это, по всей вероятности, Лесли Сталь. Телекамера ищет и вскоре находит ее; мало кто в Америке не знает Лесли в лицо.

— Ларри, ты сказал, что президент смотрел передачу молча. Но неужели же он не произнес хотя бы несколько слов, которые можно было бы процитировать?

— Он смотрел передачу в полном молчании,— говорит Спикс и, собрав бумаги, направляется к двери.

Вслед ему сыплются вопросы: «Сделал ли президент какой-нибудь жест?», «Может, покачал головой?», «Может, в кабинете было шумно?»

Спикс оборачивается:

— Взволнованность, озабоченность, молчание. Все.

Он выходит, двое или трое исчезают за дверью вместе с ним.

Джон Палмер в нью-йоркской студии. Все, что произошло хотя бы несколько секунд назад, для него уже просто новость, смысл которой заключается в том, что ее можно отпечатать, прокомментировать, донести до читателей, слушателей, телезрителей всего мира. Левой рукой он прижимает к уху наушник; по всей вероятности, слышит он не то, о чем говорит.

— Перед вами выступал Ларри Спикс, официальный представитель Белого дома. Он сказал, что президент был ошеломлен и не мог вымолвить ни слова, когда наблюдал по телевизору взрыв на борту челночного космического корабля «Чэлленджер». Напомню, что примерно через минуту после старта с космодрома на мысе Кеннеди «Чэлленджер» вспыхнул и взорвался в воздухе. О судьбе экипажа нет никаких известий, в том числе и о Кристе Маколифф, учительнице из города Конкорд, штат Нью-Гэмпшир. До взрыва казалось, что все идет нормально. (За спиной Палмера женщина в джемпере с капюшоном снимает телефонную трубку. Из-за отсутствия антенны все, что находится и происходит на заднем плане, почти невозможно разглядеть, но и сквозь серую пелену ясно: Палмер ведет программу непосредственно из отдела новостей — нервного центра телекомпании.) Взрыв последовал сразу после того, как из центра управления полетом «Чэлленджеру» дали команду набрать полную скорость. Это произошло за минуту до срока, когда твердотопливные вспомогательные ракеты должны были отцепиться. Спасательные команды и катера держат путь в район бедствия. Судьба экипажа до сих пор неизвестна, как неизвестно доподлинно и то, по какой причине произошла катастрофа. Надежда обнаружить кого-нибудь, кто остался в живых, очень мала. За долгое время это первый несчастный случай, повлекший человеческие жертвы. Если вы помните, в 1967 году во время предстартовых испытаний космического корабля «Аполлон-1» на его борту погибли трое астронавтов. Произошло это прямо на стартовой площадке. Они сгорели заживо. (Теперь видна лишь женская рука, которая тянется к телефону, стоящему на столе за спиной Палмера.) А о семи астронавтах, находившихся на борту «Чэлленджера», новостей все еще нет. Впрочем, давайте перенесемся в Хьюстон, к нашему корреспонденту Дэну Молинэсу.

Человек, у которого в жизни все в полном порядке, сидит на том же месте, в той же позе, будто никуда все это время не отлучался, не двигался, будто всю информацию он получает не сходя с места. Серый корреспондент на сером же фоне, вещающий «серым» голосом; впечатление такое, словно все это продумано специально, чтобы не было никаких раздражающих факторов. Даже микрофон установлен по линии симметрии, в центре нижней кромки экрана.

— Джон, мы слышали, будто президент был потрясен происшедшим и, пока смотрел видеозапись, не мог вымолвить ни слова. Мы все прореагировали таким же образом. А теперь я познакомлю вас с тем, что некоторое время назад сообщил официальный комментатор НАСА.

Он поворачивается и смотрит в сторону; вокруг его лица, особенно у бровей и губ,— радужные, будто преломленные призмой, разводы. На экране возникает хьюстонский центр управления полетом: университетская аудитория, компьютеры на столах, все кресла заняты людьми в белых рубашках. Туманный сумрак, разноцветные вспышки создают впечатление пестроты цветочного рынка. Появляется надпись: «VIDEOTAPED» — «видеозапись». Голос комментатора НАСА:

«Запуск произведен сегодня в 11.38 утра по времени Восточного побережья. Вплоть до завершения программы осевого вращения казалось, что все идет нормально. То есть до того момента, когда была выполнена «бочка». Затем последовало снижение скорости и интенсивный набор ее до 104 процентов. Тут и произошел взрыв, который мы видели. Руководитель группы контроля за траекторией полета доложил начальнику группы аэродинамического контроля, что корабль, по всей вероятности, взорвался, и передал координаты точки, над которой это случилось: 28,64 градуса северной широты и 80,28 градуса западной долготы, то есть над океаном. Всякая связь с кораблем прервалась. Руководитель полета Джэй Грин, проанализировав данные компьютеров о работе наземных служб и экипажа, неправильных действий не обнаружил».

Серое море и светло-серое небо; то тут, то там вспыхивают и гаснут разноцветные искорки, какие видятся порой, когда закрываешь глаза.

Дэн Молинэс смотрит вниз и в сторону, будто разглядывает свое колено; где-то там, видимо, установлен монитор.

— Просматривая видеозапись, сделанную в центре управления полетом,— говорит он,— я узнал сидящего в верхнем ряду человека. Это Юджин Крэнс, один из руководителей полета. (Надпись: DAN MOLINAS, HOUSTON, NBC, а также эмблема телекомпании — стилизованное изображение павлина.) Когда возникли неполадки в одной из систем «Аполлона-13», вы наверняка помните этот случай, и когда существовала опасность, что «Аполлон-13» не сможет вернуться с Луны на Землю, не кто иной как Юджин Крэнс, сидя в кресле руководителя полета, сказал: «Всем сохранять спокойствие. Мы вытащим их оттуда». Я говорю это к тому, что в зале есть люди, которым не привыкать к критическим, экстремальным ситуациям. Сегодня они снова лицом к лицу с катастрофой.

Зал хьюстонского центра выглядит теперь значительно более оживленным. Мужчины в белых рубашках и галстуках — униформе американских конторских служащих — возбужденно жестикулируют. Пиджаки повешены на спинки кресел. Галстук — символ аккуратности, закатанные рукава — готовности к работе. И работы много.

— Повторяю для тех, кто только сейчас включил телевизор. Экипаж состоял из семи человек. Командир корабля — Фрэнсис Скоби, ветеран авиации, нале-

тавший тысячи часов. На борту космического корабля, причины катастрофы которого в настоящее время выясняются, находилась также Криста Маколифф — первая учительница, полетевшая в космос. Ей 37 лет. А теперь передаю эстафету Нью-Йорку, своему коллеге Джону Палмеру.

— Спасибо, Дэн,— кивает Палмер, прижимая к уху наушник; уши у него, благодаря моему телевизору, красные. — Только что мы получили сообщение о том, что место падения космического корабля в море находится в 12 с половиной милях от мыса Кеннеди. Туда направляются несколько судов и самолетов. Интересный и в известной мере прискорбный факт: «Чэлленджер» не был оборудован катапультирующими устройствами, какие имеют сегодня все военные самолеты. Не было и никакого другого средства, с помощью которого экипаж в аварийной ситуации мог бы покинуть корабль. В то же время на челночном корабле аналогичного типа «Колумбия» катапультирующие устройства есть. (Надпись: JOHN PALMER, NBC.) Несколько минут назад завершилась встреча Ларри Спикса с представителями прессы в Белом доме. Он рассказал, что президент был ошеломлен и, пока смотрел видеозапись старта и взрыва «Чэлленджера», не мог вымолвить ни слова. Повторяю, мы все еще ждем известий о семерых астронавтах. А теперь включаем Белый дом, где находится наш корреспондент Крис Уоллес. Крис...

Уоллес — между дверью и кафедрой в зале встреч с представителями прессы, на фоне синей портьеры, которая на моем экране выглядит серой. С этого места корреспонденты всех крупных телекомпаний ведут передачи о наиболее значительных событиях в Белом доме. (Надпись: CHRIS WALLACE, WASHINGTON.)

— Новостей пока нет,— говорит он тоном человека, у которого новости есть.— Трудно что-либо добавить к тому, что совсем недавно сказал Ларри Спикс. Президент, как он сообщил, наблюдал видеоповтор старта «Чэлленджера». Он находился в Овальном кабинете, когда вошли вице-президент Джордж Буш и советник по национальной безопасности Джон Пойндекстер и сообщили, что на мысе Кеннеди что-то случилось. Они перешли в рабочий кабинет президента, который непосредственно примыкает к Овальному кабинету, и, как вся Америка в те минуты, просмотрели по телевизору видеозапись этой ужасающей катастрофы. Больше на этот счет ничего нового нет. Нет достоверных сведений и о том, какова участь семи астронавтов, находившихся на борту. Что касается нас, телерепортеров, аккредитованных при Белом доме, то мы в момент катастрофы находились в зале имени Рузвельта, расположенном через коридор от Овального кабинета. Вместе с нами там был начальник канцелярии Белого дома Дональд Риган, который информировал нас о содержании предстоящей речи президента «О положении страны». Встреча шла обычным для таких случаев порядком, когда в зал вошел один из сотрудников Ригана с листком бумаги в руке. Риган тут же зачитал отпечатанную на нем короткую фразу: «Челнок» взорвался, подробности позднее». Беседа, разумеется, тотчас была прервана, служащие Белого дома поспешили в свои кабинеты, а мы, журналисты,— сюда, в зал пресс-конференций. Как вы уже слышали, президент и его ближайшие помощники в настоящий момент заняты тем же, чем все: с нетерпением ждут новых сообщений по телевидению.

— Спасибо, Крис,— говорит Палмер. — В нашей вашингтонской студии сейчас находится обозреватель Том Броккоу. Вызываем его на связь.

Палмер в сером тумане, но все же заметно, как он нервничает. Для него в данный момент самое важное — чтобы Том Броккоу как можно быстрее перехватил эстафету. Броккоу — редактор и «звезда» вечерней программы новостей, его популярность неизмеримо выше, чем у ведущего утренней передачи. Но дело не только в этом: волнения, связанные с катастрофой «Чэлленджера», едва ли сравнятся с теми ощущениями, которые испытывает обыкновенный диктор, в такое утро оказавшийся в роли ведущего программы. Однако все, слава богу, в порядке: Том Броккоу выходит в эфир.

— Да, Джон.

Отдел новостей вашингтонской студии. В помещении, заставленном персональными компьютерами и картотечными ящиками, по меньшей мере человек восемь; на переднем плане Том Броккоу, ему около пятидесяти, но улыбается он телезрителям как закадычный школьный приятель.

— Вместе с Крисом Уоллесом я тоже находился в зале имени Рузвельта, когда на нас обрушилось это известие. Начальник канцелярии Белого дома Дональд Риган тотчас покинул зал, чтобы выяснить, в курсе ли уже президент. Как мы теперь знаем, он был уже в курсе. Знаем и то, кто и как ему сообщил о случившемся... Но вот что я хотел бы подчеркнуть: когда космический корабль покидает стартовую опору, с баком он представляет собой крайне взрывоопасный огромный топливный резервуар. А ведь к подвесному баку прикреплены еще и твердотопливные ракеты, которые также целиком заполнены горючим. Весьма и весьма уязвимое сооружение. Астронавты не раз уже предупреждали, что рано или поздно может случиться беда.

Вновь на экране «Чэлленджер»; приникнув к стартовой опоре, он снова готов к полету.

— Обо всех предыдущих запусках телевидение вело прямые трансляции с космодрома,— говорит Броккоу.— Обо всех, кроме этого. Одна лишь компания кабельного телевещания «Си-эн-эн» не изменила многолетней традиции, остальные сочли, что подобное зрелище уж слишком обыденно. Итак, давайте посмотрим еще раз. Жестокая картина великой трагедии. Старт «Чэлленджера».

В левом верхнем углу экрана какая-то цифра — кажется, 170. Между двумя вытянутыми цилиндрами, похожими на бидоны для масла,— хвост челночного косми-

ческого корабля. Слышится: «...минус девять... восемь... семь...». Газы переливаются всеми цветами радуги. И ликующий голос комментатора НАСА, сообщающего, что двадцать пятая экспедиция по программе «Спейс шаттл» покинула космодром. Снова голос Броккоу:

— Казалось, все шло нормально, и в самом деле не было заметно никаких отклонений от программы, ничто не предвещало катастрофу. (Разноцветные кольца на обшивке вспомогательных ракет — красно-синее, красно-зеленое, лилово-зеленое.) Пять дней «Чэлленджер» дожидался старта. Проблем было немало, особенно в связи с погодой. Однако трагедию, которую мы с вами сейчас увидим, не предвещало ничто.

На радужном фоне стелется белый дым. Это из двигателей вырываются горящие газы... И вот — CHALLENGER GO AND THROTTLE UP. Ускорение. Впечатление теперь иное, чем при первом просмотре записи. Теперь ты наготове и знаешь, что́ будет, знаешь, что впереди лишь одна-единственная фраза, та, которую произнес Скоби и которая начинается словами: «Все в порядке...». Что произнес это именно Скоби, сомнений нет: во время старта говорить разрешается только командиру. В его голосе — идеальное спокойствие профессионального пилота; ни лишних эмоций, ни хрипоты, возникающей, когда эти эмоции приходится сдерживать — их нет и в помине, хотя огнедышащие вулканы двигателей — в нескольких метрах. Скоби решителен и спокоен. Смена камеры, меняется точка съемки: «Чэлленджер» в профиль. И тут — слепящая вспышка, огненный шар, клубящиеся хвосты дыма... Внезапно доносится голос, не услышанный из-за потрясения при первом просмотре, голос комментатора НАСА:

«Одна минута пятнадцать секунд, скорость четыреста двадцать футов в секунду, горизонтальное удаление девять морских миль, высота семь морских миль...»

Уже несколько секунд как извиваются, падая в море, пылающие и дымящиеся обломки, а центр управления передает в эфир данные о полете корабля-призрака.

— Комментатор НАСА читал заранее приготовленный текст и, углубившись в него, не видел, что происходит на экране монитора,— поясняет Броккоу.— Ему достаточно было на мгновение оторваться от бумаг, и он увидел бы взрыв. Мне показалось, что взрыв произошел где-то в задней части космического корабля, но трудно сказать, узнаем ли мы это когда-нибудь со всей точностью.

Хвосты дыма расползаются в воздухе; они похожи на струйки стекающего по свече расплавленного воска. Ближе к поверхности моря дым постепенно тает, рассеивается. Слышен все тот же ровный, профессионально поставленный голос:

«Специалисты центра управления полетом со всей тщательностью анализируют имеющиеся данные. Авария, очевидно, крупная».

Изображение пропадает. Видимо, в этот момент тайванец Ли, ловко орудуя разводным ключом, принялся закреплять на крыше смонтированную наконец антенну. Он знать не знает о том, что случилось; хоть и ближе он к облакам, а трагедию «Чэлленджера» оттуда не увидеть, тем более что для Ли сейчас едва ли что-нибудь существует в мире, кроме натяжных болтов да тросов-стабилизаторов.

Прошло минут пять. А может быть, и все десять. И вот, наконец, через окно телеэкрана в комнату заглядывает горько улыбающийся мужчина в сером костюме. Изображение теперь цветное. Пиджак, правда, все равно серый, но на галстуке отчетливо видны бордовые крапинки.

— ...Единственные имевшиеся парашюты были предназначены для мягкого спуска на морскую поверхность отработанных ракет-ускорителей после их отцепления.

— Как вы полагаете,— спрашивает Броккоу (на нем бордовый галстук в синюю полоску; такой же расцветки — торчащий из нагрудного кармана носовой платок),— будет ли продолжено осуществление программы «Спейс шаттл»?

— На время оно наверняка будет приостановлено. На некоторое время,— отвечает неизвестный в сером.

Включаю 7-й канал. Это канал телекомпании «Эй-би-си». Здесь тоже идет передача из Вашингтона. Мне хорошо знакомо это уставленное мониторами помещение отдела новостей. «Вечерняя звезда» этого канала Питер Дженнингс — в точно таком же, как у Броккоу, бордовом галстуке и с бордовым платочком в нагрудном кармане. Рядом с ним — Стив Белл, редактор утренних новостей. Белл теребит в руках авторучку. Дженнингс, размашисто жестикулируя, что-то объясняет ему. Ладони у Дженнингса широкие, пухлые.

— Представь, что́ испытывает сейчас ее муж,— говорит Дженнингс. — Когда я смотрел видеозапись, мне вдруг стукнуло в голову, что у нее ведь муж и двое детей. Дети Кристы Маколифф находились совсем неподалеку от космодрома и воочию наблюдали запуск, а значит, видели и то, как менее чем через две минуты после старта корабль взорвался в воздухе. Теперь на восточном побережье Соединенных Штатов половина первого, у многих местных телестанций в это время перерыв, так что давайте еще раз прокрутим ленту с записью катастрофы «Чэлленджера». Казалось, все шло совершенно нормально. Позавчера старт отложили из-за непогоды, вчера — из-за того, что не смогли закрутить запорный болт на входном люке. Итак, на ваших экранах произведенный сегодня утром на мысе Кеннеди запуск челночного космического корабля.

Экран расцвел множеством красок; половину его площади застилает розово-белый дым. Небо поначалу выглядит пурпурным, затем, по мере того как камера поворачивается, постепенно становится темно-синим. Взрыв. Вокруг огненного шара в сизых облаках образуется бело-розовый ореол.

— Собственно говоря, вы сейчас наблюдали не запуск, а последовавшее за ним трагическое происшествие, когда «Чэлленджер» взорвался над Атлантическим океаном.

Объемные, сочные краски; острие выгнувшейся дугой ракеты раскалено до-

бела, и на фоне словно залитого чернилами неба — фейерверк стремительно падающих в море пылающих факелов.

— Я смотрю эту запись уже в третий или четвертый раз,— говорит Дженнингс,— и мне кажется, что взорвалась одна из твердотопливных ракет-ускорителей. (На экране время: 11.39 А. М. EAST — Восточное побережье.)

Голос Стива Белла:

— Колоссальная сила тяги — два с половиной миллиона фунтов. Она-то и обеспечила взлет, в успехе которого мы все были так уверены.

Белл (он теперь в кадре) придвигает к себе бумаги и зачитывает уже слышанную не раз информацию о том, как «Чэлленджер» утром взлетел и взорвался, сколько человек было на его борту, правда, пофамильно он называет только двоих — учительницу Кристу Маколифф и Джудит Резник.

— Да,— со вздохом произносит Дженнингс.— А теперь мы имеем возможность посмотреть всю запись с самого начала. Мне только что сообщили, что лента готова.

Сколько еще раз они собираются воспроизводить сегодня эту видеозапись? Как долго намереваются эти профессиональные разжигатели страстей травить души зрителей? Сколько раз придется еще смотреть, как вспыхивает факел смерти, в котором сгорает «Чэлленджер»? Снова радостно светит солнце, снова все в полном порядке, и человечество готовится сделать еще один героический шаг по пути своего самоутверждения. Рев двигателей — и космический корабль, взлетая, уносит с собой бело-розовый дым и яростное пламя, вырывающееся из-под его синего хвоста. Еще миг — и «Чэлленджер» опрокидывается навзничь; сопла трех его двигателей — словно кольца присосок на щупальцах осьминога; со стороны впечатление такое, будто двигатели бездействуют, будто весь этот сложный космический аппарат замер в воздухе, опершись на две колонны выхлопных газов твердотопливных ракет-ускорителей. И вот — THROTTLE UP. Знакомый профиль «Чэлленджера» крупным планом, искаженное телеобъективом лилово-красное небо. Дженнингс прав: взрыв начинается снизу, волна пламени мчится вверх. Слышен и звук, похожий на отдаленные раскаты грома. Микрофоны улавливают его, а значит, он должен быть слышен и во Флориде, на трибуне для почетных гостей. Звук хрипящий, клокочущий — запись воспроизводят замедленно...

Стив Белл: Скорость 1977 миль в час, удаление 10,4 мили, высота над уровнем моря 8 миль...

Дженнингс: Как вы, вероятно, обратили внимание, запись воспроизводится замедленно.

Стив Белл: Это первая катастрофа за все годы осуществления космической программы Соединенных Штатов, происшедшая в воздухе. (Надпись: 11.39 EAST). С тех пор как стартовал Шепард, это пятьдесят шестой полет.

Оставляя за собой множество дымных шлейфов, обломки стремительно мчатся вниз; кажется, что они летят очень близко друг к другу. И снова слышится голос, бюрократическим тоном сообщающий: «Авария, очевидно, крупная».

Стив Белл (его голубые глаза обращены теперь в объектив): Для тех, кто только что включил телевизор, повторяю: «Чэлленджер», на борту которого находилось семь человек, потерпел аварию. Через одну минуту и пятнадцать секунд после старта с мыса Кеннеди челночный космический корабль взорвался. За последние сутки запуск дважды откладывался: сначала из-за технической неисправности, затем из-за обледенения стартовой опоры. Температура воздуха на мысе Кеннеди перед запуском составляла 22 градуса. (Практически невозможно привыкнуть к этой шкале Фаренгейта, к этим футам, дюймам и милям. Плюс 22 градуса по Фаренгейту — это минус 5—6 по Цельсию. Как тепло звучит первая цифра и как сурово последняя!) Никаких свидетельств того, что холод имел отношение к ... э-э... Трудно подобрать точное слово, чтобы охарактеризовать взрыв столь огромной силы. «Чэлленджер» только-только достиг максимального скоростного напора, до этого все, казалось, шло совершенно нормально. Нормально прошел и старт. Каким ликующим был голос комментатора из центра управления полетом, хотя он зачитывал лишь скупые цифры! Старт проходил поистине образцово до тех самых пор, пока не раздался ужасающей силы взрыв.

— Стив,— включается в разговор Дженнингс,— оказывается, только теперь, в тридцать три минуты первого (прежде чем это сказать, он бросает взгляд поверх камеры на часы, которые, по всей вероятности, висят напротив него на стене студии), спасательные команды были допущены в район, именуемый поисковой зоной. Обломки с 10-километровой высоты так долго падали в неприветливо выглядящий сегодня Атлантический океан, что НАСА всерьез беспокоилось, как бы не пострадали те, кому поручено разыскать и спасти оставшихся в живых астронавтов. Теперь, однако, им разрешено войти в зону.

Белл щелкает авторучкой; на пальце у него поблескивает массивное обручальное кольцо.

— Напомним телезрителям, что если челночные космические корабли прежних модификаций имели аварийную капсулу, то в «Чэлленджере» не было предусмотрено никакого средства спасения экипажа в случае аварии. Никакого,— подчеркивает он.

— Наиболее опасным считается период, пока корабль стоит на стартовой позиции,— говорит Дженнингс.— Это время, когда все пребывают в постоянном и нарастающем напряжении. Но стоит кораблю оторваться от земли, и напряжение тотчас заметно спадает, люди несколько расслабляются. В 1967 году Вирджил Гриссом и два его товарища погибли, когда вспыхнул «Аполлон», стоявший

на стартовом столе. Как ни ломали тогда головы специалисты, а придумать достаточно быстрый способ извлечь людей из горящего корабля так и не смогли. Однако когда «челнок» уже в воздухе и ложится на курс, все считают, что дело сделано.

В помещение входит лысый мужчина в синей рубашке, останавливается за спинами ведущих и, подбоченившись, слушает, что говорит Дженнингс. На противоположной стене виднеется продолговатый плакат с изображением памятника Джефферсону в Вашингтоне; снимок сделан, очевидно, в конце марта, когда вокруг памятника пышно цветут черешни. На заднем плане в студии за столами сидят еще четверо, все разговаривают по телефону; мужчина, одетый в бордовый пуловер, приподнимается и, не отрывая трубки от уха, пристально вглядывается в экран одного из установленных вдоль задней стены мониторов.

— Сегодня утром взрыв произошел, когда «Чэлленджер» проходил так называемую зону максимального скоростного напора. В это время все системы корабля испытывают наибольшую нагрузку. (Стив Белл заглядывает в записи.) В подвесном топливном баке находилось 526 тысяч галлонов сжиженных водорода и кислорода, они и придали взрыву столь огромную силу. Впервые катастрофа произошла в воздухе. Это был 56-й запуск пилотируемого американского космического корабля вообще и 25-й — по программе «Спейс шаттл».

Дженнингс: Программа осуществлялась в крайне форсированном темпе. Был случай, когда не то «Колумбию», не то «Чэлленджер» — уже не помню точно, который именно из кораблей, немудрено и перепутать названия,— пришлось сразу после посадки срочно транспортировать из Калифорнии во Флориду для немедленного нового запуска. (Белл кивает, не поднимая головы от бумаг.) В промышленных, политических и военных кругах считают, что возможности, предоставляемые челночными космическими кораблями, должны быть использованы максимально полно.

— Известно, что вокруг программы «Спейс шаттл» с самого начала велись оживленные дебаты,— воспользовавшись паузой, говорит Белл.— Особенно жаркие споры разгорелись в отношении того, способны ли будут челночные космические корабли успешно конкурировать с беспилотными европейскими ракетами, также доставляющими на орбиту аппаратуру частных компаний и государственных учреждений, финансирующих космические программы.

В студии звонит телефон, настолько громко, что кажется, будто он стоит у меня в комнате; однако все заняты, и никто не считает нужным ни снять трубку, ни хотя бы приглушить звонок.

Дженнингс: В данном случае нас, разумеется, прежде всего волнует человеческий аспект. На борту «Чэлленджера» находился экипаж из семи человек, о судьбе которых мы до сих пор ничего не знаем. (Говоря это, он одновременно что-то размашисто пишет на листке бумаги.) А теперь я в очередной раз хотел бы воспользоваться услугами астронавта Джина Сернана, неоднократно побывавшего в космосе, в частности, на кораблях «Аполлон». Он находится в Хьюстоне и сейчас у телефона. (Дженнингс заглядывает в записи, где, видимо, перед этим сформулировал первый вопрос.) Джин, ты слышишь меня?..

Пронзительный, до боли в ушах, свист и едва различимый из-за помех голос.

— Скажи еще что-нибудь, Джин.

— Слушаю,— должно быть, говорит Сернан, но голос его снова тонет в помехах. Свист, треск.

— Джин, если можно, выключи телевизор, или радио, или что там еще у тебя включено. Мы бы хотели послушать тебя одного.

— О'кей,— хрипит Сернан,— выключил, пробую еще раз.— Хрипение переходит в писк, напоминающий писк летучих мышей, и при этом — рассудительная интонация бывалого астронавта и авторитетного ученого.

Шумы не исчезают.

— Возможно, это у нас что-нибудь не в порядке,— говорит Дженнингс.— Джин, ты пока не клади трубку, а мы разберемся, откуда шум.

Он обращается к Стиву Беллу:

— Сегодня утром я был в Белом доме и в коридоре встретил вице-президента. Он тоже был крайне взволнован и спешил к президенту.

Стив молча кивает.

Включаю другой канал, 9-й. Он принадлежит компании «Си-би-эс».

В небе — облако, напоминающее памятник мученикам. «Специалисты центра управления полетом со всей тщательностью анализируют имеющиеся данные...». «Авария, очевидно, крупная...». Ливнем низвергаются белые шлейфы. Все та же видеозапись, все те же картины. Телекомпаниям не разрешается самим вести съемки во время старта космических кораблей; и звук и изображение в таких случаях обеспечивает только НАСА.

— ...И вот все то, что осталось от челночного космического корабля «Чэлленджер», обрушивается в море. — Это голос Дэна Разера. Он третий из последователей «великого», считающегося едва ли не национальным героем Уолтера Кронкайта — человека, изобретшего персональную информационную телепрограмму.

— Итак, установить со всей точностью, что́ именно послужило причиной взрыва, невозможно. Никто не в состоянии сказать, чем он был вызван. Руководство НАСА на данный момент, похоже, пребывает в состоянии полной растерянности.

Вновь на экране «Чэлленджер», обезьяньей хваткой вцепившийся в подвесной бак. Небо пурпурного цвета. Длинный карандаш левой твердотопливной ракеты, откуда-то из-за корпуса «Чэлленджера» пробиваются белые струйки газа, вот-вот произойдет взрыв.

Разер: Вы смотрите замедленную видеозапись. Замедленную видеозапись ка-

тастрофы. Следите внимательно: быть может, замедленная видеозапись подскажет нам, что же случилось.

Желто-оранжевое пламя крадучись взбирается по почти невидимому на сером фоне, а лишь угадываемому топливному баку. Затем с молниеносной быстротой огонь перескакивает под днище «Чэлленджера». Даже в многократно замедленной записи это воспринимается как скачок. Пламя разгорается все ярче, поначалу как бы сжимается, набирая силу для решающего прыжка, затем в мгновение ока охватывает весь корабль. Спереди видна белая вспышка, но тотчас белое и оранжевое пламя сливаются в сплошной огненный шар.

Разер: Сперва небольшой взрыв, он происходит в одной из твердотопливных ракет-ускорителей, в правой, а спустя несколько мгновений — взрыв большой, образующий огненный шар, в котором исчезает «Чэлленджер». (Надпись: SLOW MOTION REPLAY — замедленный повтор.) Сквозь многоцветное марево пробиваются языки пламени.

— Жуть,— произносит Разер. (Он первый, кто так характеризует происходящее на экране.) — Но все же давайте перемотаем ленту назад и, если вы не против, посмотрим еще раз. Ведь важно понять, что́ случилось. Вообще всегда важно отдавать себе отчет в том, как ты воспринимаешь происходящее у тебя на глазах.

Вновь мчится космический Феникс, в который раз уже воскресающий и сгорающий над Атлантикой. Вновь «Чэлленджер» крупным планом, приникший днищем к топливному баку; вновь вспышка и вновь беспорядочно вращающееся белоснежно-оранжевое облако.

— Сейчас запись воспроизводилась с нормальной скоростью,— говорит Разер. — А теперь прокрутим ее замедленно. Обратите внимание на правую ракету: взрыв, по всей вероятности, произошел там... Правая твердотопливная ракета... И уже через несколько мгновений образовался огненный шар, в буквальном смысле слова превративший «Чэлленджер» в пепел. Итак, давайте посмотрим. Сейчас будет включена замедленная запись...

На стене за спиной Дэна Разера карта мира. На столе перед ним уменьшенная копия челночного космического корабля. По обе стороны ржаво-красного, по форме похожего на гаванскую сигару подвесного топливного бака — белые «сигареты» вспомогательных ракет-ускорителей; сам же корабль — раскинувший крылышки мотылек.

— Запись вот-вот будет включена... А пока взгляните сюда.

Он берет в одну руку модель, другой проводит по выступающим из-под крыльев челночного корабля «сигаретам».

— Вот это и есть ускорители, или, иначе говоря, вспомогательные ракеты.

Он трет их с таким усердием, словно хочет намагнитить, как школьники на уроках физики трением намагничивают расческу, чтобы та притягивала разбросанные по столу мелкие клочки бумаги.

— Пламя показалось вот здесь, справа, из боковой стенки ракеты. После этого и случилось... После этого и произошел сильный взрыв. — Поставив модель на стол, он, разводя ладони в стороны, показывает, как разрастался огненный шар.— Но давайте все же посмотрим замедленную запись.

Слабая вспышка где-то между ракетой и топливным баком едва ли ярче, чем излучение светлячка; огонек быстро бежит вперед. (Разер: «Видели вспышку на правой ракете?») Оранжевый, огненный вихрь, к нему примешиваются зеленые, светло-зеленые струи пламени. Так медленно запись еще не воспроизводили.

Разер: Все это случилось после произведенного сегодня утром запуска, на 72-й секунде полета. В 56-й раз направляло НАСА в космос пилотируемый корабль... А сейчас... вон там, справа. Как ужасающе все это выглядит при замедленном повторе... Взгляните, в правом верхнем углу экрана...

Видеолента остановлена. На экране неподвижная картина: из облака дыма выступает вперед некий предмет, по форме напоминающий ракету.

— Это одна из ракет-ускорителей,— с заметным волнением говорит Разер. — Она отцепилась и, как видите, целой и невредимой выходит из дымного облака, внутри которого в бушующем пламени погибли, по всей вероятности, и корабль, и вторая ракета, и топливный бак. А этот ускоритель, как видите, цел. По одной из существующих версий, причиной катастрофы послужил взрыв правой вспомогательной ракеты. На этом кадре мы видим, что вторая ракета не взорвалась.

Дэн Разер отодвигает модель влево от себя. Это уменьшенная копия не просто челночного космического корабля вообще, а именно «Чэлленджера». На крыльях модели хорошо видны звездно-полосатый флаг, буквы «USA» и узкая черная полоска, подчеркивающая название: «CHALLENGER». Как и Дженнингс, Разер возбужденно жестикулирует, но жесты у него другие. Если ведущего программу «Эй-би-си» можно в этом отношении сравнить с дирижером, то Дэн Разер скорее учитель. Руки первого описывают в воздухе широкие, размашистые дуги, руки второго — более сдержанны, акцентируя на чем-то внимание во время объяснений, он лишь поднимает указательный палец.

— Подчеркиваю: это только предположение,— продолжает ведущий программу «Си-би-эс». — Как уже сообщал наш корреспондент Брюс Холл, во Флориде стояли очень сильные холода. Существует гипотеза, что на морозе и утреннем солнце на обшивке «Чэлленджера» образовались достаточно крупные сосульки, которые, упав, повредили вспомогательную ракету, и это впоследствии привело к взрыву.

Машинальными движениями руки он поглаживает модель «Чэлленджера», взгляд его между тем устремлен несколько ниже объектива камеры, где, по-видимому, стоят мониторы. Как-то раз у меня была возможность с минуту посидеть за сто-

лом ведущего одной из американских телепрограмм, и я знаю, что в их поле зрения во время передачи как минимум четыре-пять включенных мониторов.

— Наш корреспондент в Белом доме Билл Плэнт находится сейчас перед зданием штаб-квартиры президента. Ранее он уже информировал нас о том, что пресс-секретарь Ларри Спикс провел встречу с журналистами в очень печальном тоне. Итак, известно ли в Белом доме что-нибудь новое? Что-либо новое об утренней катастрофе?

Билл Плэнт — в сквере перед Белым домом. Он в дождевике; у него волевое лицо с квадратным подбородком; как и Дэн Разер, на вид он типичный житель американской провинции. Сквер перед Белым домом — традиционное место, откуда телекорреспонденты выходят на связь со студией, если в зале для пресс-конференций ничего не происходит. Справа на экране старое дерево с раздвоенным стволом, чуть ближе — стройная молодая березка; американские телезрители видят их чаще, чем любую, даже самую популярную «звезду». Зелень газона — в белых пятнах снега; клочьями ваты повис он и на кустах. Тень окрашивает колонны Белого дома в голубой цвет; на плаще корреспондента пляшут солнечные блики.

Плэнт: Пока ничего нового, Дэн. Все молчат, смотрят телевизор и ждут сообщений НАСА. Между НАСА и Белым домом установлена прямая связь. (Надпись: BILL PLANTE, CBS NEWS. И эмблема телекомпании: глаз.) Но вплоть до настоящего момента не поступило никакой новой информации. Известно лишь, что когда вице-президент и советник по национальной безопасности сообщили президенту о случившемся, он был ошеломлен и не мог вымолвить ни слова.

Холодно. Билл Плэнт говорит, и изо рта у него идет пар. (Надпись: LIVE, WHITE HOUSE. Прямая трансляция, Белый дом.)

Плэнт: Президент находился в Овальном кабинете, когда ему сообщили о происшествии. Он тотчас перешел в соседнее помещение, в свой рабочий кабинет, и, как уже говорилось, просмотрел от начала до конца передававшуюся по телевидению видеозапись, ту самую, которую только что еще раз смотрели и мы с вами. Сегодня в Белом доме тяжелый день. Тяжесть его усугубляется тем, что, готовясь выступить вечером в конгрессе с речью «О положении страны», президент намеревался выдержать ее в оптимистичных тонах. Как нас проинформировали, в этом традиционном выступлении, подводящем итоги минувшего года, президент уделит место и тому, что сегодня случилось с «Чэлленджером».

— Не предлагал ли кто-либо отменить выступление президента, отложить его?

Дэн Разер смотрит мимо камеры, на экран монитора, то есть на Плэнта. И тот и другой видят друг друга, как если бы разговаривали по видеотелефону.

— Нет. Во всяком случае нам этого не говорили. Такой вопрос был задан пресс-секретарю Ларри Спиксу, но он лишь сказал, что пока подобная вероятность не обсуждалась.

Короткая пауза. Плэнту явно нечего больше сказать; он листает блокнот, находит нужную страницу и начинает зачитывать всю ту информацию, которую телезрители уже слышали как минимум столько раз, сколько на их экранах этим утром стартовал «Чэлленджер». Плэнт говорит о встрече журналистов с начальником канцелярии Белого дома Дональдом Риганом, о том, как ему принесли записку. Мне очень горько произносить это, сказал Риган, но космический корабль взорвался.

— Приблизительно в таких же словах о случившемся сообщили президенту,— добавляет Плэнт. — Его реакцию можно понять: подобные известия ошеломляют. Мы все тоже пребываем в состоянии, близком к шоковому.

Разера мало интересуют подробности встречи журналистов с Риганом, и он возвращается к своему прежнему вопросу:

— Выступление президента с речью «О положении страны» назначено на семь вечера по времени Восточного побережья или на восемь — по времени Центральной зоны. Все может статься, Билл... Времени, чтобы отменить выступление, еще достаточно. Пока же, как тебя проинформировали, президент намерен не отступать от распорядка дня и с речью все-таки выступить, не так ли?

Поеживаясь от холода, Плэнт согласно кивает.

— Да, все так и есть, Джон. Насколько нам известно, речь состоится.

— Благодарю, Билл,— говорит Разер и поворачивается к телекамере. — Как мы уже сообщали, родители учительницы... (он заглядывает в свои записи) ...Кристы Маколифф (вновь смотрит в объектив), живущие в Эйдингрейсе, штат Орегон, в числе приглашенных присутствовали на трибуне для почетных гостей, находящейся в трех милях от космодрома. Они наблюдали запуск воочию. Вот видеозапись, сделанная на трибуне.

Дети, одетые в сине-бело-красное. Синие спортивные куртки, красные бейсбольные шапочки. Женщина подносит к глазам фотоаппарат, объектив направлен куда-то вдаль. Рядом другая женщина — очень хорошенькая, с тугими завитками волос — широко улыбается, демонстрируя красивые зубы.

Обе они — в центре кадра, в центре круговорота улыбок и цветов национального флага. Обе молчат.

Мужчина в коричневой шапке с козырьком, на лице его, изборожденном глубокими, загрубелыми морщинами, застыла улыбка. Он поднимает воротник драпового пальто, поправляет на шее шарф цвета беличьей шерстки, под шарфом виден толстый белый свитер. На отвороте пальто у него два значка размером с кофейное блюдце. Один из них, насколько можно разобрать, посвящен 25-й экспедиции на челночном космическом корабле; на втором — портрет женщины, его дочери,

в этом нет никаких сомнений. По периметру значка надпись: «В космосе — учительница».

Из-за шума голосов не слышно, что говорит в это время комментатор НАСА. А быть может, слишком тихо работают динамики. Гомон на трибунах усиливается.

Женщина, сидящая рядом с мужчиной, судорожно обхватила его руку. На ней белая шуба из искусственного меха с высоким воротником; волосы коротко острижены и со вкусом уложены, седина ей идет и отнюдь не диссонирует с молодо выглядящим лицом. Глядя вдаль, она сильно щурится и то и дело прикладывает к губам носовой платок. Над сине-бело-красной трибуной взмывают в небо возгласы ликования. Видимо, космический корабль стартует. Для сидящих на гостевой трибуне он — объективная стальная реальность, мы же не видим его, наше внимание поглощено другим.

Одной рукой, одетой в перчатку, женщина загораживает глаза от солнца, другой — обвивает шею мужа; глубоко дыша, она что-то кричит. Мужчина широко улыбается и целует ее в лоб. (Надпись: WNEV VIDEOTAPE.)

Школьники стараются перекричать друг друга и восторженно аплодируют. Женщина прячет лицо на груди мужа, затем поднимает голову, некоторое время следит взглядом за невидимым нам «Чэлленджером» и снова склоняется к супругу. Микрофоны едва улавливают отдаленный шум двигателей, напоминающий грохот сталепрокатного стана. Плечи у матери Кристы Маколифф вздрагивают, будто ей не хватает воздуха, она то открывает, то вновь закрывает рот. Муж прижимает ее голову к своей груди, обнимает, и все это так же механически, как прежде механически поцеловал в лоб.

Видно направленную на них слева видеокамеру. Несмотря на встроенный микрофон, это явно любительский аппарат: камеру с таким маленьким объективом уважающий себя «профи» даже в руки не взял бы. Кто же это, не обращая внимания на доносящиеся со стороны космодрома громовые раскаты, снимает на пленку чету Маколифф? Что за будущий профессионал, повернувшись спиной к поистине завораживающему зрелищу, навел объектив своей камеры, годящейся разве что для семейного развлечения или детской забавы, на эту стареющую пару, на эти вздрагивающие в напряженном волнении лица?

Что касается оператора фирмы WNEV, то с ним-то все ясно: он именно это и должен снимать, именно это ему поручено, и отвлекаться на что-либо другое он попросту не имеет права.

Дети все еще аплодируют; сделав несколько снимков, женщина опускает фотоаппарат и, подняв руки, хлопает в ладоши, призывая всех находящихся на трибуне присоединиться. Ее соседка, та, что с химической завивкой,— быть может, младшая сестра Кристы, если у нее вообще есть сестра,— наклоняется к чете Маколифф. Да, по-видимому, это их младшая дочь: седоволосая женщина кладет ей на плечо руку, словно надеется, что вот так, сплотившись всей семьей, они непременно уберегут «космическую учительницу» от тягот и бед.

Взгляды всех устремлены в небо. Лицо седоволосой женщины словно окаменело, вокруг плотно сжатых губ явственно обозначились морщины. И тут из динамиков совершенно отчетливо звучит фраза: «CHALLENGER GO AND THROTTLE UP».

Женщина оборачивается к дочери, рукой в перчатке снимает с ресниц набежавшую слезу, снова прячет лицо на груди мужа. В этот момент, в этот кратчайший миг ей не виден удаляющийся космический корабль.

Визг. Так вырывается у мчащихся вниз по «американской горке» воздух из легких. Что же они увидели? И возможно ли вообще разглядеть что-либо, находясь в десяти милях от той точки в небе, где, должно быть, сейчас разрастается двурогое облако? Это не вопль ужаса, скорее — экстаза. Мальчик в очках и с кривыми, торчащими вперед зубами (в отличие от большинства школьников, он в светлой, а не в темно-синей куртке) начинает хлопать в ладоши. Мать «космической учительницы» вновь пристально смотрит в небо, в ту невидимую точку, где, как ей кажется, должен находиться корабль. Не шевелясь, поджав, как жена, в волнении губы, мужчина тоже напряженно вглядывается в даль. Временами он что-то бормочет — не поворачивая головы, обращаясь, наверное, к самому себе,— но по губам невозможно понять что именно. На заднем плане кривозубый подросток перестает аплодировать и указывает рукой куда-то вверх.

Женщина чуть заметно шевельнулась. И обернулась — не к мужу, не к дочери, а к стоящим слева совершенно чужим ей людям. Руками в перчатках она трет глаза; теперь, когда ЭТО случилось, она не выглядит более взволнованной, чем в момент старта, когда все мысли сводились к одной: о, только бы ничего не случилось. На лице мужчины медленно тает застывшая гримаса улыбки. Он снимает руку с плеча жены, озирается по сторонам.

Перестав тереть глаза, женщина вновь устремляет взгляд в небо. Туда же, задрав головы, вглядываются стоящие позади школьники, все до единого. Полная тишина. И в этой тишине отчетливо слышится голос комментатора НАСА: «Специалисты центра управления полетом со всей тщательностью анализируют имеющиеся данные...»

Дэн Разер в студии. На стене за его спиной карта мира, прямо над головой — Европа.

— Вы видели родителей учительницы Кристы Маколифф, наблюдавших сегодня утром запуск «Чэлленджера». Короткий полет, наполнивший было их сердца счастьем и гордостью, завершился слезами. (Смотрит в записи.) А теперь посмотрите видеоленту, отснятую незадолго до старта, когда ничто еще не предвещало беды.

Он опускает глаза и смотрит на один из мониторов.

На экране — новая видеозапись.

Сейчас, когда я уже знаю, что произошло впоследствии, эта картина напоминает мне «Тайную вечерю». Правда, за столом только семеро. Но стол такой же длинный... Леонардо да Винчи словно тогда уже предвидел, как надо будет рассаживать прощающихся в эпоху телевидения. Чтобы все они находились по одну сторону стола, в крайнем случае можно приставить стулья к торцам; главное — чтобы четвертая сторона оставалась свободной, открытой для телекамер. Из Леонардо вышел бы гениальный телеоператор.

У этих семерых не последний ужин, а завтрак. Но тоже последний. Они еще не стали знаменитыми. В самом центре стола — корзина роз. Интересно, всегда ли, перед каждым ли запуском завтрак проходил с розами? Или только сейчас — чтобы скрасить астронавтам час вынужденной задержки старта — и поставили перед ними большую корзину цветов? Почти все они еще не известны. Слева за столом широкоплечий, с изрядным брюшком, можно даже сказать — тучный мужчина; резко очерченное, выразительное лицо; перед ним — тарелка с сандвичами; типичный капитан космического корабля из научно-фантастических фильмов. Учительницу мы уже видели много раз. В период подготовки к полету не было такой недели, чтобы она не фигурировала в программе новостей той или иной телекомпании. Она единственное гражданское лицо среди профессионалов, обыкновенная женщина, которой выпала честь стать «звездой» этого полета. Рядом с ней — возбуждающе красивая библейская Ревекка; это, видимо, Джудит Резник. Затем чернокожий юноша — Макнейр, он был единственным негром среди астронавтов. Кто-то — по всей вероятности, один из служащих телестудии НАСА — хрипловатым голосом поясняет:

— Экипаж за завтраком.

Камера накатывается на толстяка. У него монгольский разрез глаз, желтовато-смуглая кожа, сильные руки, покоящиеся на коленях. Он гаваец. Как же его фамилия? Ах да, Онизука. Эллисон Онизука. На заднем плане виднеются крупные листья филодендрона и портьера в сине-зелено-черно-белую клетку, отделяющая астронавтов от внешнего мира. У Онизуки веселый, решительный и озорной взгляд. Он вообще производит впечатление сорванца-парня, этот Онизука; вот и сейчас, когда в глаза ему ударил свет фотовспышки, он состроил гримасу. Вспышка столь же короткая, как и та, от которой вспыхнул корабль, но в данном случае она холодная и безобидная.

В руке у Кристы стакан с водой. Обыкновенная маленькая женщина, каких во множестве можно встретить на улицах что Нью-Йорка, что Конкорда, что Будапешта. Ей чуть-чуть не хватает утонченности матери и женственности младшей сестры. Она от души смеется и явно чувствует себя раскованно. В ней ощущается беззаботная уверенность новичка в том, что любая система, если ею управляют настоящие «профи», безопасна и благополучно преодолеет все. (Надпись: EARLIER THIS MORNING. Сегодня утром.)

Снова тот же надтреснутый голос:

— Астронавты во время завтрака сегодня утром. Все очень счастливы, все рады представившейся возможности отправиться в полет на челночном космическом корабле. Эллисон Онизука, Криста Маколифф... А на дорогу, как пожелание счастливого пути,— традиционный торт к завтраку. (Текст несомненно составлен в НАСА. Он лишний раз подтверждает, что у всех институтов в мире принципы саморекламы одни и те же.)

Торт темно-синего цвета с белыми звездочками, в центре — желтый космический корабль. Кроме того, на столе еще соус к жаркому, соль, перец, даже горчица; перед всеми этими специями восседают сложа руки два главных профессионала, оба летчика-испытатели, оба здоровяки, отнюдь не изнуряющие себя диетами. Кто из них Смит, то есть второй пилот, а кто Скоби, чей голос прозвучал в эфире перед самым взрывом?

Джудит Резник (она сидит рядом с большой корзиной роз, в которую воткнут американский флаг) больше похожа на кинозвезду, исполняющую роль женщины-астронавта. Изогнутые дугой брови, безукоризненно правильные черты лица, волнующие формы фигуры, не скрадываемые даже просторным комбинезоном. Макнейр, единственный темнокожий в экипаже, меланхолично взирает на все вокруг сквозь линзы очков, придающих ему вид научного работника. Бок о бок с ним Джарвис, космический трудяга. Вчера в интервью одной из телепрограмм он сказал: без механика не обойтись все одно что на земле, что в небе. На столе перед каждым — нож, две вилки, стакан с водой, но тарелок пока еще нет. На лицах у всех кроме Кристы положенные по протоколу улыбки; только учительница в ожидании скорого старта улыбается искренне, радостно.

— ...С целью установления личности... — вдруг врывается чей-то голос, и на экране возникает молодой человек, находящийся уже не в комнате, где завтракает экипаж, а под открытым флоридским небом. На нем галстук в красно-бело-синюю полоску. Из-за правого плеча виднеется одиноко стоящая стартовая опора, чуть дальше начинается лесополоса. По краям выжженной, пустынной площадки — приземистые строения из легких металлических конструкций. На уровне локтя молодого человека вдали по дороге мчится зеленый грузовик.

— Вы видели завтрак астронавтов. Видели Джудит Резник, Рона Макнейра, Грега Джарвиса... Все были готовы к старту и после стольких отсрочек ждали его с нетерпением. (Надпись: BRUCE HALL, CBS NEWS.) Выходя из комнаты, где экипаж завтракал, Криста Маколифф сказала: «Сегодня обязательно полетим». Она так мечтала об этом космическом путешествии! (Надпись: LIVE, KENNEDY SPACE CENTER.

Прямой репортаж. Космический центр имени Кеннеди.) Уже через несколько дней после начала предполетных тренировок она почувствовала себя полноправным членом экипажа. Нет-нет, она по-прежнему ощущала себя учительницей, а не астронавтом, но к этому ощущению добавилось новое: экипаж принял ее. Когда... (Он бросает короткий взгляд в сторону.) Телеоператоры НАСА только что прибыли на место происшествия. Не знаю, Дэн, видишь ли ты то же самое в Нью-Йорке, но отсюда хорошо видны многочисленные обломки на поверхности океана. Мне трудно сказать, в скольких это милях от центра имени Кеннеди, в шести или, может, семи, но отчетливо вижу, на какой большой площади разбросаны в океане мелкие обломки.

На экране море. Поверхность его подернута рябью, волны искрятся в лучах яркого солнца.

— Самолет НАСА пролетает над зоной падения обломков,— говорит Брюс Холл.

Перекинувшийся через океан серебристый солнечный мост по мере движения самолета перемещается влево. К горизонту вода становится светло-зеленой.

— По первым докладам находившихся вблизи места происшествия наблюдателей, обломки падали в море в течение нескольких минут. А возможно, все произошло за считанные секунды, показавшиеся им долгими минутами. Если как следует приглядеться, то примерно в центре экрана можно увидеть мелкие обломки «Чэлленджера».

Разбросанные останки челночного корабля колышутся на волнах, словно бумажные кораблики. (Надпись: LIVE, RECOVERY OPERATION. Прямой репортаж с места поисков.)

— Это первые кадры, показывающие работу поисковых команд. НАСА направило в зону бедствия специально подготовленных людей, задача которых — разыскать среди обломков узлы и детали, которые пролили бы свет на причины катастрофы и дали ответ на вопрос: был ли у астронавтов хотя бы малейший шанс остаться в живых. Итак, это первые кадры, поступающие к нам из зоны поисков, расположенной всего в нескольких милях от центра имени Кеннеди. Размеры обломков крайне малы, хотя космический корабль был очень большим, а вместе с подвесным баком и вспомогательными ракетами — так просто огромным. Обломки же, как видим, совсем крохотные. Аналогичную картину обычно представляет собой место падения в воду самолета... Взрыв мало что пощадил.

Сотни обломков покачиваются на волнах.

Говорит находящийся в Нью-Йорке Дэн Разер:

— Прямой репортаж, который вы видите, передается из поисковой зоны, расположенной в нескольких милях от флоридского побережья Соединенных Штатов. Сегодня утром, через минуту и двенадцать секунд после старта, над этим местом на борту «Чэлленджера» произошел взрыв. Образовался гигантский огненный шар... Неудивительно, что после этого мы видим на воде такие мелкие обломки.

Вдалеке проходит какое-то судно, заметное лишь по дыму над трубой.

— Брюс, быть может, есть смысл затронуть кое-какие технические вопросы,— говорит Разер,— ведь запуск челночного космического корабля — дело настолько сложное, что без объяснения каких-то технических вещей тут, я полагаю, не обойтись. Возможно, тогда и телезрители яснее представят себе, что могло произойти. Пожалуй, нам стоит поговорить о том, на какие фазы делится стартовая программа, программа запуска, и на какой из этих фаз случилась катастрофа.

Самолет НАСА, должно быть, заходит на разворот: в объективе камеры только небо — пустынное, опустевшее небо,— лишь над самым горизонтом белеет полоска облаков.

— У тебя есть макет, Брюс? Нет?

Теперь камера показывает море с берега. На белесый песок размеренно накатываются волны.

— Нет, Дэн,— отвечает флоридский корреспондент,— но, я думаю, подойдет и тот, которым пользовался ты, когда объяснял строение корабля. Точку же, в которой произошел взрыв, телезрители видели, когда смотрели замедленную видеозапись. Разумеется, все наши версии — всего лишь версии, и мы не должны забывать, что НАСА не сделало пока никакого заявления о причинах катастрофы.

В кадре — автостоянка перед зданием кубической формы, на заднем плане — стартовая опора. За спиной Брюса Холла проезжает бордового цвета лимузин.

Брюс Холл: Тем, кто уже не раз наблюдал запуск космического корабля, на ум приходит сразу несколько вещей. (Вдоль автостоянки в поисках свободного места медленно движется автомашина кремового цвета.) На той фазе полета, которая предшествовала взрыву, из топливного бака в двигатели «Чэлленджера» подавалось четверть миллиона галлонов сверхсжиженных водорода и кислорода в секунду. И вот на двенадцатой секунде второй минуты полета, как свидетельствует замедленная видеозапись, происходит небольшой взрыв, а затем — взрыв гигантский, взрыв подвесного топливного бака. В этом резервуаре содержится весь запас горючего, необходимый для вывода челночного корабля на орбиту. Повторно использовать его невозможно, и в соответствии с программой он должен был упасть в Индийский океан. В момент взрыва бак был еще почти совсем полный. (За спиной Брюса Холла в воздухе парит птица.) Мощнейший взрыв, в результате которого образовался гигантских размеров огненный шар,— это был взрыв топливного бака. Ему предшествовал, как показала видеозапись, малый взрыв, длившийся не более секунды или даже миллисекунды и происшедший в одной из секций твердотопливной вспомогательной ракеты. Впрочем, об этом ты уже рассказывал телезрителям, Дэн. Так вот, все случилось в то время, когда корабль проходил зону максимального скоростного напора, когда скорость составляла 104 процента и двигатели работа-

ли на полную мощность. (Глядя на его жесты, можно подумать, что он проводит урок сольфеджио.) Позднее, по истечении второй минуты полета, ракеты-ускорители должны были отцепиться (он показывает руками, как ракеты разлетаются в стороны), а двигатели — вновь сбавить скорость до 64 процентов. Но взрыв произошел раньше — когда сила тяги двигателей была наибольшей за все время полета.

Снова на экране Дэн Разер. Он придвигает к себе макет.

— Сказанное вполне совпадает с тем, о чем уже говорилось ранее. Попытаемся же разобраться, что произошло в действительности. Сперва я объясню, откуда берется эта самая сила тяги, что ее обеспечивает, затем мы снова прокрутим видеозапись с нормальной скоростью и проследим весь полет от момента старта до двенадцатой секунды второй минуты, потом перемотаем ленту и вновь пустим ее уже с замедленной скоростью, чтобы было яснее все то, о чем только что рассказал Брюс Холл.

Он, видимо, несколько отодвинул стул от камеры, и теперь над его головой на карте Европы — Испания и Атлантический океан. Рукой он делает пассы вокруг макета «Чэлленджера».

— Итак, перед вами уменьшенная копия челночного космического корабля. Должен признаться, что я не являюсь специалистом в этой области и заранее прошу извинить меня, если мои объяснения будут не всегда толковыми, но я искренне хотел бы, чтобы вы поняли, как функционируют системы челночного космического корабля, поскольку надеюсь, что это поможет вам яснее представить картину случившегося сегодня утром. «Чэлленджер» имел три двигателя. Вот они, внизу.

Крупным планом на экране — хвостовая часть «Чэлленджера», то есть его макета, где расположены крылья и стабилизатор. Видны и три черных раструба двигателей.

— Это, стало быть, собственные двигатели челночного корабля. В них подается сжиженный водород. Все эти три основных двигателя работают на сжиженном водороде. (Он поглаживает пальцами раструбы.) На сжиженном водороде и сжиженном кислороде. Но даже все вместе эти три двигателя, или, проще говоря, три мотора, обладают недостаточной мощностью для того, чтобы обеспечить старт космического корабля. Поэтому существуют еще и твердотопливные ракеты. (Он поочередно проводит рукой по расположенным с двух сторон топливного бака белым карандашам.) Подобные твердотопливные ракеты во время второй мировой войны применяли немцы. Реактивная сила у них очень большая, и они помогают взлетать всей этой (заглядывает в записи)... всему этому стартовому комплексу. А вот в этом резервуаре, имеющем форму сигары, содержится жидкий водород и кислород. К корпусу резервуара прикреплен челночный космический корабль. Короче говоря (снова крупным планом хвостовая часть «Чэлленджера»), как ни мощны собственные двигатели корабля, им не под силу обеспечить его запуск и вывод на околоземную орбиту. Когда же корабль стартовал и достиг определенной точки в воздушном пространстве, необходимость во вспомогательных ракетах отпадает и они, выполнив свою функцию, отцепляются и падают... Так что же произошло сегодня утром? Весь этот комплекс был в сборе. (Двумя ладонями он обхватывает макет.) То есть все скреплено между собой — топливный бак, ракеты-ускорители и челночный корабль. Так оно и должно быть в момент старта... А теперь мы продемонстрируем вам все это в видеозаписи, прокрутив ее сперва с нормальной, а затем с замедленной скоростью. Как мы видели раньше, первый взрыв произошел в одной из твердотопливных ракет, в правой. (Прикасается пальцем к одной из ракет, держа всю конструкцию так, чтобы правая ракета для него была слева, а для телезрителей — справа.) Итак, включаем запись, сперва нормально, потом замедленно. Как это выглядело в действительности...

На экране двигатели уже настоящего «Чэлленджера», не макета. Красно-синяя газовая вуаль вытекает из раструбов; из такого же тонкого, почти прозрачного материала изготовляют французский государственный флаг. И — «два... один... старт!» (И — как мы уже знаем — «25-я экспедиция по программе «Спейс шаттл»...») Вблизи двигателей воздух становится ярко-красным. «Чэлленджер» взлетает почти вертикально, затем поворачивается вокруг своей оси. Оглушительно ревут двигатели. Откуда этот грохочущий звук? Где могут в это время находиться микрофоны? Уж не в самом ли космическом корабле? Но тогда это означало бы, что и до экипажа этот ободряющий, мощный гул доносится с такой же громкостью... «Чэлленджер» уже летит, опрокинувшись навзничь, в левый бок ему светит солнце, и обшивка сверкает ослепительной белизной. Правую твердотопливную ракету не видно за подвесным баком. И вот снова все повторяется: GO AND THROTTLE UP, оранжевое облако, разбегающиеся в стороны дымные шлейфы и специалисты центра управления полетом со всей тщательностью анализируют имеющиеся данные...

— Авария, очевидно, крупная,— повторяет Дэн Разер вслед за комментатором НАСА наименее. пожалуй, подходящую для характеристики трагедии фразу.— Это, само собой разумеется, означает катастрофу. Катастрофа в небе, границы которого «Чэлленджер» штурмовал... А теперь посмотрим видеозапись с замедленной скоростью.

На фоне лилового неба — расплывчатый контур «Чэлленджера». (Надпись: SLOW MOTION REPLAY.) Едва заметный мерцающий свет над невидимым топливным баком, он быстро перемещается вперед, под кабину экипажа.

— Критический момент,— комментирует Разер.— Весь комплекс в целости: «Чэлленджер», подвесной бак, вспомогательные ракеты — обе пока невредимые. Со старта прошло где-то три четверти минуты. Хоп-п! Теперь остановим ленту. Это похоже на первый взрыв.

Техник среагировал недостаточно быстро, и в небе успел возникнуть клубящий-

ся бело-розово-красный шар, тотчас заполнивший весь экран.

— Это уже подвесной бак. Огненный шар образовался в результате детонации жидких водорода и кислорода, смесь которых чрезвычайно взрывоопасна.

Слышен стук пишущей машинки, доносящийся, очевидно, из помещения студии. В остальном — полная тишина. Замедленное воспроизведение идет без звука.

— Вы видели замедленную видеозапись. А теперь вернемся в район, где продолжаются поиски обломков космического корабля и тех, кто, быть может, остался в живых.

Снова море, снова подернутые рябью волны, на которых колышется все, что осталось от огромного стартового комплекса.

Разер: На ваших экранах район бедствия. Прямой репортаж с борта поискового самолета НАСА. Обломков обнаружено мало, и НАСА пока не располагает достаточным материалом, чтобы объяснить случившееся. Нет даже официальных версий того, что именно могло случиться сегодня утром. Брюс Холл уже говорил, что, по мнению многих корреспондентов, неоднократно бывавших на космодроме при прежних запусках, холодная погода, необычайные для Флориды морозы могли способствовать образованию сосулек, которые — повторяю, это не более чем предположение,— падая, могли, в свою очередь, пробить обшивку корабля, бака или ракеты, открыв доступ воздуху в отсеки с взрывоопасным топливом.

На поверхности моря будто кто-то рассыпал яичную скорлупу.

Переключаю телевизор на 7-й канал, принадлежащий компании «Эй-би-си». Та же картина: множество белых птиц на воде.

4-й канал, «Эн-би-си». Том Броккоу выглядит очень напыщенно; судя по выражению его лица, он раздобыл чрезвычайно ценную информацию.

— Как нам сообщили, Нэнси Рейган смотрела репортаж о запуске в одиночестве. Она находилась в жилых апартаментах Белого дома. «О боже! Нет!» — воскликнула она, когда увидела на экране огненный шар...

Раз так, то уж лучше море со скорлупками обломков на поверхности. Снова включаю канал «Си-би-эс», но там уже покинули поисковую зону. Перед камерой мужчина в темно-синем костюме, на нем желтый галстук в синюю крапинку. Слева от него американский флаг — видно лишь три красные полосы и несколько белых звезд на синем прямоугольнике, остальное за кадром. Справа кафедра с четырьмя микрофонами. Это министерство обороны, Пентагон. Учреждение, где даже микрофоны похожи на пистолеты, а штекер, соединяющий микрофон с проводом, имеет форму спускового крючка и соответствующим образом расположен. На стенке кафедры герб: орел со щитом на овальном, залитом солнечными лучами поле. По периметру овала надпись, но в кадре только часть ее: «...PARTMENT OF...» — «нистерство...»

— Дэн, в поисках участвуют подразделения береговой охраны,— говорит одетый в синее с желтым мужчина.— В зоне сейчас находятся два их катера. Военно-морских судов в прибрежных водах не оказалось. Но в район падения обломков направляется еще один, третий катер. (Надпись: DAVID MARTIN, CBS NEWS.) Говорят, начало поисков было специально задержано, чтобы ни один корабль не оказался в районе бедствия, пока не упали все обломки. Нам, разумеется, трудно, находясь здесь, подтвердить или опровергнуть целесообразность такого решения. В настоящий момент в направлении зоны поисков также держат курс два судна военно-морских сил, одно из которых минут через сорок пять прибудет на место. Не думаю, чтобы они сосредоточили все внимание на поисках оставшихся в живых. Скорее — будут собирать обломки. Ведь по ним, возможно, удастся определить, что же, собственно, случилось.

Дэн Разер зачитывает с листа:

— Запуск челночных космических кораблей, как и осуществление всей космической программы Соединенных Штатов, обеспечивает НАСА. Решение об этом принято еще в 50-е годы. В то же время в Советском Союзе существует военное космическое учреждение,— подчеркивает он и поворачивается к монитору, с экрана которого на него смотрит Дэвид Мартин.

Мартин: Да, это так. Но нельзя забывать, что едва ли не львиную долю полетов челночных космических кораблей финансируют американские военно-воздушные силы. (Надпись: LIVE, PENTAGON.) Первоначально они видели в «челноках» идеальное средство для вывода на орбиту военных спутников. Но позднее, причем именно из-за часто возникавших неполадок в системах челночных кораблей, командование ВВС вновь склонилось к тому, чтобы некоторые, особо дорогостоящие спутники запускать все же с помощью ракет и сохранить таким образом у себя в резерве запасное средство вывода на орбиту различных объектов. Сегодняшняя потеря «Чэлленджера» — это потеря четвертой части всего нашего космического флота. Ущерб от катастрофы огромен. Не только потому, что в ней погибли люди, но и потому, что погибло оборудование, погиб сам корабль. Вдумайтесь, ведь это равноценно потере в одно мгновение сразу каждого четвертого самолета наших военно-воздушных сил. Существовавшей доныне гармонии в осуществлении военной и гражданской космических программ теперь, я полагаю, пришел конец.

— Спасибо, Дэвид,— говорит Дэн Разер и снова становится просто диктором. Он повторяет информацию о взрыве, о его точном времени в долях секунды и месте в градусах широты и долготы, о том, как встретили эту весть в Белом доме, о том, что до сих пор не известно, остался ли кто-либо из астронавтов в живых.

По каналу «Эн-би-си» демонстрируют фотографию. «Официальное фото НАСА»,— поясняет Дженнингс. Вот описание снимка:

В левом углу — макет «Чэлленджера»; видны твердотопливные ракеты, подвесной

бак уместился не полностью. На переднем плане сидят трое мужчин. Тот, что слева, белокурый, держит свой шлем на коленях наиболее правильно: по оси симметрии туловища, между некрепко сжатыми в кулаки руками. Сидящий в центре выдвинул левую руку немного вперед, а правой за краешек придерживает шлем. В соответствии с фотопротоколом (первый ряд, место в центре) это должен быть командир — Фрэнсис Дик Скоби. В таком случае предыдущий — вероятно, второй пилот. Третий в ряду — негр Макнейр; он тоже держит шлем как положено по инструкции, разве что сам сидит чуть-чуть повернувшись. У него широкая, открытая улыбка. На заднем плане, на фоне флага Соединенных Штатов, который виден лишь частично (дюжина звезд, полосы скрыты фигурами астронавтов), остальные члены экипажа. Круглое, азиатского типа лицо и широкие плечи — это Эллисон Онизука; он пониже ростом, чем стоящие рядом женщины; волосы у него довольно редкие, но еще прикрывают макушку. Криста Маколифф; черты ее лица на снимке получились расплывчатыми, характерны, пожалуй, лишь негустые белокурые кудри. Завивка несомненно домашняя. (Как на рекламном плакате. Пышную шевелюру белокурой красотки насквозь просвечивает яркое солнце. «Укладку делали в парикмахерской?» — «Нет. Пользуюсь средством для домашней завивки волос «Оджайви»!») Высокий, сильно лысеющий мужчина. В буквальном смысле слова яйцеголовый. Шлем держит так, будто это пасхальный кулич или торт. И наконец — Джудит Резник. Загорелая кожа, черные брови. Единственная, кто не изобразил на лице стандартную улыбку.

Голос Питера Дженнингса за кадром:

— Майкл Смит, 40 лет, второй пилот, служил в военно-морском флоте Соединенных Штатов, место жительства — Морхед-Сити, штат Северная Каролина. Фрэнсис Дик Скоби, 46 лет, командир корабля, майор военно-воздушных сил, из Оберна, штат Вашингтон. Рональд Макнейр, 35 лет, доктор наук, Лейк-Сити, штат Южная Каролина. Эллисон Онизука, 39 лет, майор военно-воздушных сил, Килакекуа, штат Гавайи. Криста Маколифф, 37 лет, учительница, Конкорд, штат Нью-Гэмпшир. Грегори Джарвис, 41 год, инженер по спутниковому оборудованию, Детройт, штат Мичиган. Джудит Резник, 36 лет, доктор наук, Акрон, штат Огайо.

И вновь видеозапись. Теперь астронавтов показывают по отдельности, каждого крупным планом. На этой ленте Криста Маколифф совсем другая, не такая, какой казалась за завтраком. В глазах — сама неуверенность. Это не взгляд учительницы, не взгляд классной дамы, от которого робели бы шаловливые ученики. Это взгляд самой простой американки, взгляд одного из тех милых созданий, к которым соседкам и в голову не придет ревновать мужей. И то, что на общем фоне казалось радостной улыбкой, вблизи — лишь имитация улыбки, имитация радости.

У «Си-би-эс» по-прежнему на экране Брюс Холл. (Надпись: LIVE, KENNEDY SPACE CENTER. Космический центр имени Кеннеди, прямой репортаж.) И по-прежнему здесь заняты уменьшенной копией «Чэлленджера». У флоридского корреспондента теперь тоже есть макет, он что-то показывает на нем карандашом — видимо, излагает новую версию. В соответствии с ней первая брешь могла образоваться в подвесном топливном баке. Версия исходит не от НАСА, а опять от тех, кто внимательно следил за видеозаписью.

— Я очень надеюсь, что скоро и НАСА выскажется по этому поводу,— говорит Брюс Холл.— А пока я хотел бы рассказать еще об экипаже. Повышенный интерес к нему был вызван тем, что в его состав входила учительница.

Та же самая фотография, которую чуть раньше демонстрировали по каналу «Эйби-си». Официальный снимок НАСА. Его получила каждая телекомпания.

— Жена Дика Скоби, командира корабля,— тоже педагог. Она очень гордилась тем, что именно в экипаже ее мужа в космос отправится учительница. Поистине счастлив был Грег Джарвис. Дело в том, что до двух предыдущих полетов его не допустили. В первом случае он вынужден был уступить место сенатору Джейку Гарну, а во втором — конгрессмену Биллу Нельсону. Так что он с особым нетерпением ждал этого полета. Это был упорный и уверенный в своих силах человек. (За спиной Брюса Холла синий микроавтобус долго ищет, где бы припарковаться, затем у водителя, видимо, кончается терпение, и машина на полной скорости уносится по направлению к лесополосе.) В ожидании старта мы несколько раз беседовали с родителями Кристы Маколифф. Они признались, что буквально трепещут от страха перед полетом. Пытались отговорить дочь, но Криста сказала: «Я вызвалась сама и не отступлю. Я горжусь данной мне возможностью представлять всех женщин моей профессии. Я знаю, на что иду. Для педагога, для воспитателя это редчайший, огромный шанс...» Короче говоря, несмотря на все треволнения, родители были очень горды за свою дочь. И искренне надеялись, что все с ней будет в порядке. Когда несколько минут назад мы видели их на экране, во время старта, в их глазах были слезы. Но я уверен, что это были слезы счастья. Они знали, как много сделала их дочь ради того, чтобы участвовать в полете. Перед самым стартом Криста заявила, что чувствует себя полноправным членом экипажа. Конечно, прежде всего я учительница, сказала она, но и при этом я ощущаю себя членом экипажа.

Дэн Разер в нью-йоркской студии. Облокотившись на стол, он поглаживает пальцами подбородок.

— Как ты уже не раз повторял, Брюс, мы привыкаем к тому, что космические полеты проходят успешно, и забываем, насколько они все же опасны. Мне вспоминается старая матросская поговорка: море такое большое, а лодка такая маленькая.— Он прищуривается, почти совсем закрыва-

ет глаза, словно пытается представить себе того моряка, что вышел в огромное море на крохотной лодчонке. — А ведь небо значительно больше, чем море, и опаснее. Пилоты так говорят: море не прощает ошибок, небо же — требует жертв. Никто пока не может сказать, что именно произошло на борту «Чэлленджера», когда на 72-й секунде полета корабль взорвался. То, что ты рассказал, Брюс, и что мы показали и еще не раз покажем телезрителям в ходе сегодняшней программы «Си-би-эс»,— очень интересно. А именно — что большому взрыву предшествовал маленький. НАСА по этому поводу пока ничего не заявило, но мы-то ведь все хорошо видели.

Снова идут в ход макеты: покрупнее — в Нью-Йорке, чуть поменьше — во Флориде. Разер отстаивает одну версию, Брюс Холл обосновывает другую. В соответствии с первой — пламя сначала возникло на поверхности одной из ракет-ускорителей. По второй — первым вспыхнул топливный бак.

— Вблизи хорошо видны швы на корпусе главного топливного бака. Но точно такие же швы есть и на твердотопливных ракетах,— говорит Дэн Разер. — Вполне возможно, что очень холодная температура воздуха, составлявшая 28 градусов по шкале Фаренгейта (минус 2 градуса по Цельсию), повлияла на состояние швов...

Теперь за спиной Брюса Холла видно, как белый микроавтобус ищет место на стоянке. Макет космического корабля установлен на столике перед корреспондентом так, что находится на одной линии с возвышающейся на заднем плане пустой стартовой опорой. Брюс Холл делает рукой едва заметный жест.

— Прошу прощения, Дэн, у меня тут что-то со звуком, и я не слышал твою последнюю фразу.

— Нет проблем, Брюс. Телезрители понимают, что репортаж прямой. Я сказал, что, быть может, низкая температура, всего 28 градусов, повлияла на состояние швов.

— Это непременно надо иметь в виду. Ведь 28 градусов по Фаренгейту — температура критическая. При такой температуре образуются сосульки.

Черно-белое фото. Переплетение металлических конструкций, похожее на железнодорожный мост. Стержни, крепления. И — как зубья гигантской гребенки — частокол свисающих сосулек.

— Определенные опасения на этот счет высказывались,— говорит Брюс Холл. — Только что мы с вами видели на снимке, сделанном примерно за час до запуска, какое множество сосулек образовалось на стартовой опоре. А сам топливный бак? Кто знает, не возникло ли на его поверхности нечто подобное? Это, правда, маловероятно...

Сталактитовая пещера в черно-белом изображении. Вся стартовая опора увешана острыми, как наконечники копий, блестящими стержнями.

— Среди сосулек были и в два фута длиной,— говорит Дэн Разер. — А вон та, на мой взгляд, даже крупнее.

Пять минут телезрители имеют возможность разглядывать сосульки — на фотографиях, в видеозаписи. Сам факт фигурирования этих природных образований в телевизионной программе свидетельствует о том, что ничего более важного в данный момент, с точки зрения телекомпании, нет. Уже долгое время не происходило ничего чрезвычайного, а стало быть, раз произошло, то не стоит жалеть времени на показ этих ледяных органных труб, если уж они имеют отношение к случившемуся. За спиной Брюса Холла движение становится все более оживленным; будто после катастрофы Флориде потребовались долгие часы, чтобы прийти в себя. В эфире же тянутся одна за другой пустые минуты, в течение которых единственная существенная информация — что катапультируемых кресел в кабине челночного космического корабля не оказалось по одной простой причине: их сняли, чтобы освободить место для приборов. Места в «челноке» всегда для чего-нибудь не хватает.

Включаю 4-й канал. Некий специалист рассказывает о том, что нынешний запуск «Чэлленджера» осуществлялся со стартовой опоры типа «39/В», тогда как при всех прежних запусках челночных космических кораблей применялась опора типа «39/А». Опора же «39/В» последний раз использовалась десять лет назад, при запуске «Аполлона», направлявшегося на советско-американское космическое рандеву.

Ведущий программы «Эй-би-си» Питер Дженнингс объясняет телезрителям, что́ представлял собой пассажирский отсек «Чэлленджера». Он тоже держит в руках макет, но показать ничего не может, поскольку макет не разбирается. В эти минуты информационного безрыбья с интересом воспринимаешь и ту подробность, что астронавты расположились как на верхнем этаже отсека, так и на нижнем.

Дэн Разер и Брюс Холл тем временем вновь отправляют «Чэлленджер» навстречу гибели. Когда на экране вспыхивает смертельный фейерверк взрыва, за кадром слышно, как ведущий (в студии, видимо, забыли отключить микрофон) вызывает находящуюся в Белом доме Лесли Сталь. Затем видеоленту прокручивают еще раз с замедленной скоростью, после чего снова включают прямую трансляцию из района поисков — те же размеренно колышущиеся волны, то же темное море под светлым небом.

И опять все сначала — для тех, кто только сейчас включил телевизор. Поименно перечисляются члены экипажа, о судьбе которого до сих пор нет никаких официальных сведений, если не считать таковыми фразу, брошенную исполняющим обязанности директора НАСА Уильямом Грэмом в разговоре с одним из конгрессменов: «Непохоже, чтобы хоть кто-нибудь остался в живых». И опять обсуждаются версии происшедшего, и опять речь заходит о парашюте, на котором то ли спускался кто-то из санитарной бригады, то ли приводнялась неразорвавшаяся твердотопливная ракета. Затем Разер возвращается к размышлениям о сосульках, о необычайных для Флориды морозах и на

фразе: «...из-за неожиданно холодной погоды...» — внезапно умолкает, поскольку наконец-то нашлась Лесли Сталь, которую удалось вызвать к фасаду Белого дома.

На экране белокурая женщина лет сорока, суровые черты лица диссонируют с кротостью взгляда. Вокруг губ едва заметные морщинки; она поеживается от холода. Залитые яркими солнечными лучами колонны отбрасывают резко очерченные тени; портал Белого дома напоминает греческую колоннаду. (Надпись: LESLIE STAHL, CBS NEWS.)

— Прежде всего хочу сообщить, что в Белом доме считают — и действуют исходя из этого,— что после взрыва в живых не остался никто. Президент вышел к нам и имел беседу со всеми теми из журналистов, кто ранее присутствовал на брифинге по поводу его предстоящей речи «О положении страны». Президент заявил, что речь сегодня вечером непременно состоится и что в ней он непременно коснется той трагедии, видеозапись которой он смотрел по телевидению спустя считанные минуты после взрыва. Он также сказал, что испытывает больше чем просто скорбь. (Лесли Сталь резким движением смахивает волосы с лица и заглядывает в блокнот, где записана цитата сказанного президентом.) Случившееся повергло его буквально в состояние шока. Он сказал, что, чем бы ни занимался в эти часы, постоянно думает об учительнице Кристе Маколифф, об остальных отважных героях, о принесенной ими жертве, об их семьях, скорбь которых он всецело разделяет. Президент также заявил, что случившееся безусловно окажет влияние на содержание его доклада «О положении страны». Доклад должен прозвучать очень оптимистично. Он должен быть направлен в будущее. Президент уже написал ту его часть, где речь пойдет об учительнице, о будущем, о все большем расширении границ возможного. Присутствовавшие журналисты спросили президента, что он хотел бы передать школьникам, наблюдавшим старт космического корабля, на борту которого находилась их учительница. Он ответил, что о Кристе Маколифф и об остальных членах экипажа «Чэлленджера» следует говорить как о героях, принесших себя в жертву во имя расширения возможностей человечества.

Быстро набрасываю на листке бумаги: «Белый дом в действии...» Ларри Спикса на встрече с прессой спросили: президент был настолько потрясен, что не произнес ни слова? Он не нашел слов, чтобы выразить свои чувства? И вот уже есть фраза президента, предназначенная для цитирования: случившееся буквально повергло его в состояние шока. Был вопрос: подумал ли президент об учительнице? Теперь есть ответ: да, он думает о ней постоянно. Что же такое эта пресс-конференция, о которой рассказывает Лесли Сталь? Не иначе как генеральная репетиция предстоящего вечером выступления. Первое апробирование по всей вероятности уже готового текста. Президента волнует: удастся ли, несмотря на случившуюся трагедию, сохранить оптимистичный тон речи? А мне интересно: знают ли эти журналисты, якобы удостоенные высокого откровения, что их пригласили не более чем на репетицию?

— Трагедия не может служить причиной для остановки или хотя бы замедления нашего движения вперед,— зачитывает из блокнота Лесли Сталь. На руках у нее вязаные перчатки с норвежским узором. Пятна снега в сквере с утра не уменьшились. — Президента спросили: намечается ли в связи со случившимся спад в осуществлении космической программы? Он заявил, что будет возражать против этого. Космос, сказал он, это новая граница, единственная граница, являющаяся общей для всего человечества. Могу подтвердить, Дэн, что Белый дом искренне скорбит о случившемся. Конечно, это чувство испытывает и вся страна, но здесь скорбь ощущается особенно сильно: ведь именно в Белом доме Криста Маколифф была произведена в «космические учительницы». Я была свидетелем этого события. Но мы не сразу узнали, на кого именно пал выбор: президент лично хотел обнародовать имя. И не кто иной, как именно президент первым сказал: в космосе должны побывать и гражданские лица.

На экране до сих пор не демонстрировавшаяся фотография Кристы Маколифф в белой блузке. Художник прочертил по периметру снимка золотую рамку, внизу такого же цвета табличка в форме трапеции с надписью: «Чэлленджер».

— Журналисты спросили: не следует ли приостановить осуществление программы «В космосе — гражданские лица»? Но президент ответил, что все без исключения астронавты являются гражданами страны, и он не хотел бы, чтобы кто-либо ставил под сомнение эту акцию.

Дэн Разер поправляет бумаги на столе и бросает взгляд на монитор.

— Благодарю вас, Лесли.

Обращается к телезрителям:

— Криста Маколифф была одной из двух женщин — участниц сегодняшнего полета. Другой была Джудит Резник — вторая в мире женщина-астронавт. Вторая после Салли Райд.

Вторая в мире женщина-астронавт?! Почему для американского тележурналиста, для профессионала столь высокого класса не существует Валентина Терешкова? Почему само собой не разумеется, что и там, за океаном, люди тоже летают в космос? Терешкова — космическая хозяюшка, космическая мать, скоро, глядишь, уже бабушкой станет, но — она живет от Америки по ту сторону океана и даже еще дальше.

— Мы хотим показать вам кое-какие материалы о Джуди Резник. Но прежде чем это сделать, напоминаю: наша программа и в дальнейшем будет информировать вас о ходе событий сегодняшнего дня. Пока прошло еще слишком мало времени, чтобы кто-либо смог ответить достаточно определенно, что явилось причиной взрыва на борту «Чэлленджера». НАСА не сделало до сих пор никакого официального заявления, так что я прошу вас учитывать это обстоятельство и не

удивляться, что многие наши сообщения, касающиеся сегодняшнего происшествия, начинаются словами: «Как нам удалось узнать...» Как мы уже неоднократно говорили, при внимательном просмотре замедленной видеозаписи легко убедиться, что первый взрыв произошел в боковой части одной из твердотопливных ракет.

Он вновь придвигает к себе макет — все объясняющую, все проясняющую и способную в течение неопределенного времени отвлекать внимание зрителей уменьшенную копию «Чэлленджера».

— Я ни в коем случае не хочу ничего преувеличивать. Все, чего я хотел бы, это разобраться самому и помочь разобраться вам...

Явно пора переключать телевизор на какую-нибудь другую программу. Впрочем, какой в этом смысл? Том Броккоу в это же самое время возится с этой же самой уменьшенной копией. А Питер Дженнингс — «для разнообразия» — демонстрирует с замедленной скоростью видеозапись взрыва; в который раз он это делает — могут сказать, пожалуй, лишь особо ревностные приверженцы программы «Эй-би-си».

Дэн Разер нещадно колотит карандашом по одной из твердотопливных ракет.

— Топливо этой ракеты по консистенции похоже на плотную резину. Его можно взорвать, но для этого надо долго и упорно бить по нему, скажем, кувалдой. Иначе говоря, сама по себе эта резинообразная масса взорваться не может. Нужно нечто такое, от чего бы она сдетонировала. Стало быть, весь остаток сегодняшнего дня мы можем ломать себе голову над тем, почему же все-таки взорвалось это само по себе не взрывоопасное топливо. В то же время сжиженные водород и кислород — вполне способны взорваться и сами собой. Если смешаются.

Вновь на экране Брюс Холл. Он излагает уже известные телезрителям первую и вторую версии происшедшего и добавляет к ним третью: малое взрывное устройство, предназначенное для отстрела ракет-ускорителей над Индийским океаном, могло почему-либо сработать раньше времени. Есть и четвертая версия (Брюс Холл явно ведет скрупулезный учет мнений специалистов): отцепление от «Чэлленджера» подвесного топливного бака тоже осуществляется взрывным устройством, и не исключено, что именно оно послужило причиной катастрофы. Дэн Разер не остается в долгу и высказывает еще одно, пятое, предположение: вчера заклинило какую-то рукоятку или крепежный болт, так не могло ли случиться нечто подобное и сегодня? «Нет,— решительно отвергает эту гипотезу флоридский корреспондент.— От бортового люка до места взрыва слишком далеко».

И снова «Чэлленджер» отправляют в последний путь. Быть может, следовало бы помечать где-нибудь, сколько уже раз обращались на наших глазах в прах семеро астронавтов и величественный космический корабль, но в данный момент меня больше волнует другое: как, оказывается, легко всего за два часа превратить даже такую невиданную по своим масштабам катастрофу в рядовую и скучную историйку. «Чэлленджер» еще цел и невредим, он еще летит, набирая скорость, но о живых астронавтах уже не думаешь. Думаешь о том, какая все-таки незавидная работа у патологоанатомов...

— Особенно интересно, на мой взгляд,— говорит Дэн Разер,— что и тебе, Брюс, и другим специалистам показалось, будто «Чэлленджер» сегодня взлетал несколько медленнее, чем обычно.

— Я наблюдал уже более двадцати запусков челночных космических кораблей. В этот раз «Чэлленджер» действительно как бы замешкался на стартовой опоре. Когда корабль лег на курс и, казалось, летел уже совершенно, абсолютно нормально, мы с коллегами переглянулись: мол, что скажете о старте? Всем он показался несколько затяжным... И потом эта дымка... Перед самым взрывом вокруг подвесного топливного бака образовалось некое облачко, что могло свидетельствовать об утечке газов.

Чтобы каждый телезритель мог удостовериться в наличии дымки, еще раз прокручивают замедленную видеозапись. Затем Брюс Холл извлекает блокнот, где у него заготовлен целый ряд цитат на случай, если во время прямого репортажа возникнет заминка.

Писатель Норман Мейлер так отозвался о полете американских астронавтов на Луну: «Они оседлали огненного коня». На лицах же членов экипажа «Аполлона», восседавших, стало быть, в огненных седлах, не отразилось и тени волнения. Том Вулф заметил: покорители космического пространства сколочены из первоклассного материала, вырезаны из железного дерева.

— А вот жидкое горючее,— продолжает цитировать все подряд Брюс Холл,— очень опасно, и это одна из причин, по которой его не используют даже Советы... Запуск челночного корабля представляет собой управляемый взрыв семи миллионов фунтов горючего, и минуты, необходимые кораблю для выхода на орбиту,— это минуты огромного, хоть и сознательного риска...

— Прошу прощения, Брюс,— перебивает коллегу Дэн Разер на правах «хормейстера» утренней программы.— Вынужден прервать тебя. Надеюсь, телезрители не осудят меня за это: передача идет прямо в эфир. Останься на связи, если хочешь, а я пока зачитаю только что поступившее из Вашингтона сообщение агентства Ассошиэйтед Пресс.

Перевод П. БОНДАРОВСКОГО

(Окончание следует)

АНДЖЕЙ КЕМПИНСКИЙ и ЗБИГНЕВ КИЛЯР

КТО ЕСТЬ КТО В ПОЛЬШЕ—ИНАЧЕ

Фрагменты книги

С польского

ЯН ДОБРАЧИНСКИЙ

«Слова не должны расходиться с делом...»

I

— Расскажите о семье вашего деда.

— Отец моего отца — из Подлеся, он был другом и соратником ксендза Бжуски[1]. Их обоих схватили и приговорили к смерти за участие в восстании. Бжуско погиб: его повесили на рыночной площади в Соколово. Моего же деда семье удалось выкупить, пожертвовав всем состоянием. Семья была среднего достатка и потому, отдав все, оказалась на улице...

Поэтому позже на мою родню смотрели как на «подозрительную». Отца, например, с «волчьим билетом» выставили из школы. Он перебрался из Лукова в Седлец, а оттуда в Варшаву. Работал мелким служащим. Несколько лет спустя он выдвинулся на руководящую должность на ниве социального обеспечения и здравоохранения в г. Варшаве.

— А мать?

— Она по происхождению литовка. Отец моей матери участвовал в восстании 1863 года — в качестве врача находился в отряде Нарбутта. Когда же в 1863 году его схватили, то сперва приговорили к смертной казни, позже ее заменили пожизненной ссылкой. Его жена и моя бабка, которая, впрочем, в ту пору была 16-летней девушкой, отправилась к известному Муравьеву. Отважилась на беседу с ним и умолила, чтобы ей было позволено вместе с мужем отправиться в Сибирь. Когда в Сибири

Окончание. Начало см. в № 8.

[1] Ксендз Станислав Бжуско (1834—1865) — участник польского восстания 1863 года. За свои патриотические проповеди неоднократно арестовывался царскими властями. Во время восстания возглавил крестьянский повстанческий отряд. После подавления восстания арестован и казнен. *(Здесь и далее прим. перев.)*

ЯН ДОБРАЧИНСКИЙ — писатель и общественный деятель. Родился 20 апреля 1910 года в Варшаве. Литературно-публицистической деятельностью начал заниматься с 1929 года. С 1945 года — член Союза польских писателей.

Литературные премии: Премии имени Влодзимежа Петшака в 1949, 1954, 1970 и 1980 годах. Государственная премия ПНР II степени в 1970 году. Премия имени Рейнхольда Шнайдера (ФРГ) в 1972 году. Премия Министра культуры и искусства ПНР I степени в 1977 году. Премия г. Варшавы в 1980 году. Премия г. Прато (Италия) в 1980 году.

Награжден орденом «Знамя Труда» I класса и Варшавским повстанческим крестом 1944 года.

Наиболее известные книги: «Захватчики» (1946), «В разрушенном доме» (1946), «Письма Никодема» (1952), «Вычерпать море» (1961), «Синие шлемы на дамбе» (1965), «Только в одной жизни» (1970), «Отравители» (1974), «Врата Лейпцига» (1976), «Тень отца» (1977), «Самсон и Далила» (1979), «Замужество Анны» (1981), «Дети Анны» (1983).

вспыхнула эпидемия, мой дед, будучи врачом, добровольно предложил свои услуги. Его деятельность оценили по достоинству, позволив возвратиться в Польшу, но с условием, что он не поселится в Литве. Поэтому вся семья перебралась в Варшаву. У моего деда по материнской линии было 17 детей.

Моя мать и отец были самыми младшими в своих семьях. На меня как на первенца возлагали большие надежды, поэтому меня окрестили непривычным для обеих семейств именем Ян. Когда вспыхнула первая мировая война, я был уже четырехлетним гражданином Российской империи. Война настигла нас в Друскениках, куда мы с матерью ездили на отдых. Там у моего деда был домик, сохранившийся, кстати, до сего дня...

— Вы родились в 1910 году. Чем был тот год для семьи Добрачинских?

— Он представлялся годом больших надежд. Мои родители были ревностными католиками, отец был впоследствии видным деятелем партии христианских демократов, мать до моего рождения работала учительницей, была связана с системой нелегального образования.

— Политическая активность ваших деда и бабки, ваших родителей как-то способствовала формированию ваших последующих взглядов?

— Вероятнее всего, да. У нас в доме царила удивительно патриотичная атмосфера. У моего деда по материнской линии, например, хранился обрывок повстанческого знамени. Этот кусок материи с изображением богоматери, с орлом и гербом, в окантовке, под стеклом хранился с надлежащим почтением.

— Ваше отношение к восстанию 1863 года?

— В детстве оно представлялось мне святым и почетным делом. Ныне я знаю, что это была одна из величайших бед в нашей истории. Я считаю, что восстание 1863 года было наиболее трагическим и бессмысленным из всех восстаний. Мы оказались марионетками в руках всякого рода посторонних сил. Недавно я написал книгу об архиепископе Фелинском, которая пока не опубликована. Две главы в ней — критический анализ восстания 1863 года.

— Что вы делали в период майского переворота 1926 года?

— В нашей семье преобладали настроения антипилсудского толка. Правда, я учился в шестом классе гимназии, но друзья у меня были самые разные, а старшие по возрасту кузены мобилизовали меня в качестве курьера. К ужасу моей матери, первые два дня я носился по городу как угорелый...

— По прошествии стольких лет вы по-прежнему негативно оцениваете майский переворот?

— Да, самым отрицательным образом. Майский переворот ничем не оправдан, он явился покушением на легальную власть в стране. У моих родителей тоже не было оснований любить пилсудчиков. Отец, который сорок лет проработал в магистрате, был уволен, хотя ему едва исполнилось 60 лет.

— Вы обучались в высшем учебном заведении в пору экономического кризиса. Какими запомнились те годы?

— В материальном отношении было сложно. Я стал студентом в 1928 году. Отец, правда, еще работал, но нас было три брата. Отец, кроме того, считал своим долгом помогать детям сестры, тем более что, будучи подростком, пользовался материальной поддержкой с ее стороны. У нас постоянно гостили кузены. Жилось нам недурно, хотя и тесновато. Жили мы, однако, скудно. Мой отец вырос в крайней нужде, ему был чужд дух самомнения, и он не терпел его в семье. Мы тоже воспитывались в весьма суровых условиях. Получив аттестат зрелости, я осознал, что от меня ждут, чтобы я поскорее начал самостоятельно зарабатывать на жизнь. Я поступил в университет, на юридический факультет. Однако не сдал экзамены за первый курс. Поскольку я считал, что потратил год впустую и продолжаю обременять родителей, я решил сменить учебное заведение: перешел в коммерческое училище, которое имело то преимущество, что курс обучения длился три года. Училище окончил в 1932 году. Меня призвали в армию как раз в тот момент, когда отца уволили с работы...

— Где вы служили?

— В Грудзёнзе, в офицерском училище кавалерийского резерва. Со мной был Болек Ярузельский — двоюродный брат нашего генерала. После окончания училища нас направили в разные полки, его в 1-й кавалерийский в Варшаве, а меня в 7-й уланский — в Минск-Мазовецкий.

— Можно ли сравнить годы довоенного экономического кризиса с тем, который мы переживаем сейчас?

— Это абсолютно несопоставимые понятия. Я, например, отбыл военную службу и жаждал работать, но на протяжении двух лет, вплоть до 1935 года, тщетно пытался получить штатную должность. Определенную роль сыграла, вероятно, моя и отцовская политическая активность. Молодая интеллигенция, среда, из которой я происходил, не могла найти для себя отправную точку. Мы были кандидатами на роль служащих, адвокатов, судей, но всюду наталкивались на замкнутый мир, мир, который отвергал нас. Все искусство состояло в том, чтобы просуществовать...

В 1935 году я был уже крайне озабочен создавшимся положением. Родители моей невесты поставили условие: «Хочешь жениться, получи место». Наконец, мне подыскали постоянную работу в Люблине, где удалось скрыть мое прошлое. До 1938 года я исполнял обязанности инспектора социального обеспечения Люблинского воеводства. Когда же, независимо от работы, я приобрел известность как писатель, то возвратился в Варшаву — уже с первой дочерью.

— А как вы познакомились со своей будущей женой?

— Я страстно увлекался альпинизмом. В Татрах нет вершины, где я не побывал бы. Каждое лето я отправлялся в Закопане. Однажды мой ровесник — кузен, инженер из Лодзи, с которым мы совершали эти эскапады,— приехав ко мне, сказал: «Знаешь, тут знакомая моей матери с дочкой. Думаю, они могут составить нам компанию». Таким образом мы и познакомились. Это произошло в доме Гута Мостового, где теперь Музей имени В. И. Ленина.

— Как бы вы охарактеризовали вторую половину 30-х годов в Польше?

— Это был период обострившейся политической борьбы. Среди молодежи наблюдался некоторый антисемитизм, я говорю «некоторый», так как считаю, что даже самую значительную неприязнь, какая существовала в Польше в отношении к евреям, нельзя сравнивать с подлинным антисемитизмом. У нас он имел не расовую, не религиозную, а в первую очередь экономическую подоплеку, поскольку мы никогда не были расистами. Занявшись публицистикой, я установил контакт с различными редакциями, например с известным в ту пору журналом «Просто з мосту» («Без обиняков»), его редактору Пясецкому я многим обязан.

— Это тот Пясецкий, который позже возглавил «ПАКС»?[1]

— Нет. То был Станислав Пясецкий, великолепный публицист и очень мужественный человек. Сразу же после фашистского вторжения он превратил издание в нелегальный журнал «Валька» («Борьба»), в эту редакцию вошел и я. Пясецкого схватили прямо с журналом в руках, и он погиб в Пальмирах[2] после предварительного заточения в варшавской тюрьме Павяк, где он вел себя как герой.

II

— Где вас настигла война?

— В армии. Я сражался под Ченстоховом. Потом столкнулся с майором Юлишем Дудзинским. Это была чрезвычайно колоритная фигура, о нем говорили: «Это тот, который на трамвае захватил Киев в двадцатом году». Когда немцы нас разбили, он собрал остатки разгромленных частей и создал нечто вроде партизанского отряда. Дудзинский погиб в Люблине, а я был контужен. Изпод Тарнобжега уже в штатском платье вернулся в Варшаву и начал работать в нелегальной «Вальке».

— О чем вы писали?

— Я писал статьи по самым разным военным и политическим вопросам. Одна из статей, написанная на рубеже 1942—1943 годов, называлась «Россия — главный наш сосед». Я обосновал в ней необходимость пересмотреть нашу довоенную политику по отношению к Советскому Союзу, ратовал за установление связей. За эту статью меня отстранили от работы в редакции.

— Не наблюдаются ли сейчас рецидивы образа мышления, который основан на пресловутой санационной доктрине «двух врагов»?

— Рецидивы такого рода имеют место...

— А эта теория «двух врагов» — не наложила ли она известный отпечаток на наше время?

— Теория эта по-прежнему оказывает заметное воздействие на умы. Но проблему эту следует рассматривать в исторической перспективе. Я не касаюсь здесь отношения к Германии, потому что с этим вопросом все ясно. Меня интересует отношение к Советскому Союзу. Из самых отдаленных глубин истории извлекаются разного рода примеры тех бед, которые постигали нас по вине нашего восточного соседа. При этом не хотят вспоминать о наших собственных грехах, о том, как мы жаждали управлять судьбами России... Да и в XIX веке мы наделали уйму ошибок, достаточно вспомнить хотя бы один 1863 год! Когда в Варшаве правил доброжелательно настроенный по отношению к нам великий князь Константин, мы, вместо того чтобы воспользоваться этим, готовились к борьбе. Вина ложится на обе стороны. Вдобавок мы очень подвержены враждебной пропаганде, намеренно жаждущей испортить наши отношения с Советским Союзом. Я помню, как после Варшавского восстания 1944 года, едва мы покинули столицу и оказались в лагере для военнопленных, как сами повстанцы начали распускать слухи о том, что на следующий же день после капитуляции Варшава была занята советскими войсками. К этой сплетне добавляли еще одну, более удручающую: якобы всех варшавян вывезли на Восток.

— И вы этому верили?

— Я — нет. Но большинство было уверено, что именно так и обстояло дело.

— А где вы сражались во время Варшавского восстания?

— Сначала на Старом Мясте, потом по каналам перебрался в Мокотув. Наше возвращение оттуда показано в фильме Анджея Вайды «Канал».

— Каков ваш сегодняшний взгляд на Варшавское восстание?

— Прежде всего я оспариваю сам термин «восстание». Для меня понятие «восстание» — это порыв народа, лишенного собственной страны. В этом смысле можно говорить о восстании 1863 года. То же, что повсеместно именуется Варшавским восстанием,— это лишь одно из сражений второй мировой войны, вдобавок негодным образом реализованное, предпринятое в самый несоответствующий момент. Ведь такое сражение нельзя было начинать, не достигнув политической договоренности с

[1] Объединение католиков в Польше.
[2] Местечко под Варшавой, где в годы оккупации гитлеровцы проводили массовые расстрелы жителей польской столицы.

командованием союзников. Между тем операция началась без согласования с англичанами и русскими. Англия не скрывала того, что не может оказать никакой помощи, о чем, впрочем, пишет в своей книге Цехановский...[1] Единственным оправданием для людей, ответственных за то, что они призвали к этой схватке, может служить настроение улицы — такова была воля молодежи...

— И ваша тоже?

— Все жили в напряжении, я тоже. Но политик не должен руководствоваться настроением толпы... Несколько лет назад я был в Штутгарте у тамошнего издателя, который пригласил меня к себе на виллу. В какой-то момент он принес альбом с фотографиями и показал мне снимок, где запечатлены немецкие офицеры-летчики на фоне варшавских стен. Оказывается, во время войны этот издатель находился в авиационном училище в Иновроцлаве. Перед отправкой на фронт ему с друзьями разрешили посетить Варшаву. Это было как раз 31 июля 1944 года. Прибыв в Варшаву, они просто побаивались выходить на улицу. Им казалось, что толпа накинется на них. Они отправились к военному коменданту и спросили, можно ли в таких условиях осмотреть город? Комендант, дав им такое разрешение, сказал: «Нам известно, что восстание не начнется раньше 1 августа». Вся эта история кажется мне крайне загадочной. Ходят слухи, что существовала какая-то договоренность между командованием Армии Крайовой и вермахтом и что это было связано с попыткой покушения на Гитлера. Может быть, надеялись, что вермахт не примет участия в борьбе с повстанцами?..

III

— Каковы были первые годы после освобождения от фашистской оккупации?

— Для меня это были трудные годы. Я не имел квартиры, скитался по чужим углам В течение трех лет у меня умирала моя вторая дочь, страдавшая неизлечимой болезнью почек, которую она приобрела после месячного пребывания в подвале во время Варшавского восстания. Правда, в первое время после освобождения вышло в свет несколько моих книг, но позже настал период неприязненного отношения к моему творчеству. В 1949 году от одного ответственного лица из Министерства культуры (его фамилию я называть не хочу) последовало предостережение: вам запрещено писать книги религиозного содержания... Впрочем, в ту пору распространены были такого рода «розыгрыши»...

— Что заставило вас на старости лет заняться политикой?

— Доверие, которое я питаю к генералу Ярузельскому.

— Как это понимать? Может быть, это следствие того, что вы водили дружбу с его кузеном?

— Принимая это решение, я и понятия не имел, что Болек — кузен генерала. Только значительно позже появилась полная ясность в этом вопросе. Я считал, что в 1979—1981 годах мы оказались на грани катастрофы. Деятельность людей, использовавших прекрасные лозунги, направлена была на то, чтобы привести к конфликту с Советским Союзом. Относительно этого у меня нет никаких иллюзий...

— Почему вы не вступили в «Солидарность»?

— У меня не было чувства доверия к «Солидарности» даже тогда, когда провозглашались лозунги, очень мне близкие. Я неизменно видел людей из КОРа, которые всем управляли. Я знал их на протяжении нескольких лет и всегда считал их врагами всего польского и католического.

— Поразительно! Писатель, католик, человек, у которого не раз возникали сложности с институтами социалистического государства, не коммунист, вы должны были бы тотчас же вступить в «Солидарность». Сделали бы карьеру...

— Возможно. Но я знал, кто выше всех поднимает знамя «Солидарности». Это были люди, у которых не было ничего общего с религией, с патриотизмом, с нравственностью личного порядка. Приведу пример. Один кинодеятель годами запрещал воспитывать свою дочь в католических традициях. Тот же самый человек в 1981 году опубликовал огромную статью о том, как его преследовали за то, что он... дал дочери религиозное воспитание! Когда подобные люди возглавили такое движение, они не могли вызвать у меня чувства доверия. Впрочем, я жестоко поплатился за свою жизненную позицию, так как в 1981 году рассыпали набор моих книг, уже подготовленных к печати.

— И поэтому вы начали свою деятельность в ПРОНе[1]?

— Не «поэтому», но «также и поэтому». Генерал пригласил меня к себе и поинтересовался, не захочу ли я ему помочь. Одновременно спросил, как я оцениваю положение. Тогда я изложил ему то, что минуту назад говорил вам, а также, что не верю в это движение и что мне неприятны люди, которые за этим стоят, что я догадываюсь, ради чего это делается. Сходным образом, впрочем, оценивал ситуацию и кардинал Вышинский. Когда я заявил: «Доверяю и хочу продолжать доверять вам, пан генерал», он спросил, не хотел бы я возглавить ПРОН. Когда я начал отказываться, говоря, что уже стар и что никогда не был политиком, генерал сказал: «Если вы, человек, который отдает себе отчет, в каком тяжелом положении мы находимся, зная, что мы на грани катастрофы, не будете этому противодействовать, то кто же это сделает? Вы известны тем, что в трудные моменты спо-

[1] Польский историк, эмигрант. Имеется в виду его книга о Варшавском восстании 1944 года.

[1] PRON (Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego) — Патриотическое движение национального возрождения.

собны по-кавалерийски мобилизоваться...» Это и решило исход дела.

— Не повлияло ли на ваше решение знакомство с кардиналом Вышинским?

— Вероятно. Я знал мнение кардинала. Его известная проповедь, произнесенная 25 августа 1980 года в Ченстохове, была составлена после долгих бесед, в том числе и со мной. Разумеется, я не хочу тем самым сказать, что кардинал нуждался в моей помощи, дабы написать текст своего выступления.

IV

— Как вы оцениваете нынешние отношения государства с церковью?

— По многим причинам отношения сложные.

— Зато у нас папа — поляк.

— То, что папа-поляк намерен руководить церковью в Польше, имеет как свои положительные, так и отрицательные стороны. На расстоянии невозможно всегда быть хорошо информированным.

— А примас?

— Примас Глемп — воспитанник кардинала Вышинского и, вероятно, правильно оценивает положение. Но ему еще недостает опыта. У него много противников, в том числе и в самой церкви. Положение усложняет группа из нескольких десятков ксендзов, которые потеряли голову и, вместо того чтобы обучать катехизису, занимаются политикой. Они предоставили храмы людям, ничего общего не имеющим с католицизмом... Эти люди озабочены не благом церкви или чистотой доктрины. Они заняты созданием взрывоопасной ситуации...

— Такова цель их деятельности?

— Цели у них гораздо шире... Церкви в Польше необходим человек типа Вышинского, а такие появляются раз в тысячу лет. Впрочем, и у кардинала в последние годы его жизни возникали трудности, и не всегда у него хватало сил для их преодоления.

— Чрезвычайно важная проблема (и не только в настоящий момент, но и на будущее) — это вопрос о месте верующих и практикующих католиков в стране, поставившей перед собой цель построить социалистическое общество. Как примирить противоречия, терзающие поляка-служащего, поляка-политика и поляка-католика?

— Рецепт дал папа Иоанн XXIII, сформулировавший свою теорию диалога. Это был воистину переломный момент и переломная позиция. Он поставил вопрос в открытую: есть проблемы общего порядка, относящиеся к сфере деятельности государства, но одинаково важные и для народа, и в этих делах необходимо найти возможность действовать сообща. Такая позиция, конечно, требует известных уступок с обеих сторон.

V

— Каким из ваших романов вы удовлетворены больше всего?

— Как автору мне трудно ответить на этот вопрос. Может быть, я скажу только о своем чисто эмоциональном отношении к некоторым своим вещам. Такой важной для меня книгой является роман «Письма Никодема». Эту вещь я писал дольше других, кроме того, она связана с периодом угасания моей дочери, и, мне кажется, она обрела наибольшее количество читателей.

— Будь вы обладателем волшебной палочки, к какому времени вы пожелали бы вернуться?

— Жизнь моя не была простой и легкой. В каждом периоде были свои солнечные блики и чрезвычайно острые шипы. Вероятно, я вернулся бы к тем временам, когда была еще жива моя жена, а дети были моложе и у меня с ними существовал более тесный контакт.

— А путешествовать вы любите?

— Очень. Теперь это проще, только мне уже недостает сил. В минувшем году я мог поехать на Кубу и в Кампучию, но моему путешествию помешало здоровье. Мне уже 70 лет. Самое громадное впечатление на меня произвело путешествие в Святую землю. Если я о чем-то и мечтаю, так это о том, чтобы иметь возможность повторить его. Я описал эту поездку в книге «Евангельская земля».

— Зато вы побывали в Риме. С папой вы поддерживаете контакты?

— Время от времени мы встречаемся. Я посылаю ему каждую новую свою книгу. Но у нас не столь близкие отношения, как те, что связывали меня с кардиналом Глёндом Вышинским.

— Как относятся близкие к вашей политической активности?

— Выдерживают критическую дистанцию...

— Какие аргументы используете вы в беседах с близкими, стремясь убедить их в своей правоте?

— Спорщик я аховый. Мне всегда кажется, что для подтверждения известной тезы слова никогда не должны расходиться с делом. Если мои поступки не служат подтверждением моих выводов, мне никого не удастся убедить.

Перевод С. ЛАРИНА

АЛЬБИН СИВАК

«Я верю в настоящее дело...»

— В польской кинематографии созданы фильмы «Человек из мрамора» и «Человек из железа». О вас говорят: «Человек из бетона». Почему?

— Возможно, один эпизод из моей жизни поможет ответить на этот вопрос. В начале 50-х годов я, тогда молодой бригадир, строитель Маршалковского жилого района в Варшаве, член Союза

АЛЬБИН СИВАК родился 27 января 1933 года в Воломине. Работал в стройотряде «Служба Польше» на строительстве Маршалковского жилого квартала столицы бетонщиком и руководителем строительной бригады, позже, в 1953—1981 годах — работник комбината городского строительства «Варшава—Восток».

С 1963 года до 1980 года — член правления профкома комбината. В 1980—1982 годах зам. председателя Главного правления независимого профсоюза строителей, работников строительной промышленности и жилищных кооперативов.

Член ПОРП с 1962 года. В 1980—1981 годах — кандидат в члены ЦК ПОРП, с 1981 года член ЦК и член Политбюро ПОРП. После X съезда ПОРП (1986) — член ЦК ПОРП.

польской молодежи, за большие трудовые успехи был награжден бронзовым крестом. Вручал его сам Александр Завадский. Для меня это событие было огромной радостью. Захваченный эмоциями, я не почувствовал, что награду мне прицепили к... телу. Боль дала о себе знать только тогда, когда Завадский протянул мне свой платок, чтобы я вытер текущую из-под сорочки кровь. А что касается фильма, то несколько режиссеров предлагали мне согласиться на съемки автобиографической ленты, но я считаю, что это пока преждевременно.

— Откуда у вас такая верность своим убеждениям?

— Возможно, наследственная?.. На формирование моей личности сильное влияние оказал отец, который под внимательным присмотром моего дедушки, сельского мастера, строил вместе с братьями дома, риги и скотные дворы почти во всем Минск-Мазовецком уезде и в пригородах Воломина. Отец несколько лет служил в царской армии в мостостроительных подразделениях. Принимал участие в Октябрьской революции. После революции воззратился в Польшу. Женился поздно. Во время оккупации я ходил вместе с отцом по стройкам и овладевал профессией. Из послевоенных лет помню, что в политическом отношении отец был очень активным. Принадлежал к ППС [1]. Со временем преобладавшие там взгляды перестали его удовлетворять. Перед воссоединением (то есть в 1948 году, когда была создана ПОРП) перешел в ППР (Польская рабочая партия).

Отец несколько раз избегал смерти. Партия направила его в гмину Лютры Решельского уезда Ольштынского воеводства. Несколько лет он был в селе председателем. Этот период оставил след в моем сознании — то были годы борьбы за укрепление народной власти. Эта борьба происходила на моих глазах, в моей памяти остались убийства милиционеров, солдат, которые, вернувшись с войны, на рукава своих мундиров надели милицейские повязки. Боролись с бандами, многие погибли, страдало от бандитов и гражданское население. Помню также политическую борьбу того периода — память о тех годах предопределила мои старания о строительстве памятника погибшим в борьбе за народную власть. Такое решение было принято на IX чрезвычайном съезде ПОРП, а почетным председателем комитета по строительству памятника стал мой большой друг маршал Роля-Жимерский — по возрасту он был старше меня.

Я часто получал от отца выволочку за свою работу — он ставил профессиональную честь выше всех других дел и был очень требовательным. Помню, как уже в преклонном возрасте отец — а я в ту пору уже был бригадиром на строительстве Маршалковского жилого района в Варшаве — приходил на стройку и делал едкие замечания. Интересы Польши и рабочей партии он отстаивал бескомпромиссно, классовое чутье ему никогда не изменяло. Очень хорошо он знал предвоенный капитализм, много раз был безработным, поэтому и семья голодала. Любил повторять: «Мы обязательно должны отстоять отчизну людей труда, в которой хозяевами будем все — интеллигенты и рабочие». Я убежден, что, если бы отец жил сейчас, у него было бы много сомнений относительно того, эффективно ли мы проводим классовую политику в нашей стране. От привитых отцом принципов я не отступал никогда.

Дедушке моей жены уже девяносто лет. Он из многодетной семьи батрака, до войны был унтер-офицером. После второй мировой войны удостоен офицерского звания, высоких государственных наград, хотя никогда не был связан ни с одной партией. Увлекается политикой, я часто с ним дискутирую. Он причисляет меня к людям либеральных взглядов, что звучит довольно парадоксально на фоне распространенного обо мне мнения.

---

[1] Польская социалистическая партия.

Причисляли меня к твердолобым, подозревали в левачестве, но это несправедливые обвинения. От меня они так далеко, как земля от солнца. Люди уважают меня за верность своим взглядам, хотя, возможно, из-за этого я пережил много личных трагедий.

— Каких?

— «Товарищ Гомулка, у нас нечестно делится буханка хлеба»,— за это публичное высказывание меня лишили партийного билета. В конце 60-х годов, вскоре после традиционного праздника урожая, состоялось партийное собрание на заводе легковых автомашин, где Владислав Гомулка был на учете. Подобные собрания давали иногда редкую возможность участия в них представителей рабочего класса. Наша организация выделила меня для выступления на том собрании. У меня перед глазами еще стоял недавний церемониал, слова старосты праздника урожая о справедливом разделении народного каравая. И я сказал тогда Гомулке, что одни имеют краюху хлеба с такой приправой, от которой, как говорят крестьяне, по бороде течет, а другие запивают сухую корку водой. Покритиковал также вздорные нормы, вынуждающие рабочих заниматься приписками. Такая практика развращает рабочих и администрацию, сказал я. Мое выступление признали тогда демагогическим. На второй день секретарь участковой парторганизации, пытаясь быть правовернее самого папы римского, отобрал у меня партбилет. Я это все пережил очень тяжело. Прошло полтора года — и партбилет мне вернули. А через одиннадцать лет, точнее, 13 июня 1980 года, Варшавский совет профсоюзов под давлением рабочих уполномочил меня выступить на пленарном заседании Центрального совета профсоюзов. Председательствовал Ян Шидляк, присутствовал Эдвард Герек. Закончив свое выступление, я сказал тогда: «Польша стала пороховой бочкой с подожженным фитилем. Товарищ Герек, еще есть время, чтобы вы потушили этот фитиль. Достаточно для этого немного гражданского мужества — пойти к рабочему классу, взглянуть ему в глаза и постараться понять, что его волнует. Этим вы разрядите обстановку. Если вы этого не сделаете, произойдет взрыв». Напоминаю дату — 13 июня 1980 года. Герек мне так ответил, что даже не хочется верить, что он мог такое сказать. Его слова: «Сивак, сколько я вас знаю, вы всегда преувеличиваете. Это у вас в портках может что-то взорваться, а не в стране». И зал загремел от смеха. Вот таким способом разделались с выступлением представителя рабочих.

— А еще раньше громким эхом разнеслось ваше выступление на VIII съезде ПОРП...

— Хотя тогда этого выступления никто не опубликовал, а снятый телевидением сюжет с моим выступлением бывший секретарь ЦК ПОРП Ежи Лукашевич лично приказал отменить: я уже тогда требовал публичного отчета от министра строительства Глазура, сооружавшего в Попове на государственные средства громадную виллу.

Критиковал министра Лейчака за его рекомендацию добавлять в уголь камни, что стало причиной многих аварий на теплоэлектростанциях и недовольства людей. А в результате против меня развернулась острая кампания. Кандидатом в члены ЦК ПОРП меня выбрали уже на IV Пленуме ЦК, когда в стране начинались тяжелые события, из-под ног руководства партии стала ускользать почва.

— Однако в горячие послеавгустовские дни появилась брошюра с вашими выступлениями, в том числе и на VIII съезде...

— «Я, рабочий-строитель, обращаюсь к вам...» Я неохотно соглашался на издание этих выступлений. Многовато там было чересчур острых формулировок. Но рабочие Варшавы требовали этого.

— Есть там такие утверждения, от которых вы бы сейчас отказались?

— Нет. Хотя я находился в сложной ситуации, потому что получал много писем с предложением создать партию, состоящую только из рабочих. Во многих письмах повторялись упреки в адрес интеллигенции, которую обвиняли в измене интересам рабочего класса. Это угрожало расколом ПОРП. Я отреагировал на это выступлением на Пленуме ЦК. Обратился к рабочим с призывом не выходить из партии. Партия должна быть единой для всех поляков, несмотря на уровень образования и занимаемое положение. При одном условии. Все, какие бы ни были функции ни выполнял в обществе, включая врачей, директоров, министров и т. п., должны придерживаться классовых позиций. Говорил об этом перед IX съездом. Ситуацией удалось овладеть. До раскола ПОРП не дошло.

— Предсъездовский период и сам съезд были насыщены вашей резкой полемикой с разными концепциями либерализации политической жизни в Польше. Вы критиковали концепцию «партнерства», боролись со взглядами Анджея Вербляна, почти что на ножах были со Стефаном Братковским. Вы уверены, что действовали правильно?

— Это сложный вопрос. Одно могу сказать — меня никогда не подводил классовый инстинкт. Еще отец меня учил тому, что для коммуниста изменяется только тактика борьбы. Коммунисты в Польше никогда не говорили, что будут делить власть с классовыми врагами. Вместе с тем мы хотим управлять коллективно с союзниками рабочего класса. Одна у нас отчизна и один народ. И если мы, поляки, не подадим друг другу руки, не построим мостов взаимопонимания, то ничего в стране не решим. Могу так говорить, ибо знаю, что большинство поляков за социализм. Однако народ, извините за вульгарное выражение, на мякине не проведешь. Ему надо говорить правду, даже горькую. Людям, которые своими концепциями угрожали социализму в Польше, я

никогда не подам руки, разве что они признают свои ошибки.

— Почему вы не стали членом «Солидарности»?

— С самого начала я знал слишком много о людях, которые руководили «Солидарностью». То был псевдопрофсоюз, создаваемый наподобие политической партии, играющей роль оппозиционной политической силы в Польше. В первой фазе существования «Солидарность» имела исторический шанс стать профессиональным движением, которого никогда еще не было. Как-то меня спросили: если бы я был на месте Валенсы, то смог бы спасти «Солидарность»? Я ответил: да. Но тогда политическое направление определяли бы рабочие, а не «сто девятнадцать Куроней, Михников и Липских», направляемых и оплачиваемых Западом.

— Знаете ли вы Валенсу лично?

— Нет. Хотя возможность для более близкого знакомства была. Уже перед самым IX съездом партии журналисты из «Панорамы Севера» предложили мне встретиться с Валенсой. Встреча должна была состояться в присутствии полутора тысяч человек. Я дал согласие, поставив одно условие. Для меня было очень важным, чтобы мы — Валенса и я — предстали перед людьми без советников. К сожалению, эти последние отсоветовали Валенсе вести дискуссию со мной, хотя подготовка к ней была широко разрекламирована. Мне известна роль, которую играл в Варшаве Валенса по отношению ко мне. Например, он пытался навредить мне перед партийной конференцией столичного округа Прага — Север. На встрече с коллективом завода легковых автомобилей в Жерани высказал по моему адресу несколько грубых измышлений, подговаривая партийных членов «Солидарности» вычеркивать меня во время выборов в парторганизации. Но это не повлияло на мои взгляды, и я продолжал критиковать «Солидарность» за то, что она больше разваливала, чем строила.

— Когда вам было трудней всего?

— Хотя бы после Пленума ЦК перед IX съездом. Я говорил там в критическом плане о некоторых лидерах «Солидарности» с Катовицкого металлургического комбината. Кроме всего прочего поставил вопрос: «Как это стало возможным, чтобы человек, просидевший за уголовные преступления пятнадцать лет в тюрьме, был лидером в профсоюзе»? Говорил также о другом деятеле, который возвратился из Соединенных Штатов с большим количеством долларов неизвестного происхождения, раскрыл о нем несколько неприятных фактов. На это выступление молниеносно отреагировал шеф верхнесилезской «Солидарности». Прислал телекс в Центральный Комитет, требуя, чтобы я приехал в Катовице и «отлаял как пес» то, что говорил о «порядочных» деятелях «Солидарности». Иначе — угрожал он — дело дойдет до забастовки.

Я поехал. Через несколько часов езды шофер остановился в лесу и говорит: «Товарищ Сивак, если вы идиот и хотите погибнуть, то воля ваша. Поезжайте на встречу. У меня жена и дети, я хочу жить. Поэтому подожду вас в лесу». Дальше за рулем я сидел сам. В недостроенном зале меня ожидали тысячи две людей. Между собой они оставили только узкий проход, по которому едва мог протиснуться один человек. Я пошел между ними. Помню только, как сделал несколько шагов. И еще помню чудовищный свист. Я продолжал идти и через несколько метров был мокрым от плевков. Как я прошел сквозь эти шпалеры, не помню до сих пор. С подобным встретился первый раз в жизни.

Очнулся перед микрофоном. Кто-то дергал меня за плечо. Немного остыл. Протер глаза и попросил тишины, если «должен отлаять то, что наговорил». Когда толпа утихла, предложил подойти ко мне того самого человека, который отсидел пятнадцать лет. Он не захотел подойти. Зачитал ксерокопии приговоров: он был осужден за хищение милицейского мундира, злоупотребление оружием, изнасилование и другие преступления. Передал собравшимся судебные документы. Зал затих. Я спросил: «Имеете ко мне претензии?» Не имели. «Извинение» перед другим, якобы оговоренным мною деятелем «Солидарности», паном Хрущиком, начал с вопроса: «Сколько раз должен прожить свою жизнь хороший специалист, известный профессор или признанный изобретатель, чтобы приобрести такое имущество, которое пан Хрущик привез из США после трехлетнего там пребывания?» «Без риска быть привлеченным к суду,— продолжал я,— могу сказать, что пан Хрущик купил дом за десять миллионов злотых. Прочие факты, касающиеся пана Хрущика, я мог бы раскрыть только с его разрешения». И возникла необычайная ситуация: из зала раздались выкрики — люди требовали, чтобы он разрешил мне обнародовать то, что о нем знаю. Он в ответ угрожал мне судом. В конце концов рабочие выбросили Хрущика из зала. Третий деятель «Солидарности» с металлургического комбината «Катовице», упомянутый мной на Пленуме ЦК, вышел на трибуну и сам подтвердил то, что я о нем рассказал.

Дальнейшие события, которые произошли в том катовицком зале, были просто невероятными. Подходит ко мне молодой человек, выше меня на голову, со значком «Солидарности» и спрашивает меня — только что оплеванного и освистанного,— может ли он выступить. От волнения едва владеет собой, микрофон прыгает в руке, тело колотит дрожь. И начинает: «Смог бы пан Д... предстать перед Пленумом ЦК так, как предстал перед нами пан Сивак? Разве члены ЦК оплевали бы человека с ног до головы, даже не дав ему высказаться? Мы придираемся к партии за то, что у них назначения в портфелях возят, а кто нам избрал Д. в председатели профсоюза на комбинате? Никто. Сам себя короно-

вал». «Я являюсь деятелем «Солидарности»,— продолжал он,— и хотел бы пану Сиваку подать руку, если он ее пожмет, за его отвагу и рабочий характер». Протянул мне руку и сказал: «А сейчас можете меня растоптать вместе с ним». В зале раздались аплодисменты. Парень достал платок и стал меня вытирать. В том, что произошло, было нечто удивительное. Я не мог понять метаморфозы, происшедшей с собравшимися. Встреча продолжалась еще часа три. На второй день, уже в Варшаве, я принял делегацию «Солидарности» с катовицкого металлургического комбината, и мы вместе пошли к вице-премьеру Единаку, у которого решили некоторые актуальные для предприятия вопросы. Знаю, что люди, сначала меня оплевавшие, после этой встречи не дали больше сказать обо мне плохого слова. Зато сам я после «лаяния» в Катовицах долго не мог прийти в себя...

— А происходило это за неделю до демонстрации по телевидению репортажа о попытке покушения на вас. Люди, смотревшие этот репортаж, недоумевали: почему такой твердый человек расплакался перед телекамерами?

— Я почувствовал огромную обиду и не выдержал после своих собственных слов: «За что вы хотели так страшно со мной расправиться?»

— Кто был исполнителем этой акции? Кто бросил бутылку с бензином в вашу машину?

— Не знаю, хотя мучит меня одна фраза из текста того репортажа. Произнес ее человек, много лет работавший в моей бригаде. У него была сложная семейная ситуация. Жил он с тяжелобольной женой и двумя детьми под чердаком, где зимой одеяло примерзало к стене. Я одиннадцать лет возглавлял на предприятии комиссию по жилью. И от всего сердца помог ему в получении квартиры. А он, стремясь меня отблагодарить, пришел в мой вагончик на стройке с конвертом денег. Я рассвирепел — выбросил его через окно. Деньги рассыпались. Собирал он их на виду у людей. Может, поэтому меня и шельмовал. На вопрос, кто и за что мог бросить в меня бутылку с бензином, у него вырвалось: «Если Сивак нападает на «Солидарность», мы должны найти на него управу». Эта фраза о многом заставляет подумать.

— Были ли еще попытки провокаций и клеветы с целью исключить вас из общественной жизни страны?

— Были — и немало. К наиболее идиотским измышлениям относилась попытка выдать меня за «агента, подосланного русскими», о чем сообщила печать «Солидарности». Была попытка использовать это против меня во время встречи на Люблинском стройкомбинате. По стечению обстоятельств в ней участвовали двое моих знакомых еще с 50-х годов. Вместе работали в молодежных отрядах «Служба Польше» на строительстве Маршалковского микрорайона в Варшаве. Сидя в одиночестве за столом президиума — а то были времена, когда даже секретари парторганизации не хотели садиться рядом с Сиваком,— я потребовал разговора начистоту. И не ошибся. Коллеги подошли ко мне и обратились к собравшимся со словами: «Довольно клеветы, это тот самый Сивак, с которым мы вместе работали». Происходило это за три дня до введения военного положения. Эту встречу я использовал для разоблачения псевдопрофсоюзной деятельности «Солидарности». Я доказал, что их съезд в Гданьске вовсе не был таким демократичным, каким его пытаются изобразить. Как раз делегат из Люблинщины,— он единственный из всех говорил там о высокооплачиваемом и разрастающемся аппарате «Солидарности»,— мог подтвердить приведенные мною факты. В рабочих профсоюзах было одиннадцать с половиной тысяч штатных работников и средняя их зарплата составляла пять с половиной тысяч злотых в месяц. Аппарат «Солидарности» вырос до 44 тысяч сотрудников со среднемесячным заработком 18 тысяч злотых, не считая всякого рода доплат, доходящих до 8 тысяч злотых, которые получали многие деятели. За упоминание этих фактов Валенса лишил голоса люблинского делегата, а когда он все-таки решил продолжить выступление, двое «солидаристов» взяли его за шиворот и столкнули с трибуны. Поэтому я и напомнил, что хотя на IX съезде ПОРП я выступал с критикой некоторых товарищей, однако никто меня не репрессировал, наоборот, избрали в состав руководящих органов партии.

— Вы боролись с экстремистами из «Солидарности», вели острую полемику внутри партии. В сознании широких слоев общества укоренился также взгляд, что Сивак является противником интеллигенции...

— Я никогда не выступал против интеллигенции, хотя не раз называющие себя интеллигентами люди на публичных встречах, используя свое преимущество в образовании, любой ценой пытались доказать, что я недоучка и темный тип. Особенно постарался Стефан Братковский, который в среде работников науки и культуры, и прежде всего среди журналистов, распространял обо мне несусветную чушь. В те горячие послеавгустовские дни моя дочь еще была студенткой биологического факультета Варшавского университета. Братковский часто встречался со студенческой молодежью, на этих встречах присутствовала и она. Однажды она вернулась домой в слезах. Рассказывала, как в присутствии ее друзей и подружек Братковский, отвечая на вопрос об отношении ко мне, назвал меня Фальконетти, то есть публично сравнил меня с мерзкой личностью — героем американского кинофильма «Погода для богачей». Для подобного оскорбляющего меня сравнения ему сгодилось даже мое увечье, с которым мне, как и многим другим, «отмеченным» войной людям, тяжело жить.

— Когда случилось это несчастье?

— В последние месяцы войны. Мы с отцом уходили из горящего дома, и надо

было перелезть через высокую стену. Отец подсадил меня, и я тронул на стене гранату, которая взорвалась на уровне моего лица. Раненный, я упал отцу на руки. Следы этого взрыва остались на мне и поныне. И я могу только спрашивать: что хуже — увечье, которое я ношу на себе, или увечье чувств и мысли Братковского? В годы моего детства в школе существовал неписаный кодекс порядочности. В глазах ребят терял достоинство тот, кто ударил более слабого. Братковскому дана была возможность получить высшее образование. Я окончил только профтехучилище. Выступая на заседании предсъездовской комиссии, Братковский вдруг произнес: «Не советую рабочему со мной пререкаться. Я известен своим острым пером и несдержанностью языка, да укажи я на кого своим друзьям — они его уничтожат». Товарищи, однако, не позволили ему докончить выступления, выдворили из зала. Братковский в ту пору был председателем Союза польских журналистов. После этого столкновения у меня была встреча с журналистами. Они были настроены весьма агрессивно, позволяли себе грубые оскорбления. Атмосфера встречи изменилась только тогда, когда я привез магнитофонную запись упомянутого выступления Братковского... Мне кажется, пытаясь дискредитировать меня за раскрытую о них правду, нападая на меня, мои оппоненты делали мне рекламу, привлекали внимание к моей личности. У меня собралось что-то вроде коллекции статей, относящихся к моей особе. Писали в них абсолютный вздор, как, например, о том, что якобы уже в 1953 году меня распознали как врага прогресса, что только за водку я получил должность бригадира. Сущая чепуха. В качестве забавных сувениров берегу майки с надписью «суперзвезда Сивак», а также значки и спортивные шапочки с моей фамилией.

— Кто вам пишет выступления?

— Никто. Стою перед микрофоном и говорю.

— Какие жизненные позиции вы одобряете?

— Я верю в настоящее дело. Поэтому поддерживаю людей, которые тоже верят в такое дело, каким является социализм. И поэтому берегу память об истоках нашей власти, вспоминаю наших дедов и прадедов, тех, которые еще сто лет назад боролись за социализм. Боролись и во времена Пилсудского, когда выходили на уличные демонстрации, боролись за восьмичасовой рабочий день, против использования детского труда, за кусок хлеба. Сейчас — и это больно — даже в партийном окружении некоторые избегают слова «товарищ». Имею я и претензии к тем товарищам рабочим, которые не реализуют всех данных нам прав. Например, не все мои коллеги-рабочие, будучи заседателями, влияют на справедливое вынесение приговоров. Допуская либерализм, ослабляем нашу борьбу с коррупцией, взяточничеством, спекуляцией. Утверждая правопорядок, необходимо с одинаковой взыскательностью подходить к члену партии, беспартийному, рабочему, министру. Так должно быть в социалистической стране.

— После провокационного убийства ксендза Попелушки некоторые средства пропаганды на Западе давали понять, что считают вас одним из вдохновителей этого преступления. Как вы отвечаете на подобные инсинуации?

— Правда сама способна оборониться. Бывают такие дни, когда мне очень тяжело. И тогда я ищу одиночества. Чаще всего выезжаю в Мазурские леса, ищу успокоения на природе... Именно так и было летом 1984 года. Однажды, в воскресенье, я ехал на машине из Мазур, и за Ольштыном меня остановил ксендз, попросив подвезти до Варшавы. Когда через несколько минут он узнал, с кем имеет дело, сразу же спросил, являюсь ли я «тем Сиваком из Политбюро». Я подтвердил. Ксендз потребовал остановиться. Не захотел со мной путешествовать. Я притормозил, но поскольку мы оказались в лесной глуши и был уже вечер, я предложил довезти его до Варшавы. Через минуту он снова сел в машину, предупреждая, что выйдет на ближайшем перекрестке или в населенном пункте. Поведение ксендза меня немного задело. Я сделал замечание, что нельзя себя так вести по отношению к человеку, которого он не знает. Тем более что католическая вера учит любить ближнего. И я спросил ксендза, может ли он назвать среди своих коллег-священников хотя бы одного человека, который бы так много помог людям в несчастье, как я. Это, по-видимому, его заинтересовало, потому что он не требовал остановиться, а ехал и слушал дальше. Я привел ему десятки примеров из моей ежедневной практики председателя комиссии жалоб и предложений ЦК — в моем шкафу имеется около четырех тысяч присланных мне писем. Вспомнил также, как помог тяжелобольным детям выехать на лечение в советские, швейцарские и французские клиники. Рассказал о своем обращении к польским строителям, работающим за границей, благодаря которому было закуплено для многих польских больниц медицинское оборудование и лекарства. И о других поступках, как, например, о том, что из заграницы я на личном автомобиле привозил тысячи штук хирургических перчаток и шприцев разового пользования.

Когда я рассказал все это неизвестному мне ксендзу, то заметил, как он, достав платок, отер слезы. «Что случилось?» — спросил я. Оказалось, он принадлежал к числу священников, особенно ожесточенно нападавших на меня. Только теперь он понял, как был несправедлив ко мне. В Варшаве я довез ксендза до его дома. А контакты с ним мы поддерживаем и поныне.

— Не устала ли семья от вашей политической деятельности?

— Враждебность ко мне испытывают люди, которые меня не знают и верят

сплетням. В моем рабочем коллективе все совсем по-другому. Даже в самые трудные для партии времена я получал во время голосования большое число голосов. Семье, понятно, нелегко, но я, кажется, сумел убедить близких, что необходимо стиснуть зубы и бороться. Время покажет, кто был прав. Хорошо, между прочим, что моя самая старшая дочь отлично училась в вузе, ведь, весьма вероятно, из-за фамилии Сивак она могла бы легко лишиться возможности окончить его. Несмотря на предложение заниматься научной работой в университете, трудится она в школе и после тяжелого для нее первого года завоевала своей позицией авторитет у молодежи, чем я горжусь. Имеет семью, а я — пятилетнего внука. Жена работает в военной администрации. Живем в том доме, который так сильно раздражал деятелей «Солидарности». Воспитываем с женой двоих детей — двенадцатилетнюю Катажину и одиннадцатилетнего Томаша. Возможно, и он пойдет по стопам своих предков...

Перевод ПОЛИКАРПА ШАФЕТЫ

ЗОФЬЯ ГЖИБ

«Мы работаем на глазах у всего общества...»

I

— Вы — работница, женщина, исполняющая функции члена высшего руководства партии, правящей в Польше. Ваш пол этому способствует?

— Участие в работе Политбюро я рассматриваю не только как знак доверия и признания меня лично, но и как оценку партией значения рабочего класса, представителем которого я являюсь, а равно и как свидетельство признания роли женщины в политической, общественной и экономической жизни страны. И тут мой пол мне помогает. Хочу добавить, что понимаю свою задачу так: рабочие доверили мне вместе с другими, как говорится, следить за тем, каким образом «наверху» реализуются решения IX Чрезвычайного съезда ПОРП, как ведется борьба, как воплощаются в жизнь реформы, как налаживается взаимопонимание между партией и всеми теми, кто (независимо от своих убеждений) стоит на платформе социалистического строя, определенного конституцией, и социалистического содружества, важным звеном которого является Польша.

— Способна ли работница быть равноправным партнером ученых и профессиональных политиков?

— Моя роль и повседневные обязанности состоят не в том, чтобы вести научные дискуссии с учеными. Нас, представителей трудовых коллективов, участвующих в заседаниях Политбюро ЦК ПОРП, слушают с особым вниманием. Это связано с совершенно новым стилем работы и деятельности партии. Работы открытой, совершающейся на глазах рабочей среды, когда необходимо отчитываться по итогам собственных решений и уметь быть восприимчивым к голосам товарищей «из низов».

Высказывать подобное мнение мне позволяет пример с подготовкой постановлений. Я помню, что некогда подобные постановления (после VIII съезда я была членом ЦК) готовились узким кругом людей. Теперь очень часто они рождаются в итоге острых дискуссий в широких коллективах, после консультаций и необязательно только с представителями высших партийных инстанций. Нередко, прежде чем документ приобретает окончательную форму, его смысл многократно анализируется и видоизменяется. Подобным же образом обстоит дело и с подготовкой докладов на пленумах.

Я упомянула о спорах, которые часто бывают резки, угловаты, не приглаживаются, но зато действительно отвечают истинному порядку вещей, так же, как и в жизни. И я считаю это закономерным явлением. По-моему, социалистическому отечеству нужны не одни исполнительные товарищи и граждане, но и

ЗОФЬЯ ГЖИБ, родилась 18 августа 1928 года в Радоме. В 1947—1949 годах — работница радомской табачной фабрики, затем (с 1951 по 1953 год) — на заводе металлоизделий имени Вальтера. С 1953 года по настоящее время — бригадир на Радомской обувной фабрике «Радоскур».

Член ПОРП с 1947 года. Член городского и воеводского комитетов ПОРП в Радоме с 1953 года. В 1980 году вошла в состав ЦК ПОРП, а с 1981 года — член Политбюро ЦК ПОРП. С 1981 года — председатель Комиссии по охране здоровья населения и окружающей среды.

мудрые, увлеченные люди, не только видящие трудности, но и способные их разрешить. Ведь известно, что трудности невозможно устранить путем дискуссий, хотя бы и самых критических, их не изменишь даже при помощи самого великолепного постановления, это по силам только людям, добросовестно выполняющим свою работу на каждом предприятии, в каждом учреждении.

— Значительность проблем, обсуждаемых на форуме ЦК и Политбюро, их разнообразие требует от представителей этих инстанций всесторонних знаний. Как вы с этим справляетесь?

— Человек учится всю жизнь. При этом я заранее не ставила перед собой задачу знать все. Приняв столь нереальное решение, я бы чувствовала себя крайне неуверенно. Мои обязанности, однако, вынуждают меня постоянно заниматься самообразованием. Что я и делаю. Учусь, обращаясь к самым разным источникам. Это и научные труды, и беседы со специалистами. Это и непосредственные встречи на заводах, собрания в первичных партийных организациях, это и письма, которые я получаю в большом количестве, и даже контакты с людьми, обращающимися с жалобами и просьбами. Все это очень ценные источники политической информации, которые я сопоставляю с моим многолетним практическим опытом, знанием трудовых коллективов крупных промышленных центров. Все это я считаю важной частью моей партийной работы, носящей программный, контрольный и диагностирующий характер. Мы в этом радиусе действия определяем, в какой степени принимаемые нами — руководством партии — решения приносят намеченные и ожидаемые обществом результаты. Выявлять запросы, стремления и настроения людей труда — чрезвычайно важно. Без этого нам всегда может грозить самая большая опасность — отрыв от действительности, ошибочные оценки, а значит, и ошибочные выводы.

II

— Хотелось бы, чтобы из нашей беседы можно было бы больше узнать о вас, нежели из официальных биографических данных. Как получилось, что вы уже в юности принимали участие в такого рода деятельности, которой женщины скорее сторонятся? Могли бы вы описать свой путь в Политбюро?

— Мой путь? Трудно говорить о себе... Моя жизнь была похожа на жизнь тысяч других женщин, которые не могли ограничить свою активность рамками семейных и профессиональных проблем. Какая-то юношеская страсть и атмосфера первых послевоенных лет увлекали людей, созидающих нашу Польшу «заново», на совершенно новых социалистических принципах. Польшу, о которой мечтали наши родители. Возможно, что этой «бациллой» я заразилась еще в семье. Ведь мои родители были членами партии: мать была особенно увлеченной многолетней активисткой Польской социалистической партии. Она служила для меня живым примером общественного деятеля. Я помню ее в период довоенных забастовок — она была одним из организаторов. Мать часто брала меня с собой на первомайские демонстрации. Вероятно, подобные вещи, а также уважение к труду и чувство долга, привитые дома, определенным образом повлияли на принятие мною более поздних жизненных решений. Хотя бы таких, как вступление в 1947 году в Польскую объединенную рабочую партию и в Союз борьбы молодых, в воеводскую партийную школу, которую я закончила. Помню, как я отозвалась на почин инициатора соцсоревнования шахтера Петровского. Он обратился с призывом начать социалистическое соревнование. Я, тогда молоденькая девчонка, вместе с подругами по работе откликнулась на его зов. И помню, как сейчас: старшие по возрасту и опыту работницы радомской «табачной», где я тогда трудилась, называли нас «выскочками». Не очень-то приятно было. И все-таки они вскоре меня избрали профоргом, а немного позже — секретарем окружного правления профсоюза работников пищевой промышленности. После «табачной» на короткий срок перешла на завод металлоизделий имени генерала Вальтера, а с 1953 года и по настоящий день работаю на Радомской обувной фабрике «Радоскур». Все это время я оставалась работником физического труда, одновременно в общественном порядке исполняя множество функций — как в партии, так и в профсоюзных организациях, и в органах местного самоуправления,— была депутатом воеводского национального совета в Кельцах, председателем районного фронта единства народа. За эту деятельность удостоена многих наград и отличий...

— После августа 1980 года вы не испытывали чувства горечи и разочарования? А сам факт, что лозунги, которые вас вдохновляли несколько десятилетий назад, оказались дискредитированными, не поколебал вашей веры в идеи? В социализм?

— Горечь и утрата веры — это разные чувства, они даже не пересекаются друг с другом. Чувство разочарования я испытала уже на VIII съезде, на котором ощущалось отсутствие связи руководства с нами, представителями трудящихся масс. Ведь большинство предложений, которые тогда были выдвинуты (в том числе и мною), не было реализовано. Поэтому август не явился для меня неожиданностью. Он был подтверждением того, что рабочий класс в критический момент всегда способен сказать свое решительное пролетарское: «Социализм — да, извращения — нет!»

— Оппозиция утверждает нечто совсем иное...

— Каждая оппозиция внушает обществу то, что ей выгодно. Но никакая оппозиция не способна опровергнуть одного очевидного факта: мы живем в государстве, где уже сорок лет рабочие и крестьяне — хозяева страны. Я действительно еще помню времена, когда радомская промышленность находилась в частных руках. Какая-либо дискуссия с

владельцем была невозможна, а уж критика его кончалась одним — вышвыривали на улицу без всякого объяснения. А сегодня? С директорами можно спорить, даже не соглашаться с ними и критиковать их. Но уволить с работы без согласия профсоюзной организации нельзя. На предприятиях существуют органы местного самоуправления, комиссии. То же самое происходит и в городах — имеются народные советы на разных уровнях, территориальные органы самоуправления и т. п., вместе они решают: строить ли в первую очередь дорогу, школу или детский сад? Я помню еще одноэтажный Радом. Редко на каких улицах имелась в ту пору канализация. Множество семей жило в однокомнатных помещениях, часто — в подвалах и так называемых мансардах. Мои дедушка и бабушка тоже ютились в одной комнате, воспитывая восьмерых детей. Там же родилась и я. Дедушка, хотя и проработал сорок лет у капиталиста на пивоваренном заводе, не получил никакого пособия или пенсии. Только один из его детей окончил семилетку. Я уж не говорю о том, что высшие учебные заведения для детей рабочих и крестьян были вообще делом нереальным. Мой отец, хотя и имел хорошую специальность, оставался сезонным рабочим: устроиться на постоянную работу было трудно. Нынешние критиканы не представляют себе, что такое безработица, что значит не иметь гарантированной медицинской помощи и многих других социальных завоеваний, обеспечиваемых социалистическим государством. Сегодня, повторяю, не только у нас в Радоме новые жилые районы; в одном из них и я живу в двухкомнатной квартире. У нас новые заводы, медпункты, школы. Почти всюду центральное отопление, газ, водопровод. Люди живут в сносных условиях, что, разумеется, не значит, будто нельзя многое сделать значительно лучше, что мы уже решили все проблемы и удовлетворили все нужды. Нет, нужд еще много, очень много! По-прежнему необходимо построить множество квартир. Требуется новая больница, начало ее строительства нас крайне радует. Нам необходимы новые поликлиники, детские сады, школы. Очень кстати пришлись бы такие объекты, как железнодорожный и автовокзалы и новая гостиница, как спортзал, удовлетворяющий по своим масштабам двухсоттысячный город. Просто мой Радом развивается, а это влечет за собой необходимость расширения сети обслуживания, торговли, транспорта. А уж без теплоэлектроцентрали, очистных сооружений и нового водозабора трудно и представить себе дальнейший рост уровня жизни в нашем городе. Поэтому не будем впадать в самодовольство. Зато мы отдаем себе отчет в том, что только от нашего труда и деловитости зависят сроки реализации этих планов. Отсюда широкое вовлечение трудящихся Радомской земли в общественную работу. В этом отношении наше воеводство в Польше на одном из первых мест. И это радует. Но возвращаюсь к вопросу, который навел меня на размышления о пройденном нами пути, на размышления, на мой взгляд, полезные, хотя бы уже тем, что позволяют полнее оценить перемены, совершившиеся в нашем обществе на протяжении последних четырех десятилетий. Поэтому, несмотря на августовские испытания, моя вера в идеи рабочего класса, которому я служу, не поколебалась. Ее укрепил и утвердил IX съезд ПОРП, его программные решения. А с позиции нынешнего дня, еще тяжелого и трудного, заметен, хотя и медленный, крайне медленный, но все же прогресс на избранном нами пути. Мерилом надлежащим образом реализуемой политики служат экономические показатели последних лет и последних месяцев. Восстанавливается национальное согласие. Покой и надежда вернулись в польские дома. Польша начинает постепенно занимать соответствующее положение в международном сообществе, независимо от препятствий, которые еще время от времени возникают. Ведь наше место в международном сообществе — это результат нашего союза с СССР и другими странами социалистического содружества, которые еще раз доказали, что делят с нами и наши трудности и радости. Результат нашего союза и оборонной мощи государств Варшавского Договора — это 40 лет прочного мира в Европе. А что может быть ценнее, нежели возможность жить и работать в мирных условиях.

III

— Вы были избраны членом Центрального Комитета ПОРП, собственно говоря, еще на VIII съезде и принадлежите к числу тех немногих, чьи кандидатуры были одобрены годом позже IX съездом, более того, вас выдвинули в члены Политбюро. Как это произошло?

— На VIII съезде мое выступление носило крайне критический характер, возможно, именно поэтому делегаты меня поддержали. Вероятно, многие товарищи помнили об этом полтора года спустя, на IX съезде.

— Вы вступили в профобъединение «Солидарность» только для того, чтобы выйти из него?

— Не понимаю вашего вопроса. Разве миллионы поляков вступали в «Солидарность» только ради того, чтобы из нее выйти? Нет! Мы вступали в профобъединение, а не в оппозиционную партию, в какую «Солидарность» позже превратилась. После IX съезда, уже на II Пленуме ЦК я ясно высказала свое отношение к тому, что происходит, критиковала попытки преобразовать «Солидарность» в политическую партию, а на IV Пленуме заявила, что выйду из «Солидарности».

— А что подтолкнуло вас на этот шаг?

— Мои моральные убеждения и мои идейные принципы. Я зрелый человек и свои решения принимаю самостоятельно, и всегда только в том случае, когда убеж-

дена в правильности своего поступка, никогда вопреки своей воле, под диктовку других. В «Солидарность» я вступила так же, как и другие рабочие, ибо хотела, как и пристало членам нашей партии, быть там же, где трудовая масса.

— Как вы реагировали на введение в стране военного положения?

— Как и все поляки с подобным же запасом жизненного опыта. Ведь я помню войну, и именно этот факт связывался в моем сознании с риском возврата к тогдашнему кошмару. Моя мать пережила две войны. Одна ужаснее другой. Я — только одну, но не хотела бы дожить до момента очередного военного конфликта. А такой конфликт нам в ту пору грозил. Слова и заявления экстремистов из бывшей «Солидарности» не были шутками. Отсюда и решение хоть и трудное, но неизбежное.

— Многие рабочие, однако, выходили из партии — как после августа 1980-го, так и после 13 декабря 1981 года. Вы этого не сделали. Почему?

— Этот вопрос оскорбителен для меня! Это мой социальный строй, моя идеология. Я связала свою судьбу с ними на всю сознательную жизнь. Легче всего было бы швырнуть партийный билет в трудный, кризисный момент. Ну и что? Отойти в сторону? Присматриваться сбоку? Нет, я на такое не способна! Зато могу и жажду, в силу выданного мне мандата, быть в числе тех, кто устраняет из нашей жизни все, что еще не удовлетворяет, подавляет и огорчает людей труда. Я хочу содействовать разрешению этих проблем. И считаю это своим партийным долгом.

— Работа в Политбюро ЦК ПОРП заставила вас скорректировать взгляды, которые сложились у вас в «Радоскуре»? Или, другими словами, Зофья Гжиб — член Политбюро — живет в согласии с работницей Зофьей Гжиб?

— Да. Думаю, однако, что о подробностях вам следует расспросить людей из моего окружения. Разумеется, иначе смотришь на многие проблемы со своего фабричного двора, а по-другому, скажем так,— из центра политического управления страной. Истина заключается в том, что я вынуждена постоянно корректировать характер своего мышления. Я стремлюсь быть в меру объективной, хотя должна признаться, что у меня не всегда это получается. Ведь если речь идет о фабрике «Радоскур» или о моем воеводстве, вполне естественно, что я руководствуюсь сердцем в отношении региона и города, с которыми связана от рождения.

IV

— Как на вашу деятельность и политическую карьеру реагируют окружающие?

— В Радоме ко мне относятся доброжелательно и поверяют мне свои дела, просто считают меня «своей», что меня радует.

— Как вы справляетесь с общественной работой?

— К счастью, у меня есть помощница-мама и снисходительный муж. Они освобождают меня от занятий по дому. У меня мало свободного времени, что, вероятно, и вызывает усталость. Однако, несмотря на это, возможность служить другим меня утешает. Тогда об усталости забываешь.

— Как вы понимаете счастье?

— Не знаю, что означает понятие счастья для вас, для меня же важны надежность, сердечная атмосфера, согласие и радость в семье. Радость доставляет мне мой сын, невестка и внуки, которых я очень люблю, как, пожалуй, все бабушки на свете. Я считаю, что люди разочарованные, озлобленные лишены этих малых ежедневных радостей. Мой самый главный капитал — это оптимизм. Он помогает мне, между прочим, и в контактах с людьми.

— А что вы ненавидите?

— Ложь. Предпочитаю самую горькую правду.

— А можно ли избежать лжи в политике?

— Лгать нам нельзя. Мы работаем на глазах у всего общества, зависим от выносимых этим обществом оценок нашей деятельности, оценок, которые постоянно меняются. Поэтому ныне, в противоположность 70-м годам, стараемся не приукрашивать даже самую горькую правду. Это уже было, а цена пустословия нам всем прекрасно известна.

— Что вы любите?

— Потрудиться дома. Участвовать в жизни семьи.

— Что у вас в жизни не получилось?

— Я не лелеяла грез, которые не могли осуществиться. Всегда была реалисткой.

— Как вы определили бы предел счастья и тяжелое поражение?

— Никогда над этим не задумывалась. Ужасает меня беспомощность, бессилие, ситуации, в которых по объективным, не зависящим от меня причинам я не в состоянии помочь тем, кто в этом нуждается. И я счастлива, когда вижу доброжелательную улыбку и слышу сердечные слова, адресованные мне всеми теми, кто приходит со своими проблемами, заботами. Мне это крайне необходимо.

— Попытаемся отвлечься от проблем нынешнего дня. Как мы будем жить в XXI веке?

— Каким окажется будущее — зависит прежде всего от того, как мы сегодня для этого потрудимся. Поэтому наши усилия должны быть сосредоточены в одном направлении. Четче всего это сформулировал Первый секретарь ЦК ПОРП товарищ Войцех Ярузельский: «Благосостояние не дается и не берется, благосостояние создается трудом, не

только из года в год, но и изо дня в день, час за часом».

К сказанному нет нужды что-нибудь добавлять, следует только помнить об этом.

ЯН ГЛУВЧИК

«Гарантии от возможных ошибок — в нас самих...»

I

— Делегаты IX Чрезвычайного съезда ПОРП избрали вас в состав партийного руководства, вы — секретарь ЦК по пропаганде. Прежде чем стать политиком, вы 25 лет были журналистом, главным редактором еженедельника «Жиче господарче». Откройте, пожалуйста, секрет: как вам удалось так долго удержаться в редакторском кресле? Неужели вы никогда не оказывались в затруднительном положении?

— Во-первых, я не единственный, кто исполнял обязанности главного редактора столько лет. Во-вторых, на этот вопрос, который мне задают очень часто, я отвечаю полушутя-полусерьезно: «Я никогда не был чьим-то человеком». Хотя отчасти это и шутка, она соответствует моим жизненным убеждениям.

В 1957 году я принял еженедельник с тиражом 7 тысяч экземпляров, через 25 лет его тираж достиг 70 тысяч. Разумеется, тираж возрастал постепенно, из года в год, по мере того как еженедельник с большим или меньшим интересом раскупался читателями. В еженедельнике мы поднимали трудные вопросы, критикуя недостатки нашей экономики. Это всегда была спокойная критика, мы искали возможный выход из тупика. Тем не менее не обходилось без резких выпадов по нашему адресу, а дважды я даже был снят со своего поста. Один раз Первым секретарем ЦК ПОРП Владиславом Гомулкой в 1959 году. Затем в середине 70-х годов, когда моя статья вызвала неудовольствие у тогдашнего премьера Петра Ярошевича. В обоих случаях причиной таких радикальных решений в отношении меня были эмоции, споры по поводу повышения цен на продовольственные товары в 1959-м и 1976 годах.

Ныне оба случая я оцениваю с отдаленной перспективы и о первом из них вспоминаю с определенной симпатией.

Владиславу Гомулке с опозданием стало известно, что мы намеревались напечатать статью, которую сами же загодя сняли. Но об этом уже товарища Гомулку не проинформировали. Мне известно, что он был крайне возмущен и распорядился убрать главного редактора и автора статьи. Об этом решении меня известил тогдашний руководитель отдела печати ЦК. Сообразуясь с этим, я передал моему заместителю обязанности главного редактора.

Прежде я не был знаком с товарищем Веславом[1], что мне, однако, не помешало написать ему письмо. В нем я объяснил ход событий и заметил, что снятие меня с поста главного редактора считаю несправедливым и оскорбительным решением. Одновременно информировал Владислава Гомулку, что, согласно с нормами, обязательными в нашей партии, я подчиняюсь такому решению и не стану предпринимать ничего, что способно вызвать даже незначительные осложнения в партийных рядах. Я упомянул также, что считаю отправку этого письма своим партийным правом и обязанностью.

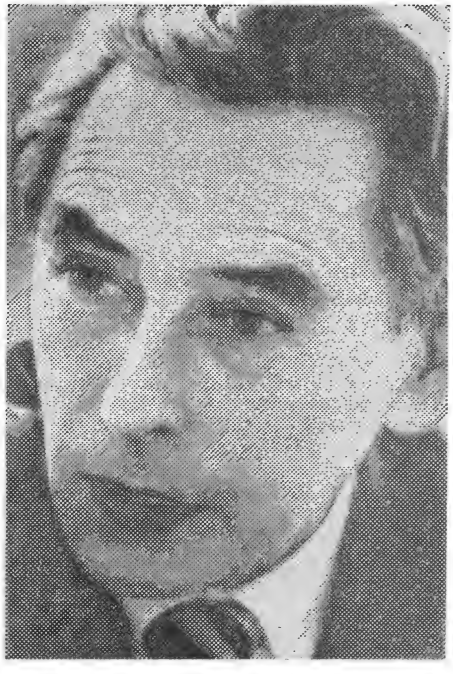
Ознакомившись с моим письмом, тогдашний руководитель отдела печати ЦК назвал его наглым по тону и оскорбительным для Первого секретаря, подчеркнув, что не желает иметь с этим письмом ничего общего.

Меня изумила подобная оценка. Письмо было написано в спокойном, а теперь бы даже сказал — в смиренном тоне. Дней через десять в ходе передачи мною своих редакторских обязанностей позвонили из канцелярии Первого секретаря

ЯН ГЛУВЧИК — политический деятель и журналист. Родился 30 мая 1927 года в Грибове. Окончил сельскохозяйственный факультет Ягеллонского университета в Кракове в 1952 году, а в 1954-м — Институт общественных наук при ЦК ПОРП.

С 1957 года около 25 лет возглавлял еженедельник «Жиче господарче» («Экономическая жизнь»). В 1960—1982 годах — член Союза польских журналистов. С 1978 по 1979 год — председатель Главного правления профсоюза работников издательств, прессы, радио и телевидения.

Член ПОРП с 1951 года. В 1981 году на IX Чрезвычайном съезде ПОРП вошел в состав ЦК. С 1981 года — кандидат в члены Политбюро, позже избран секретарем ЦК ПОРП. С 1981 года — председатель Комиссии социальной политики ЦК ПОРП.



[1] Партийная кличка В. Гомулки.

ЦК и кратко информировали: «Не волнуйтесь, Первый секретарь ознакомился с вашим письмом и счел содержащиеся в нем объяснения резонными. Свое первоначальное решение он отменяет. Отдел печати информирован, что вы остаетесь на своем месте».

Я упоминал уже, что это событие в итоге произвело на меня благоприятное впечатление. Эпизод этот вместе с тем характеризует Владислава Гомулку как человека порывистого, но умевшего быть справедливым. Я знаю, что Гомулка читал «Жиче господарче» и в дискуссиях узкого характера оперировал публиковавшимися в еженедельнике критическими материалами.

В середине 70-х годов на страницах еженедельника мы опубликовали цикл статей о снижении эффективности хозяйствования. Один из материалов за моей подписью, основанный на данных статистического ежегодника, выдержанный в конструктивном тоне и призывающий к тому, чтобы заняться этой проблемой, вызвал недовольство Петра Ярошевича. В результате в августе 1976 года меня отстранили от исполнения обязанностей главного редактора.

Меня направили работать в Министерство иностранных дел. Я не противодействовал, хотя, откровенно говоря, дипломатия меня не интересовала. Я пребывал в подвешенном состоянии целый год. В конце концов меня полуофициально уведомили, что мое увольнение из еженедельника «Жиче господарче» потеряло свою актуальность.

II

— Журналистика, с которой вы связали почти всю свою жизнь,— это сознательный выбор или случайность?

— Случайность, но отчасти и результат отроческих грез. Их породил в душе случайно раздобытый мной в период оккупации довоенный справочник Варшавской школы журналистики. Однако это были только грезы, ибо уже до войны я понимал, что не смогу пойти в среднюю школу.

В среднюю школу ходил мой старший брат. Я помню семейные споры и вопросы родителей: «Хватит ли у нас средств обучать в средней школе младшего сына?» Подсчеты недвусмысленно указывали, что мое образование ограничится рамками начального обучения. Мать моя была домашней хозяйкой. Отец работал в новосондзких железнодорожных мастерских, выполняя множество функций, в том числе был слесарем и котельщиком. Зарабатывал он от 150 до 170 злотых в месяц. Родителям с трудом удавалось раз в полгода наскрести 50 злотых как «плату за обучение» брата. Это была льготная плата, полагавшаяся железнодорожникам. Ежегодно брату требовалась новая темно-синяя школьная форма. Непременное требование, связанное с большими расходами. Долгое время мы платили за квартиру 50 злотых. Повышенная квартирная плата объяснялась непривычным для нашего города новшеством — электричеством. Потом родители сменили квартиру, электричества там уже не было. Плата снизилась, легче стало решать финансовые проблемы.

Мальчишеские мечты о журналистике и атмосфера в семье приохотили меня к чтению газет. Отец, член Польской социалистической партии, выписывал «Напшуд», «Работника» и теоретический орган социалистов «Святло», я, разумеется, ничего там не понимал. Я мало что постигал своим умом, но все непонятное, почерпнутое из газет, терпеливо подводил к моему детскому восприятию сам отец.

Незабываемое впечатление, значительно повлиявшее на мое представление о Польше, оставила месячная поездка по железной дороге вокруг всей страны, состоявшаяся в 1937 году.

— Но вы ведь были тогда мальчишкой.

— Да, действительно, но в памяти осталось многое.

Я ходил в школу, где большинство детей были из семей железнодорожников. Многие отцы наших учеников были активистами-общественниками. Используя связи с профсоюзом железнодорожников, они добились согласия на ремонт старого вагона. Я помню, что он был очень изобретательно приспособлен для дальнего путешествия. Девятилетним мальчиком под опекой двух отцов наших учеников и учителя я вместе со своими однокашниками совершил поездку вокруг Польши.

Моя Польша была галицийской. За время же своего путешествия я увидел разные облики родной страны, и эта разноликость Польши сохранилась в моих туманных воспоминаниях. Наиболее гнетущее впечатление на меня произвела Лодзь, где мы провели несколько дней. Город был крайне мрачный и грязный. Я имею в виду промышленную грязь, ибо вообще грязи в своей жизни повидал достаточно. Естественно, запомнились и другие районы Польши. Например, через Вольный город Гданьск мы только проехали. Я видел также Гдыню и Хель, где впервые в жизни созерцал море. В Гдыне запомнился порт, в Хели — маяк. Из крупных городов я лучше всего знал Краков, где несколько раз побывал вместе с отцом, и каждый раз Краков представлялся мне огромным городом.

— Вы родились и провели детство в Гжибове?

— Это ошибка. Я родился в Грибове. Это украинское название. В той части Польши, до самой Шчавницы, на протяжении веков жили украинцы. Название Грибов происходило от украинского слова — грибы.

Там я и родился. Когда мне было четыре года, родители перебрались в Новы-Сонч. Там я воспитывался, ходил в школу, там пережили мы оккупацию, однако выжили не все.

27 апреля 1942 года немцы накануне 1 мая произвели предупредительные аресты. Воспользовавшись списками, со-

ставленными довоенной полицией, они в одну ночь арестовали около 120 человек. Среди них были взятые на учет довоенными санационными властями члены районного и городского правления Польской социалистической партии и профсоюза железнодорожников. Многих из арестованных выпустили. Домой не вернулись мой отец и двое его коллег. Они составляли руководящую группу в профсоюзе и социалистической партии.

После ареста отец сидел в тюрьме в Новы-Сонче, а позже в Тарнуве. В августе того же года мы получили извещение, что отец умер в концлагере Освенцим. Вскоре после его смерти, конкретно с 1943 года, я начал работать. Полтора года я был учеником трубочиста...

Это был крайне тяжелый труд. Я чистил дымоходы в Грибове и окрестных селах. Работа, как правило, начиналась в понедельник утром, а заканчивалась в субботу вечером. Всю неделю я странствовал от дома к дому, из одной деревни в другую. Спал в основном на чердаках. Зимой немилосердно мерз. Днем опускался в дымоходы и, прочищая их, одновременно согревался. Одежда становилась мокрой. Ночью она смерзалась. Утром все на мне трещало. Практически полную неделю я не мылся, да и где? В субботу вечером совершалась целая церемония мытья — кипячение воды и вслед за этим отмывание жесткой щеткой тела трубочиста в лохани. Из этих странствий мне запомнилась ужасающая нищета, господствовавшая в деревнях. Систематически не высыпаясь, я особое внимание обращал на кровати в сельских хатах. Они действительно были редкостью.

— Галицийская Польша, как вы сами охарактеризовали свои родные края, — это регион с очень сильными традициями крестьянского движения. Оставило ли все это какой-то след в вашей памяти?

— В самом начале должен оговориться. Мои суждения о довоенных и военных годах — результат наблюдений мальчика чуть старше десяти лет. Это рассказы, основанные на личном опыте, не подкрепленные последующим изучением истории региона. С детских лет я помню дом как место постоянных встреч отца с друзьями, встреч, насыщенных горячими спорами. Квартира у нас была маленькой, и поскольку, откровенно говоря, у отца не было возможности куда-то выставить меня, я вслушивался в те разговоры, которые велись. Понимал я мало, но что-то осталось в памяти.

В окрестностях Новы-Сонча крестьянское движение наверняка существовало, но оно не было столь политически сильным, как к северу от тех мест, где я жил, имею в виду Тарнувский уезд.

Зато в памяти хорошо сохранились картины довоенной крестьянской забастовки. Грибов расположен в долине. К нему с гор тянулись вытоптанные на протяжении десятилетий тропинки. По ним деревенские женщины из окрестных сел спускались со своими продуктами на городской торг. В дни забастовки мужчины блокировали эти тропки, не пропуская женщин в город. Доходило до ссор, перебранок, ибо случалось, что муж «заворачивал» жену. Я был также свидетелем трагической сцены на рынке в Грибове. Туда согнали группку бастующих, некоторых я знал. Полицейские принялись избивать их. Помню, что крестьяне были босы, помню, что пролилась кровь.

С детских лет мне также запомнилось участие крестьян в первомайских рабочих демонстрациях. Я вместе с отцом тоже участвовал в них, если этот пролетарский праздник совпадал с воскресным днем, ибо в остальные дни я должен был отправляться в школу, поскольку Первомай не был общегосударственным праздником.

— Как получилось, что после войны вы поступили на сельскохозяйственный факультет Ягеллонского университета, а не на журналистский, о котором мечтали?

— В момент освобождения Новы-Сонча в 1945 году я со свидетельством об окончании начальной школы, именовавшейся тогда народной, тщетно мечтал получить среднее образование. Я работал в финансовом отделе уездного народного совета. Заработок был крайне скудный, и жить нам с матерью было очень тяжело. Я понимал, однако, что окончание средней школы зависит только от меня. Продолжая работать, я за два года экстерном окончил гимназию, сдав экзамен на аттестат зрелости. С того периода у меня выработался навык работать и по ночам. То, что я взялся за изучение проблем кооперации на сельскохозяйственном факультете Ягеллонского университета, определялось несколькими крайне существенными моментами моей тогдашней жизни. Прежде всего я искал высшее учебное заведение с таким уклоном, чтобы иметь возможность зарабатывать. Обучаясь в вузе, я не мог рассчитывать на чью-то материальную поддержку. Мать получала за отца пенсию, которой ей одной хватало на неделю. Кроме того, я знал, что на отделении кооперации можно получить повышенную, в сравнении с обычной, стипендию. Это была стипендия Центрального союза кооперации, опекуна отделения. А то, что в годы оккупации я успел закончить один класс торгового училища, тоже свидетельствовало о том, что следует подаваться на отделение кооперации. Поскольку в торговом училище были толковые учителя, я за учебный год достаточно основательно постиг основы бухгалтерского и счетоводческого дела. И действительно, знание этих предметов очень пригодилось мне в процессе дальнейшего обучения.

Немаловажен был и тот факт, что на отделение кооперации намеревалась отправиться группа моих сверстников. Хотя я и побаивался Кракова. Для нынешнего поколения моя тогдашняя боязнь абсолютно непонятна, но большой город просто пугал меня.

Существенным представлялось и то, что занятия продолжались три с половиной года. Первый год начался для меня

при крайне драматических обстоятельствах. Не преувеличу, если признаюсь, что буквально умирал с голоду. 30 сентября, распростившись со своей работой, я собирался перебраться в студенческое общежитие в Кракове. Отправился туда на имматрикуляцию[1] и тотчас вынужден был вернуться в Новы-Сонч. Моя мать тяжело заболела. Я оказался вовсе без средств к существованию. Не знал, что будет дальше с занятиями.

В Краков я явился только в феврале. Жить было негде: пока я отсутствовал, мое место в общежитии заняли. В ту пору в высших учебных заведениях действовала триместральная система обучения. В декабре прошли первые экзамены, которых я не сдавал. Не стану описывать все мои тогдашние невзгоды, но в итоге первый курс я осилил.

— А время на развлечения и девушек оставалось?

— Девушки, конечно, были, но на то, чтобы повеселиться, времени не хватало. Хотя... колоссальным открытием, и не только для одного меня, оказалась серьезная музыка. В сотрудничестве с дирекцией Краковской филармонии мы пробудили у студентов большой интерес к музыке такого рода. Удалось выторговать у директора филармонии немного контрамарок и билетов со скидкой. И — о, диво — студенты ходили на концерты. Благодаря этому концертный зал всегда был полон.

III

— После августа 1980 года журналистская среда пережила серьезное потрясение. Произошла резкая поляризация политических позиций.

— Поколение журналистов, к которому я принадлежу, намного раньше пережило другой сложный момент нашей истории. Я имею в виду весь процесс, который начался в 1954 году и продолжался в 1955 — 1956 годах. Я намеренно говорю «процесс», ибо мы утратили обыкновение оперировать точными датами — указывать конкретный год и даже конкретные месяцы. Это упрощение. Я не преувеличу, если скажу, что мое поколение было по-юношески наивно, но чрезвычайно прогрессивно настроено, глубоко связано с классовыми, социальными переменами, происходившими в стране. Мы были даже чуточку идеалистами. Мыслили чрезвычайно упрощенно и крайне легко переключались на повседневные проблемы, руководствуясь принципом, что это процесс революционного характера и происходить по-другому он не может. Следует напомнить, что процесс этот вершили люди без всякого навыка и опыта и даже без необходимых знаний. Постепенно, однако, в нас крепло убеждение, что не все происходящее в нашей жизни — неизбежный результат революционного процесса. В известный момент наступила внезапная поляризация точек зрения. В самом схематичном виде это выглядело так: одни пришли к выводу, что все свершившееся дурно и никуда не годится. По их мнению, в самом изначальном моменте заложен некий первородный грех. Нечто подобное, к примеру, говорит ныне Адам Шафф, формулируя тезис, что революцию эту вообще не следовало начинать. Извлекали на свет старую проблему, которую затрагивал еще Каутский, говоря об аграрных странах, что надо подождать, пока капитализм выполнит за нас эту грязную работу в сельском хозяйстве. С Каутским можно согласиться лишь в одном: что перемещение огромных человеческих масс из деревни в город — это гигантский, чреватый конфликтами процесс. И мы этот процесс на протяжении нашего сорокалетия переживали, хотя, по моему мнению, он еще не закончился.

Результатом этой поляризации была и другая позиция. Критически оценивая процесс первой половины 50-х годов, мы заимствовали из него и то, что было там прочного и ценного. Мы переосмыслили очень многое, избавились от нашей наивности, у нас было немало времени для того, чтобы определить свою позицию. Поэтому и реакция моего поколения на события 80-х годов оказалась иной, нежели у тех, кто не пережил глубоких изменений, происшедших в 50-е годы.

— Или, другими словами, лес рубят — щепки летят?

— Простите, но я не выношу подобных аналогий. Это то же самое, что сказать, будто топором спичку рубят на четыре части. Такого рода прием — из старой оперетки. Ибо если проблема ставится в таких примитивных категориях, то нечего рассчитывать и на серьезный ответ. Все это гораздо драматичнее и не так просто, как кажется. Во второй половине 1982 года, точнее в середине августа месяца, я проводил встречу с представительной группой главных редакторов со всех концов Польши. Мне задали вопрос: гарантирую ли я, что если в условиях сохраняющегося в стране военного положения дело дойдет до демонстраций, то человеческих жертв не будет? Я ответил, что такого рода гарантий никто дать не в состоянии. Журналисты же призваны сделать все, чтобы свести к минимуму реальную опасность такого рода, и они способны оказать необходимое воздействие. Ибо это такого же характера вопрос, как: можно ли гарантировать, что в будущем никогда не будут допущены ошибки? Так вот, формальных гарантий быть не может. Гарантии от возможных ошибок — в нас самих, в стиле действий членов партии и партии в целом, в откровенном разговоре о противоречиях и разрешении этих противоречий, прежде чем они перерастут в грозный конфликт.

— Но вас не должны удивлять тревоги и опасения такого рода. Ведь каждый жаждет жить в безопасности.

— Я не только не удивляюсь, но и не в претензии на такие вопросы. Но я обязан говорить о том, что одни право-

[1] Зачисление абитуриентов в список студентов высшего учебного заведения. Процедура эта совершается в торжественной обстановке.

вые регламентации нас автоматически не спасают. Правда и то, что явления такого рода в окончательном виде оценить или вынести о них суждение никто не в состоянии. Можно рассматривать их только в плане историческом. Возьмем, к примеру, чилийскую революцию и ее руководителя Альенде. Он стремился любой ценой избежать вооруженного столкновения.

— И поэтому потерпел поражение?

— То, что терпит поражение лидер или группа людей, еще не самая главная проблема. В Чили только после подавления революции широко пролилась кровь. Но разве лишь таким путем следует доказывать правоту революционного процесса? Революция — величайший конфликт, какой только можно себе представить, и это ошибка — считать, будто в балансе обретений и утрат общественного прогресса не окажется никаких издержек. Я рассуждаю об экстремальных ситуациях — жизнь или смерть. А ведь возникают и другие конфликты, например, осложняются судьбы людей.

— Кстати, об осложнении человеческих судеб. Что может ныне предложить наша родная политическая оппозиция?

— Объединение Германии за счет ГДР и великогерманское давление на Польшу. Таковы предложения оппозиционеров. Поэтому они извиняются и просят простить их. В том числе и за то, что мы вернулись на Одру и Нысу. Поэтому они ставят под сомнение Ялту и Потсдам. «Наша родная оппозиция», кроме возвращения в Польшу на белом «Першинге», ничего иного ни нам, ни кому-либо другому предложить не может, о чем все знают и о чем заявил недавно бывший польский журналист, откровения которого справедливо сделало достоянием гласности наше телевидение.

— Помимо ваших двух общественных ролей — журналиста и политика — необходимо назвать еще одну: ведь вы же экономист. Упрощая проблему, можно сказать, что наши затруднения политического порядка порождены базисом, каким является далеко не самым лучшим образом функционирующая экономика. Правящая элита, к которой принадлежите и вы, выступает в роли пресловутого портного, у которого покрой и мода обусловлены метражом полученного им материала. Очень немногое вы в состоянии предложить, пожалуй, кроме того, что после многолетних трудов мы в 1990 году обретем тот уровень жизни, какого достигли накануне августовского кризиса 1980 года. 11 лет как бы вычеркнуты из нашей жизни...

— Это негодные подсчеты!

— Прошу извинить, однако такую картину изображают нам средства массовой информации. Если это негодные подсчеты, то как вы будете полемизировать с подобными взглядами?

— Прежде всего невозможно оспаривать все те факты, которые уже имели место и которые необратимы. Самое большее — можно попытаться их охарактеризовать, дать им оценку.

В 70-е годы решено было укрепить экономику извне с помощью кредитов. Замысел был великолепный. Наращивать производство станков, экспортируя их, выплачивать полученные кредиты, одновременно получая прибыль путем использования благоприятной информации о ценах на сырье и станки. Увы, идея эта себя не оправдала. Экономическая ситуация в мире радикально изменилась.

— А то, что сегодня представляет собой польская экономика, тоже устарело?

— Устарело в том смысле, что это уже следствие решений, принятых в более ранний период.

— Вот в чем вся драма! Как управлять экономикой, оздоровлять ее, когда оказался в вынужденной ситуации и выбора не существует?

— В вынужденных ситуациях проблема выбора становится важнейшей, а не менее важной. Поле для маневра крайне узко, благодаря чему проблема выбора приобретает еще более существенное значение, хотя становится труднее, а подчас оказывается и драматичной. Нам предстоит решить вопрос о реструктурализации национальной экономики. Следует помнить, что это не чисто техническая, а политическая проблема. В ходе этого процесса передвигают не только машины, но в первую очередь людей.

— Польский рабочий класс расплачивается за структурные изменения?

— Пока что приходится расплачиваться за последствия кризиса. Так обстоят ныне дела. Я считаю, однако, что все мы, все общество в целом, в результате тяжкого опыта последних лет на пороге вступления в более зрелую фазу развития. Это не означает, однако, что не могут предприниматься попытки более упрощенной трактовки процессов, происходящих в обществе. Я думаю здесь также и о попытках персонификации явлений в социальной и экономической сферах. Думаю и о позитивном устремлении нашего общества — о стремлении к тому, чтобы двинуться вперед. Мы стремимся к успехам, ибо на протяжении веков были окраиной Европы. Время от времени в нашем сознании возникает старый вопрос, содержащийся в нашей истории, в литературе: романтизм или органичный труд. Мой ответ: и то и другое.

— Вы не носите обручального кольца?

— Я никогда его не носил.

— Но вы женаты?

— Да. Женился один раз и разводиться не собираюсь. Вспоминаю, что отец тоже не носил обручального кольца и из-за этого возникали семейные препирательства. Мать настаивала, чтобы отец надевал кольцо, когда они отправлялись в гости. То, что я не ношу обручального кольца, не беспокоит ни мою жену, ни дочь.

— Каково ваше общее самочувствие?

— Я чувствую себя как спортсмен-рекордсмен, вынужденный многие часы ежедневно работать, отодвигая в сторону уйму других — важных и менее важ-

ных — дел. От этого страдает и семейная жизнь. К счастью, дома нет маленьких детей. Тут проблема выбора, но я не жалуюсь. Возможно, избери я другие сферы жизненной активности, например литературу, я был бы уже автором нескольких книг. Но вопрос: каким бы я был писателем?.. Я, однако, предпочел журналистику, а вместе с этим политику.

— О своем выборе вы не жалеете?

— Нет. Хотя живу в постоянном напряжении, работаю на трудном участке и отдаю себе отчет, какая серьезная ответственность лежит на мне, я в каком-то смысле чувствую себя спокойно.

— Просто журналист привыкает к стрессовым ситуациям...

— Нет, речь не об этом. Могу сказать, что я в жизни достиг значительно большего, нежели мог когда-либо надеяться. Лишь одного в жизни я никогда не желал: не желал обзавестись виллой или садовым участком. Деньги предпочитал тратить на хорошо проведенный отдых. Много раз я бывал в Болгарии. Неоднократно это превосходило наши финансовые возможности, но я влезал в долги, и мы ехали в Болгарию отдыхать. Я обожаю море, морские купания. В Доме журналистов на Золотых Песках я чувствовал себя великолепно и не мечтал о даче под Варшавой, которой у меня наверняка так и не будет. Таков стиль моей жизни, и я удовлетворен им. Когда-то я занимался многими приятными вещами. Ходил в горы, играл в бридж и в шахматы, занимался различными видами спорта. Ныне, увы, на это недостает времени. Ради собственного удовлетворения я защитил докторскую диссертацию, хотя в этом не было необходимости: своим докторским званием я не пользуюсь. Но над диссертацией работал два года, отказывая себе во многих удовольствиях. Сама работа доставляла мне чувство удовлетворения. Меня радуют многие вещи на свете. Лес, созерцание неба, разговоры с людьми. Если я перестану заниматься тем, чем занят в настоящее время, то займусь чем-нибудь другим. Вероятно, я не буду бездельничать и раздражаться. У меня немало жизненных планов, замыслов, но боюсь, что все задуманное я осуществить не успею.

Перевод С. ЛАРИНА

◆

Критика

СЕРГЕЙ БЕЛОВ

ЭТИ ВЕСЕЛЫЕ ВОЕННЫЕ ИГРЫ

Новые сюжеты массовой беллетристики

Примерно в начале 70-х годов в цехе англо-американского литширпотреба наметились изменения — была опробована и вскоре запущена на полные обороты новая конвейерная линия — на западный книжный рынок стали в изобилии поступать романы и повести про вторую мировую войну и нацизм, сочиненные в полном соответствии с канонами авантюрной прозы. Разумеется, и до этого в англоязычной беллетристике писали и «про шпионов», и «про войну», но, пожалуй, именно в 70-е годы начался «военно-литературный бум», который и по сей день не выказывает признаков затухания.

При великом множестве конкретных вариаций сюжеты этих предназначенных для массового потребления «книгопродуктов» в общем укладываются в три категории — «тайная» (понимай — истинная!) история второй мировой войны, повествования о «нацизме сегодня» (глобальные заговоры с целью установления «нового рейха» в странах Запада) и, наконец, фантазии типа «предположим, Гитлер победил...». Оставим в стороне классический шпионский роман — это тема для отдельного разговора — и остановимся именно на этих трех процветающих разновидностях «военно-патриотического массолита».

Но что тут долго толковать? — могут возразить читатели. Сюжеты примитивные, персонажи, так сказать, из картона, психологии никакой — одним словом, еще надо проверить, литература это или жалкая на нее пародия. Может быть, и так, но чтобы разобраться в проблемах литературных, да и не только литературных, порой небесполезно бывает взглянуть на то, какую же псевдолитературу почитывают читатели и почему именно эти, а не другие сюжеты пользуются повышенным спросом. А заодно, вероятно, и про «настоящую литературу» кое-что выяснится — только ли «неразвитость вкусов» приводит к тому, что писатели, превозносимые серьезной критикой, в качестве читательской аудитории имеют исключительно одних лишь профессионалов, читающих литературу, чтобы о ней писать.

В главе «Снова кризис жанра» бессмертного романа «Золотой теленок» Ильф и Петров размышляли: «Параллельно большому миру, в котором живут большие люди и большие вещи, существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами». В преддверии надвигающегося двойного и совсем невеселого юбилея — семидесятипятилетия с начала первой мировой войны и пятидесятилетия с начала второй,— во времена сложные, чреватые серьезнейшими конфликтами, осененные тенью ядерной бомбы, «большие люди» — философы, люди науки и искусства, политические и общественные деятели — обращаются к трагедиям прошлого, напряженно размышляют о том, что сделать, чтобы не допустить той самой третьей мировой, которая может оказаться последней для человечества войной. Ну а «маленькие» — литературные технологи и бизнесмены — не ведают сомнений... «Маленькие люди,— читаем у Ильфа и Петрова,— торопятся за большими. Они понимают, что должны быть созвучны эпохе и только тогда их товарец может найти сбыт». Старый ребусник Си-

БЕЛОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ (род. в 1949 г.)

Советский литературный критик, автор статей по англоязычным литературам XX века, публиковавшихся в ряде журналов, в том числе в «Иностранной литературе».

ницкий не поспевал в ногу со временем, не мог придумать шарады с новомодным словечком «индустриализация». Мастера «массолита» умело приспосабливаются к любым обстоятельствам и выдают на-гора именно то, что сейчас в ходу, и в немалых количествах.

Размышляя о второй мировой войне и нацизме, западногерманский философ Теодор Адорно говорил, что «после Освенцима писать стихи — проявление варварства». Английский литературовед Джордж Стайнер ставил под сомнение способность художественной литературы правдиво передать смысл и содержание трагического опыта людей, на себе испытавших ужасы нацизма. Но пока велись дискуссии, имеет ли право литература браться за эти темы так, чтобы ничего не опошлить, не исказить «художественными приемами», в маленьком мире «массолита» никаких терзаний и сомнений не было и в помине. Вопрос по сути дела был один — какими способами можно обеспечить высокие тиражи, какими сюжетами заинтриговать возможно большее число любителей острых литературных ощущений, доставив им удовольствие, а себе — прибыль.

Американский беллетрист Леон Урис, всегда зорко следивший за конъюнктурой, в конце 50-х годов выбросил на книжный рынок полудокументальный роман «Исход», посвященный истории возникновения государства Израиль. Вскоре по выходе книги один из ее «героев», бывший врач-заключенный из Освенцима, по происхождению француз, по паспорту британец Дерринг, подал на Уриса в суд за клевету: он утверждал, что не принимал участия в криминальных медицинских экспериментах в Освенциме и не проводил операций без наркоза. В ходе судебного разбирательства было установлено, что Дерринг запамятовал — он проводил такие операции, хотя документально подтвержденное число их было меньше указанного Урисом. Суд постановил удовлетворить иск Дерринга и в возмещение убытков обязать Уриса выплатить ему ...полпенни. Присудив истцу компенсацию в размере самой мелкой английской монеты, суд тем самым недвусмысленно подчеркнул свое отношение к истцу и его деятельности во время второй мировой войны.

Урис как истинный бизнесмен увидел в скандальном процессе неплохие «творческие» перспективы. Материалы разбирательства были положены им в основу его следующего «документального» романа «QB УП» (1970). QB — это сокращение от словосочетания Qween Bench — наименование камеры суда, где разбиралось дело, как две капли воды похожее на столь удачно «проигранное» им. В основе сюжета процесс, возбужденный бывшим концлагерным врачом-заключенным Адамом Келно (в отличие от француза Дерринга он поляк, но, как и Дерринг, принявший после войны британское подданство и за свою врачебную деятельность удостоенный ордена Британской империи) против американского писателя Абрахама Коди, который в своем документальном романе-бестселлере «Резня» (аналог урисовского «Исхода») якобы бездоказательно инкриминировал Келно то, в чем обвинялся его прототип Дерринг. Продержав читателя в напряжении на протяжении четырехсот с лишним страниц, напугав ужасами спецмедблока, где трудился Келно, Урис развенчивает «великого исцелителя», обнажив его садистскую сущность. В соответствии с итогами «взаправдашнего» процесса Келно удостаивается символической компенсации в полпенни — и всеобщего презрения.

Урис с лихвой отомстил своему обидчику Дерингу, не опасаясь ответных мер с его стороны — к тому времени бывший врач-заключенный Освенцима успел скончаться. На романе Уриса можно было бы и не останавливаться — литературным достоинствам его (как и вообще беллетристике Уриса) грош цена, если бы в нем вполне отчетливо не отразилась характернейшая особенность «военно-патриотического массолита». Авторы подобных опусов умело обыгрывают интерес многомиллионной читательской аудитории к трагическим событиям недавнего прошлого, используя страдания и ужасы в целях собственного самоутверждения (и обогащения). Формально все «по закону» — и Урис, и Джеральд Грин, словно нарочно озаглавивший свой «антинацистский боевик» в точном соответствии с романом Коди «Резня» (1978) — по-английски он называется «Holocaust» и по нему снят популярный телесериал [1], — и Форсайт и Ирвинг Уоллес (в 1986 году он опубликовал роман «Седьмой секрет», где рассказал сказку о том, как Гитлер и Ева Браун не погибли, а выжили и еще долго плели сети нового заговора) вроде бы готовы разоблачать и клеймить нацизм, но по сути дела за этим нет ничего, кроме желания эксплуатировать актуальную тему в своих интересах. Главное в романе Уриса «QB УП» — не трагедии миллионов узников концлагерей, не попытка осмыслить уроки истории, но самореклама.

Любопытен образ писателя Абрахама Коди, в котором, Урис надеется, внимательный читатель разглядит его, урисовские, черты. Коди внес реальный вклад в разгром нацизма — служил в авиации. Затем, правда, несколько увлекся писанием неглубоких, хоть и популярных вещиц (это своего рода легкая самокритика), но однажды испытал нечто вроде видения и понял, что обязан написать Книгу, которая потрясет «всех мыслящих людей». Так рождается «Резня», бестселлер благородного свойства. Урис очень неплохо относится к сионизму, но как деловой человек он не хочет «отпугивать» тех, кто сионизм «не уважает». Вот и рождается гибридный беллетрист Коди; с одной стороны, в его жилах — «древнейшая кровь», с другой — он «стопроцентный американец» (самое имя Абрахам Коди исполнено значения, призвано вызвать ассоциации и с Авраамом Линкольном и с Уильямом Коди, знаменитым Буфалло Биллом, уроженцем Среднего Запада и первооткрывателем золотой жилы в эстрадном жанре — шоу из жизни Дикого Запада).

[1] Как заметил по поводу телесериала «Резня» один английский критик, «беда не в том, что это плохая мыльная опера, но в том, что это как раз очень хорошая мыльная опера». Рецензента порядком раздражала эстетизация страданий и насилия — важный признак всех военных бестселлеров. *(Прим. авт.)*

Роберт Ладлэм в последнее время вроде бы незаметно, но уверенно выдвинулся в число наиболее читаемых американских беллетристов. «Типично ладлэмовское» преступление — всегда глобального масштаба, и от того, свершится оно или нет, зависит благополучие нации, а то и всего цивилизованного человечества. И в «Договоре Холкрофта» (1978), и в «Проекте «Аквитания» (1983) над демократическим Западом нависает жуткая угроза: плетутся сети международного заговора, цель которого — превратить свободный мир в фашистскую диктатуру.

Политические детективы Ладлэма не строятся на модной нынче документальной основе. Информация, которой оперирует автор, не выходит, в общем, за рамки типовых представлений обывателя о принципах функционирования тайных и явных служб и институтов западного социального механизма. Действие у Ладлэма развивается словно «поверх барьеров» социально-политической жизни в несколько условном пространстве, где правила игры те же, что и в «Трех мушкетерах» и «Всаднике без головы».

Разумеется, в известном правдоподобии— хотя бы на уровне примет повседневности — романам Ладлэма не откажешь, но, как мы знаем, не за правдоподобие ценят приключенческий жанр его многочисленные поклонники. Их пленяет возможность отождествить себя с неунывающими, победительными героями, обладающими теми самыми качествами, которых читатель, пристроившийся с книжечкой на диване после работы, в себе, увы, не находит, — с героями, умеющими ставить перед собой цели и, добиваясь их осуществления, сокрушать все преграды, не пасующими ни перед ножом, ни перед дулом пистолета — не то что под хмурым взглядом начальника по службе. В соответствии с давней традицией жанра у Ладлэма со злом борется не профессионал (полицейский, политик, юрист), а рядовой член общества, волей обстоятельств оказавшийся в эпицентре грозовых событий.

Талантливый нью-йоркский архитектор Ноэл Холкрофт вдруг узнает о существовании завещания своего отца Генриха Клаузена, крупного деятеля третьего рейха, который вкупе с двумя единомышленниками создал тайный фонд в 800 миллионов долларов, якобы предназначенный жертвам нацизма. Теперь, спустя 30 лет после падения германской «тысячелетней империи», план «искупления грехов» может осуществиться. Холкрофт должен разыскать детей соратников отца и организовать синдикат, контролирующий справедливое распределение средств. Поколебавшись, Холкрофт принимает на себя этот труд (как-никак за хлопоты ему положено два миллиона). Ему невдомек, что завещание — самый настоящий обман. Миллионы предназначены на самом деле для реставрации нацизма. Как только Холкрофт поставит подпись на документе и средства перейдут в распоряжение синдиката, дни его будут сочтены...

Похожим образом строится интрига и в «Проекте «Аквитания». Там героя зовут Джоэл; как и Ноэл Холкрофт, он молод, энергичен, талантлив и с «хорошей анкетой». В свое время он доблестно сражался во Вьетнаме, а теперь стал юристом высокой квалификации. По просьбе лиц, пожелавших остаться неизвестными, он берется (за полмиллиона долларов) вывести на чистую воду международную коалицию, вознамерившуюся установить фашистскую диктатуру на пока что свободном Западе.

Злокозненные участники проекта «Аквитания» — представители военно-промышленных комплексов стран Запада, а также Израиля и ЮАР. В «Договоре Холкрофта» могилу демократии роют «дети Солнца», нордическая элита, в юном возрасте вывезенная из разваливающейся гитлеровской Германии, чтобы затем возродить былую славу нации и покорить весь мир. Теперь настал их час. Начинается приключенческая карусель со стрельбой и погоней.

И Джоэл и Ноэл оказываются в сходном положении. Не успевают они взяться за дело, как начинают раздаваться выстрелы, унося жизни тех, кто пытался помочь им, указать на истинное положение дел. Сюжеты ладлэмовских «триллеров» сметаны на живую нитку, строятся по принципу простого прибавления: покушение плюс драка, плюс погоня, плюс убийство. Психологизма — не больше чем в кроссворде. Отрицательные герои — маньяки, одержимые идеей власти и страстью убивать. Да и положительные расправляются с недругами, как с надоедливыми комарами. Диковинного тут ничего нет — что за боевик без стрельбы?! Беда в том, что у Ладлэма понятие справедливости становится расплывчатым, по сути дела сугубо формальным предлогом для изображения щекочущей нервы, на сотни страниц затянувшейся резни с «эротическими паузами».

Столь же формален, условен и антитоталитаризм автора. Это приводит к затемнению и искажению вещей, казалось бы, вполне понятных. На страницах «Договора Холкрофта», например, нацизм не столько развенчивается, сколько романтизируется, окружается зловеще-притягательным ореолом. Примечательно, что с неонацистами («детьми Солнца») борются бывшие же нацисты, только «завязавшие и осознавшие». Возглавляет их некто Оберот — в прошлом нацистский генерал, в один прекрасный день разочаровавшийся в Гитлере и гитлеризме и вставший на путь индивидуальной борьбы (саботаж приказов, помощь преследуемым гестапо и пр.). За это — о, черная неблагодарность! — его после падения рейха не только не наградили, но и отправили в тюрьму как нацистского преступника. Если принять во внимание, что один из шефов проекта «Аквитания», патологический убийца генерал Бертольдье, — в прошлом герой Сопротивления, то расстановка сил у Ладлэма, мягко говоря, озадачивает своей неожиданностью.

Специалисты утверждают, что массовое искусство своими вымыслами убеждает порой эффективнее, чем официальная пропаганда фактами. В США всегда высок был престиж «частного мнения», неофициальной точки зрения — в результате государственности порой приходилось поневоле рядиться в одежды «мнения со стороны», чтобы находить дорогу к умам и сердцам граждан. Что

до независимости мнения Ладлэма, то оно — чистая видимость, сущность же его «сказок» вполне в духе сравнительно недавнего визита президента Рейгана в ФРГ, запомнившегося скандальным посещением военного кладбища в Битсбурге, где похоронены «рыцари СС». Ладлэмовские парадоксы: «антифашисты» одержимы идеями тоталитаризма (генерал Бертольдье), ну а бывшие нацисты — жертвы общественного непонимания, храбро сражающиеся с неонацистами (Оберст и его ребята), — могут только порадовать рейгановский истеблишмент.

Но не Оберст, а благородный Ноэл, на последней странице красиво уничтожающий главаря неофашистов, оказывается подлинным Героем нашего времени. Он-то и есть настоящий сын Солнца. Арийская кровь (по отцу он Клаузен) и американское демократическое воспитание создают отменный идеологический сплав. Не случаен триумф и Джоэла Конверса. В свое время он не струсил во Вьетнаме, а теперь чуть не в одиночку разгромил международный терроризм и тоталитаризм. Не раз на протяжении романа Ладлэм напомнит, что именно тяготы плена во Вьетнаме сделали из Джоэла настоящего мужчину, несгибаемого борца за Демократию. Ну и конечно, за доблесть героям положена награда. Ноэлу — сестра уничтоженного им главаря неофашистов (вот вам и рейгановская идея «примирения»), Джоэлу — его прежняя жена, с которой он в свое время развелся. И разумеется, миллионы. «Дали бы мне этот миллион», — вздохнет читатель, повторив текст «второго пассажира» из все того же «Золотого теленка».

Читать эти романы тем более грустно, что в творчестве Ладлэма можно было еще не так давно заметить и какие-то привлекательные черты. Свидетельство тому — изданные у нас «Бумага Мэтлока» и «Рукопись Ченселора», где западная современность если и не исследовалась, то изображалась в своих характерных чертах. Но стремление почаще печататься до добра не доводит, в результате происходит лихорадочное переписывание себя и своих коллег. Так «Договор Холкрофта» по многим признакам напоминает несколькими годами ранее выпущенный Фредериком Форсайтом роман «Досье ОДЕССА» (1972) о деятельности таинственной и могущественной организации бывших эсэсовцев, выведенной на чистую воду западногерманским журналистом. Гоняясь за бывшим начальником концлагеря в Риге, герой-расследователь не только находит тем самым убийцу своего отца, честного капитана вермахта, но заодно и отводит дьявольскую арабскую угрозу от Израиля — на страну вот-вот должны были обрушиться разрабатываемые бывшими нацистами ракеты с ядерно-бактериологическими боеголовками. Избежав множества ловушек, расставленных врагом, герой, впрочем, в одну попался — угодил в матримониальные сети, расставленные его подругой Зиги, — единственным утешением служило то, что невеста — красавица и прелесть. Кстати сказать, почти все антифашистские «триллеры» сильно замешены на мелодраме, и в финалах, разгромив очередной заговор, возлюбленные (они же избавители человечества) сливаются в страстном порыве.

Известный западный философ и социолог Ханна Арендт, присутствовавшая на процессе Эйхмана, отметила поразившую ее тогда абсолютную заурядность этого нацистского преступника, удивилась тому, как банально и ничтожно выглядит Зло. Вот эта безликость, полнейшая посредственность и была родовой чертой нацистской элиты (не говоря уже о «середке» и «низах»). Но для «массолита» с его опереточными эффектами и цирковыми фабульными трюками такой подход исключен. Массовая беллетристика по природе своей вынуждена укрупнять, возвышать «героев-негодяев», превращать бюрократические ничтожества, мелких лавочников, дорвавшихся до управления государством, в этаких гениев зла, не лишенных специфического — демонического — обаяния. Так, из романа в роман кочуют не исполнительные канцеляристы, туповатые служаки и ловкие жулики, но тонкие мыслители-парадоксалисты, новоявленные Заратустры, а уж если они интеллектом не вышли, то такие садисты-маньяки, что нечистая сила в сравнении с ними обретает черты святости.

Особенно в чести у беллетристов «военно-развлекательного» профиля функционеры РСХА (главное управление имперской безопасности). Гиммлер, Кальтенбруннер, Мюллер, Шелленберг мелькают на страницах десятков бестселлеров, вызывая у читателей чувство сладостно-щемящего ужаса с оттенком благоговения. У одних авторов такие «композиции» получаются «почти художественно» (например, у канадца Т. Финдлея в «Знаменитых последних словах»), у других (американца Ф. Росса в «Изумрудной иллюзии», 1984) на троечку, а у таких, как Ф. М. Стюарт (автор романа «Титан», не путать с драйзеровским), и вовсе глупо получается. Но читатель, приучившийся к такой диете, не жалуется. Даже если и вовсе ерунда попалась, тоже не беда. Есть возможность возвыситься над автором, ощутив себя ценителем и строгим критиком искусства, упрекнуть, что «неглубоко» (как будто в «массолите» может быть «глубоко»!). Но вообще подобный читатель — существо благодарное, всепрощающее и доверчивое. Он обожает попадать в высшие, почти что заоблачные сферы, «дружить» с великими людьми (их в подобных творениях видимо-невидимо, и все они запросто общаются с главными героями. И еще одно обстоятельство, учитываемое мастерами литширпотреба. Массового читателя нередко неудержимо тянет к «очень плохим людям». Страшно сознаться, но ему интересно с Гиммлером, Герингом, Шелленбергом. О причинах этого тяготения социологами и психологами не раз высказывались догадки, проливался свет на то, почему маленьким людям так нравятся эсэсовская символика, поэзия названий типа «штандартенфюрер», почему хочется быть «на короткой ноге со злом». «Массолит» учитывает хотения — осознанные и бессознательные — покупателей и щедро предлагает варианты на все вкусы. Ну а чтобы совесть читателей не мучила, всегда можно сделать так, что и штандартенфюрер окажется не так плох,

будет на стороне «добра», как происходит в романе американца Ф. Росса «Изумрудная иллюзия». В основе сюжета — дуэль между британской разведслужбой МИ-5 и СД. «Изумруд», он же капитан Гус Ланг,— двойной агент, нацисты считают его своим человеком у британцев, но на самом деле он успешно водит за нос нацистов. Вместе с истинным патриотом Германии, сотрудником абвера Браухом, он выкрадывает попавшего в лапы СД американца Энди Уилера, знающего точную дату высадки союзников в Нормандии. Но совместных усилий Ланга и Брауха не хватило бы, если бы не «благородство и порядочность» полковника СД Хоффмана, противостоящего этому дуэту. Союз «белокурых рыцарей» трех стран Запада в конечном итоге приносит успех в этой операции и — намекает автор — в разгроме нацизма вообще.

В последнее время сложилось мнение, что американский «массолит» серьезно обошел своих западных конкурентов, отведя им роль «догоняющих». Что касается «военно-приключенческого» конвейера, то тут Старый Свет сопротивляется американскому фронтальному наступлению в первую очередь благодаря деятельности «британского резерва». Лен Дейтон, Фредерик Форсайт, Кен Фоллет, Гарри Паттерсон, пишущий то под своим именем, то под псевдонимом «Джек Хиггинс», снова и снова оказываются в числе наиболее популярных авторов недели, месяца, года, предпочитая, однако, родным издательствам американские.

Из обширного потока печатной продукции со свастикой на суперобложке (своеобразный знак «серии») остановимся на романе Джека Хиггинса «Счастье Лучано» (1981), проливающем «истинный свет» на историю высадки американского десанта на Сицилию в 1943 году. Как известно, успешное проведение сицилийской операции стало возможным благодаря в первую очередь деловой, а не военной сметке американских стратегов. Незадолго до этого из тюрьмы был выпущен один из крупнейших представителей американской мафии — Лаки Лучано, отбывавший срок «от 30 до 50 лет». Лучано вступил по заданию американского военного командования в контакт с сицилийской мафией. В результате достигнутых соглашений американский десант получил большую поддержку от местного населения и за неделю сделал то, на что, по расчетам экспертов, могли уйти месяцы. Со своей стороны, верхушка мафии получила возможность торговать продовольствием и лекарствами, исчезавшими с американских военных складов. Сам Лучано, поселившись в Неаполе, занялся пересылкой наркотиков из Италии в США.

Задача, поставленная перед Лучано и его партнером, неустрашимым американским майором Картером, в романе Хиггинса — склонить на сторону США руководителя сицилийских мафиози дона Луку, — осложняется тем, что последний ненавидит американцев, не может простить им смерть брата (казнен за уголовные преступления). Тогда к операции решают подключить внучку дона Луки Марию, в свое время бежавшую с Сицилии, поступившую в монахини в Англии и работающую медсестрой в одной из тамошних больниц. Мария, со своей стороны, не жалует деда, считая его виновником смерти матери и своей загубленной юности (мать погибла при попытке «устранить» дона Луку, а Марии пришлось покинуть родину).

Смешанный итало-американский разведдесант высаживается на Сицилию. За ним охотится «благородный» эсэсовец Кениг, стремящийся воевать «согласно кодексу чести». Однако по приказу самого Гиммлера ему в помощь отряжен сотрудник РСХА, садист и убийца Мейер. Ему ассистирует «спецкоманда» СС, состоящая из... русских.

Это не ошибка, не случайность. Это назойливая до бреда идея автора. Похожий расклад имел место и в более раннем его романе «Операция «Валгалла» (опубликованном под настоящей фамилией автора — Паттерсон). И там действовал «благородный» эсэсовец, которого опекали плохой нацист и «специалисты по ликвидации», набранные из украинцев. Позоря мундир СС, эти люди расстреливают направо и налево, насильничают, пытают.

Подобная фальшивка настолько откровенно бесстыдна, что сама по себе обращает опусы Паттерсона/Хиггинса в пародию и фарс. Но поистине — это было бы смешно, если б не было так грустно. Действуя в полном соответствии с принципами геббельсовской пропаганды (еще один, если судить по хиггинсовским установкам, «благородный нацист») — снова и снова повторять ложь, пока ей не начнут верить,— английский литературный «массовик» вполне ведает, что творит. Цель однозначна: всеми силами скомпрометировать Советский Союз, намекнув на его «зверства», а заодно обелить «нордических рыцарей» (были, мол, конечно, «перегибы», но основа-то здоровая, западная...). Расчет верен — интеллектуалы пусть себе фыркают, пусть даже в прессе ругнут, зато читатели попроще да числом поболее (ведь для них весь балаган), глядишь, и поверят — «разве в книгах скажут неправду?». Сюжетик с запашком, зато вполне в духе «холодной войны», а на войне как на войне...

Операция Лучано — Картера идет своим чередом. Погони, перестрелки, жертвы. Американский офицер-аристократ из Бостона Сэвидж влюбляется в юную сицилианочку легкого поведения, предлагает ей руку и сердце. Читательская аудитория что «побуржуазнее» в легком испуге. Но волноваться не надо — очередной поворот сюжета — и юный идеалист погибнет. Никаких мезальянсов!

Над операцией сгущаются тучи. Дон Лука наотрез отказывается помогать американцам, не поддается он и на внучкины уговоры. Но не было бы счастья, так несчастье помогло. Негодяй Мейер захватывает Марию и расстреливает ее — ну прямо словно по заданию американских спецслужб сработал. Да заодно и благороднейшего Кенига пристрелил — слишком он ему осточертел речами о гуманности и прочей ерундой. Тут чаша всеобщего терпения переполняется. В доне Луке (родная кровь заговорила!) вспыхивает негодование, и он поднимает местных жителей против Мейера. К ним присоединяются солдаты Кенига, готовые отомстить за любимого командира. Реализуется (правда, только в мире вымысла) ро-

зовая мечта автора: американцы, итальянцы и лучшие из немцев объединяются против «эсэсовцев из славян» и сатанинского Мейера, которого приканчивает лично Лучано. «Осознавший» дон Лука обещает американцам всестороннюю поддержку. Лучано же вместо того чтобы сбежать, благородным образом возвращается в США, чтобы ждать решения властей по его делу — он не хочет подводить президента, ибо был отпущен под его честное слово. Но это «официальная» сюжетная версия. Можно предположить, что взаправдашний Лучано поспешил вернуться в США из соображений более делового толка.

Патологическую ненависть Паттерсона/Хиггинса ко всему «восточному» уникальна по своей откровенности — никому из его коллег по военному массолиту не приходила в голову блестящая идея «рокировки»: нацистов сделать антинацистами, а на русских взгромоздить ответственность за зверства СС. С другой стороны, в массовой литературе такого рода вполне отчетливы попытки «переписать историю», представить себе причины падения гитлеровского рейха как результат чисто западных усилий.

Действие романа Ф. Маллэли «Гитлер победил» (1975) происходит в 1942 году. Рейх процветает. Русские отброшены за Урал, Япония не совершила рокового нападения на Пёрл-Харбор, а вместо этого высадила десант во Владивостоке. Осторожная Америка так и не вступила в войну. Упоенный успехом фюрер пишет книгу «Майн зиг» («Моя победа») — продолжение «Майн кампф». В свободное же от стратегических и литературных трудов время он уединяется с ватиканским дипломатом, отцом Донати, и о чем-то беседует с ним часами.

Хитроумный католический священник сумел сделать то, что не смогли сделать армии стран антигитлеровской коалиции. Он, словно бес-искуситель, соблазнил и без того снедаемого манией величия Гитлера перспективой новой власти. По его наущению Гитлер устраивает переворот в Ватикане, смещает римского папу и сам занимает Святейший престол. Пока фюрер-папа пытается прибрать к рукам кардиналов, руководитель абвера Канарис, работающий в контакте с Донати, ведет подрывную антигитлеровскую деятельность в армии. Им помогает Курт Армбрехт, еще один «благородный» эсэсовец, вступающий в переговоры с генералами-католиками и поставляющий своим шефам информацию о настроениях. Имеет возможность читатель пообщаться и с непременными участниками «военно-эстрадных шоу» Шелленбергом и Мюллером, для которых Маллэли добрых слов не находит — они жестоко расправляются с близкими Армбрехта, тем самым прямо-таки толкая его на бунт против гитлеризма.

Гитлер же окончательно спятил — он планирует перенесение собора св. Петра в Берлин, требует, чтобы Геринг исповедовался ему в своих грехах и т. д. Но дни новоиспеченного папы сочтены. В полнейшем соответствии с канонами массовой беллетристики один человек одной пулей может переменить курс истории. Таким спасителем человечества становится вдохновленный Донати на этот подвиг нордический Армбрехт. На торжественной церемонии в Ватикане он лично расстреливает из пулемета своего бывшего кумира. Итак, Гитлер убит. Восстание, начатое в столице католического мира, получает повсеместную поддержку. В самой Италии простые люди, до глубины души возмущенные святотатством Гитлера, разделываются с нацистами. На европейских фронтах католики-генералы вермахта довершают дело Донати. «Весной 1945 года,— читаем в финале романа,— германское верховное военное командование приняло условия капитуляции, предложенные союзными державами». Концы сведены с концами, и история может далее продолжаться своим «официальным» чередом.

Пересказывать коллизии романа Маллэли, мыслящего на уровне «среднего школьного возраста», дело утомительное. Вместе с тем за картонными персонажами и перипетиями эстрадно-циркового свойства проступают вполне отчетливые «назидания». Почему, спрашивает автор, рухнул рейх? Да потому, что во главе его стоял безумец, маньяк, безбожно покусившийся на з а п а д н ы е ценности (символом которых стал в романе католицизм). Поделом вору мука: совсем не резон фюреру было ссориться с просвещенным Западом, воевал бы себе в удовольствие на Востоке «с варварами», слова бы худого никто ему не сказал. И еще один важный урок-намек. Восток, по Маллэли, никакого отношения не имеет к разгрому гитлеризма. Запад своими силами справился с семейным уродцем. Истинный рыцарь без страха и упрека — нордический Курт Армбрехт, расстрелявший фюрера. Снова, как у Ладлэма, Росса, Форсайта, Паттерсона/Хиггинса, «победителем дракона» объявляется тот, в чьих жилах течет нордическая кровь. Торжествует Индивидуалист, как воплощение давнего буржуазного мифа. Миф этот нынче сильно обветшал, побеждать индивидуалисту теперь доводится все больше в сказочном пространстве «масскультуры», в реальности уже давно действуют иные силы, иные законы, но о них мифотворцы предпочитают не распространяться.

Внес свою лепту в развитие «военно-патриотической» темы и ветеран американской массовой беллетристики Аллен Друри. В 1983 году он выпустил роман «Решение», где, описав систему нынешнего американского судопроизводства, посетовал на засилье либералов, являющихся по сути дела прямыми пособниками Москвы. В 1986 году увидел свет роман, кратко озаглавленный «Пентагон». Задача, что и говорить, перед Друри стояла непростая — в век критицизма и нигилизма воспеть эту твердыню свободного мира не для галочки, не так, чтобы отчитаться в проделанной работе, а чтобы быть прочитанным, и прочитанным сочувственно. Пропаганда, как известно, действенна, лишь когда потребляется, и в этом смысле Друри дело свое делает неплохо, а его литературная деятельность вполне заслуживает изучения, ибо приоткрывает некоторые любопытные законы, по которым осуществляется в сегодняшней Америке воспитание «законопослушания» в читательской аудитории.

Воспевать — это отнюдь не рекламировать одни лишь достоинства, делая вид, что недостатков либо нет вовсе, либо они минимальны. Старое правило беллетристики — если хочешь, чтобы твоему герою сочувствовали, поставь его в трудное, почти безвыходное положение, окружи его противниками или равнодушными, подвергни гонениям, окутай завесой непонимания. Так действует Друри. Его коллективный герой Пентагон изображен именно таким страдальцем. Его ругают в прессе, на него нападают в конгрессе, военные сметы постоянно урезывают, заставляют отчитываться в каждом центе и, главное, постоянно сковывают инициативу. Своим романом Друри предупреждает, что такая дискриминация до добра не доводит.

Сюжет «Пентагона» незатейлив. Извечный враг Друри и «настоящей Америки» — русские — тихой сапой занимают островок в Тихом океане и начинают преспокойно сооружать там ракетную базу. Патриоты из Пентагона бьют во все колокола, призывают к энергичным мерам воздействия, предлагают разработанные ими планы «быстрого реагирования». Но, увы, не тактo это просто в сегодняшней Америке дать быстрый отпор русским, сетует Друри. Во-первых, слишком много трений между самими пентагоновцами, слишком много личных интриг, борьбы самолюбий, узковедомственных интересов. Во-вторых, слишком велики разногласия между военными и Белым домом. Политики постоянно осторожничают, боятся уронить престиж Америки, стараются задобрить противника, вместо того чтобы руководствоваться принципом «зуб за зуб». Достается от Друри и «союзникам». Страны западной ориентации никак не могут договориться «двинуть единым фронтом». Ох, доиграетесь, допрыгаетесь, предупреждает их Друри, потом опомнитесь, да поздно будет. Попадает от автора и самому Президенту. Он вроде бы искренне хочет «как лучше», но нерешителен, осторожен и наивен. Верит в то, что с русскими можно «договориться по-хорошему» (бедняга то и дело названивает советскому премьеру, а тот обращается с ним, как самодур-старшина с робким новобранцем).

Глазная же — трагическая — вина Президента состоит, по Друри, в том, что тот не доверяет военным. Из-за этого недоверия США уступают в инциденте с базой, из-за упрямства Президента уходят в отставку лучшие люди ведомства. «Мы вечно проигрываем,— вздыхает один из положительных героев романа,— потому что обороняемся, а не атакуем... мы то и дело «реагируем», вместо того чтобы действовать первыми». Фраза, в комментариях не нуждающаяся.

Критика бывает разная. На одну смертельно обижаются, другую воспринимают как похвалу. Смелость Друри, замахнувшегося аж на Белый дом, на поверку оказывается точным политическим расчетом, если принять во внимание нынешний жесткий внешний курс Вашингтона. В быту многие любят признавать за собой один «серьезный» недостаток — мол, каюсь, добр без меры, вот и ездят на мне все кому не лень, а по-другому жить не получается... Похоже, официальная Америка именно так воспринимает упреки Друри в чрезмерной снисходительности к врагам внешним и внутренним. К тому же в критике этой исподволь проступает гордость — что поделаешь, таковы издержки «открытого общества», ну а недостойные представители системы вовсе не должны бросить тень на саму систему, горячим поклонником которой является Друри.

Жалея «бедный Пентагон», не пользующийся доверием у Президента, раздираемый внутренними противоречиями и обижаемый свободной — даже чересчур — прессой, очень многие простодушные читатели подивятся авторской смелости и откровенности и не обратят внимания на подлог. При документальной точности описания пентагоновских интерьеров (столько-то квадратных футов полезной площади, столько-то кабинетов, фонтанчиков для питья и пр.) роман Друри делается удивительно невнятным, когда дело доходит до внутренней структуры коридоров власти, хотя автор там уже четвертый десяток лет свой человек. Если верить Друри, и в помине нет таких явлений, как военно-промышленный комплекс, и каждый сенатор, конгрессмен, газетчик, военный представляет исключительно собственную персону. Апеллируя к читательским эмоциям, выдавая протокольную точность деталей за истину целого, Друри с виртуозностью фокусника подменяет суть ее видимостью, демонстрируя почтеннейшей публике ястреба в виде кроткой голубки.

В сегодняшнем неспокойном, потрясаемом «малыми войнами» и военными авантюрами, способными привести к большой войне, мире военно-приключенческий конвейер работает весело, беззаботно, оперативно. От «истинной истории» второй мировой войны и новых нацистских заговоров он переходит на войны в Латинской Америке, Африке, Азии, трактуя их как очередной ковбойский сюжет, повод «отдохнуть и развлечься». «Массолит» сегодня в отменной форме и постепенно захватывает все больше и больше пространства, вытесняя то, что именуется «качественной прозой». Причин такого положения вещей сразу несколько, и не последнее место занимает тут порой кажущееся необъяснимым равнодушие «серьезной прозы» к большим, социально значимым темам, ее сосредоточенность на камерных, узкоинтимных проблемах, приобретающих под пером авторов поистине вселенский масштаб. Впрочем, было бы ошибкой представлять «массолит» и «качественную литературу» в виде двух изолированных друг от друга областей, суверенных государств с границей на замке. В действительности это части одного организма, находящиеся в постоянном и весьма сложном взаимодействии. Но это уже отдельная тема, требующая специального разбора.

◆

Н. ФЕДОРЕНКО

ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ: ГРАНИ ДАРОВАНИЯ

Размышления

«Почему ты такой крайний?
Мудрость —
лишь в золотой середине»,—
меня спрашивали когда-то,
меня спрашивают и доныне.

Согласился бы я, конечно,
без презрения
и без гнева,
если б сердце мое стучало
посреди груди,
а не слева!

(«Краткий ответ». Перевод Е. Евтушенко)

В этих словах Любомира Левчева, смею сказать,— его сущность, собственная позиция, которую он отстаивает до конца...

Каждое время творит свою поэзию. У Болгарии счастливая судьба — она дала миру плеяду выдающихся художников слова. Напомним имена немногих: Ботев, Смиренский, Славейков, Траянов, Яворов. Дебелянов, Вапцаров — других талантливых писателей, владевших подлинной тайной искусства. Высшее свое призвание они видели в патриотическом служении отечеству, породившему их народу, в мужественном утверждении гуманизма, социальной справедливости.

Нужны ли доказательства, что истины эти сохранили свою ценность и в наш встревоженный век. Мир созданных писателями образов сегодня, как и прежде, нетленен. Ибо вдохновенные его строки возникали из самой стихии народного бытия. Они таят в себе неповторимую самобытность, естественность, глубокую заповедность. Не потому ли с таким трудом поддаются их творения целостному переселению в другую среду, в иноземные края?

Ничто не возникает из ничего. На родине Любомира Левчева поэзия произрастала на благословенной почве всегда живых традиций народного искусства. Не порывая с питательными корнями прошлого, уходящего в глубину веков, она обогащалась опытом новых поколений, национальных певцов, которые несли с собой мысли, духовность, свежие краски своего времени, тона и полутона, музыку и ритмы жизни. Все в цепи времени...

Поэзия развивается на путях осмысления реальности. История, традиции художественного ее постижения — неисчерпаемая сокровищница мудрости, поучительного опыта. Существенно, что болгарский народ уповал не только на былое, но главное — на свою духовную зрелость. И Любомир Левчев постоянно напоминает своим читателям, что жившие в прошлом люди отстаивали болгарскую землю мечом и мыслью, кровью своей и жизнью. Создавали самобытные материальные и духовные ценности, которыми может гордиться любой народ. Воспитывали добродетели и опирались на традиции, без которых невозможно объяснить ни возрождения Болгарии после пятивековой иноземной кабалы, ни зарождения и победы коммунистического движения.

Закономерно обращение Любомира Левчева к образу выдающегося революционного поэта Болгарии Николы Вапцарова, погибшего в фашистских застенках:

О кочегар, поэзию творящий,
брось нам в сердца
еще одну лопату
улыбок, обагренных кровью.

(«Краткое слово о Вапцарове...» Перевод О. Шестинского)

Да, болгарская история — это бесконечная цепь движений протеста, бунтов, восстаний, неостановимая борьба против чужих

ФЕДОРЕНКО НИКОЛАЙ ТРОФИМОВИЧ (род. в 1912 г.)

Советский писатель, филолог-востоковед, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук СССР, академик Флорентийской Академии искусств, почетный член Института китаеведения в Токио. Долгие годы находился на дипломатической работе. Автор многих книг, посвященных истории литературы Китая, литературе и искусству Японии, общетеоретическим вопросам литературы и искусства.

В последние годы изданы «Китайское литературное наследие и современность» (1981), «Мысль и образ» (1985), «Славянские записи» (1985), «Цюй Юань» (1986), «Избранные произведения в двух томах» (1987).

и собственных грабителей и угнетателей во имя правды и свободы, человеческой жизни, социального прогресса. Это прошлое народа, которое отнюдь не мешает его настоящему. Думаю, не повредит и будущему.

— Земля Болгарии,— сказал Любомир Левчев во время недавней встречи, когда мы заговорили о взаимном влиянии культур стран Востока и Запада,— издавна являлась местом скрещения, словно на «семи ветрах», великих культур многих эпох, которые несомненно оказывали влияние на духовную жизнь страны. Особенно велика здесь роль Византии. А главное, сами болгары стремились осмысленно воспринимать лучшие достижения других культур.

— На эту тему много пишут, ведутся споры; не подавляла ли Византия национальную культуру Болгарии? — спросил я собеседника. И он обстоятельно, с разных сторон, попытался осветить этот вопрос:

— В дискуссиях нередко допускаются крайности. Влияние византийской духовной культуры совершенно недопустимо сводить к механическому перенесению ее в нашу страну. Нельзя забывать, что для любой «пересадки» необходима хорошо подготовленная почва, без чего «трансплантация» не состоится. В Болгарии были достаточно благодатные условия для того, чтобы византийская культура не была отторгнута. Здесь существовали прочные гуманистические традиции в культуре, которая знала высокую цель служения своему народу, его просвещению, духовному развитию.

Все это вело страну к созреванию условий для демократической революции. И здесь можно назвать многие известные имена мужественных и просвещенных болгар. Сотни тайных революционных комитетов положили начало организации народа для борьбы. За вдохновителями борьбы за свободу, за отчаянными головами пошли пахари и пастухи, плотники, каменщики и суконщики, пошел народ.

В свете исторического развития становится особенно понятным, почему так органично вошло в нашу жизнь марксистское мировоззрение, ленинское революционное учение. Если внимательно вглядеться в современную болгарскую культуру, то нельзя не обнаружить, что причина ее ускоренного развития кроется в том, как сочетаются в ней опыт исторической древности, реализм социалистического времени и современные общемировые веяния. Главное в ней — гуманистическая направленность, коммунистическая сущность, патриотическая цельность и интернационализм.

— Общение культур различных народов, критическое освоение, с учетом национального своеобразия, всего положительного, что создается другими, разумеется, исторически процесс столь же объективный, сколько и естественный. Однако доминантой здесь выступает внутреннее развитие материальной и духовной жизни народа,— заметил я со своей стороны.

— Верно, в этой связи мы прежде всего должны отметить фактор нашей народной и национальной устойчивости. Помимо другого, народ наш, надеюсь по праву, горд тем, что Болгария — родина славянской азбуки, славянской письменности, культуры. Здесь трудно переоценить роль солунских братьев Кирилла и Мефодия, о которых Слав Христов Караславов написал содержательный роман, изданный и в Советском Союзе. В условиях раннего средневековья этим прославленным братьям принадлежит великая заслуга в духовном развитии болгар, в укреплении их национального самосознания и самосохранения. Письменность и созданная с ее помощью культура оказались могучим оружием болгар в противоборстве с чужеземными завоевателями, особенно в период османского ига, когда велась жестокая расправа с болгарами, когда пытались обезглавить наш народ, когда сжигали на кострах болгарские книги.

Как-то Любомир Левчев поделился со мной такими мыслями: «...часто задумываюсь о том, что происходит с прошлым, что с ним случается. Как и память, оно, мне кажется, остается с нами. Память о прошлом была и будет непременной частью общественного самосознания, культуры. Память — сильнейшее оружие народа. Память о прошлом — наше богатство, общечеловеческое достояние. Люди, народ без исторической памяти, человек без памяти — это противоестественное состояние, нравственная искалеченность. Существуют пословицы о будущем, которое отбрасывает тень; прошлое часто представляется мне отброшенной будущим тенью, и, всматриваясь в минувшее, можно различить неясные очертания грядущего».

Любомир Левчев напомнил слова Карла Маркса, писавшего, что каждое поколение старается передать подрастающему свой опыт, но новым поколениям предстоит действовать в иных исторических условиях.

Нет нужды пространно доказывать, что принцип этот стал одним из основополагающих для социалистической культуры. Мы не устаем возвращаться к мысли: память, революционная традиция — наше богатство, общегражданское достояние. В самом деле, что мы без прошлого и памяти, без знания истории и народных традиций? Разве человек не является звеном в цепи исторического движения, из которого его невозможно вырвать? Именно эту истину настойчиво подчеркивает философия марксизма.

В литературном справочнике о Любомире Левчеве читаем: один из самых активных поэтов поколения, которое вошло в литературу в конце 50-х годов.

Он родился в городе Трояне. Окончил философско-исторический факультет Софийского университета. Печататься начал с 1950 года. Работал в редакции газеты «Народна младеж», на радио, в аппарате ЦК Димитровского союза коммунистической молодежи, в редакции газеты «Литературен фронт». С конца 70-х годов — глава союза болгарских писателей.

Уже первый сборник стихотворений Любомира Левчева, «Звезды — мои» (1957), отразил характерные для творчества молодого поэта черты — романтический дух, повышенную эмоциональность, стремление к новаторству формы. Эти черты сохранились и в дальнейшем его творчестве. Живо реагируя на важнейшие явления

жизни современного общества, Любомир Левчев страстно борется против самоуспокоенности, против всего косного, реакционного по своей сути, в какие одежды оно бы ни рядилось, он утверждает социалистическую новь и права свободного человека.

Острые, драматические ситуации — ключевой источник вдохновения Любомира Левчева. Мысль поэта кружит над опасными стремнинами, бесстрашно вторгается в «запретные» зоны. Он движим тревогой, неутешным духом беспокойства. И его поэзия вызывает ответное волнение, рождает обратную связь, свидетельствующую о том, что жизнь не лишена драматизма и необходимо обладать мужеством, чтобы идти дорогой совершенства.

— То, о чем я пишу,— это непрерывная и очень долгая личная исповедь,— сказал Любомир Левчев, отвечая на вопрос об отражении в его творчестве проблем современности.— Через мое сердце, как через сердце любого человека, вместе с кровью течет современность с ее страшными порой проблемами, взывающими к ответственности. Я не могу отделить себя от своих стихов.

Как писал старейший болгарский критик Пантелей Зарев, Любомиру Левчеву свойственна индивидуальность, которая вобрала в себя частицы универсального бытия современников.

У Любомира Левчева завидный дар: он наделен душевной чувствительностью, способностью слушать время, слушать жизнь людских будней. Слушать и воплощать в поэтических образах то, чем жил в прошлом и живет ныне его народ, к каким высоким целям обращены его устремления. Поэт отдает себе отчет, что одно из ценнейших качеств болгарского народа — его глубокий патриотизм. Вместе с тем болгарскому народу свойственно органически сочетать патриотические чувства с идеями интернационализма, сказал мне однажды Любомир Левчев.

И в центре создаваемой Любомиром Левчевым поэтической вселенной мы видим человека живого, остро реагирующего на происходящее вокруг. Видим личность ищущую, наделенную своим характером, со своей собственной творческой судьбой. И когда входим в его внутренний мир, ощущаем движение его души, волнение поэта и гражданина. Вот как своеобычно сказано о единстве национального и интернационального в стихотворении самого Любомира Левчева, его знаменитой «Песенке о Мамаевом кургане», посвященной исторической битве на Волге:

У каждого есть этот
холм, эта пядь,
за которые следует
на смерть стоять.

(Перевод Е. Винокурова)

В творчестве поэта патриотическая и интернациональная идеи превращаются в мерило нравственности и гуманизма, в обобщение идеальных достоинств человека.

Чили,
была ты
республикой странной
на другом краю земного шара,
теперь
Ты моя
длинная рана
от сабельного удара.
. . . . . .
Все изменится завтра,
заблестит наше солнце!
Это мне
говорит
моя рана.

(«Рана». Перевод М. Павловой)

Каждое стихотворение, каждая строка и слово, считает поэт, это всегда действие, поступок автора. Отсутствие в стихах напряжения мысли, дерзновенности вызова поэт рассматривает как свидетельство творческой несостоятельности. В стихотворении «Поэт, скажи, что грустно так притих?» Любомир Левчев озабоченно вопрошает, почему поэт умолк, в чем теперь для него опора, и хотя так же спорен, как прежде, его стих, но он, увы, уже не вызывает спора:

Все приняли безумия твои,
признали все твое нововведенье...
И, словно в поцелуе без любви,
в том несопротивленьи есть — паденье.

(Перевод Е. Винокурова)

— Какими же вы представляете себе героев наших дней, своих современников?— спросил я Любомира Левчева.

— У наших дней — свои герои, живые люди... Может быть, потому, что их главное предназначение — учить нас жить. Но этих героев, когда на них нет наградных звезд, не отличишь от окружающих. У их героизма нет особых внешних примет, нет мгновений кульминации. Для них каждое мгновение — высшее, и у каждого — внутренняя, душевная цепь боев, побед и, разумеется, поражений... Не случайно истинные герои во все времена получали это звание по большей части после смерти, только выдержав последний экзамен.

Любомир Левчев давно снискал себе славу непримиримого рыцаря правды, который смело и открыто выходит на лирические и полемические дуэли,— об этом не раз писала критика. Эти мотивы нашли свое проявление, в частности, в книге Любомира Левчева «Заклинания» (1981), где собраны лирические послания к людям — с ними он вместе трудился, предавался раздумьям, мечтаниям, спорил. В некоторых стихотворениях особенно свежи воспоминания о радостных или трагических событиях, взволновавших сердце поэта. Это придает стихам остроту воздействия, эмоциональную тональность.

Очень личное, на первый взгляд биографическое, стихотворение «Апрельское сердце»[1] по сути раскрывает нынешнее положение Болгарии, а лирическое «я» отражает не столько свой собственный образ поэта, сколько героя нашего времени. Читая этот сборник, мы вновь убеждаемся, что у поэтического мира Любомира Левчева есть свои корни в традиции, а с другой — он то и дело выходит за их рамки: умственной и эмоциональной нагрузкой лирического героя, его широкими духовными горизонтами. Его поэзия полна отрицания обычного, яростного противостояния удоб-

[1] Речь об Апрельском (1956) Пленуме ЦК БКП, который открыл перед болгарским народом новые горизонты в жизни и творчестве.

ному и привычному. Как утверждает поэт, сейчас нет времени ни для примирения, ни для отступления. Об этом лучше всего говорят сами стихи. Одни из них посвящены друзьям. В других он воюет с теми, кто действует из-за угла, пуская в ход недозволенные средства.

Левчев обращается к поэту Дамяну Дамянову: «Не простят никогда нам с тобой короли кафетериев снобских нашей юности красной, наших стихов комсомольских! Не простят нам того, что воспели Кремиковской стройки дым — символ цели заветной, и огня, что в груди горит!»

— Люблю стихи, которые тревожат и возвышают душу, которые буквально приковывают к себе, хотя их можно полностью и не принимать,— сказал Евтим Евтимов, держа в руках сборник «Заклинания»,— люблю стихи, которые могут заставить меня в сердцах швырнуть книгу в угол, а ночью их созвучья заполняют тишину, мешают спать... Такие стихи пишет Любомир Левчев.

Уже первые его сборники породили споры. Одни восставали против его необычной, на грани дерзости, образности, другие спешили предупредить поэта, что не следует выходить за традиционные рамки... Находились и такие ценители, которые всячески старались подвести поэта под свои догматические представления, сделать похожим на себя,— продолжал Евтим Евтимов.— Я помню те времена, помню не только вкус терпкого вина, но и проникающую в душу горечь от беспочвенных упреков... Время рассудило по справедливости.

«Диапазон Любомира Левчева гораздо шире производственно-бытовой тематики,— писал Венко Христов в связи с выходом в свет другого сборника стихов поэта — «Рабочая кровь».— Ему удается добиться поэтизации будней, где героизм нашего современника измеряется не только трудовыми подвигами, но и богатством душевного мира. Потому и металлургический комбинат в Кремиковцах перестает быть только промышленным предприятием — он превращается в обобщающую метафору крупных материальных и духовных свершений современной Болгарии. Таким образом, естественно и логично находят в сборнике место и стихи, обращенные к актуальным политическим проблемам планеты,— в их философском и нравственном преломлении».

Свободный стих Левчева подчинен музыке внутренней рифмы и сменяющейся современной метричности, которой чужда хаотическая небрежность поэтической формы. Поэт ведет внутренний диалог с нашим современником, отстаивая идею присутствия красоты в реальности сегодняшнего мира. Следует особо отметить приверженность поэта к прекрасному, красоте духовной и физической, творимой живой природой и человеком.

Характерен для Любомира Левчева сборник его стихотворений, вышедший под названием «Самосуд» (1975), где поэт учиняет беспощадный суд над самим собой. Обращают на себя внимание два стихотворения: одно из них открывает, а второе завершает сборник «Звезды — мои» и «Эпитафия». Как указывает Божидар Кунчев в статье, опубликованной «Болгарскими горизонтами», само название первого стихотворения еще в 1957 году стало творческим и гражданским кредо поэта; второе стихотворение сокровенно посвящает нас в то, что почти за три десятилетия, прошедших после выхода первого сборника, Любомир Левчев остался верен своему возвышенному романтизму, выстраданному оптимизму, глубокой убежденности в том, что самое главное предназначение искусства — сражаться за приумножение красоты, за утверждение справедливости и гармонии в несовершенном нашем мире.

«Болгары,— говорит Любомир Левчев,— ценят, любят и уважают как свою подлинную свободу каждого народа и как своего — каждого настоящего писателя-гуманиста, потому что нет более чистого символа человеческого единства и братства, чем творческий порыв, чем беззаветное служение красоте».

Природа поэтического таланта Любомира Левчева — явление необычное, исполненное личностного своеобразия. Нас привлекает всегда свой, отличный от других, взгляд и восприятие явлений и фактов окружающего поэта мира. Привлекает неожиданность выражения душевного состояния поэта, которую не просто ощущаешь, но воспринимаешь как откровение художника. Истинная поэзия нерасторжима с вечно обновляющейся природой и социальной жизнью. И поэтому поэзия, если это высокое искусство всегда несет нам некую тайну творца,— собственное видение, его единственность, неповторимость, новизну.

Когда читаешь стихи Левчева, видишь в них жизнь, полную верности и любви, сомнений, заблуждений, взыскательности, ответственности, вызова и дерзости. Стихи личности сильной, выстраданные ранимой душой поэта.

Уже при первых прикосновениях к поэтическому искусству Любомира Левчева, манящего своей доступностью (а может быть, это только нам кажется?), вы остаетесь во власти все тех же таинств, которые несет в себе творчески одаренная личность. Вспомним слова Поля Валери — ему это было внятно: «Сколько бы ни считали мы шаги богини, сколько бы ни измеряли их частоту и среднюю протяженность, это не объяснит нам секрета ее стремительных чар». Добавим соображения Владимира Даля с его добрым староязычием, который называет чудом «явленье, кое мы не умеем объяснить по известным нам законам природы». Речь о тайнах искусства слова, живописи, ваяния. И отрицать это невозможно, как невозможно, увы, понять до конца сокровенность рождения подлинного искусства поэзии И разве не испытываем мы чувства признательности за то, что поэт дарит нам утешение, восторг и вдохновение. Разве строки поэтического вдохновения не вызывают у нас воспоминаний о чувствах, которые способны переродить нашу душу? Если мы хотим жить по законам красоты, скажет Любомир Левчев в книге «Поэтическое искусство» (1986), значит, наш властелин есть красота.

Вновь скажу, творчество Любомира Левчева вознаграждает нас посвящением в интимность человеческих переживаний, общественной значимостью раздумий. Каждое стихотворение Любомира Левчева — это послание к людям. Яркое выражение находит это в сборнике стихов «Лук» (1983). К названию напрашивается добавление — лук с натянутой тетивой.

Болгарский критик Божидар Кунчев подчеркивает зрелость позиции Любомира Левчева. Это — выстраданные раздумья о путях и целях устремленного к будущему современника. Теперь в его стихах слышится также ироническая тональность, вновь свидетельствующая о многосторонности дарования поэта.

Произведения, включенные в сборник «Лук», вызвали особенно широкий резонанс среди болгарских читателей и критиков. Они увидели в них новый этап в творчестве Любомира Левчева. По-прежнему искренние и серьезные стихи эти, на наш взгляд, содержат творческий и жизненный опыт, боль пережитого, выстраданного, и надежду, и неистребимую веру. От этих проникновенных стихов, пишет в рецензии на сборник Пантелей Зарев, веет силой и в то же время в них слышатся нотки печали. Печали человека, который отказывается принимать мир таким, каков он есть. Жизнь — это боль, говорит поэт, движение, стоицизм, борьба, драматическое возвращение к поре юности с ее очарованием и мечтами. Жизнь — это величие идей и личное сражение каждого из нас, протяженность времени и несовершенство мгновения... И все же оптимистическое отношение к жизни, вместе с тем сложное, порой противоречивое, проходит через всю лирику поэта.

Высокая культура слова, богатство образов, неожиданные переходы, удачные прелюдии, хорошо продуманные концовки и акценты, добавляет Пантелей Зарев, придают поэзии Любомира Левчева особую атмосферу, строгость, компактность. Иногда его стих звучит то как многоголосая мелодия, то как чеканная речь, в которой есть четко определенные акценты и ясная, точная рифма... В стихотворении «Туман в вышине над перевалом», к примеру, Любомир Левчев говорит о проплывающих мимо «осколках реальности». Но поэзия его — это сама реальность с ее непрерывным движением и глубиной философского осмысления всего сущего в мире.

Вчитываясь в строки поэта, мы убеждаемся, что язык для Любомира Левчева — всегда средство выражения мысли, которую поэт обращает к своему читателю, современнику. Средство воплощения идеи, использования национальных художественных форм выражения. Своим поэтическим словом Любомир Левчев мужественно вторгается в наш ракетно-ядерный век с его неслыханными конфронтациями, с крайне рискованными коллизиями антитез и антиидеологий.

Мы знаем, что интеллектуальное обогащение человека, расширение эрудиции, рубежей его познания неотделимо от обогащения лексики, развития словесно-речевых средств самовыражения.

Интересен анализ Пантелея Зарева вступительного стихотворения — «Луна». Поэт ведет полемику с самим собой и со всем тем, что противоречит смыслу жизни. Написанное в виде мифа, стихотворение — исповедь, рассказ о сокровенном, о страданиях, радостях и надеждах: «Нас гибельные вдаль несут теченья. Привязанные к мачтам, мы взываем к заколдованным вселенным, взмахивая веслами надежды». Лирический герой поэта стремится ввысь, к солнцу, и в то же время стоит над бездной. Так интерпретирует поэт состояние человека наших дней, обусловленное противоречивостью современности. Поэт проецирует в современность великие, героические мгновения прошлого. Мы видим натянутую тетиву и стрелу, которая в любое мгновение устремится к цели, пишет Пантелей Зарев. В стреле — ударная сила: она и боль, и насилие, но она еще не выпущена. Стрела — это и прошлое, и будущее, и, конечно же, настоящее. От лица многих современников поэт заявляет: «Инфаркты — наши медали, к сердцу живому приколотые». Он всей душой с теми, кто возводит здание социализма. «Друзья, я нашел вас — там, на лесах, под стягом, где усталость!» — обращается поэт к людям труда, называя их «воскрешими учителями смелости». Он ощущает их усталость, горд их победами и величием, с болью замечает то, что мешает этому величию, видит пятна грязи. И это противоречие жизни превращается во внутреннюю драму поэта, что особенно чувствуется в стихах «Старая дружба», «Первый», «Тогда я вспоминаю», в стихотворениях цикла «Поезд», «Белая ночь», «У могилы Маркса», «Ночной дозор».

Примечательны такие строки из стихотворения «Туман в вышине над перевалом». «Я через поле зимнее пройду вдоль темных луж и снега островков. Я на колени стану. К руке я каменистой припаду...» Как бы растворившись в облаках тумана, человек все же найдет себя, свою сокровенную суть. Так нередко бывает с людьми, которые на какое-то время оказываются во мгле ложных обещаний, несдержанных слов, но затем находят в себе силы и вновь включаются в активное созидание.

Люди по-разному проводят путь своей жизни. У одних это короткая дорога, у других она оказывается растянутой и неровной. У всех свое человеческое время — расстояние между двумя берегами, берегом прошлого и берегом будущего, бытия и небытия.

Эссеист Любомир Левчев естественно продолжает Левчева-поэта. Книга «Слова изреченные» (1983) — тому свидетельство. Это по сути — поэзия в прозе, где автор отдает дань уважения крупнейшим деятелям болгарской культуры, безвременно ушедшим из жизни друзей, современников, товарищей. И это не просто цена старой приязни. Речь здесь идет о становом хребте жизни нации. Автор на себя принимает риск и ответственность за все содержание книги, за то, что утверждает и к чему ведет своего читателя. «Слова изреченные» — книга, повествующая о тех сокровищах болгарской духовной культуры, которые, пройдя через годы превратностей, стали

национальным достоянием. Важно при этом отметить, что «Слова изреченные» — свидетельство мировоззренческой последовательности автора, гармонического воплощения понятий о поэте и общественном деятеле, художнике и мыслителе.

— Поэзия,— сказал Любомир Левчев, когда у нас речь зашла о видах и жанрах искусства слова,— моя первая любовь, но я не считал и не считаю себя только поэтом. Действительно, много работаю в области публицистики и журналистики, а кроме того, в моем активе есть четыре сценария полнометражных художественных фильмов, и они осуществлены на экране. Признаюсь еще в одной измене своей первой любви, хоть измены еще не было. Задумал и начал писать книгу прозы под рабочим названием «Двадцатый век». Пытаюсь осмыслить свои переживания, свой опыт человека XX столетия. В общем, рискнул поставить эксперимент по освоению новых жанров. А что выйдет — посмотрим.

И мне внезапно вспомнились строки из его сборника «Метроном» (1986):

Почему меня так мучает опасное это вдохновение?
Почему годы зрелости меня не успокаивают?

— Двадцатый век—это и международные встречи литераторов в Софии, продолжающие играть важнейшую роль по собиранию писательских сил...

— Верно, время, в которое мы живем, доказало, как нужны такие встречи. Опасность термоядерной катастрофы, к сожалению, не отступает, не уходит в историю. Безумная политика американского империализма вновь и вновь подтверждает неотложную необходимость активного писательского участия в борьбе за мир. Мир — надежда планеты, и писатели, совесть человечества, должны помочь сохранить ее.

От читателей, от людей нельзя скрывать страшную правду о реальной опасности гибели цивилизации в термоядерном огне,— подчеркнул Любомир Левчев.— Надо укреплять веру в то, что человек не бессилен перед угрозой войны и, следовательно, обязан взять на себя свою долю всеобщей ответственности за будущее. Мне кажется, литература все еще остается должницей перед самой важной из всех тем — темой борьбы за мир.

— У нас,— сказал Любомир Левчев в недавней нашей беседе,— созревает, набирает силы — как обычно, прежде всего через поэзию — новая, юная волна болгарского искусства слова. Им сейчас по двадцать, извечный поэтический возраст,— но кого из них выделить? Одинаково опасно и не заметить побеги, которым суждено вырасти в могучее дерево, и поспешно вознести кого-то, кто потом не вернет аванса.

— Известно, что и болгарский роман сейчас на взлете...

— Важно отметить,— продолжал Левчев,— что в творчестве поэтов и романистов живет — и верю, будет жить — апрельский дух литературы. Он проявляется в стремлении авторов быть разными, не подражать слепо, искать свои образы, свои методы, свой стиль. Критический пафос, свойственный нашему поколению, сменился в их произведениях пафосом утверждения. Мы славно готовили площадку для строительства, а теперь настал черед каменщиков и плотников. Фундамент заложен, ныне возводится само здание, и год за годом намечаются контуры все более высоких его этажей.

Настоящий писатель, заметил в этой связи Любомир Левчев, живет и творит с ясным сознанием того, что он — представитель народа, депутат пусть невидимого, но существующего и действующего в наше время парламента человеческой совести. И в опасный наш век говорить надо не о спасательных бункерах — в них никто не спрячется и не уцелеет. В условиях острой идеологической битвы противоборствующих мировоззрений в непредсказуемом нашем мире на художников слова возлагается чрезвычайная ответственность. Эта тревога за судьбы человека и человечества, переполняющая поэта, эхом отзывается в наших сердцах.

Выход в свет в 1986 году книги Любомира Левчева «Поэтическое искусство» явился для многих его читателей, как и для меня, по меньшей мере неожиданностью, хотя когда-то, очень давно, он уже выступал с работой о свободном стихе.

— Чем вызвано ваше обращение к исследованию искусства слова? — спросил я Любомира Левчева, когда он преподнес мне книгу.

— Меня постоянно занимает поэзия, ее прошлое, пройденный путь, нынешнее состояние, завтрашний ее день, хотя день грядущий непредсказуем,— начал поэт.— Раньше всего хотелось бы самому понять природу поэтического творчества, его корни. Ни деревья, ни цветы, ни даже травы и бурьян не растут без корней. Но слишком мало одного восхищения розами и лавандой у отчего порога. На родину и мир надо смотреть широко, объемно — в пространстве и историческом времени. Отсюда естественна опора на культурное наследие, полученное нами от Рима, Греции, Египта, Индии... Люди постоянно обращаются к творцам прошлого, к этим посланиям древних веков, которые донес до нас ветер времени. Памятники поэзии — божества дней минувших эпох. Послания из античности адресованы не отдельным людям или даже народам, но человечеству, обращены в грядущее. Они не лишены смысла и в наш ракетно-ядерный век, задевают, будоражат современного читателя. У далеких наших пращуров были свои представления о вселенной, божествах жизни и смерти. Они по-своему делили мир на земной и потусторонний. Прекрасно умели различать силы добра и зла, чтили законы нравственности, карали преступления. Патриотизм каждого человека должен проявляться в соблюдении и уважении традиций народа.

— Однако нет ли здесь известной идеализации далекого этого прошлого?

— Нет, не об этом речь. Мы должны знать. А знать не означает принимать, тем более безоговорочно. Но разве развитие культуры не основано на преемственности, разумеется, не без критического осмысления опыта прошлого, но все же преемст-

венности? У нас говорят: когда прикасаешься к хлебу нового урожая, вспомни о хлебе прошлого года. Впрочем, от времен далеких перенесемся в наш непредсказуемый век, к «нашим баранам».

Поэту надо знать многое. Ему следует знать не только то, что поэзия — не просто изнурительная работа над словом, его семантикой, его музыкой. Он должен ощутить, что это — плод выстраданной мысли, поиска истины. Ему должны быть глубоко ведомы и счастье взлета, и муки падения. И конечно же, он должен стремиться увидеть перспективы, осмыслить связь времен, истоки национальной самобытности.

— Но вы не назвали такие страны, как Китай, Япония, в которых существуют целые архипелаги поэзии...

— Увы, для нас земли эти — как бы за горами времени и пространства... Доступные же нам культуры дают основание утверждать, что поэзия отображает неповторимым образом историческое время. Отображает, но не остается в нем. Поэзия движется вместе с живым временем, а не остается в пределах прошлого, как остаются в нем, например, правители, законы, обычаи. Случается, что народы остаются лишь в истории. Но их поэзия, если это действительно поэзия, продолжает жить.

— Естественно, не всякая поэзия остается. Говорят, что растет человек, растет его мысль и мудрость. Можно ли отнести это к поэзии? Если бы достижения поэтов все время множились, то нынешние барды, к примеру, выглядели бы гигантами сравнительно с далекими их предшественниками.

— С моей точки зрения, речь идет о вершинных образцах поэтического творчества, которое сохраняет непередаваемое обаяние искусства слова.

— А разве не следует в большей мере принимать во внимание факт существования истории поэзии?

— Предпочитаю другую формулировку: если поэзия и имеет историю, то это, пожалуй, сами судьбы поэтов. Согласитесь, что личная участь творцов часто помогает нам проникнуть в такие тайники, без учета которых едва ли возможно объективно оценить их произведения. Многим из творцов прошлого приходится завидовать. Они, мне кажется, порой больше, чем я, жили своими мечтами, воплощенными в поэтическое слово. Это у меня как засевшая в глубине боль, которая то затихает, то обостряется.

— Тогда в чем же суть их преимущества? Уж не завидуете ли сбывшейся мечте? — вырвалось у меня.

— Нет, ничего страшнее нет, чем осуществленные мечты. Трагически наивен тот, кто ликует, получив желаемое...

— Так ли?

— Ведь сбывшаяся мечта покидает нас, как душа покидает тело. Мне импонируют люди вечной неудовлетворенности, беспокойства. Они смотрят на достигнутое лишь как на ступень дальнейшего движения — поступательного, навстречу неизвестному.

Переходя к цели своих собеседований, изложенных в книге «Поэтическое искусство», Любомир Левчев пояснил, что он, собственно, не стремился к обстоятельному, научному изложению истории развития поэтического творчества. Задача его состояла в том, чтобы попытаться раскрыть тайную суть искусства поэта.

— Каждый поэт неповторим,— продолжил он. И потому сколько поэтов, столько поэтик. Из наследия прошлого мы видим, что идеалы древних поэтов особым светом озаряли для них свое время, окружающую их реальность. Но у каждого художника было свое восприятие красоты и зла, свои привязанности, свое восприятие добра, ненависти и любви. Истинный поэт — это человек, который знает, кого любить и за что, знает кто заслуживает презрения и почему. Глубоко убежден в том, что именно поэзия способна изобразить подлинную красоту — физическую и духовную. И в постижении объективной действительности поэзия, как мы знаем, нередко прокладывает самые первые вехи. Она несет людям вдохновение, могущество, духовную власть, память. Примечательно, что у каждого поэта свое лицо, все они высоко одарены, все разные, но, взятые вместе, они создают единый облик, нечто целое в историческом движении поэзии.

— Проникая и раскрывая тайны искусства слова поэтов, разве вы тем самым не ставите задачу освещать развитие поэтического творчества в широком историческом плане, не выявляете присущие ей особенности?

— Разумеется, но речь скорее может идти о составных частях, о различных сторонах единого целого, того, что образует саму душу поэзии. Уже Аристотель говорил об органической целостности искусства. Произведение должно иметь свою величину, чтобы при изменении или изъятии какой-то части менялось и приходило в движение целое. Потому, читая стихи, мы часто ощущаем части, отдельные грани, эстетические особенности целого. Гегель в свое время указывал на художественный синкретизм поэзии, то есть рассматривал поэзию как совокупность, охватывающую конечные термины музыки и живописи. В самом деле, взгляд на поэзию как синтез высшего предела спирали открывает перед нами огромные возможности проникнуть в структуру ее сущности через первичные составляющие ее элементы, через постоянные термины искусства, которые непосредственно связаны с природой человека и даже с его биологией, с главными чувствами — зрением и слухом, с глазом и ухом — основными проводниками между духовным и материальным миром, между внутренним и внешним.

Не без причины в поэзии Любомира Левчева проявляется способность к восприятию целостности вещей, целостности миропонимания.

— Каковы же значение и роль «термина» в вашей интерпретации поэзии?

— Специфика постижения поэзии, сложность этого объекта и многообразие его внутренних связей с другими объектами образуют значительные трудности в выработке системы однозначных и общеупотребительных определений. Но, обратившись к прошлому, мы узнаем, что термин в античном Риме назывался богом рубежей и границ. Помните: знаешь термин — знаешь место в системе. Зная место в системе —

знаешь термин. И добавим от себя, пусть этот бог придет нам на помощь в попытках проникнуть в основные закономерности искусства поэзии, этого магического рубежа между земным и небесным.

— Несомненно, в стихосложении и поэтике достижение однозначности и последовательности в применении терминов не может не способствовать анализу и получению новых существенных результатов. Что же извлекаете вы прежде всего из творчества поэтов прошлого и вашего собственного опыта, чему придаете первостепенное значение в поэзии?

— Пожалуй, строю ритма, чувству такта, то есть повторяемости, живой пульсации. На это указывал еще Аристоксен (IV в. до н. э.), характеризуя ритм как членение речи на сопоставимые отрезки. Если ощущаемое нашим чувством движение, говорил он, таково, что распадается в каком-либо порядке на более мелкие подразделения, это называется ритмом. Поэтическая речь бывает разной и может часто существовать без многого другого, но только не без ритма. Ритм — основа стихотворения, конечный термин, взятый из музыки и органически вошедший в словесную ткань поэзии. Чувство ритма как бы подготавливает душу поэта к чему-то необыкновенному, решающему, к совершению чуда поэзии. И в мыслях у меня часто возникает вопрос: а не есть ли это именно тот миг расширения, раскалывания горизонта, тот самый катарсис, очищение духа страданием и красотой? Искусство ведет человека к нравственному совершенству.

— Но ведь ритм сам по себе еще не исчерпывает сущности поэтического искусства...

— Верно, ритмическая, интонационная организация создает стихотворную речь, как своеобразное явление языка. Но в поэзии прежде всего важны причины, смысл обращения поэта к стихосложению для создания образной картины окружающего мира. Мы, конечно же, не должны при этом забывать самостоятельной эстетической ценности стихотворной формы, которая органически взаимосвязана с живой речью, звучащим словом. Именно сюда восходят первоистоки связи стиха с содержанием художественного произведения. Отсюда и поэтическая образность, выразительность, краткость как свидетельство творческой силы.

— И вероятно, метафоры, а также родственные ей языковые фигуры и построения, к которым вы, насколько могу судить, так привержены в своем творчестве...

— Все эти грани поэзии нерасторжимо взаимосвязаны. В моем представлении краткость в поэтическом произведении, которая достигается предельной концентрацией мысли,— важнейший фактор стихотворной речи. Поэзия — это искусство выражения большого и глубокого в малом, минимальном по форме, наименьшим количеством слов.

— На этом, как вы знаете, построено японское искусство миниатюры: поэтической в виде танка или хокку, скульптурной в форме нэцкэ, живописной, музыкальной... Здесь также действует закон экономного применения иероглифических знаков, материала, красок, звуков. Никакого нагромождения, никаких излишеств.

— Хочу уточнить: наслышан, хотел бы больше знать, надеюсь, мне это еще удастся, быть может, с вашей помощью?

— Предпочту сказать: лучший источник знаний — сама японская поэзия и искусство. Мы все к нему припадаем — это родниковый ключ...

— Что касается метафоры, то она, на мой взгляд, возникает в силу присущей словам способности переносить понятия, когда отдельные слова сближаются по сходству или по контрасту их значений. Метафора придает поэтическому языку особенную выразительность. Сопоставляя и сравнивая, метафора создает из двух значений третье, отличающееся от первоначально данных. Таким образом, метафора несет смысл, больший себя самой. В этом одна из магий поэзии. Словом, метафора подобна неуловимому полету мысли, алмазу речи, самой крови живого времени.

Пантелей Зарев, посвятивший книге Л. Левчева «Поэтическое искусство» обстоятельную статью, справедливо говорит, что поэт предстает в ней во всем своем профессионализме, со своей этической позицией, предстает и таким, каким он еще желал бы себя видеть. Все это прежде всего характеризует личность автора.

Не менее существенно и то, заметил Пантелей Зарев, что Любомир Левчев чувствует драматизм положения современного человека. Он признает право человека на слабость и в то же время отдает предпочтение мужественному характеру бойца, человека нашей эпохи, с его интимной и нежной, вместе с тем строгой, суровой сущностью...

— Хотелось бы знать вашу оценку еще одной традиции, имеющей давнюю и славную историю. Я говорю о традиционных узах болгарских писателей с русской и советской литературой в прошлом и настоящем,— обратился я к Любомиру Левчеву во время нашей встречи во Дворце культуры имени Л. Живковой.

— Что означает русская и советская литература для болгарского народа и болгарских писателей? То же или почти то же, что классическая латинская литература для Западной Европы в эпоху Возрождения. Чувство общности двух народов, двух культур — стародавнее, кровное чувство, и я даже не знаю, от какого века его отсчитывать.

Классики болгарской литературы прошлого века учились в России. Бежали со своей порабощенной османскими завоевателями родины и впитывали в себя русскую культуру, а благодаря ей и через нее — и всю мировую культуру. И любовь к русскому народу и русской культуре естественным образом перешла в любовь к Октябрьской революции, к Советской России. Вероятно, за пределами самой России не сыщется поэта, который воспел бы Октябрь раньше, чем Христо Смирненский. Перефразируя Маяковского, могу сказать: для болгарских писателей не было вопроса, принимать или не принимать Октябрьскую революцию. Переводы Маяковского усилиями Гео Милева появились в Болгарии уже в 20-е годы. «Мать» Горького ста-

ла оружием нашей партии, а чуть позже и «Тихий Дон».

Отметив, что миллионы болгарских читателей испытывают признательность к авторам «золотых страниц» русской классики и самых новых произведений советской литературы, Любомир Левчев продолжал:

— У этой любви — глубокие истоки. В прошлом веке великая русская литература стала знаменосцем революционно-демократических идей человечества. Она — незыблемый фундамент многонациональной, полнозвучной советской литературы социалистического реализма. Сильная гордой правдивостью, обновляющим жизнь пафосом и светлым гуманизмом, советская литература завоевала ведущие позиции в мировом литературном процессе современности.

А затем, после короткой паузы, Любомир Левчев добавил:

— Все это — закономерное следствие интернациональной политики наших партий, наших социалистических государств. В нашем социалистическом мире правилом стало не отчуждение, а объединение, творческое единомыслие писателей, стоящих на одних идейных позициях, единым фронтом выступающих за счастье человечества, за гуманизм и мир на земле.

И сердце — главный литейщик,
говорит: ты должен жить ясно.
Перед открытым этим пожаром истории.
прежде чем сгоришь, не должен ослепнуть.

Столь же метко, сколь и справедливо замечание Любомира Левчева, как-то сказавшего: поэзия — кратчайший путь от сердца к сердцу, к тому сердцу, которое способно любить, верить, надеяться. Этого достаточно и творцу поэзии, чтобы жизнь его была оправданной и вознагражденной.

В последнем стихотворении сборника «Метроном» Любомир Левчев исповедуется в том, что его терзают ошибки и промахи, что кислота ненависти среди людей растравляет его сердце, нависает угрозой над ним и что сердце его не в силах высечь огонь человечности, который требует время, жизнь:

Кто же смирится?
Чтобы коконом свернуться в самом себе.
Или чтобы подражать негодяю с диким
самомнением:
Плюнешь в него — говорит,
что свой народ оплевал.
Поклон перед народом объявляет падением.
Не зарастают мои раны...

(Перевод подстрочный)

Поэт неустанно подвергает все самоанализу, нередко пародирует самого себя, готов принизить былые порывы, быть может, затем, чтобы справиться с кризисом «среднего возраста». Поэт стремится подвергнуть себя самопроверке, но вновь отдается во власть ассоциативной стихии, способной вырвать его из нашей каждодневности, вернуть на какой-то миг в опыт прошлого, чтобы вновь беспощадно вернуть его в наш многосложный час и день.

Сгорает мир
от жажды обновленья.
Но с прошлым связь и новый человек
несет
из поколенья в поколенье,
цепляется упорно
век за век.

(«Разве наше солнце виновато?». Перевод В. Корчагина)

Не потому ли в каждом новом сборнике стихов Любомира Левчева содержатся стихотворения, несущие на своих крыльях поток жгучей современности и заставляющие голос поэта звучать с особенной силой и убедительностью.

При этом Любомиру Левчеву, по меткому замечанию болгарского критика М. Васильева в рецензии на сборник «Метроном», удается, не лишая стиха пластики, красок и мысли, сделать его музыкальным. В сущности, это его художественное открытие... Стих его обладает и современной, естественной, разговорной интонацией, и яркой метафоричностью:

Люблю тебя, свободный стих,
за мужество и человечность,
за повседневность строк твоих,
в которых нам раскрылась вечность.

(«Дифирамбы свободному стиху». Перевод Е. Евтушенко)

Любомиру Левчеву ведома тайна, тайна живой поэзии. Он обладает магической этой силой.

Ты родилась,
эта сила,
из чернозема бедняцкого.
В муках заколосила
полная духа юнацкого!

Эти колосья
с каплями крови невысохшей
высятся.
Жнут эту силу —
саблями!
Меряют ее —
виселицами!

(«Сила». Перевод Е. Евтушенко)

Лучшие из поэтических строк поэта запоминаются, они ложатся на сердце и становятся частью нашего сознания.

Яростное отрицание разрушительных сил, рассчитанное на гражданский отклик, побуждает к размышлению и действию. Гимны счастью человека, творчеству, любви, общению с природой — все это покоряет читателя, составной частью входит в его духовный мир, становится философской основой его миропонимания.

Размышления о творчестве Любомира Левчева вновь возвращают нас к мысли о том, что оно рождено на благой почве, опирается на опыт и мудрость народной жизни. Поэт остроконфликтного жизнеощущения Любомир Левчев наделен даром сопряжения каждодневного бытия и истории.

По силе идейной убежденности, философской глубине и артистизму поэтического творчества Любомир Левчев принадлежит к наиболее видным явлениям болгарского искусства слова. И не только болгарского. Имя поэта широко известно в различных странах мира. Его поэзия переводится на европейские и восточные языки. Он поистине — посол болгарской поэзии в мире.

Антирубрика

ЭДУАРД ЖУРИСТ

РАССКАЗЫ

Перевод с румынского ТАТЬЯНЫ ИВАНОВОЙ

Небывалый посетитель

Начальник отдела городского благоустройства осоловело глядел на гору бумаг, громоздившихся на письменном столе. Было так жарко!..

Открылась дверь, и машинистка, выполнявшая по совместительству обязанности секретаря, всунула голову в кабинет.

— К вам товарищ Бребу. Он говорит, что вы его знаете.

Опять этот зануда! Еще бы, как не знать! Модный романист. В памяти всплыли дареные книги с автографами и непрестанные настоятельные просьбы, с которыми ему надоедал этот Бребу. То он хотел *(конечно, если можно)* иметь маленький садик перед домом; то *(неужели это невозможно?!)* чтобы остановку трамвая перенесли на несколько сотен метров от его дома — она мешает; то чтобы ресторан «Тири-Бомба» превратили *(уж это-то наверняка можно!)* в пансион для старых холостяков *(спасу нет от музыки!)*. Разумеется, прозаик всякий раз выражал глубокую благодарность и приносил второй (или третий) том последнего своего романа с дарственной надписью. (Дарственные надписи начальник читал, показывал сослуживцам и жене,— пусть знают, что у него тоже есть культурные связи.) И вот теперь, в этот удушливый день, прозаик снова с бог весть какими еще претензиями *(если можно!)*.

— Пускай войдет,— скучным голосом сказал начальник, размышляя — надевать или не надевать пиджак. Было так жарко! Он ждал.

Шторы в кабинете были приспущены, и потому в первый момент начальник не разглядел лица посетителя. Поднявшись с кресла, он с наигранным радушием двинулся ему навстречу:

— Маэстро, вы отважились в этакую жарищу...

Гость склонил голову (что за странная церемонность?) и пожал ему руку.

— О-о-о, да у вас рука просто раскалилась! Такой невыносимый зной?

В самом деле, ладонь маэстро Бребу пылала так, словно ее только что вытащили из огня. Начальник отдела городского благоустройства быстренько спрятался за свой стол и незаметно провел ладонью по его прохладной поверхности. Потом жестом пригласил гостя сесть в кресло. Пожалуй, неудобно сразу переходить к делу. Лучше начать с маленькой интеллигентной беседы — она будет вступлением к новой просьбе писателя *(если можно!)*.

— Над чем вы работаете, уважаемый маэстро? Знаете, последний роман, который вы мне любезно подарили, я прочел залпом. Теперь его читает моя семья.

Казалось, на гостя не произвели впечатления эти восторги. Более того, он покачал головой и сказал:

ЭДУАРД ЖУРИСТ — EDUARD JURIST (род. в 1928 г.)

Румынский писатель. Автор научно-фантастических, сатирических произведений, в том числе «Колумбово яйцо» («Oul lui Columb», 1963), «Учитесь смеяться без учителя» («În vățați să rîdeți fără profesor», 1986) и др., многих книг для детей и юношества, из них на русский язык переведена «Дуду, Луку и весенние каникулы» («Duțu, Lucu și vacanța de primăvară», 1975).

Публикуемые рассказы взяты из сборников «Экспресс-юмор» («Umor expres». București, Sport-Turism, 1984) и «Пленники комического пространства» («Captivi în spațiul comic», București, Albatros, 1979).

— Дорогой товарищ! — Голос был какой-то странный, металлический и эхом отдавался в глубине его тела.— Тут кроется недоразумение.

Какое недоразумение? Разве он не господин Таке Бребу, писатель, который?.. Да-да, но не *самолично*.

— Я его статуя.

Пораженный, начальник отдела городского благоустройства будто тоже обратился в статую.

— Да-да, не удивляйтесь. Я — та самая статуя, которую вы разрешили *разместить* — ведь это так называется? — в палисаднике перед домом писателя.

В самом деле, начальник прекрасно помнил, как писатель несколько раз приходил к нему насчет статуи (по просьбе пионеров, говорил он, которые забросали его письмами,— им не терпелось посадить вокруг статуи анютины глазки). Некоторое время начальник сопротивлялся, но поскольку все равно объявился излишек бронзы — по статье «вторичное использование сырья»,— а одно лицо настоятельно рекомендовало ему весьма талантливого молодого скульптора, то в конце концов он согласился и бумагу подписал. Но ему и в голову не приходило, что статуя может явиться к нему на прием.

— Чем же я могу быть вам полезен, маэс?..

Он запнулся, не зная, как обращаться к статуе.

— Видите ли, какое дело, я к вам с жалобой.

Вот и прекрасно — статуя не прибегает к протокольному ритуалу.

— Я категорически против того, чтобы быть статуей Таке Бребу. Это совершенно несправедливо: уж коли мне представлять его в вечности, то почему сейчас я должен вести образ жизни, не имеющий ничего общего с тем, который ведет он сам? Взять хотя бы такой простой пример. Вы, без сомнения, почувствовали, как раскалена моя рука. А ведь это потому, что пока мой alter ego разгуливает по дому в пижаме, лениво отхлебывая холодного пивка из холодильника, я неподвижно стою на каменном пьедестале под немилосердно палящим солнцем. Знаете ли вы, до какой температуры накаляется бронза на солнце? Так вот: иной раз у меня температура более ста градусов — а он, моя досточтимая модель, даже если вдруг термометр у него под мышкой покажет всего тридцать восемь, спешит вызвать врача! И это еще ничего. А зимой? Я спрашиваю: знаете ли вы, что происходит зимой? Вы разрешили многоуважаемому гражданину Таке Бребу провести на кухню газ, а он поставил горелки во все печи. Пожалуйста, не возражайте, я же лучше знаю, что происходит в доме уважаемого писателя! Вы забыли, что дни и ночи я караулю фасад его дома?! И в то время как этот господин (по-прежнему в пижаме) сидит у камина, я в своей уродливой хламиде стою на морозе и мерзну до того, что даже бронза, при всей ее прочности, становится хрупкой, как стекло!

Начальник отдела городского благоустройства не был инженером, ничего не понимал в сопротивлении материалов, а также никогда не думал, что статуя может выражать неудовольствие по поводу условий своего существования. На мгновение ему пришло в голову попросить машинистку — по совместительству секретаря — принести две чашки кофе, но потом он раздумал. Может быть, товарищ Магда не заметила, что странный посетитель не как все прочие люди — в таком случае не стоило наводить ее на эту мысль. Да и в конце концов, кто видел, чтобы статуи пили кофе? Теперь он разглядывал необычного посетителя с большим вниманием. В самом деле, лоб немного окислился. На висках появился легкий зеленоватый налет — признак старости...

— И разрешите вас спросить: за что я страдаю? — продолжала статуя.— За те несколько романов, которые, по его утверждению, он написал? Но можно ли с уверенностью сказать, что на самом деле их написал он?

— Вы считаете, что...

— Я ничего не считаю. Но я, пребывающий в бессмертии, имею право сомневаться. Слишком часто моих несчастных коллег, я говорю о статуях, сбрасывали с пьедесталов, когда история литературы доказывала — только почему так поздно?! — что тот или иной «классик» — ничтожный плагиатор с обширными связями, что идеи, а то и целиком книги он просто «заимствовал»! Уж вы извините меня за такую прямоту. Да скажите по совести, что вы читали из произведений Таке Бребу?

Начальник попытался восстановить в памяти названия двух подаренных ему романов, но вспомнил только, что первый он брал с собой в отпуск в Предял, а второй забыл в поезде, направлявшемся в Текуч, куда он ехал в командировку.

— Это неважно,— пробормотал он.— В конце концов, не я определяю ценность книг, написанных маэстро...

— Вы так думаете? Значит, вы полагаете, что ваши полномочия касаются только палисадника маэстро, штукатурки, лепнины на фасаде и двух гигантских цементных ваз, которые вашими стараниями установлены у его подъезда, напоминающего теперь вход в мавзолей? А за его творчество вы, следовательно, не несете никакой ответственности? Очень плохо! Значит, вы считаете, что оценку произведений маэстро должны давать только литературные критики. Ошибаетесь! Да можете ли вы себе представить критика, высказавшего иное, не благоприятное суждение о писателе, который при жизни добился себе памятника? Вот, например, что пишет один из них (цитирую по памяти): «Труды Таке Бребу переживут писателя, ибо бронза вековечнее бумаги». Что верно, то верно — бумага все стерпит, но иной раз и бронзе не позавидуешь.

Начальник молчал.

— Допустим, я соглашусь с вами...— произнес он наконец.— Чего, собственно, вы от меня хотите?

— Чтобы вы одобрили мою отставку.

— Что это значит?

— Очень просто. Как статуя, я принадлежу отделу, которым вы руководите...

Начальник провел рукою по лбу, поднялся с кресла и вышел в соседнюю комнату.

Секретарь-машинистка изо всех сил стучала на машинке.

— Товарищ Магда, есть ли у нас решение по поводу ходатайства маэстро Бребу?

— Это того, который просил себе статую?

— Вот именно.

— Вы говорили, что нужно еще заключение комиссии по цветным металлам.

— Мда. Заключения комиссии не надо. Зато, пожалуйста, запросите заключение секции критики Союза писателей нашего города.

Когда начальник вернулся в кабинет, кресло было пусто. Но он бы мог поклясться, что в воздухе витал какой-то звук. Он прислушался, и ему показалось, будто он узнал все тот же металлический голос, низкий и торжественный: «Статуе тоже не все равно, кому она поставлена».

Давайте жить аудиовизуально

У меня было явное ощущение, что кто-то внимательно на меня смотрит. Я заставил себя приоткрыть глаза. На меня задумчиво глядел какой-то человек в кожаной куртке и клетчатой кепке. Я снова смежил веки. Конечно, это сон. Даже если кажется, что я просыпаюсь, ясно, что это грезы наяву. И все же этот человек не сон. Вот он, перед моей кроватью. Господи, да кто же это? И главное, как он проник в самую интимную часть моего жилища — в спальню? Да нет, несомненно, мне снится что-то несуразное. Ну да уж ладно, подремлю-ка еще хоть полчасика. Я крепко сжал веки и задышал глубоко, точно спящий. В комнате послышалось легкое движение. Я различал какой-то шепот, но теперь мне было все равно, я не хотел знать, что мне снится, однако ощущение было такое, будто я плыву, мягко покачиваясь на волнах (хотя шума волн не было слышно), и меня несет к неведомой гавани. Но путешествие не затянулось, мою шлюпку внезапно выбросило на берег. Потом стало тихо. Я медленно открыл глаза (конечно же, все это мне приснилось) и был поражен каким-то странным, призрачным полусветом. Приглядевшись, я не поверил своим глазам. Я оказался уже не в спальне, а (черт знает, каким манером!) с кроватью и всем прочим доплыл до маленькой передней и лежал теперь неподалеку от двери в ванную. Вскочив, я машинально спустил с кровати босые ноги, отыскивая тапочки, но — брр! — ноги оказались на холодном кафеле, и от этого я окончательно проснулся. Теперь ясно, это не сон. Что-то произошло наяву — а что, я не мог понять. Я смутно вспомнил: накануне жена говорила, что сегодня *будет тяжелый день и что лучше бы проснуться пораньше, что завтра уж не придется как обычно нежиться четверть часа в постели* и еще что-то — я слушал вполуха и не слишком вникал (многое из того, что говорит моя жена, до меня не доходит, я к этому уже привык). Прыгая от холода то на носках, то на пятках, я добрался до ванной, открыл дверь и застыл (с выражением лица абсолютного кретина, которое редко удается даже великим актерам мирового кино). Там кишели какие-то человеческие существа, двое из них издали короткие гортанные звуки (по-моему, на полинезийском языке).

— Не пугайтесь, это мой муж,— послышался голос моей супруги, которая сидела тут же, и, как я впоследствии разглядел, кто-то ее причесывал, кто-то гримировал, а еще кто-то с помощью оптических аппаратов снимал с нее всевозможные мерки.

Вдруг меня осенило. Так вот оно что! Значит, телевидение. Да, моя жена на самом деле была известным овощеводом, и редактор телепередачи после интервью, которое взял у нее в лаборатории, решил, что гораздо убедительнее продолжить разговор в обстановке интимной и более того — в семейном кругу!

Я поспешно отступил, прокрался в бывшую свою спальню, схватил одежду, закрыл дверь и, одевшись, направился в кабинет. Но не успел я сделать и двух шагов, как резкий голос у моего уха решительно прокричал:

— Алло, товарищ, сюда нельзя...

— Вы мне? — удивленно обернулся я.

— А кому же еще? Вы еще кого-нибудь видите?

В самом деле, вокруг никого не было. Но за дверью, то есть в моем кабинете — я разглядел это сквозь сверкающее чистотой стекло,— движение было как на проспекте, будто проспект закрыли на ремонт, а движение пустили через мой кабинет. Дежурный, видно, мне посочувствовал (в конце концов, он просто исполнял свой долг) и объяснил:

— Простите, таково распоряжение товарища режиссера. Режиссер сказал, что здесь лучше всего сделать съемочную площадку для передачи «В помощь овощеводу-любителю».

Я пожал плечами и крадучись направился в спальню. Прекрасно. По крайней мере выпью кофе. Хорошо, что хотя бы наша маленькая кухонька избежала набега телетехники. Но... не тут-то было! У самой двери меня остановил другой дежурный (на сей раз молодая девушка с длинной сигаретой; она окинула меня критическим оком):

— Пожалуйста, не мешайте, мы готовимся к съемке...

— Какой съемке?

Девушка непринужденно стряхнула пепел на пол в углу коридора (чтобы не пачкать ковер) и объяснила мне (очень коротко, потому что это явно не входило в ее обязанности):

— Нашему режиссеру пришла в голову прекрасная мысль. Он сказал, что раз мы все равно посылаем к вам съемочную группу, можно записать еще и маму вашей супруги для передачи «Наш очаг, наша семья».

— Мою тещу?

Только этого не хватало.

— Я не знала, что это ваша теща, впрочем не все ли равно?

Ясно, откуда знать помощнице режиссера, как отразится (на мне) появление моей тещи на телеэкране.

— И скажите на милость, что же заявила моя теща телезрителям?

Я чувствовал, что настроение мое все больше портится.

— Речь идет о роли бабушек в воспитании малышей. Ведь у вас есть дети?

Боже, а ведь и правда, куда подевался Доринел? Во всей этой суматохе я и забыл про него. Почти наверняка жена распорядилась отправить его из дому. Я улыбнулся:

— Да, у нас есть сын.

— Как же, мы с ним познакомились. Очень телегеничный ребенок.

— Это естественно, мы все телегеничны,— произнес я и слегка поклонился, давая понять, что собираюсь уходить. В этот момент дверь ванной распахнулась и вышла моя жена — ее лицо сверкало всеми цветами радуги.

— Я готова, можем начинать! — произнесла она, проходя мимо меня, как проходят по коридору учреждения мимо шкафа в поисках машинописного бюро.

— Одну минуту! Одну минуту! — раздался чей-то баритон, и в тусклом свете прихожей появился человек в кепке, которого я видел во сне (и который, следовательно, существовал и наяву).— У нас есть еще четверть часа для мальчика...

И он разъяснил моей жене, что режиссеру пришла в голову идея сделать эпизод, в котором Доринел (известный своими успехами в кружке радиотехники) чинит дома сломавшийся телевизор. Тут они изрядно попыхтели, поскольку парнишка разобрал кинескоп, и оператору пришлось сделать много дублей.

— Да, но наш телевизор прекрасно работал! — воскликнул я, что, конечно, было полным абсурдом.

Человек в кожаной куртке весело рассмеялся:

— Будьте покойны, уже не работает.

Я пулей вылетел из квартиры. В дверях я нос к носу столкнулся с черноволосой статной дамой, ее проницательные глаза излучали волны энергии:

— Простите, вы инженер Пэлэмиде?

— Я!

— Это вы проектировали химический комплекс на севере города?

— Да.

— Вы не будете возражать, если я запишу беседу с вами по поводу загрязнения окружающей среды? Знаете, мы подумали, что поскольку все равно здесь съемочная группа...

Я бросился к лестнице, не знаю, как добрался до гаража, вывел машину и вихрем понесся прочь. Я гнал машину, надеясь уйти как можно дальше от опасной зоны. Вдруг — характерная сирена («как в фильмах»! — подумал я), и из догнавшей меня машины высовывается рука с красно-белой полосатой палкой: рука делает мне знак податься вправо. Я подчиняюсь. Молодой капитан службы движения чинно выходит из машины и, дружелюбно улыбаясь, говорит:

— Пожалуйста, документы...

К счастью, они у меня были. Я протянул ему документы.

— Простите, вы знаете, какова разрешенная скорость движения в городе?

Конечно же, я знал.

— Тогда почему вы едете со скоростью девяносто километров в час? Вот, мой радар зарегистрировал, можете взглянуть.— И он показал мне фотографию.

Только тут я увидел рядом с молодым милицейским офицером бородача в темных очках с киноаппаратом. Он меня снимал!

— Пожалуйста, повторите свое имя,— настойчиво и задушевно попросил меня милиционер.

— А это кто такой? — Я указал на человека с киноаппаратом.

— А, не беспокойтесь, это с телевидения. Делает репортаж для передачи «За рулем».

Дополнение к автобиографии

Что касаемо пилы. Это правда, что мой дед со стороны отца имел пилу (как я и указал собственноручно в автобиографии), только я писал про обыкновенную пилу, а не про пилораму. Про пилу о двух ручках, с какою ходят валить лес. Товарищ Михалаш, с которым я обсуждал этот вопрос, утверждает, что если мой дед (Мойсе, сын Янку) владел этим средством производства, то другой человек, с которым мой дед пилил, был наемной силой и, значит, эксплуатируемым. Только это он неточно говорит, поскольку в наших краях один ходил валить лес с пилой, другой — с топором. Что до моего отца Анастасе, то тут неправильно меня поняли, что он был священником и пропагандировал мистицизм на селе. Тут я сам оплошал, и, к моему позору, вышло непонимание, будто отец мой, сельский чабан Анастасе, был не отцом моим вовсе, а попом (на селе).

Что касаемо до того факта, что в 1956 году я был в Лондоне, то это правда. Нижеследующим объясняю, как это произошло. В то время я по ночам работал вахтером на факультете литературы и философии, поскольку днем имел возможность отоспаться на некоторых лекциях. Как-то ночью читаю я газету, и вдруг ко мне на факультет являются два неизвестных молодых человека, не студенты, и велят следовать за ними по очень важному и неотложному делу. Что я и сделал, хотя, согласно правилам внутреннего распорядка, не имел права покидать пост, однако выхода у меня не было. Меня проводили в кабинет, где товарищ в штатском и в очках, имя которого я не разобрал, очень хорошо со мной поговорил и, между прочим, сказал: *Ты что ж это не сообщил, что имеешь родственников у империалистов?* Я спросил его, у каких империалистов, потому что твердо знал, что вообще не имею никаких родственников. *Да там, у Черчилля,* пояснил товарищ в очках. Про этого Черчилля я как раз читал, когда за мной пришли те молодые люди, но что мне показалось обидно — шишек в моей родне никогда не было. А товарищ в очках засмеялся и говорит: мол, все в порядке и мне дают паспорт в Англию. Какой такой паспорт, говорю, в жизни не просил я никакого паспорта!!! Тут он мне и разъяснил всю эту историю. Оказывается, пришло официальное письмо от одного

нотариуса из Лондона, а в письме том нотариус писал про своего клиента, который завещал все свое состояние нам, с условием, чтобы его похоронили в родных краях, где у него остался один-единственный родственник — и тот очень дальний,— то есть я, приходившийся ему троюродным племянником со стороны двоюродного брата, погибшего на первой мировой войне. *Так что же я должен делать?* — поинтересовался я.— *Отправишься утренним рейсом и тут же вернешься назад. Там, в аэропорту, тебе передадут свинцовый гроб со всеми документами по форме, понятно? О завещании не беспокойся — эта сторона дела идет по официальным каналам и тебя не касается.* Я поехал в аэропорт прямиком из кабинета товарища в очках и сделал все в точности как меня научили. Хуже было, когда я вернулся — кажется, через день,— меня сразу вызвали в кабинет товарища директора по административной части, который крепко меня изругал: *Почему прогуливал? Где был вчера? — В Лондоне,*— говорю. Тут товарищ директор (он и сам подтвердит, коли не запамятовал) сказал, что я наглец, и выгнал меня вон из кабинета. У меня вычли из зарплаты один день неявки на работу без уважительной причины — потому что я не знал, куда обращаться, чтобы выставить причину уважительную. На вопрос тов. Михалаша, почему у меня нет даже наклейки на чемодане, с которым я ездил в Лондон, уточняю, что единственный багаж, с которым я путешествовал,— это пломбированный свинцовый гроб, почему я даже не знаю, как выглядит этот мой троюродный дядя, который нажил состояние в империалистических странах.

Тут еще, может, кто сомневается по поводу генеральской формы, про что меня спрашивали, поскольку об этом имеется информация в моем личном деле. Отвечаю. Нет, я имею чин капрала и генералом в старой армии не был. Тот, кто дал такую информацию, сделал это по злобе или, того и гляди, позарился на мою должность, которой я и сам очень даже доволен. К сему прилагаю фотографию, о которой идет речь и на которой я снят в форме швейцара гостиницы «Интерконтиненталь», куда я перевелся три года назад и где работаю среди порядочных людей. Потому что, когда я их приветствую: «Здравия желаю!» — то они, даже если не понимают нашего языка, отвечают как положено, и таким образом я имею надбавку к основной своей зарплате.

Документы в порядке

— Добрый день, здесь проживает гражданин Думитру Авасиликиоаей?

— Это я. Что вам угодно?

Человек с портфелем заглянул в бумаги:

— С вас причитается двести пятьдесят лей.

— За свет?

Над бумагами из-за очков, соскользнувших на кончик носа, блеснул ехидный взгляд.

— Нет, в некотором смысле наоборот. Это штраф за то, что вы не записали вашего мальчика в школу.

— Какого мальчика?

— Вашего сына, которому исполнилось семь лет. Ему ведь уже семь лет, не так ли?

— Да нет у меня никакого сына!

— Ну ладно, может быть, дочь... хотя у нас в графе пол стоит буква М.

— Мне очень жаль, но это явная ошибка.

Человек с портфелем нахмурился:

— Что значит «явная»? В таком случае кто же такой, простите, пожалуйста, Трезор Авасиликиоаей.

— Трезор?! Мой пойнтер!

— Пойнтер? Кем же он вам приходится?

— Да никем не приходится, это моя охотничья собака.

Человек с портфелем снова взгромоздил очки на переносицу.

— Это как же понимать... ваш ребенок — охотничья собака?

— А вы, как видно, шутник...

— Если вы полагаете, что я с утра пораньше обиваю пороги за ради шуток, то глубоко ошибаетесь. Поскольку не перевелись еще несознательные граждане вроде вас, которые воображают, будто можно уйти от выполнения долга, предусмотренного...

— Погодите! Это уж слишком. Разве вы не понимаете, что здесь ошибка? В конце концов, чья ошибка-то? Моя или ваша?

— Во всяком случае не моя! Не я же сообщил при переписи, что имею ребенка такого-то года рождения, названного такто... Впрочем, конечно, возможно, что где-то вкралась ошибка. Кто знает, может, по ошибке сюда и попали данные из вашей карточки, заполненной при переписи домашних животных,— признал все же человек с портфелем.

— Как бы то ни было, вы ведь понимаете,— сказал я миролюбиво,— что Трезор не человеческое имя.

— Это как сказать! У нас в лицее, например, одного парня, Попеску, звали Борзой. Это еще не доказательство. И вообще, тут дело не в том, что я думаю, тут дело в документах.

— В каких.. документах?

— Вам надо представить в управление актов гражданского состояния документ, удостоверяющий, что Трезор не ваш сын. Тогда мы его вычеркнем — вот и все.

Меня бросило в жар.

— Нет уж, чем ходить за документами, лучше я заплачу штраф.

— Не советую,— спокойно возразил инспектор.— Заплатив штраф, вы подтвердите существование сына. И я не очень понимаю, что вы будете делать, когда он достигнет совершеннолетия,— тут встанет вопрос, почему он не трудится и вообще не тунеядец ли он... Уж не собираетесь ли вы тащить его на себе всю жизнь?

Я обалдело уставился в пространство. Что-то где-то застопорилось. Но что? И где? Я промямлил растерянно:

— Мда-а-а... вы правы. А кто может выдать подобный документ?

— То есть как кто? Разве вы не сказали, что это охотничья собака? Идите к ветеринару. По-моему, ясно как божий день.

На другое утро, взяв охотничью собаку на поводок, я бодро отправился в ветеринарную лечебницу. В приемной был длинный хвост: что и говорить, это здесь явление вполне естественное. Сперва вы-

вали белого шпица — шпиц был чрезвычайно элегантен и взирал с презрением на громадную овчарку, которая смирно сидела в углу, не пытаясь завести светские знакомства. Потом была очередь эрдельтерьера и коккера. Два сеттера чуть не сцепились у дверей кабинета. И наконец, подошла очередь моего пойнтера. Я объяснил ветеринару, в чем заключается «болезнь» собаки, и он, как я и ожидал, залился смехом.

— Это что же... они решили, что пойнтер — ваш сын?!

Ветеринар с трудом успокоился.

— Но постойте,— обернулся он ко мне,— я-то чем могу быть вам полезен?

— Вы можете выдать мне документ,— сказал я весело.

— Если вам нужен документ, удостоверяющий, что не вы его отец,— давясь смехом, ветеринар указал на пойнтера,— вам следует обратиться в Общество собаководов. Они занимаются родословными.

И впрямь, ситуация сложилась забавная.

— Видите ли, в этом как раз загвоздка. Я-то пришел не за *его* родословной, а, если можно так выразиться, за своей, то есть чтобы исключить Трезора из числа моих родственников. Но от вас мне нужна очень простая вещь: справка, из которой бы следовало, что речь идет об охотничьей собаке. Если этого не достаточно, можете добавить, что вы лечили его от чумки, не думаю, что это обеспокоит тех, кто занимается учетом.

— Ну, если вы полагаете, что подобная бумага поможет, напишем ее,— согласился ветеринар.— Подождите немного в приемной.

Я подождал.

Примерно через четверть часа в дверях кабинета появился сияющий ветеринар.

— Вот видите? Все уладилось.— И он протянул мне бумагу.— Отправляйтесь спокойно домой. А если когда-нибудь убьете лишнего фазана, не забудьте пригласить меня к обеду,— пошутил он.

Я пообещал. На улице, когда пойнтер, по обыкновению, остановился у первого же дерева, я развернул бумагу и прочел следующее:

Справка

Настоящим удостоверяем, что Трезор Д. Авасиликиоаей — охотничья собака в возрасте семи лет, мужского пола, была у нас на излечении, но теперь совершенно здорова.

Справка выдана по требованию — для записи на обязательное обучение.

В этот момент пойнтер непокорно дернул поводок: он увидел через дорогу кошку. И я впервые покорно ему подчинился.

Уступлю собаку любителю животных

— Добрый вечер, мадам. Я по поводу вашего объявления...

— Ах, по поводу Пуффи... Вы любите животных?

— О да! Знаете, когда я был маленький, отец обещал мне подарить...

— Велосипед!

— Нет, лошадку, Но не сдержал слова, и потому до сих пор, несмотря на мой возраст, я мечтаю иметь...

— Да, но у меня не лошадка, а щенок...

— Тем лучше, потому что в нашей квартире, пожалуй, не хватило бы места... А можно его посмотреть?

— Ну конечно. Пуффи-и-и!

— Гау! Гау! Гау!..

— Не пугайтесь, это его отец. Пуффи всего один месяц. Пуффи! Пуффи!

— Гау! Гау! Гау!

— Вы не могли бы убрать *отца* подальше от моих брюк?

— Гривей, на место! (Гау! Гау!) И веди себя смирно! Пуффичек!.. Он вам нравится?

— Ах, просто прелесть! И... сколько вы за него хотите?

— О-о-о, как можно?! Да ни копейки! Разве в объявлении не ясно сказано: «Уступлю собаку любителю животных».

— Вы даже не представляете, как будет радоваться...

— Пуффи?

— Нет, моя жена. Она обожает щенков. Это будет ей настоящий сюрприз.

— Очень хорошо. Можете взять его когда хотите.

— Тогда я возьму сейчас же.

— Замечательно. Остается только решить один вопрос...

— Вопрос?..

— Да, вопрос о будке.

— О какой будке?

— Как это, о какой будке?! О домике для щенка! Ведь должен же у него быть свой дом! Надеюсь, вы не собираетесь держать его под дождем или на морозе?! Вы ведь только что сказали, что любите животных!

— Да, но я думал, он будет жить с нами...

— Сколько человек в вашей квартире?

— Два.

— А сколько комнат?

— Две.

— Вот видите? У каждого по комнате. А бедной собаке где прикажете ютиться? Нет уж, или вы берете будку, или собака остается у меня...

— Дело в том, что у нас квартира на десятом этаже... но если иначе нельзя, то я, конечно...

— Двести.

— Что — двести?

— Двести лей, вы, надеюсь, не претендуете на то, чтобы я отдала вам будку, иными словами — просто миниатюрную виллу из древесных опилок с белоснежной крышей, задаром?! Ну как, берете?

— Да, возьму! Это, знаете ли, сюрприз жене...

— И вы сделаете ей прекрасный сюрприз, в особенности если возьмете ошейник...

— Зачем же ошейник? Щенок слишком мал, и нет нужды...

— Да, но он вырастет! Ведь вы видели его отца?

— Гау! Гау!

— Э-э-э, ну если вы настаиваете, если это необходимо...

— Да, необходимо. И совсем недорого: сто!

— Сто?!

— Ну зачем вы торгуетесь? Где двести, там и триста, какая разница? Ведь щенка-то вы получаете задаром!

— Но, помилуйте...

— Вот вам ошейник, вот коврик...

— Какой коврик?

— Как это какой коврик? Коврик этого щенка. Щенок к нему привык. Щенок на нем родился. Вы, может быть, хотите, чтобы он вдруг оказался на чужом коврике или вовсе без коврика?

— Боже мой, я...

— Сто.

— Да, конечно, три сотни я уже отдал, какая разница...

— Вот именно. И вы не можете себе представить, как вам повезло! Тому, кто пришел до вас, я отказала.

— В самом деле?

— Да-да. Подумать только, он хотел взять щенка без его любимой миски! Он хотел морить щенка голодом! Душегуб! Хорошо, что я тут же его раскусила.

— Э-э-э... и сколько?

— Сто.

— Хорошо. Пожалуйста, вот четыреста лей, и я беру щенка, потому что, видите ли, я тороплюсь... моя жена...

— Вот и прекрасно, вот и прекрасно, одну минутку, я только принесу часы с боем.

— Часы с боем? Какие часы с боем?

— Нет, как вам это нравится?! Какие часы с боем?! Щенка, знаете ли, надо кормить по часам.

— Да право же, вы напрасно беспокоитесь. Видите ли, у меня дома есть хронометр, радио постоянно включено, мы всегда знаем точное время.

— Вы-то знаете! Но щенок?! Как вы думаете, он будет бегать, смотреть на хронометр, или, может, вы надеетесь заставить его слушать радио? Наш щенок чуть заслышит, что часы пробили три, ему все ясно: он послушно идет к своей миске — не то что иные щенки, которые тычутся в миску когда ни попадя. К этому нужно приучать с малолетства. Отдаю вам их по дешевке. Шестьсот, потому что часы немного испортились, их надо починить. Значит, шестьсот плюс четыреста — это тысяча.

— В таком случае я... понимаете, меня ждет жена...

— Вот именно. Вы, кажется, сказали, что собираетесь сделать ей сюрприз.

— Да, но... Разные бывают сюрпризы...

— Очень сожалею, деньги надо считать дома, «pièce touchée, pièce jouée»[1]... но если вы настаиваете, я могу уступить. Я дам вам в придачу кошку. Вы себе не представляете, как прекрасно они с Пуффи играют! Разлучить их было бы просто жестоко!

— Нет, спасибо. Не надо. Моя жена терпеть не может кошек.

[1] Поставленное на кон не возьмешь назад *(франц.)*.

— Вот и прекрасно, разведитесь! У вас великолепный повод для развода... Погодите! Да куда ж вы? Ну вот! А еще говорил, что любит животных...

— Гау! Гау! Гау!..

— Пошел отсюда! Спохватился! Чего же ты молчал раньше?

Басня

Директор цирка вкушал свой первый завтрак. Именно первый, потому что он имел обыкновение вместо обеда тоже вкушать завтрак, чтобы *оставаться в форме*.

Он попивал кофе без сахара и рассеянно просматривал газету, отыскивая материал о цирке.

Открылась дверь, и секретарша объявила, что к нему пришел посетитель. Директор не поднял глаз от газеты — знак, указывающий на то, что он все слышит. Он только еще больше углубился в чтение; директор любил изучать газету в тишине и вообще не терпел, когда его прерывали, говорил ли он или читал — безразлично.

— Извините, пожалуйста,— начал пришедший.— Мне сказали, что вы нанимаете артистов...

Слабое движение из-за газеты — кажется, директор пожал плечами.

— Я уже работал в цирке и всегда имел успех...

Директор, невидимый за газетой, поднес к губам чашку и с шумом отхлебнул кофе.

— Мои партнеры всегда были мною довольны. Я умею ходить по проволоке...

Из-за газеты послышалось «Хмм...».

— И верхом умею ездить...

Директор развернул пошире газету, чтобы дочитать продолжение статьи.

— Если нужно, могу и прыгать через огненное кольцо!

Никакой реакции из-за газеты...

— Я очень вас прошу,— говорил посетитель униженным голосом.— Вы должны меня взять... я... я не ел уже целую неделю.

— Пустяки, пустяки. Все, о чем вы говорите, у меня делают даже львы, тигры и пантеры,— сказал директор, с шумом складывая газету.

Только тут он увидел того, кто сидел напротив: в кожаном кресле оказался огромный африканский лев.

— Мне чрезвычайно жаль,— произнес лев на безукоризненном английском языке.— В таком случае у меня остается единственный выход...

И лев проглотил директора цирка. Впоследствии он написал книгу, в которой объяснял публике, что подлинное искусство не делается на голодный желудок.

◆

Среди книг

Издано в СССР

ОТКРЫВАЯ ТАЙНУ КРАСОТЫ...

Дзюнъитиро Танидзаки. Избранные произведения в двух томах. Составление, предисловие, комментарии и научная подготовка текста И. Львовой. Москва, «Художественная литература», 1986.

Творчество Танидзаки Дзюнъитиро (1886—1965), крупнейшего японского писателя XX столетия, известно в нашей стране. В 1929 году издательство «Прибой» опубликовало роман «Любовь глупца», затем мы познакомились с некоторыми рассказами, с программным эссе «Похвала тени». В 1984 году в «Науке» выпущен сборник «Мать Сигэмото», куда наряду с одноименной повестью вошли пьеса «О-Куни и Гохэй», рассказы, эссе об искусстве и литературе. Теперь, с помощью двухтомника, мы получили возможность осмыслить приблизившееся к нам крупное явление японской и мировой литературы.

Попробуем взглянуть на Танидзаки Дзюнъитиро, сопоставив его с другим японским автором, давно и прочно завоевавшим любовь в нашей стране.

Танидзаки Дзюнъитиро и Акутагава Рюноскэ были современниками. Их литературная деятельность началась в то время, когда буржуазная Япония стремилась сравняться с Западом не только в плане материальном, но и в духовном. Молодые японские писатели жадно интересовались символизмом, кубизмом, футуризмом. «Человеческая жизнь не стоит и одной строки Бодлера»,— известная декларация Акутагава Рюноскэ характеризует целое писательское поколение, поклонявшееся Красоте. Поэт и скульптор, Такамура Котаро вспоминал впоследствии, что артистическая молодежь тех лет верила в исключительное значение культуры, в ее великую миссию — преобразовывать мир.

Формально Акутагава Рюноскэ не принадлежал к литературному салону «Общество Пана», основанному в 1909 году группой неоромантиков. К ней принадлежал Танидзаки Дзюнъитиро. Но первые же рассказы Акутагава, появившиеся в 1915 году, свидетельствуют одновременно и об общности и о различии его позиций и эстетических устремлений с неоромантиками.

Позже эти различия выльются в открытую полемику с Танидзаки. Спор был принципиальным и продолжался десятилетия спустя после самоубийства Акутагава в 1927 году. Идеалы древности особым светом озаряли для них современность, открывались точки соприкосновения, взаимообусловленности, но у каждого из писателей это происходило по-своему, глубоко индивидуально.

Вот рассказы «Муки ада» Акутагава и «Татуировка» Танидзаки, их интересно сравнить хотя бы потому, что в каждом понятие Красоты претворяется в резко определенной форме Зла. Красота-зло органически связана со структурой души того, кто творит ее, и быть может, оттого демонизм в этих рассказах и проявляется столь рельефно.

В рассказе Танидзаки, по верному замечанию И. Львовой, главной становится «апология жестокой власти, которой обладает чувственная женская красота, ведущая к гибели каждого, кто познает власть ее чар». Сэйкити создает свой шедевр — «огромного паука дзёро», раскинувшего жадные, уродливые лапы на спине юной девушки, но, едва успев очнуться от хлороформа, жертва у Сэйкити превращается как бы в подобие паука — она понесет в мир свою красоту не для гармонии, не для добра. Женщина, познавшая губительную силу своей красоты, ее власть, воспользуется этим оружием, чтобы унижать и истреблять.

В отличие от Сэйкити, променявшего искусство живописи на ремесло татуировщика, герой рассказа Акутагава остается подлинным художником, чьей кисти подвластно многое, но талант его жесток, болезнен: в работах Ёсихидэ «замешано колдовство», дающее ощущение даже «зловония... трупов», разлагающихся на картине «Круговорот жизни и смерти». Старый художник предан лишь одной «форме» — «красоте уродства», потому и мучится он невозможностью увидеть в жизни то, что необходимо, по его мысли, воплотить в картине ада: падающий экипаж, охваченный огнем, красивую молодую женщину, гибнущую в пламени. И когда его светлость Хорикава приказывает сжечь в экипаже любимую единственную дочь Ёсихидэ, художник, окаменев лишь в первую минуту, уже в следующее мгновение с восхищением наблюдает, «как в мучениях умирает его дочь. Красота алого пламени и мятущаяся в огне женская фигура беспредельно восхищали его сердце и поглотили его без остатка»...

Только ли об искусстве, которое неизмеримо выше жизни, думали два японских писателя, создавая свои трагические рассказы? Думается, нет. Здесь была попытка проникновения в таинство зла, приобретшего магическую притягательность для многих тогдашних западных писателей, а вслед за ними — и для японских. Рассказ «Татуировка» был первым в творчестве Танидзаки Дзюнъитиро, и тема надолго привлекла писателя к себе. Его героини, властные и жестокие, зачастую напоминают болезненно-извращенных женщин, запечатленных западной литературой конца XIX— начала XX века, но и от национальной японской традиции они неотделимы.

Акутагава Рюноскэ написал свой рассказ через восемь лет после «Татуировки», и, видимо, именно здесь началась долгая полемика двух прозаиков. Сэйкити вложил всю душу в «татуировку», и Зло словно «отпустило» его, избрав отныне другого носителя и воплотителя. Может быть, теперь художник сможет вернуться к подлинной живописи, начнет искать иную красоту, одухотворенную, лишенную демонизма,— конец рассказа Танидзаки открыт. Акутагава же завершает повествование гибелью Ёсихидэ, покончившего с собой: он не выдержал бремени зла, овладевшего его душой. Гибель старого художника равнозначна пробуждению души, и в подобном финале рассказа видится зарождение иной темы, ставшей для Акутагава магистральной,— темы человека, страстно ищущего выхода из тьмы. «Структура души» столь интересовавшая писателя с первых же шагов в литературе, окончательно оформилась в самостоятельную, независимую от категории красоты и неподвластную ей. Свидетельство тому — все его дальнейшее творчество, приведшее Акутагава к глубочайшему нравственному кризису.

Спустя несколько десятилетий было бы неправомерно «судить» Танидзаки тем «судом», которому подвергал его Акутагава. Само понятие красоты с годами претерпевало у Танидзаки Дзюнъитиро существенные изменения. Пройдя искус «демонической» красотой, писатель постепенно приблизился к пониманию красоты истинной, человечной, осененной чистотой и нравственностью, например, в романе «Мелкий снег» (1943—1948), своего рода хронике жизни семейства Макиока, раскрывающей перед читателем духовный мир и психологию японцев.

Кстати, прозрачность и стилистическая «чистота», даже изысканность — особое качество прозы Танидзаки Дзюнъитиро, обоснованное им в многочисленных эссе об искусстве и литературе и неукоснительно выдерживаемое на протяжении всего творчества. В таких, например, рассказах, как «Цзилинь», «Рассказ слепого», «Лианы Ёсино», словно отражена та бесконечность комбинаций светотени, о которой Танидзаки пишет в эссе «Похвала тени» (1943), приоткрывающем для европейцев многие черты японского национального характера, быта, психологии: «мы считаем, что красота заключена не в самих вещах, а в комбинации вещей... Вне действия, производимого тенью, нет красоты: она исчезает подобно тому, как исчезает при дневном свете привлекательность драгоценного камня «ночной луч», блещущего в темноте».

Наверное, эти слова писателя можно отнести ко всему его творчеству, и в первую очередь здесь стоит назвать рассказ «Лианы Ёсино», по мнению японских критиков,— «одно из самых проникновенных и поэтических произведений Танидзаки», но, конечно, для читателя, только еще входящего в эстетику и философию японского писателя, главными станут его романы «Любовь глупца» и «Мелкий снег».

Герой «Любви глупца» (1925) инженер Дзёдзи Кавай — образ, навеянный в значительной мере собственным жизненным опытом писателя, уже ощутившего разлагающее влияние западной цивилизации на нравы и психологию молодых японцев. Бездумное копирование обычаев, привычек пагубно для национальной культуры в целом — в этом утверждении пафос романа. Под воздействием «новомодных веяний» утрачиваются не только классические для японца «пять принципов морали» — человеколюбие, чувство долга, благопристойность, разумность, правдивость,— но и элементарные понятия нравственности, душевной чистоты. Молодые уже не способны отличить «черное» от «белого», происходит нивелировка всех чувств и ощущений. И чем тягостнее для Дзёдзи становится это «новое мировосприятие», тем глубже, безвозвратнее опускается он во мрак грязи и пошлости.

В каком-то смысле роман «Любовь глупца» явился для писателя способом расчета с прошлым. Закончился очень существенный период его творчества, был подведен итог демонизму. Но до романа «Мелкий снег» было еще далеко, идеал другой, «божественной» красоты должен был пройти через горнило жестоких сомнений и поисков истины...

«Мелкий снег» — вершинное произведение Танидзаки Дзюнъитиро не только потому, что категория красоты обрела здесь завершенность. Широкий охват событий,

раздвигающий рамки традиционного «семейного романа», заставляет рассматривать произведение как своего рода энциклопедию японской жизни 30-х годов.

Критик Сюити Като писал, что роман «Мелкий снег» воспринимается как своего рода «поиски утраченного времени». Отчетливо звучащие в нем ностальгические нотки невозможно воспринять иначе: история жизни четырех сестер Макиока, запечатленная почти изо дня в день, наполненная реалиями быта, особенностями психологии, национальными традициями, законами этикета,— все это из дня сегодняшнего невозможно расценить иначе, чем тоску по утраченной гармонии. На наших глазах словно рушится мир японского дома: младшая из сестер, Таэко, бунтует против веками складывавшихся устоев, пытается строить собственную жизнь по законам «нового бытия». Ее разрыв с семейством Макиока гораздо глубже и болезненнее, чем может показаться на первый взгляд, Таэко, по мысли писателя, утрачивает чистоту, незамутненность красоты — одно из ключевых понятий эстетики Танидзаки. А чистота, незамутненность отчетливо проступают лишь в причудливой игре светотени, в которой, говорят, Танидзаки открылась тайна подлинной красоты.

НАТАЛЬЯ СТАРОСЕЛЬСКАЯ

ТЮРЕМНЫЙ НОМЕР 9653

Ирвинг Стоун. Неистовый странник. Биографическая новелла о Юджине Дебсе. Перевод с английского Г. Льва. Составитель раздела «Юджин Дебс. Избранное», автор «Вместо послесловия» и «Хроники жизни Юджина Дебса» И. Краснов. Москва, Издательство политической литературы, 1986.

«...Он стоял на трибуне перегнувшись, как складной нож, и протягивал вперед свои большие длинные руки... Глядя на него, слушая его, народ чувствовал, как он повергает в прах зло и несправедливость...» Эта короткая ремарка, вынесенная издательством на обложку книги Ирвинга Стоуна о Юджине Дебсе, популярнейшем вожде американских социалистов, уже свидетельствует о той высокой мере ответственности, которую взял на себя писатель перед осуществлением своего литературного замысла.

Ирвинг Стоун хорошо известен как автор биографических романов. В разные годы на русском языке вышли его книги о Винсенте Ван Гоге, Джеке Лондоне, Микеланджело, Генрихе Шлимане. Некоторое время назад писатель завершил работу над романом о Чарлзе Дарвине, по мнению рецензентов самым значительным его произведением.

Пристрастие Ирвинга Стоуна к историческим личностям, стремившимся к добру и истине, определило и выбранный писателем жанр, которому он остается верен и в «Неистовом страннике». «... Я всегда писал художественные биографии, но никогда не писал о живых людях,— говорил о себе Ирвинг Стоун на Пятой встрече советских и американских писателей (1982).— Результаты жизни живых еще подлежат оценке, а я пишу о тех, которые уже сделали свое дело, внесли какой-то вклад...»

В 1947 году Ирвинг Стоун обращает свой взгляд на вторую половину XIX века, в которой Юджину Дебсу суждено родиться, на Америку, где действительность отмечена бурным ростом капиталистических монополий, обострением классовых противоречий, резкой поляризацией бедности и богатства. В. И. Ленин назовет Америку той поры «...одной из первых стран по глубине пропасти между горсткой обнаглевших, захлебывающихся в грязи и в роскоши миллиардеров, с одной стороны, и миллионами трудящихся, вечно живущих на границе нищеты, с другой»[1].

Юношеские философские поиски Дебса пока основывались на зыбкой почве собственных блужданий. Дебсу тогда еще нечего сказать миру. За спиной — всего лишь восемь классов общеобразовательной школы, затем — «поступательное» движение в трудовой круговерти будней: Юджин — рабочий на железной дороге, помощник кочегара, кочегар. Но судьба довольно благосклонна к молодому Дебсу. У него постоянный заработок, и жизнь юноши в глазах обывателей приобретает устойчивые формы.

Родители Дебса, добропорядочные переселенцы, преодолели Атлантический океан за несколько лет до рождения Дебса и в поисках удачи нашли себе пристанище в колонии земляков-эльзасцев в штате Индиана, в городе Терре-Хот, обещавшем в недалеком будущем стать процветающим железнодорожным центром Среднего Запада. Но мечта об «американском чуде» ускользает из рук мечтательного Дэниела Дебса, и воздушные замки, возводимые его пылким воображением, обретут реальные формы скромной бакалейной лавки на одной из улочек провинциального городка.

Восемнадцатилетний Юджин, искренний и доверчивый, подчиненный силе официального оптимизма и посулам американской демократии, но уже ощутивший на себе гнет социального неравенства, начинает смутно испытывать пока еще слепое пристрастие к добру и справедливости. Он случайно знакомится с «Благородным орденом рыцарей труда» и его ограниченной программой устройства кооперативов, взаимопомощи и борьбы за «справедливые условия труда», знакомится с дочерью массачусетского квакера, знаменитой в то время Энтони Сьюзен Броунелл — лидером американского движения за равноправие женщин, наконец, вступает в споры с отцом, отвергающим всякую идею объединения рабочих «кроме семьи и государства». Талантливого юношу избирают президентом литературного «Оксидента клуб». Однако Джошуа А. Лич, бывший тогда «великим магистром» Братства паровозных кочегаров, знал, что делал, когда в 1875 году в организованном им местном отделении Братства в Терре-Хоте рекомендовал Юджина Дебса на должность своего секретаря. Он скажет на одном из собраний в

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., 4-е изд., т. 28. с. 45.

Сент-Луисе: «Недавно я взял светловолосого мальчишку в Братство в Терре-Хоте, и когда-нибудь он станет во главе его». Лич не ошибся.

Первыми в Америке создали профессиональное объединение корабельные плотники Нью-Йорка в 1803 году, через четырнадцать лет объединились типографские служащие, а еще через десять союз организовали печатники.

Неспроста в русском переводе книга названа «Неистовый странник» — в накаленной атмосфере тех лет поистине неистово борется Юджин Дебс за святое дело объединения рабочих, покоряя читателя чистотой и преданностью идеалу: «Денно и нощно я работал для Братства. Наблюдать огонь его сигнальных костров и видеть рост количества его стойких членов было всем в моей жизни». Потом, ратуя за свою «навязчивую» идею, он исколесит вдоль и поперек всю Америку — Атланта, Чикаго, Джирард, Кантон... Лучше всех скажет о своем духовном становлении сам Юджин Дебс в статье «Как я стал социалистом». «На протяжении всех этих лет я рос у фонтана Пролетариат. Я пил его живительную, бодрящую воду, каждой частицей своего тела впитывая дух рабочего класса. Я не раз с ребятами во время их утомительных дежурств сидел у разбитого паровоза и часто помогал переносить домой, к женам и детям, их окровавленные тела. Как я мог не почувствовать бремя их обид? Как после этого семена агитации не смогли бы пустить корни глубоко в моем сердце?»

И опять Ирвинг Стоун бросает своего героя в пучину острых социальных конфликтов. Дебс — секретарь муниципалитета Терре-Хота, затем ответственный секретарь союза Национального Братства паровозных кочегаров и редактор журнала этого профсоюза. Через несколько лет он уже организовывает в Чикаго первый Американский союз железнодорожников, который впервые успешно проводит забастовку на Большой Северной железной дороге, а в мае 1894 года возглавляет грандиозную забастовку на Пульмановской железной дороге, подавленную федеральными войсками по приказу президента Г. Кливленда. Шесть месяцев тюрьмы строгого режима в Вудстоке, в камере которой Дебс напишет: «Социализм постепенно, но прочно завладел моим разумом. Книги, памфлеты и письма от социалистов... приходили с каждой почтой, и я начал читать, думать и анализировать анатомию системы, при которой рабочие, как бы они ни были организованы, могли быть разбиты, разрушены и расколоты одним ударом».

В вудстокской тюрьме произойдет знаменательная встреча Дебса с Виктором Бергером, одним из основателей Социалистической партии Америки. Бывший немецкий учитель привезет в тюрьму книги Маркса, Энгельса, Лассаля, Либкнехта. Взгляд на мир подлежал пересмотру. Философия «непротивления злу», проповедуемая отцом Юджина, трещала по швам. Приходилось просиживать ночи, чтобы понять ошибочность своих пророчеств, будто «механизм действия капиталистической системы» можно изменить только «усовершенствованием заработной платы и превращением ее в «вещь приятную и радостную навсегда». Жизнь кипела: Дебс — активный участник образования Социал-демократической, а затем и Социалистической партии Америки, кандидат на пост президента в 1900 году от первой партии и четырежды от второй, один из создателей профсоюзной организации США «Индустриальные рабочие мира», активный противник войны, выступивший в 1918 году в Кантоне, штат Огайо, на съезде социалистов со знаменитой антивоенной речью, посягающей на капиталистические основы Америки. А 21 апреля 1918 года Дебс публикует в газете «Нью-Йорк колл» пламенную статью «Душа русской революции»: «Весь мир изумлен, поражен, повержен в благоговейный трепет перед огромным историческим достижением России.

Русская революция не имела в истории ни прецедента, ни параллели. Монументальная в своей славе, возвышается она одна. Осознай ее грандиозное величие, проникнись духом и присоедини свой голос к ее святому, волнующему, вдохновенному призыву...»

К этому периоду жизни Юджина Дебса Ирвинг Стоун, сам активный противник войны, особенно внимателен. Повествование щедро снабжено подробными описаниями страстных выступлений лидера рабочих профсоюзов во время его четвертой избирательной кампании на пост президента США в Огайо, Юте и Миннесоте. За выступления против мировой войны и поддержку политики большевиков России Дебс был лишен американского гражданства, арестован и по приговору Верховного суда США осужден на десять лет заключения. Так в тюрьме Атланты, штат Джорджия, появится заключенный под № 9653.

В. И. Ленин, осуждая политику социалистических и рабочих организаций, изменивших интернациональным принципам и поддерживающих мировую войну, неоднократно вспоминает товарища Евгения Дебса, популярнейшего вождя американских социалистов, называя его любимым вождем американских рабочих, «американским Бебелем», согласным дать «себя скорее расстрелять, чем вотировать кредиты на теперешнюю, преступную и реакционную войну» [1].

Разумеется, нюансы богатейшей биографии Юджина Дебса не поддаются точному учету даже у такого умелого писателя-биографа, как Ирвинг Стоун, но нет сомнения и в том, что писатель стремится выполнить свой долг перед памятью «выдающегося руководителя масс» — так назовет Юджина Дебса У. Фостер, и мы должны признать: несмотря на то что «образ не набрал той художественной силы», на какую претендует историческая личность знаменитейшего соотечественника, Стоун «пишет» его с подкупающей искренностью.

Биографическая повесть о Юджине Дебсе и его статьи, написанные в разные годы жизни и собранные в разделе «Юджин

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., 4-е изд., т. 28, с. 52.

Дебс. Избранное», делают доброе дело — увековечивают память о пламенном борце американского народа.

С. ПОЧИВАЛОВА

МУЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО ЛЮБИТЬ И ПРОКЛИНАТЬ

Современная ирландская повесть. Перевод с английского. Составитель и автор предисловия Е. Гениева. Москва, «Радуга», 1985.

Любая антология тем совершеннее, чем полнее осуществляет два основных принципа: показать многое в сравнительно малом и отыскать единство в многообразии. В книге, о которой пойдет речь, это двуединое правило реализовано. Четыре ее автора — Эдна О'Брайен, Дженнифер Джонстон, Джон Бэнвилл, Бернард Маклэверти — безусловно, принадлежат к числу самых ярких талантов современной ирландской литературы. Они представляют ирландскую прозу в основных ее аспектах — добротном реалистическом нравоописании и усложненной метафоричности притчи, в обращении к историческому прошлому и к событиям совсем недавним, еще не отстоявшимся. Впечатление удачи укрепляют переводы (Б. Носик, Е. Суриц, А. Николаевская, Е. Короткова). А ощущение цельности книга оставляет, должно быть, потому, что каждое из включенных в нее произведений обращено к острым проблемам национальной жизни и национального сознания и в то же время к общечеловеческим «вечным» вопросам, тем более что герои повестей — очень юные люди, постигающие азбуку нравственных понятий. Сближает эти повести и то двойственное отношение их авторов к родине, которое рождено противоречиями ирландской действительности XX века.

В 60—70-е годы, когда создавалась представленная в антологии проза, обострились многие хронические болезни страны — национальные, религиозные, социальные. Трагическое осознание бессилия распутать этот клубок укрепляло многих из писателей в печальной уверенности, что Ирландия мало изменилась с тех пор, как Джойс дописывал в Париже «Улисса», и что художник должен бежать из родной страны. «Бегство» от Ирландии — на время или навсегда — существенный момент в биографиях многих ее современных писателей, включая и авторов антологии. Повесть «Деревенские девочки» — писательский дебют Эдны О'Брайен. Опубликованная в Лондоне (1960), она стала лирическим признанием в любви к покинутой земле и одновременно горьким упреком родине за изломанные судьбы ее детей. Повесть написана как доверительный рассказ Кэтлин Брэди. Детское простодушие интонации контрастно оттеняет недетский груз испытаний: Кэтлин теряет мать, мучительно стыдится алкоголика-отца, болезненно переживает неустроенность и одиночество. А впереди тюремные порядки монастырской школы: так писательница вводит проблему ущербности системы католического воспитания. Столкнувшись с деспотизмом учителей, унижающих достоинство учениц системой нелепых запретов, подруги решаются на дерзкую выходку, которая достигает цели: их со скандалом исключают. А героини в том возрасте, когда «сердце будущим живет», когда кружат голову мечты о яркой жизни, большой любви и счастье. В нетерпеливой надежде приблизить это прекрасное время деревенские девочки приезжают в Дублин, но здесь ждут их горькие разочарования и суровые откровения взрослой жизни. Традиционная тема утраченных иллюзий пронизана у Эдны О'Брайен почти физически ощутимой атмосферой «места и времени», а камерное пространство бытовых коллизий постоянно соприкасается с более широким миром общественно-социальных проблем. Повесть обрывается грустным вопросом: что впереди?

Еще тревожнее звучит он в повести «Тени на нашей коже» Дженнифер Джонстон, чей незаурядный талант советский читатель уже имел возможность оценить [1]. Ровесница Эдны О'Брайен, Джонстон пришла в литературу 70-х годов со своей темой, подсказанной трагическими событиями в Северной Ирландии. Тогда, осенью 1968 года в Дерри, на родине писательницы, полиция открыла огонь по безоружной демонстрации борцов за гражданские права. С этого времени начался — и продолжается до сих пор, то несколько стихая, то усиливаясь вновь,— острейший общественно-социальный кризис. Особый трагизм ольстерским событиям придает тот факт, что ответом на насилие со стороны протестантских ультра и британских оккупантов стали террористические акты временной ирландской республиканской армии, организации, защищающей права дискриминированного католического меньшинства.

В повести «Тени на нашей коже» драматизм судьбы Ольстера раскрывается в буднях семьи Логанов. Органично вводя политику в быт, писательница развивает традицию ирландской литературы. За постоянно вспыхивающими ссорами и спорами отца и матери просвечивают «проклятые вопросы» ирландской истории и современности. Отец, в прошлом участник национально-освободительной борьбы, смешон, жалок и одновременно трагичен, как человек, судорожно цепляющийся за прошлое. Мать, хлопотливая труженица, на плечах которой держится дом, не искушена в политике и опасается, что старые «сказки» мужа в новых условиях могут породить цепную реакцию фанатизма и жестокости. Ей уже не уберечь старшего сына Брендана, которого отцовы «сказки» привели в ряды временной ирландской республиканской армии. У нее остается лишь надежда оградить от опасности младшего, Джо. Именно глазами мальчика-подростка, мечущегося между полюсами любви — ненависти, показаны трагические будни Дерри.

Внимание писательницы приковано к тем нравственным аберрациям, которые война

[1] Дж. Джонстон. Далеко ли до Вавилона? Старая шутка. М., «Художественная литература», 1983.

рождает в душах людей. Не случайно идейно-эмоциональный лейтмотив повести — слова песенки, которую Джо Логан случайно услышал по радио:

Время время убивать,
Тени на нашей коже.
Пламя, что внутри нас гложет,—
Время убивать.

Хотя по натуре Джо добр, отзывчив, чуток к красоте, время ненависти оставляет на нем свои уродливые отметины. Его предательский поступок по отношению к молодой учительнице Кэтлин, влечет за собою эстафету ожесточения. После расправы, учиненной над нею дружками Брендана, Кэтлин, навсегда покидая Дерри, готова страшно «всех ненавидеть». Однако завершающая повесть сцена прощания Джо с Кэтлин освещена неожиданной — как в знаменитом фильме Феллини — улыбкой Кэтлин. Эта улыбка дарит герою надежду на прощение, а читателю напоминает о неистребимости законов добра и доверия.

Современная ирландская проза часто насыщает настоящее историей — в поисках истоков многих сегодняшних конфликтов или «размыкает» историю в настоящее — в поисках урока. Обостренный интерес к истории отличает повесть Джона Бэнвилла (род. в 1945 г.) «Берчвуд».

Герой-рассказчик Габриель Годкин — «последний из могикан» старинного помещичьего клана. Бэнвилл щедро насыщает повествование многочисленными литературными аллюзиями и реминисценциями, заставляя своего героя восстанавливать прошлое из мозаики мелочей, из прустовских «бисквитов» воспоминаний. Возникающие при этом узоры калейдоскопичны, причудливы, и в каждом из них отражаются картины «смещенного времени», где сосуществуют сразу несколько пластов. Один из них — пласт истории, представленной катастрофическими событиями «великого голода» 40-х годов прошлого века. Это тревожный фон, на котором развертывается «малая история» — вырождения и гибели семейства Годкинов. Здесь есть и острая сюжетность детектива, и мрачная таинственность готики, но, пожалуй, главное в ней — изображение губительной силы ненависти. Ею пропитаны отношения друг к другу всех обитателей Берчвуда, этого «барочного сумасшедшего дома». А доминирует над всем — печаль. Печаль эта экзистенциальна. Она вызвана ощущением невозможности разгадать «тайну» времени и постичь пружины вечно повторяющегося «кошмара истории», который придает талантливой книге Бэнвилла оттенок безысходности. Однако писатель напоминает о возможности человека восторжествовать над хаосом гибели и распада с помощью творчества. В этом смысле признание героя его первой повести «Длинный Лэнкин» — «Я люблю слова и ненавижу смерть» — можно считать жизненным девизом и Годкина, как, впрочем, и самого автора.

Притчевая заданность и метафоричность характеризуют также и повесть «Лэм» (1980), принадлежащую перу Бернарда Маклэверти (род. в 1945 г.), трагическую историю взрослого и ребенка, учителя и ученика, чьи судьбы сплелись неожиданно и нерасторжимо. Взрослый, Майкл Лэм, воспитатель в школе — тюрьме для малолетних правонарушителей Борстал, расположенной в глухом, безлюдном районе ирландского Запада. Ребенок — двенадцатилетний Оуэн Кейн, один из узников этой тюрьмы. Здесь царит «педагогика страха», воплощение которой — зловещий брат Бенедикт, возглавляющий школу-тюрьму. Лэм-воспитатель одерживает немало педагогических побед, преодолевая озлобленное недоверие мальчика, воскрешая у него детское умение радоваться жизни, но этим победам суждено обернуться страшным поражением. Автор показывает духовный кризис своего героя, который теряет привычную точку опоры — веру в бога, вдумываясь в то, что происходит вокруг: радио бесстрастно сообщает об очередных жертвах ольстерского конфликта, мир захлестывают волны ненависти. Герои, бежавшие из Борстала, все острее ощущают свою загнанность и обреченность, в каждом встречном подозревая преследователя. На вопрос, что ждет Оуэна в будущем, у Майкла нет ответа, а мысль, что это может быть опять Борстал или городские трущобы, невыносима. Так подготавливается жестокий парадокс финала: гибель мальчика от руки того, кто заменил ему отца.

Смерть Оуэна проясняет метафору трагической жертвы, которая проходит через весь роман. С нею связана прежде всего символика имен: английское «лэм» и кельтское «оуэн» означают «ягненок». Библейская легенда о жертвоприношении Авраама и евангельская история Христа, «божьего агнца» подготавливают читателя к осмыслению этой жестокой современной притчи, в которой жертва отца, убивающего сына, продиктована беспредельным отчаянием перед миром, где жизнь страшнее смерти.

Общая атмосфера ирландских повестей могла бы показаться слишком мрачной и безысходной, если бы не прослушивалось в них возмущенное недоумение, подсказывающее русскому читателю памятное: «Разве так суждено меж людьми?»

Н. ПРОЗОРОВА
г. Калуга

Издано за рубежом

ЧТО ИЗДАЮТ И КОГО ЧИТАЮТ В АМЕРИКЕ?

Отель «Веллингтон» на Седьмой авеню в Манхэттене не бог весть какое роскошное заведение. В нем останавливаются мелкие бизнесмены, преподаватели провинциальных коллед-

жей, приезжие из-за границы. В конце минувшей зимы одновременно со мной тут оказалась делегация наших транспортников, которые летели затем в Сан-Франциско на выставку трамвайных вагонов со всего света. Отсюда же осенью 1978 года началась и поездка по США Е. М. Матусовской, автора не только исследований об американской живописи, но и весьма любопытных, лишь недавно посмертно опубликованных путевых записок.

Главное преимущество «Веллингтона» — это его расположение бок о бок со знаменитым концертным залом «Карнеги-холл» и совсем недалеко от бродвейского «театрального четырехугольника». Когда говорят о центре Манхэттена и, стало быть, Нью-Йорка, то имеют в виду не деловые кварталы вокруг Уолл-стрит и не примыкающие к ним артистические Сохо и Гринвич-Виллидж, а район тридцатых—сороковых улиц, простирающийся до южной границы Центрального парка. Здесь находятся крупнейшие издательства, редакции многих ведущих газет и журналов. Без особого преувеличения можно сказать, что именно здесь сосредоточена литературно-общественная жизнь огромного города да в значительной мере и всех Соединенных Штатов.

На этот раз меня прежде всего интересовали издательства. Рождественская распродажа, которая неизменно становится кульминацией всего осенне-зимнего сезона, закончилась сравнительно недавно, и по свежим следам, в ходе неторопливых бесед, можно было попытаться составить представление о том, «что читает» сегодняшняя Америка и «чем живет» ее литературная общественность.

По мнению оказавшегося в эти дни в Нью-Йорке профессора из Беркли Ф. Крюза, в фокусе внимания как «серьезного» читателя, так и литературной критики находится сейчас творчество Джона Апдайка и, пожалуй, Нормана Мейлера. Между тем их недавние работы разочаровывают. Уже приходилось в другой связи писать о последнем романе Мейлера «Сто́ящие парни не мелочатся» как о произведении, на мой взгляд, в композиционном и логическом отношении неладно скроенном и дурно сшитом, а главное не осененном сколько-нибудь значительной проблематикой.

Чего только нет в этой небольшой по объему книге! Отделенные от тела женские головы и с полдюжины убийств и самоубийств, выполненных более гуманными способами, прорицатели-спириты и не поддающиеся воздействию болезней долгожители, буйно помешанные эпилептики, а также наркоманы, плейбои и «зеленые береты». Не обойдена вниманием и сфера секса, причем преимущественно в ее патологических проявлениях. В конце романа писатель решительно расправился почти со всеми его персонажами, но, по правде сказать, все происходящее напоминает скорее театр марионеток, на который однажды накинулся Дон Кихот, вооруженный мечом и неистовой жаждой справедливости.

Пытаясь оправдать явную абсурдность ситуации, Мейлер устами своего центрального героя выдвигал следующее обоснование. «Когда должно произойти нечто неожиданное и важное, люди выходят из неподвижности... Возникают поразительные совпадения, которые наслаиваются с бешеной скоростью. Все это — вещь вполне естественная»,— утверждает Тимоти Мэдден, считающий себя начинающим прозаиком. Однако читателю свойственно не просто доверять всякого рода декларациям, но и всматриваться во встающие за ними картины действительности. В романе же «Стоящие парни не мелочатся» фон действия — современная Америка — обрисован разрозненными штрихами, и создается впечатление, что гротесковые конвульсии сюжета не имеют с ним никакой внутренней связи.

Нельзя утверждать, что остальные все компоненты книги столь же уязвимы, как ее идейная посылка. Мейлер остается Мейлером даже в своих неудачных произведениях. Это относится в первую очередь к его легко узнаваемому гибкому слогу, насыщенному неиссякаемой эмоциональной энергией, которой писатель всегда щедро делился со своими героями. Понятно, что к современному творчеству Мейлера невозможно подходить с распространенными критериями жизнеподобия и плоского рационализма. Его манере гораздо ближе своего рода «фантастический реализм», не чурающийся гиперболы и даже несуразностей ради подчеркнутого выявления характерного и глубинного. Но если, например, в романе «Американская мечта» (1965) за сенсационностью фабулы отчетливо просматривались и социальный контекст, и философская проблематика, то в последней по времени работе писателя все это либо отсутствует, либо возникает лишь эпизодическими намеками.

По контрасту с Мейлером книгам Апдайка, появившимся вслед за известным нашему читателю романом «Кролик разбогател», не откажешь в философско-общественном содержании. «Иствикскими ведьмами» (1984) писатель откликнулся на идеологию «неофеминистского» движения и в сатирическом ключе представил крайности поведения «сверхэмансипированных» американок. В опубликованном в конце 1986 года романе «Версия Роджера» он еще более углубил «интеллектуальную линию» повествования, причем настолько, что многие страницы книги напоминают скорее диспут на теологические и общефилософские темы.

Один из участников спора, пятидесятитрехлетний профессор Роджер Лэмберт, отстаивает современный вариант деизма, не снимающий с человека моральной ответственности за его поступки. Споря с ним, специалист по компьютерам Дейл Колер, будучи почти вдвое моложе Роджера, не в силах противостоять ему по части логической аргументации. Однако позднее Колер берет в некотором роде реванш, когда Эстер, жена профессора, не только становится на сторону молодого «технократа», но и удостаивает его своей полной благосклонности.

Подключаясь на сравнительно позднем этапе к обсуждению поднятой еще

Ч. П. Сноу в конце 50-х годов проблемы соотношения гуманитарного и технического знания, Апдайк, к сожалению, мало что добавляет к ее «очеловеченному», художественному пониманию. Коллизии огромной принципиальной важности в романе не прочувствованы, не введены в сколько-нибудь широкую панораму умственного развития человечества или хотя бы одной только американской нации. Они остаются не более как частным делом, предметом застольной или салонной беседы скучающих интеллектуалов. И тем не менее вдумчивый читатель в Соединенных Штатах с жадностью ухватился за эту книгу, что нисколько не удивительно. На общем литературном фоне «Версия Роджера» являла собой чуть ли не единственную прочную точку опоры среди разливанного моря «массовой беллетристики».

Жанровые разновидности развлекательного чтива достаточно традиционны, хотя их сочетание в каждый конкретный момент может быть разным. На пороге весны 1987 года в списках бестселлеров присутствовали и «полицейские романы» («Вкус смерти» П. Д. Джеймса), и политические детективы («Ночь лисицы» Дж. Хиггинса), и сенсационно-сентиментальные мелодрамы («Голливудские мужья» Дж. Коллинз). Попрежнему дразнит читательское любопытство социально-политическая фантастика, спроецированная на ближайшее будущее. Так, в романе «Паника 89 года» П. Эрдман предсказывает скорый крах американской экономики, а Т. Клэнси («Красная буря надвигается») разыгрывает очередной гипотетический вариант третьей мировой войны, разгоревшейся, разумеется, из-за ненасытного «советского экспансионизма». Откровенная предубежденность сопровождает и беллетристическое преломление тенденций текущей политики в книгах, посвященных ситуации в Индокитае («Пиратский полет» С. Кунца) или событиям в Центральной Америке («Бандиты» Э. Леонарда).

По сравнению с этими мелкотравчатыми однодневками чем-то более впечатляющим и солидным выглядят последние романы Стивена Кинга «Глаза дракона» и «Оно». Разумеется, Кинг — тоже гораздый на выдумки развлекатель, который в погоне за сенсацией пренебрегает психологическим правдоподобием и художественной ценностью своих произведений, но вместе с тем (и об этом можно судить по имеющимся в русском переводе «Мертвой зоне» и «Воспламеняющей взглядом») писателю не чужда определенная моральная позиция. Добро в его книгах борется со злом, природа соревнуется с техникой, а самым надежным прибежищем для человека становится чувство юмора. Без особой философичности, не стремясь к нарочитым парадоксам, Кинг внушает миллионам своих читателей, пусть и не бесспорные, истины о том, что добро не обязательно порождает добро, а смерть не всегда ужасна, что безумие странным образом притягивает к себе неокрепшие души и что настоящая любовь никогда не умирает.

Как не раз заверяли меня мои нью-йоркские собеседники, включение в тематические планы «обреченных на успех» бестселлеров является своего рода вынужденной мерой для того, чтобы компенсировать убытки после публикации бездоходных, но нужных определенным читательским кругам изданий. И все же неослабевающий интерес к Кингу и прозаикам его склада служит, на мой взгляд, еще одним сигналом известного неблагополучия, сложившегося в середине 80-х годов в «большой» литературе Соединенных Штатов.

Почти полное отождествление романиста с героем — характерная черта распространенной в США «исповедальной прозы», которая имеет шансы на успех, когда автору есть о чем поведать своим слушателям. Так обстояло дело в конце 70-х годов с «Разными жизнями Дьюбина» Б. Маламуда, с «Миром по Гарпу» Дж. Ирвинга и «Софи делает выбор» У. Стайрона. В противном случае даже самый изысканный стилист обречен на неудачу, что и произошло с Филипом Ротом, потратившим почти десятилетие на создание серии, объединенной автобиографическим героем-рассказчиком Натаном Цуккерманом.

История Цуккермана не что иное как почти зеркальное отражение писательской карьеры самого автора. В прославившем героя романе «Карновский» легко угадывался нашумевший в свое время сексуально-психологический «боевик» Рота «Жалоба Портноя». Но в «Уроке анатомии» (1983) и тем более в недавнем романе «Наоборот» Цуккерман далеко не тот литературный лев, каким читатель знал его прежде. Предмет его ранних книг истощился, как это бывает с хищнически эксплуатируемой почвой. Прошлое ушло, воспоминания потеряли цвет и форму, социальная среда изменилась, и Цуккерман не находит для себя в ней места. Большую часть действия он возлежит на кушетке в своей нью-йоркской квартире, извергая длинные плаксивые монологи, тщательно фиксируемые на страницах произведений.

«Потеряв путеводную нить... он превратился в болтуна, речи которого лишены содержания, анализа, оттенков. Его стоны не вызывают сочувствия, его потуги на порнографию мало кого трогают. Подобно другим шумам большого города, они могут заставить иного слушателя досадливо поморщиться, но те, кто привык ко всему, уже давно не обращают на них никакого внимания»,— так судит о своем герое автор, и в этих словах проглядывает отчетливая самокритичная интонация. В жалкой участи Цуккермана писатель винит прежде всего случайное стечение обстоятельств; но, вдумываясь в судьбу самого Ф. Рота, который вошел в литературу США ориентированным на социально-критическую традицию романами «Прощай, Колумб» и «Она была такая хорошая», задаешься вопросом о смысле тех объективных помех, которые нередко возникают в США на пути полноценного раскрытия действительно незаурядных литературных дарований.

Творческие неудачи продолжают преследовать и Джойс Кэрол Оутс, которая еще каких-нибудь 15 лет тому назад занимала весьма заметное место среди прозаиков реалистического направления. В одном из ее последних произведений, романе «Солнцестояние» (1985), рассказывается история дружбы двух женщин — «солнечной» Мо-

ники и «грозовой» Шейлы, пытающихся сообща отгородиться от уныния провинциальной жизни. Вскоре, однако, этот дуэт распадается. Шейлу, как и ряд других героинь Оутс, затягивает безумие; Моника же находит силы противостоять этому гибельному дрейфу. И хотя писательница стремится местами разнообразить повествование, подчеркнутая камерность и настойчивый крен в психопатологию остаются характерными чертами нынешнего этапа ее творчества. Не меняет этого впечатления и новый роман Оутс «Мария», с которым благодаря любезности работников издательства «Даттон» мне удалось познакомиться еще в корректуре.

«Выдающееся достижение...», «литературная вершина года» — в таких выражениях мои собеседники почти единодушно отзывались о романе Роберта Стоуна «Дети света». Действительно, эта книга, как и известные у нас произведения Стоуна «В зеркалах» и «Флаг на заре», не лишена литературных достоинств, и все-таки та высокая оценка, которой она удостоилась у американских критиков, представляется мне чрезмерной.

В какой-то степени «Дети света» тяготеют к специфической жанровой разновидности «романов о Голливуде». Главная пружина сюжета — съемки фильма по мотивам романа «Пробуждение» американской писательницы начала XX века Кейт Чоупин. Роль героини исполняет актриса Лу Энн Буржуа, а сценарий написан сорокалетним Гордоном Уокером. Оба этих персонажа образуют любовную пару, переживания и метания которой и составляют содержание произведения.

Лу Энн и Уокер несчастны, но, вслушиваясь в их признания, трудно обнаружить сколько-нибудь объективные, «внешние» и, стало быть, социальные мотивировки происходящего. Небесталанный литератор и актер Уокер по слабости характера рано пристрастился к алкоголю и наркотикам и повсюду таскает с собой флакончик с кокаином. В свою очередь Лу Энн вот уже много лет страдает шизофренией. В прошлой жизни у каждого из них накопилось по нескольку браков и разводов, обольщений и разочарований, но поскольку картины минувшего то и дело застилаются наркотической дымкой либо психопатическими галлюцинациями, обо всем этом приходится судить весьма приблизительно.

Кульминационной точкой романа становится сцена ночного пиршества на студии, в ходе которой писателем беспощадно разоблачается истинная, далекая от всякого благолепия позиция современных буржуазных предпринимателей в сфере искусства и их прихлебателей. Однако, словно не довольствуясь этим, Стоун предпочитает дополнительно разыграть нечто вроде современной мистерии на фоне пустынного пейзажа. Заставив Лу Энн и Уокера с не очень понятной целью удалиться в горы и там, прикладываясь к бутылке виски, то падать друг перед другом на колени, то произносить велеречивые тирады с обличением людских пороков и размахивать при этом руками, писатель явно стремится к всемерному нагнетению драматизма, но желанного эффекта не происходит; несмотря на все удары огнива о кремень, трут так и не вспыхивает. За всей этой сумятицей не ощущаешь реального сцепления с актуальной проблематикой. Ее заменяют застывшие экзистенциалистские догмы, вся условность и старомодность которых была очевидна уже лет двадцать тому назад.

Огорчительные «осечки» ряда писателей с громкими именами не привели, однако, к обмелению литературного русла. Не говоря уже о многообещающей молодежи (Дж. Маккинери, М. Моррис, У. Макферсон), в последнее время вышло в свет немало произведений, хотя и принадлежащих перу тех, кого обычно именуют «прозаиками второго ряда», но по-своему примечательных. Уже долгие годы работающий в литературе Питер Тейлор получил Национальную книжную премию за роман «Вызов в Мемфис», связующий нашу память с предвоенной эпохой и проникнутый довольно тонким психологизмом. Это же качество преобладает в сборнике рассказов Гортензии Кэлишер, которая недавно сменила Н. Мейлера на посту председателя американского Пен-центра. Из произведений писателей авангардистского склада выделяются романы «Дом в готическом стиле» У. Гэддиса и «Вечеринка у Джеральда» Р. Кувера, продемонстрировавшие некоторый отход их авторов от подчеркнуто экспериментальной манеры.

При всем разнообразии стилистики названных произведений стоит сказать, что действительность Соединенных Штатов представлена в них довольно односторонне. Наблюдения писателей не выходят, как правило, за пределы «среднеинтеллигентного класса», оставляя за кадром собственно рабочую Америку и ее многочисленные проблемы. Сталевары, шоферы грузовиков, сборщики фруктов, рабочие у конвейера возникают на страницах современной прозы прежде всего тогда, когда речь идет о «красных» 30-х годах, памятных острой борьбой между трудом и капиталом. Между тем социальные противоречия в США никуда не исчезли, о чем выразительно свидетельствует роман сорокадвухлетнего Роберта Уорда «Ред Бейкер», предложенный моему вниманию вице-президентом фирмы «Даблдей» А. Хоффманом.

Действие книги происходит совсем недавно, в разгар экономического кризиса начала 80-х годов. Сталеплавильщик одного из заводов в Балтиморе Ред Бейкер вместе со своими товарищами теряет работу. Ему уже поздно идти на курсы по переквалификации, а временного пособия он не получает из-за бюрократических неувязок. Алкоголь и воспоминания о более благополучных временах — вот все, что остается людям, оказавшимся за бортом сверхпрагматичной, далекой от всякой сентиментальности цивилизации. В финале романа охваченный отчаянием Бейкер решается на грабеж ночного клуба. По чистой случайности налет удается, полиция прекращает расследование, хотя подобный оборот дела лишь отдаляет вполне предсказуемую и неизбежную развязку.

С гораздо большей полнотой повседневная жизнь американцев отражается порой в зеркале публицистической и документальной литературы на различные актуальные

темы. Достаточно напомнить о переводившихся на русский язык работах Теодора Уайта, посвященных выборам президента в 60—70-х годах, о печатавшихся в отрывках «Американских мечтах» и «Работе» Стадса Теркела. К весне текущего года в перечнях самых ходких небеллетристических изданий преобладали, впрочем, книги более камерного плана: очередные биографии Мэрилин Монро и Фрэнка Синатры, откровения телевизионных и спортивных звезд и, как исключение, написанные с добрым юмором воспоминания английского сельского ветеринара Дж. Хэрриота, о котором недавно с заслуженной похвалой отозвался Даниил Гранин.

Рядом с этими, я бы сказал, «безобидными» сочинениями в списках бестселлеров можно было увидеть и сборники статей публицистов неоконсервативного толка Э. Руни и Дж. Уилла, по-прежнему пользующихся авторитетом у известной части аудитории. Только что вышла в свет новая книга редактора ежемесячника «Комментари» Н. Подгореца «Кровавые перекрестки», обращенная к острым вопросам современного литературного и общедуховного развития и трактующая их в подчеркнуто антилиберальном духе. Его идеологический союзник Х. Крамер в беседе, которая состоялась в редакции журнала «Нью-крайтириен», утверждал с чувством нескрываемого самоудовлетворения, что Америка середины 80-х годов «прочно удерживается в сфере консервативного мышления». На мой же взгляд, современные Соединенные Штаты слишком разнообразны и динамичны, чтобы долгое время довольствоваться мудростью той или иной односторонней доктрины.

Именно такое впечатление производит совокупный образ, встающий со страниц роскошного фотоальбома «Один день из жизни Америки». 2 мая 1986 года команда из 200 профессионалов высшего класса рассыпалась по всей стране для того, чтобы спустя всего шесть месяцев на прилавках магазинов появилась книга, разрекламированная как «лучший рождественский подарок».

Мне хорошо помнится не по-весеннему жаркий день, который я провел в Нью-Йорке накануне отлета в Чикаго на конференцию массового движения «США — СССР: мосты к миру». Встреча в редакции «Нью-Йорк таймс», тревожные заголовки в газетах об аварии в Чернобыле, выступление А. Рыбакова с чтением отрывков из романа «Дети Арбата»... Но воспоминания уводят еще дальше, в начало 60-х годов, когда близкая по замыслу книга «День мира» была издана у нас, следуя примеру предыдущей точно такой же работы, задуманной еще А. М. Горьким и приуроченной к пятнице 27 сентября 1935 года.

К сожалению, хорошая традиция пресеклась на четверть века с лишним. Однако, как известно, 15 мая текущего года, по соглашению с фирмой «Коллинз», опубликовавшей «Один день из жизни Америки», десятки фоторепортеров собрались в нашей стране для подготовки аналогичного издания, посвященного Советскому Союзу. И если все пойдет гладко, совсем не исключено, что еще нынешней осенью или чуть позже эта книга станет примечательным фактом издательско-литературной жизни как Москвы, так и Нью-Йорка.

А. МУЛЯРЧИК

◆

Из месяца в месяц

Австрия

ЮБИЛЕЙ ТЕОДОРА КРАМЕРА

Исполнилось 90 лет со дня рождения австрийского поэта Теодора Крамера. Он родился в деревне Нидер-Холлабрун (Нижняя Австрия), в семье бедного сельского врача, рано покинул долину виноделов, но ее ландшафты, нравы ее обитателей навсегда вошли в его книги, отмечает газета «Фольксштимме».

«Теодор Крамер,— писал в посвященной поэту монографии известный литературовед Ханс Фрёлих,— ввел в поэзию речь ремесленников, батраков, поденщиков — всех тех, кто так долго был лишен «права голоса». Именно поэтому Карл Цукмайер назвал его «истинно народным поэтом». Рассказ о жизни на окраине деревни, города, общества стал основной темой его творчества».

Теодору Крамеру была во многом близка эстетика немецких экспрессионистов 20-х годов, однако, как отмечают критики, он сумел найти в поэзии собственные, неповторимые интонации.

Первая книга Крамера, опубликованная в 1929 году, сразу выдвинула его в ряд лучших поэтов страны. Он стал известен, его стихи широко печатались, транслировались по радио. Но когда в Австрии к власти пришли фашисты, Крамер покинул родину. В эмиграции он продолжал работать с прежним упорством, создавая однодва стихотворения в день. В Вену Крамер вернулся лишь осенью 1957 года, измученный и тяжелобольной, а через несколько месяцев его не стало.

Эрвин Хвойка, сохранивший архив Теодора Крамера, предпринял немало усилий, чтобы опубликовать наследие поэта. Тем не менее многие стихи Крамера до сих пор не изданы. Причина этого, по мнению газеты «Фольксштимме», — равнодушное, а подчас и враждебное отношение издателей к творчеству поэта-коммуниста. Только теперь, сообщает газета, подготовлен к печати последний, третий, том собрания сочинений Теодора Крамера, составленного Э. Хвойкой почти тридцать лет назад.

Бразилия

СУДЬБА АНТИФАШИСТКИ

Уже двенадцать изданий выдержала в Бразилии увидевшая свет в 1985 году книга Фернандо Мораиса «Ольга». Она посвящена жизни Ольги Бенарио-Престес — немецкой антифашистки, выданной правительством диктатора Ж. Варгаса гестаповским палачам.

Газета «Гранма» сообщает, что книга только что переведена на испанский и отрывки из нее печатают сразу два кубинских журнала — «Боэмия» и «Каса де лас Американас». В самом ближайшем будущем она выйдет отдельным изданием на Кубе и в Никарагуа. В связи с этим «Гранма» публикует интервью с Фернандо Мораисом.

«В Бразилии об Ольге знали лишь то, что она была женой Престеса — крупного деятеля бразильского и международного коммунистического движения,— рассказывает писатель,— и это казалось мне несправедливым». Мораис начал собирать материалы, проливающие свет на жизнь и деятельность его будущей героини. Он разыскивал людей, знавших Ольгу, записывал воспоминания о ней в Италии, Франции, ГДР, ФРГ, США, Англии и Бразилии, вел поиски в архивах разных стран. Одних только фотографий он собрал около 500.

Фернандо Мораис в беседе с корреспондентом газеты подчеркивает: «В книге нет ни капли вымысла». Все самые захватывающие эпизоды книги (например, тот, где Ольга во главе вооруженного отряда освобождает из берлинской тюрьмы приговоренного к смертной казни учителя-коммуниста Отто Брауна) с документальной точностью воссоздают реальные события. Писатель восхищается своей героиней: «Она была необыкновенной женщиной!»

В книге изложены некоторые исторические факты, до сих пор неизвестные бразильской общественности. Это, считает «Гранма», во многом способствовало огромному успеху книги. Настоящий политический скандал вызвала публикация документов, разоблачающих связь бразильского посольства в гитлеровской Германии с гестапо.

Великобритания

«ГРАНТА» НАКАНУНЕ СВОЕГО СТОЛЕТИЯ

Долгие годы публикации кембриджского литературного журнала «Гранта» были достоянием узкого круга студентов-филологов и профессуры университета напоминает обозреватель американского журнала «Ньюсуик» Мэрилин Ачирон. Произведения видных англоязычных писателей, иногда мелькавшие на страницах журнала, чаще всего ускользали от внимания ши-

рокой публики. Тираж «Гранты» падал, долги издателей росли, и в конце 60-х годов журнал совсем захирел. Несколько лет о «Гранте» никто не вспоминал, пока в 1978 году американец Билл Бьюфорд, слушавший в Кембридже курс лекций по английской литературе, не решил возродить журнал. Так родилась новая «Гранта» — ежеквартальное издание объемом в 256 страниц. Теперь «Гранта» публикует только произведения крупнейших писателей мира, завоевавших популярность у себя на родине и за рубежом, заявляет известный прозаик Джон Фаулз — один из постоянных авторов журнала. К примеру, в номере, посвященном мемуарно - автобиографической прозе, выступили представители десяти стран, среди них — Габриэль Гарсиа Маркес, Грэм Грин, Рышард Капусцинский, а в недавно вышедшем номере в рубрике «Мир глазами писателя» .читатель найдет репортажи лауреата «Букер прайз» Салмана Рашди — из Никарагуа, Колина Тьюборна — из Китая, Джеймса Фентона — из Вьетнама.

С 1987 года «Гранта» поступает в продажу и в магазины США, тираж увеличился с 800 экземпляров до 50 000. Английская и американская пресса единодушно оценивает появление «Гранты» как новое слово в периодической печати Англии и США. «Это уникальное периодическое издание знакомит нас с наиболее яркими произведениями современности,— пишет «Таймс литерари сапплмент».— «Гранта» не будет пылиться на полках книжных магазинов среди пожелтевших от времени журналов. В XX веке, продолжает газета, «малые» литературные журналы, как правило, были площадкой, с которой стартовала молодежь: вспомним «Литл ревью» (здесь впервые был опубликован «Улисс» Джеймса Джойса), «Трансатлантик ревью» (как известно, его главным редактором некоторое время был Хемингуэй), «Критерион» Т. С. Элиота (тиражом всего 250 экземпляров). Новая «Гранта» оставила далеко позади даже «Лондон мэгэзин» и «Фикшн мэгэзин».

СТАНЮКОВИЧ ПО-АНГЛИЙСКИ

В издательстве «Форест букс» вышел сборник рассказов К. М. Станюковича, сообщает газета «Таймс литерари сапплмент». Составитель его, автор предисловия и переводчик — Нил Парсонс. Из творческого наследия Станюковича им были выбраны для перевода шесть рассказов, среди которых рецензент Питер Ридинг отмечает «Шутку», «Иси» и «Блестящего капитана».

Эта книга — интересное и многообещающее знакомство с творчеством малоизвестного за пределами России писателя, пишет «Таймс литерари сапплмент». Станюкович переводится на английский не впервые. Первый сборник его рассказов (в переводах Аллана Марри Уильямса) был опубликован в 1945 году, но тогда ни критика, ни читатели его не заметили. Успех нынешнего издания, помимо высокого качества переводов, объясняется тем, что творчество Станюковича, признанного мастера «русского морского рассказа», сопоставимо с творчеством Дж. Конрада, английского классика этого жанра, отмечает П. Ридинг. В последние десять лет произведения Конрада вызывают особый интерес литературоведов и читателей. В этом контексте творчество русского писателя оказалось для английской публики более интересным, чем сорок лет назад. Как считает рецензент, описание надвигающейся бури в одном из рассказов Станюковича по мастерству не уступает знаменитым описаниям Конрада.

Хотя изданию предпослан подзаголовок «Морские рассказы», в книгу вошли не только рассказы на морские сюжеты, но и те, что были написаны Станюковичем в сибирской ссылке, произведения острой социальной проблематики. Рецензент дает высокую оценку этим рассказам. П. Ридинг выражает надежду в недалеком будущем увидеть изданными в переводах Парсонса и другие произведения Станюковича.

ГДР

«ОЧЕНЬ ЛИЧНАЯ И ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ КНИГА»

В издательстве «Ауфбау-ферлаг» вышла новая книга Кристы Вольф «Авария», которая сразу же стала в ГДР бестселлером. Как пишет газета «Нойес Дойчланд», «Авария» — это рассказ от первого лица об одном дне из жизни героини, тоже писательницы. В своем загородном домике в Мекленбурге она с тревогой ждет известий из больницы о брате, которого оперируют по поводу опухоли мозга. И вдруг по радио передают сообщение об аварии в Чернобыле. Занимаясь обычными делами, героиня книги все время мысленно разговаривает с братом, делится с ним своими раздумьями: о природе человека, его разуме, развитии науки, связанных с этим опасностях, об ответственности ученых за сохранение жизни, о значении литературы. По мнению «Нойес Дойчланд», Криста Вольф пытается подойти к решению основных вопросов нашего времени. «Ее книга заставляет читателя задуматься об ответственности каждого за настоящее и будущее», — подчеркивает рецензент газеты Клаус-Дитер Шёневер. «Это очень личная и очень важная книга, в которой вопросы выживания человечества перекликаются с размышлениями о честном подходе к нашей истории».— отмечает еженедельник «Зоннтаг».

«НЕИЗВЕСТНЫЙ ДЕДУШКА»

Много лет назад увлеченность «кочевой» профессией монтажника заставила Пауля Стояна бросить семью. И вот он снова стучится в знакомую дверь. Встречают его холодно: слишком глубока рана, нанесенная им когда-то жене и сыну. Понимая, что заслужить прощение будет нелегко, Пауль Стоян прилагает немалые усилия к тому, чтобы сблизиться со своими родными. Его «помощником» вскоре становится внук Маркус, безоговорочно принявший деда...

«Неизвестный дедушка»— так называется телевизионный фильм, снятый режиссером Гунтером Фридрихом по одноименной повести Гюнтера Гёрлиха. Эта художественная лента — уже седьмая экранизация произведений писателя ГДР.

«Гюнтер Гёрлих,— пишет в газете «Нойес Дойчланд» литературовед Фолькер Мюллер,— показывает всю сложность человеческих отношений через призму наивного детского восприятия. Характерно то, что именно необходимость объяснять свои поступки ребенку заставляет взрослых пересмотреть свои жизненные позиции, учит их взаимопониманию».

Роль Пауля Стояна блестяще, по мнению рецензента, исполнил популярный актер Курт Бёве, режиссерской удачей оказался и выбор Себастьяна Штробаха на роль Маркуса.

Кадр из фильма «Неизвестный дедушка».

(Газета «Нойес Дойчланд»)

«Новый фильм,— отмечает Ф. Мюллер,— ставит интересные вопросы и заставляет задуматься над тем, что такое личная ответственность за счастье и благополучие доверившихся тебе людей».

Индия

«ПАНОРАМА»

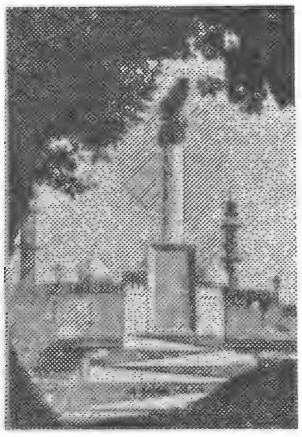
Так называется антология современного индийского рассказа, вышедшая в 1986 году на английском языке под редакцией Мулк Радж Ананда и С. Балу Рао. Журнал «Индийская литература», выпускаемый Сахитья академи (Литературная академия Индии), отозвался на выход антологии статьей К. Р. Шринивасы Айянгара «Подлинный дух Индии». «Панораму» составил 21 рассказ. В оригинале они написаны на 14 государственных языках Индии (включая английский), 15 авторов из числа участников сборника — лауреаты премии Сахитья академи. Такая антология выходит в Индии впервые после двадцатилетнего перерыва. Многие из ее участников были гостями франкфуртской книжной ярмарки 1986 года, посвященной Индии. «Антология как бы говорит нам: «Вот она, Индия! Вот динамика изменчивой целостности!» — пишет Шриниваса Айянгар.

По свидетельству поэта и писателя С. Балу Рао, при отборе рассказов учитывались не только литературные достоинства произведений, но и умение автора донести до читателя ощущение самобытности великой страны. Антология, по его мнению, высвечивает противоречивость и гармоничность, традиционность и новые черты древней многонациональной цивилизации. Из небольших рассказов, как из кусочков мозаики, составляется настоящая панорама жизни Индии.

По мнению К. Р. Шринивасы Айянгара, старинные повествовательные традиции страны не умирают. Автор послесловия к «Панораме» Мулк Радж Ананд (его называют отцом современной индо-англоязычной литературы) прослеживает историю индийского рассказа от древних сочинений до творчества Рабиндраната Тагора и современных мастеров, в том числе участников антологии, в контексте мировой литературы, отмечая влияние на индийскую новеллистику таких писателей, как Толстой, Чехов, Мопассан, Киплинг.

СЕМИНАР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ИКБАЛУ

О стихах Икбала (1873—1938) написаны сотни трудов в самой Индии и за ее пределами, состоялись десятки мушаир и семинаров, и все-таки дискуссии вокруг его творчества и личности не утихают.



Памятник Икбалу в Бхопале.

(Газета «Хиндустан таймс»)

В феврале этого года в Бхопале (штат Мадхья-Прадеш) состоялся очередной семинар, посвященный этому крупнейшему поэту Индии, творчество которого далеко не однозначно: в его произведениях поднимаются не только этические, философские и религиозные, но и острые социальные проблемы — добра и зла, нищеты и богатства, власти и бесправия.

Полемический характер носили и выступления участников бхопальского семинара, организованного Центром по изучению литературного наследия поэта. Газета «Урду экшан» поместила на своих страницах выступления участников семинара. Одни докладчики уделили большое внимание религиозным мотивам в творчестве Икбала, считая их основными, другие подчеркивали острую социальность, а порой и революционный характер его поэзии.

В своих философских стихах Икбал, считает известный критик Саид Эхтишам Хусейн, «рассматривает жизненные явления как бы с высоты птичьего полета, и чем выше он поднимается, тем больший простор открывается его поэтическому взгляду» (широко известна строка из стихотворения Икбала: «Помни, сокол: ты должен парить высоко!»).

Мамгун Хасан Хан, глава Центра, заявил, что подобные семинары в Бхопале станут традиционными. Несколько лет назад правительство Мадхья-Прадеш учредило премию имени Икбала за поэтические произведения. В ноябре прошлого года она была вручена поэту урду Али Сардару Джафри, поэту, который стоял у истоков создания Ассоциации прогрессивных писателей Индии.

Испания

ЖУРНАЛ ПО ПРОБЛЕМАМ КУЛЬТУРЫ

В Мадриде вышел первый номер журнала «Сабер/Леер» («Познавать/читать»). Как сообщает «Болетин информативо», редакция нового иллюстрированного ежемесячника предполагает публиковать статьи видных специалистов в различных областях, деятелей искусства, а также писателей, представляющих книги, изданные в стране и за ее пределами. К работе в журнале привлечены известные ученые и писатели Испании: Гонсало Собехано, Рикардо Гульон, Кармен Мартин Гайте, Хуан Маричаль, Альберто Сольс, Франсиско Аяла.

В первом номере журнала опубликованы статьи по теории литературы, истории испанской литературы XX века (о жизни и творчестве Мигеля де Унамуно, поэзии Висенте Алейсандре, романах Хуана Бенета). Особое внимание, подчеркивает «Болетин информативо», привлекает рецензия Рикардо Гульона на вышедшую в Испании в связи с годовщиной гибели Федерико Гарсиа Лорки монографию Эутимьо Маркина «Федерико Гарсиа Лорка, вольнодумец и мученик. Анализ и проекция неизданных юношеских произведений». Монографию, по оценке рецензента «Сабер/Леер», отличает полнота подбора материалов, фактов биографии, стремление представить общую панораму развития испанской поэзии нашего столетия.

В журнале предполагается сообщать читателю и о наиболее значительных публикациях произведений современных испанских поэтов и прозаиков. Красочно иллюстрированное издание должно не только привлечь внимание специалистов, но и заинтересовать самый широкий круг читателей.

Италия

«КОСМИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» КАЛЬВИНО

Во Флоренции прошел симпозиум, посвященный творчеству выдающегося итальянского писателя современности Итало Кальвино (1923—1985), пишет газета «Унита». На нем освещались различные аспекты творчества Кальвино, начиная с прозы и эссеистики и кончая его издательской деятельностью. Газета «Унита» публикует заключительную часть доклада литературного критика Энрико Гидетти «Трез-

вый фантаст», вызвавшего большой интерес участников симпозиума.

«Космические истории» Кальвино, говорил в своем докладе Гидетти, казалось бы, могут служить подтверждением известной теории об исторической преемственности жанров сказки, фантастического рассказа и научной фантастики. Литературоведы считают, что Кальвино пробовал силы в каждом из этих жанров, почти никогда не нарушая их автономии. Автор доклада оспаривает это мнение. Научная фантастика Кальвино, полагает он, далека от канонов жанра хотя бы потому, что она не предлагает читателю «ни одного из номеров классического репертуара» (общество будущего, неведомые миры, нежданные гости Земли). Сочиняя свои истории на основе научных гипотез о происхождении Вселенной и жизни, писатель, по мнению Э. Гидетти, создает «своеобразную космологию sub specie fabulae». Отвергая всякие метафизические толкования и оставаясь верным своим просветительским позициям, он устанавливает тесную взаимосвязь между микро- и макромиром в поисках потерянной гармонии. Таким образом «Космические истории» — это не сказка, которая лишь слегка соприкасается с реальностью, это не фантастический рассказ, в котором неведомое вторгается в реальный мир, но это и не научная фантастика в привычном смысле слова. Поиски литературных аналогов приводят к некоторым произведениям Эдгара По — таким, как «Разговор Эйрос и Хармионы» или философская поэма в прозе «Эврика». Примечательно, что в интервью 1984 года (опубликованном, однако, только сейчас) Кальвино признавался: наибольшее влияние на него оказал именно По, который «в рамках рассказа способен сделать все». «Космические истории», по оценке Гидетти, — это «сон в присутствии научного разума», это попытка заново пройти путь от хаоса к космическому порядку, от неживой материи — к жизни. Позднее в противовес хаосу, царящему на земле, и человеческим страданиям Кальвино создаст новый, рациональный мир, прибегнув к искусству комбинаторики («Замок перекрещивающихся судеб») и собрав вместе рассыпанные кусочки бесконечной мозаики мироздания («Невидимые города», «Песочная коллекция»).

Доклад Э. Гидетти, пишет «Унита», заставляет пересмотреть ряд устоявшихся критических оценок одной из интереснейших сторон творчества писателя.

«МАЛЛАРМЕ С ВОЛГИ»

Газета «Унита» отмечает выход в свет антологии чувашской литературы под редакцией известного востоковеда Джанроберто Скарча, переводы на итальянский язык (с русского) осуществлены специалистом по русской культуре Александрой Тревизан. Рецензент Джульетто Кьеза называет это издание «небывалым событием», которое стало возможным лишь благодаря Геннадию Айги — составителю антологии и переводчику чувашских текстов на русский язык.

В сборнике представлен чувашский фольклор, произведения поэтов и прозаиков XIX—XX веков, включены в него также материалы по истории, этнографии, культуре чувашей». «Айги — талантливый поэт (французский режиссер Антуан Витез назвал его «Малларме с Волги»), пишет он на двух языках — чувашском и русском — и глубоко знает не только культуру этих двух народов, но и европейскую, особенно французскую поэзию,— пишет Д. Кьеза.— Его стихи переведены на сербский, чешский, словацкий, польский, немецкий, французский языки. На французском и английском выйдет вскоре и антология его произведений».

Дело жизни Айги, подчеркивает «Унита»,— развитие межнациональных культурных связей. Благодаря ему по-чувашски зазвучали Маяковский и Твардовский, венгерские и французские поэты. За перевод антологии «Поэты Франции (от Вийона до наших дней)» он был удостоен премии Французской академии (1968). Джульетто Кьеза считает, что судьба Геннадия Айги — «живое подтверждение права на самостоятельное культурное развитие, которое гарантируется в Советском Союзе малым народам».

Канада

ОБЗОР ФРАНКОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Парижский журнал «Магазин литтерер» опубликовал подробный обзор франкоязычной литературы Канады и несколько интервью с квебекскими прозаиками, драматургами. Литература Квебека, отмечает обозреватель журнала, еще очень молода, ей немногим более полутора веков, но за последние 50 лет имена франкоязычных писателей стали известны читающей публике во многих странах мира.

Канадские прозаики, поэты, драматурги 70—80-х годов — очень разные авторы, их волнуют разные проблемы, но всех объединяет беспокойство за судьбу канадской литературы, интерес к истории Канады, любовь к Монреалю, подчеркивает обозреватель. «Асфальт его тротуаров течет в моих жилах»,— образно пишет об этом городе Ив Бошмэн, автор романа «Кот», поражающего читателя «остротой вымысла и в то же время реалистичностью». Смешение реализма и фантастики — характерная черта современной канадской литературы, констатируют критики. «Я не знаю, реалист я или нет»,— говорит Мишель Трамбле в интервью корреспонденту «Магазин литтерер» Сержу Риголе,— в том, что я пишу, есть большая доля фантастичного, даже абсурдного». Трамбле — один из самых известных канадских драматургов, автор большого цикла пьес «Свояченицы», романов «Герцогиня и простолюдин», «Новости об Эдуарде» и других.

Персонажи молодой писательницы и поэтессы Полин Харзи тоже отнюдь не традиционны, считает видный канадский критик Жан Руайе. Ее последний роман «Еще одно развлечение для Берри», удостоенный литературной премии «Молсон» Французской академии Квебека, посвящен проблемам современной молодежи. В этом романе Харви ведет рассказ о поколении панков, ее герои напоминают Жану Руайе героев Б. Виана и Р. Дюшарма.

Особое внимание уделяет «Магазин литтерер» писательнице Мадлен Уэллет-Михальской (см. «ИЛ», 1985, № 4), которую на родине пресса часто называет «одним из самых оригинальных прозаиков наших дней». Дарование Уэллет-Михальской проявляется в различных жанрах — в прозе, поэзии, эссеистике, журналистике. Ее роман «Дом Трестье, или 8-й день Америки» (1984) стал настоящим литературным событием. Как замечает критик Мишлин Ла Франс, «автор не ограничивается простым воспроизведением исторической обстановки XIX века, но стремится глубоко проникнуть в суть характеров своих персонажей». «Быть может, все мы — различные ипостаси одного и того же человека,— пишет в «Доме Трестье» М. Уэллет-Михальская.— В своем полете сквозь время и пространство человек переживает множество жизней и смертей, и это дает ему яркое ощущение полноты существования, которого одна жизнь и одна смерть не могли бы дать».

«Франкоязычная литература Квебека интересна и значительна,— подчеркивает в интервью «Магазин литтерер» прозаик, поэт и критик Клод Босолей.— Она могла бы многое дать французской литературе, как в свое время литературы Мексики, Кубы, Южной Америки — испанской».

Куба

ОПЕРА ПО РОМАНУ КАРПЕНТЬЕРА

В Гаване прошли дни памяти замечательного кубинского писателя Алехо Карпентьера (1904—1980). К их открытию была осуществлена постановка оперы «Экуэ Ямба-о!», созданной композитором Роберто Санчесом Феррером по одноименному роману А. Карпентьера.

Первый роман писателя «Экуэ Ямба-о!» (1933) — рассказ о жизни кубинского мулата Менехильдо, позволивший автору обратиться к глубинным истокам негритянской культуры на Кубе, ее легендам, обычаям, верованиям (название книги в переводе с языка негритянской народности лукуми означает «Да восславим бога!»).

По мнению рецензента журнала «Боэмия», Р. Санчесу Ферреру удалось передать своеобразную атмосферу романа, его национальный колорит, выделить, не нарушая общей структуры, наиболее значительные моменты литературного сюжета. Однако Санчес Феррер ввел и нового героя — дьявола, выступающего в роли рассказчика: порой он вмешивается в события, объясняет зрителям смысл того, что происходит на сцене.

Критик отмечает динамизм и выразительность арий, дуэтов, органичность введения хоровых номеров. Особой взволнованностью и лиризмом отмечены дуэты Лонхины и Менехильдо — главных героев оперы. Успеху спектакля способствовало и виртуозное исполнение партий талантливыми певцами Педро Ариасом (дьявол-рассказчик), Марией Эухенией Баррос (Лонхина), Энрике Суаресом (Менехильдо), Марией Хулией Гарсиа (мать Менехильдо).

Роберто Санчес Феррер, не забывая о достижениях мировой классической оперной музыки, создал современное, глубоко новаторское произведение, широко использовав мелодику, ритмы кубинской народной музыки от румбы до сона, пишет «Боэмия». «Экуэ Ямба-о!» — одна из лучших опер, созданных композитором, она стала ценным вкладом в развитие современного оперного искусства Кубы, считает автор рецензии. Спектакль, по его мнению,— бесспорная удача молодого режиссера Марии Элены Ортега, художника Хулио Костаньо и хореографа Марии Хулии Гарсиа.

КОНКУРС «КАСА ДЕ ЛАС АМЕРИКАС»

Латиноамериканская пресса широко комментирует ход работы и итоги ежегодно проводимого на Кубе конкурса «Каса де лас Америкас», популярность которого постоянно растет: в этом году в Гаване было рассмотрено 424 произведения из 24 стран. Подробную информацию о результатах конкурса дает газета «Гранма».

Жюри выявило восемь победителей. Лучшим романом был признан «Джон и розовый кит» Хосе Монтеса Ваннучи (Боливия), в котором, как пишет газета, «дан безжалостно точный портрет представителей боливийского высшего света, пускающих деньги на ветер».

По разделу драматургии премией была отмечена пьеса чилийки Исидоры Агирре «Алтарь из Юмбели». Произведение построено на документальном материале: в 1979 году на кладбище городка Юмбель в безымянной могиле были обнаружены останки 19 человек, за несколько лет до этого объявленных хунтой «пропавшими без вести». Родственники погибших обратились в суд. Пьеса рассказывает о том, как проходил процесс и чем он закончился. В решении жюри сказано, что «произведение отличается строгостью формы, поэтичностью, богатством образных средств»; кроме того, отмечен «вклад автора в дело поиска латиноамериканским театром своего особого языка».

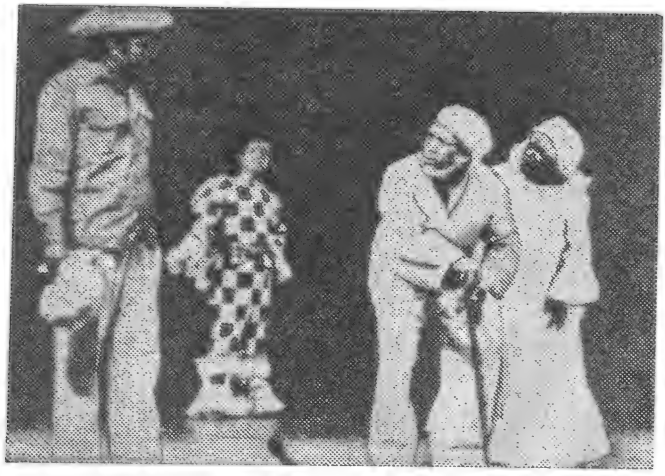
Премию «Каса де лас Америкас» получила также документальная повесть Хосе де Хесуса Мартинеса (Панама) «Мой генерал Торрихос». По определению жюри, «это захватывающая книга, привлекающая внимание как интересной документальной основой, так и художественным мастерством автора». Хосе де Хесус Мартинес по профессии — преподаватель математики, в 45 лет вступил в ряды Панамской национальной гвардии, по долгу службы часто встречался с Омаром Торрихосом, названным в конституции Панамы 1972 года «высшим лидером панамской революции». Жизни этого выдающегося политического деятеля Латинской Америки писатель уже посвятил несколько книг.

Победителем конкурса литературоведческих работ стала книга Беатрис Гонсалес Стефан (Венесуэла) «Литературная историография испано-американского либерализма XIX века».

Кроме того, были присуждены премии по разделам бразильской литературы и литературы стран Карибского бассейна на французском и креольском языках, а также специальная премия имени Эрнесто Че Гевары.

Сцена из оперы «Экуэ Ямба-о!»

(Журнал «Боэмия»)



Нидерланды

КНИГА ВОСПОМИНАНИЙ ОБ АННЕ ФРАНК

В США вышла книга мемуаров Мип Хис «Воспоминания об Анне Франк», сообщает газета «Алхемейн дахблад».

Литературный обозреватель газеты пишет, что американской журналистке Элисон Лесли Гоулд удалось уговорить Мип Хис записать свои воспоминания о периоде оккупации Нидерландов войсками гитлеровской Германии и о той помощи, которую Мип оказала семье Франк. Э. Л. Гоулд принимала участие в редактировании рукописи и ее издании (на нидерландском языке книга выпущена издательством «Берт Баккер»).

Семидесятишестилетняя Мип Хис (в дневнике Анны Франк она упоминается как Мип ван Сантен) и ее муж — единственные оставшиеся в живых свидетели трагедии, которая разыгралась на амстердамской улице Принсенхрахт и стала «символом мужества и человеческой

любви, неистребимых даже *во мраке человеческого зверства», — отмечает газета.*

Мип работала машинисткой в бюро, находившемся в том здании, где скрывалась от нацистских облав семья Франк. Рискуя собой, Мип и ее муж тайком приносили еду многострадальным беглецам. Однако, отмечает издатель Берт Баккер, позже Мип отказывалась давать интервью, говоря, что в их действиях не было ничего героического, ведь каждый в подобных ситуациях помогал как мог.

Тем, что дневники Анны Франк вообще увидели свет, мы тоже обязаны Мип ван Сантен, пишет обозреватель газеты. Именно она обнаружила рукопись дневника после того, как 4 августа 1944 года семья Франк была увезена в концентрационный лагерь Вестерборк. Мип сохранила рукопись до освобождения Нидерландов войсками союзников и после окончания войны передала дневники отцу Анны Франк — Отто. Впоследствии рукопись попала к профессору Яну Ромейну, опубликовавшему 3 апреля 1946 года статью о дневнике Анны Франк в социал-демократической газете «Хет пароол» («Лозунг»), которая в период фашистского нашествия издавалась нелегально. Эта статья дала импульс к публикации дневника, и вскоре он был издан отдельной книгой.

За сорок лет, с 1947 года, информирует «Алхемейн дахблад», дневники Анны Франк, переведенные на пятьдесят четыре языка, изданы общим тиражом в 15 миллионов экземпляров. Дневники были экранизированы, неоднократно перерабатывались для театра. В настоящее время в Нидерландах готовится к печати шестьдесят шестое издание.

Норвегия

ПРЕМИЯ СЕВЕРНОГО СОВЕТА

Впервые литературная премия Северного Совета («малая Нобелевская») присуждена женщине — молодой норвежской писательнице Хербьёрг Вассмо. Она дебютировала как поэт, и в сборниках ее стихов «Взмах крыла» (1976) и «Время прилива» (1977) проявилось, по мнению критиков, незаурядное лирическое дарование. Поэтический опыт писательницы чувствуется и в удостоенном премии романе «Беззащитное небо» (1986). Книга завершает трилогию (первые две книги называются «Дом с закрытой стеклянной верандой» (1981) и «Немое пространство» (1983). В центре эпопеи — судьба юной Торы, дочери немецкого солдата, погибшего во время второй мировой войны, ее нелегкое послевоенное детство, далеко не идиллические отношения с отчимом и матерью.

Хербьёрг Вассмо.

(Газета «Фрихетен»)

По мнению многих скандинавских критиков, Хербьёрг Вассмо продолжает традиции таких мастеров норвежского реалистического романа, как Сигрид Унсет, Турборг Недреос, Кора Сандель. Она унаследовала лучшие черты их творчества — психологическую углубленность в исследовании человеческих отношений, мастерство портрета, гуманистический пафос.

При получении премии Хербьёрг Вассмо сказала: «Литература не может слепо идти вслед за действительностью, иначе она превратится в фотографическое ремесло. Литература должна определять, что истинно, а что иллюзорно. Сейчас подлинная культура в Норвегии вынуждена соперничать с коммерческой индустрией развлечений, особенно опасной для духовного формирования юного поколения. Писателям надо защитить и отстоять подлинные ценности».

Польша

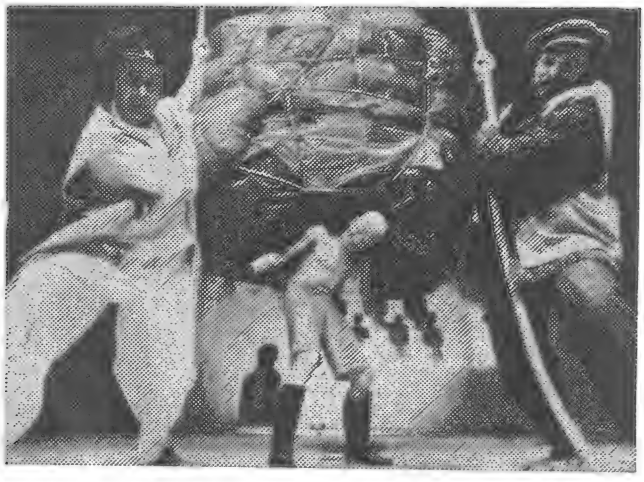
«УБИТЬ В СЕБЕ СМЕРТЬ»

В ПНР широко отмечено 65-летие со дня рождения и 40-летие творческой деятельности выдающегося польского художника и режиссера, основателя центра искусств «Студио» Юзефа Шайны. Шайна — активный общественный деятель, ветеран антигитлеровского Сопротивления, бывший узник нацистских концлагерей. Свое творчество он посвятил борьбе против войны, фашизма, порабощения человеческого духа. В последние годы Ю. Шайна отошел от театра и отдал все свои силы изобразительному искусству, но поставленные им в 70-е годы авторские спектакли — «Реплика», «Виткаций», «Данте», «Сервантес», «Маяковский» — продолжают жить, принося созданному им коллективу «Студио» лавры в Польше и за рубежом (в мае 1987 года впервые прошли гастроли театра в СССР).

Краковский еженедельник «Жиче литерацке» в связи с юбилеем опубликовал интервью с Юзефом Шайном. Говоря об общественной роли искусства в современном мире, художник, в частности, заметил: «Я предпочитаю крик, а не шепот — в жизни все должно вести к катарсису. У зрителей я хочу вызвать чувство вины... Образ должен кричать о высшем, внеличностном, должен препятствовать желанию людей жить кое-как, мелко и легковесно». Развивая мысль о необходимости осмысления острых социальных коллизий в искусстве, Шайна говорит и о философском, вневременном содержании художественного творчества, призванного помочь человеку, кото-

Сцена из спектакля «Виткаций» в постановке Ю. Шайны.

(Газета «Жиче литерацке»)



рый стремится «убить в себе смерть»: «Я хотел бы, чтобы мои произведения излучали магический свет неизведанности и бесконечности — того, что невыразимо в слове, что неуловимо в звуках, того, что способно изменять время, и не только наше время».

Комментируя развернутую в Кракове ретроспективную выставку своих работ, Юзеф Шайна подчеркнул, что он не стремился при подготовке экспозиции соблюсти какую-то иерархию «лучших» и «худших» произведений, а старался «соединить множество разнородных импульсов, теорий, концепций, размышлений о том, для чего и зачем живет художник». Совокупность представленных на выставке работ Шайна рассматривает и как доказательство того, что жизнь сбылась. «Говорят, что моя живопись «заражена» театром. Разумеется, это так, но какое же искусство не театрально? Театрально всякое творчество, ведь его суть в том, что артист «выстреливает собой» в мир».

США

«ПОЛИФОНИЯ ЖИЗНИ»

Под таким названием вышел в свет новый роман американского писателя Филипа Рота, выпущенный нью-йоркским издательством «Фаррар, Штраус и Жиру». Книга продолжает серию романов, объединенных общим героем — преуспевающим прозаиком Натаном Цуккерманом. Впервые Цуккерман появляется у Ф. Рота в романе «История мужчины» (1974) как плод фантазии профессора Питера Тарнополя. С тех пор, отмечают литературоведы, Рот так или иначе отождествляет себя с удачливым писателем.

По мнению рецензента «Нью-Йорк таймс бук ревью», одна из центральных тем нового романа — соотношение между «жизнью в реальном мире и жизнью в художественном вымысле». Реальное и мистическое переплетаются в нем самым причудливым образом.

В самом начале повествования умирает брат Натана, зубной врач Генри: во время хирургической операции отказало сердце. Генри хоронят. Однако вскоре начинаются странные события: он неожиданно воскресает и «в поисках веры» отправляется в Израиль. Тем временем умирает Натан по той же причине, затем оживает и едет вслед за братом в Израиль, а затем в Англию. В своем противоборстве, в поисках истины братья как бы меняются местами; Натан превращается в Генри и в этой ипостаси ведет «свою призрачную жизнь, а вернее — свой голос в «полифонии жизни».

Книга населена множеством любопытных персонажей, полна загадочных событий, неожиданных поворотов. Как же объясняет сам Рот столь необычную форму своего романа? «Нью-Йорк таймс бук ревью» приводит отрывок из недавнего интервью с писателем. Оно вошло в сборник очерков под общим названием «Читая Филипа Рота», который будет издан в этом году.

Форма романа, утверждает Рот, отражает жизнь во всей ее противоречивости. Ведь «жизнь не всегда следует по проторенной колее, это не просто череда событий». К такому запутанному повествованию читатель не привык, продолжает автор, «и вовсе не потому, что здесь отсутствуют начало, середина и конец, а потому, что в нем слишком много начал, середин и концов».

Вместо того, чтобы снабдить читателя ответами на волнующие его вопросы, книга обрушивает на него еще большее количество вопросов и тем самым приводит его в полнейшее недоумение, отмечает рецензент.

По мнению же самого Рота, «в жизни подобное случается сплошь и рядом. Сегодня человек рассказывает о чем-то так, завтра — совсем иначе». «Все мы постоянно пишем вымышленные истории своей жизни, противоречивые, но взаимозависимые... Они-то и связывают нас с действительностью, подводят нас к истине ближе, чем что бы то ни было», — заканчивает свое интервью писатель.

Турция

ПАМЯТИ НАРОДНОГО ПЕВЦА

В первую годовщину со дня смерти выдающегося певца, композитора и исполнителя народных песен Рухи Су в стамбульском театре «Дост-

Рухи Су.

(Газета «Джумхуриет»)

лар» состоялся вечер, посвященный его памяти. На вечере выступили известные артисты, поэты, писатели, друзья певца. Был показан его концерт, записанный на видеокассету. Рухи Су, подчеркивали выступавшие, был близким другом и единомышленником великого поэта Назыма Хикмета и так же, как и он, всю жизнь за свои убеждения подвергался преследованиям властей.

Стамбульская газета «Джумхуриет» сообщает, что к вечеру памяти Рухи Су был приурочен выпуск пластинки с не исполнявшимися ранее песнями композитора, записаны две магнитофонные кассеты. Стамбульское издательство «Адам» выпустило в свет книгу статей и воспоминаний о Рухи Су, а западногерманская фирма «Плен» — две долгоиграющие пластинки с записями его песен.

Финляндия

АНТОЛОГИЯ ШВЕДОЯЗЫЧНОЙ ПОЭЗИИ

Недавно в издательстве «Сёдерстрёмс» (Хельсинки) вышла антология современных поэтов Финляндии, пишущих на шведском языке, сообщает газета «Дагенс нюхетер».

Антология, высоко оцененная финской и шведской критикой, знакомит читателей с творчеством 58 поэтов, большинство из которых вступили в литературу в 60-е годы. Но некоторые из участников сборника — Диана Бреденберг, Дик Карлссон и другие — написали свои первые стихотворения всего несколько лет назад.

Рецензент «Дагенс нюхетер» считает, что представленные в антологии стихи достаточно полно отражают состояние современной шведоязычной поэзии Финляндии: поэзия эта лишена ложной патетики, отличается социальной направленностью, поиском ярких, выразительных средств.

«Дагенс нюхетер» с интересом отмечает, что молодые финские шведоязычные поэты почти не испытывают на себе влияния шведской поэзии; в их стихах скорее можно проследить увлечение такими маститыми поэтами-финнами, как Пентти Саарикоски и Пааво Хаавикко. Любопытна, считает рецензент, и перекличка стихов отдельных участников сборника с произведениями русских футуристов.

По единодушному мнению критики, выход в свет сборника явился важным событием в культурной жизни не только Финляндии, но и Швеции.

Франция

«ИСТИННЫЙ ФРАНЦУЗ»

Широко отмечается во Франции 50-летие со дня смерти Мориса Равеля (1875 — 1937)— одного из крупнейших композиторов XX века. Его творчеству посвящена статья известного критика Жака Дрийона, опубликованная в журнале «Нувель обсерватёр».

«Самое поразительное в искусстве Равеля — то, что при использовании любых реминисценций он умеет сохранить свой собственный стиль — блестящий, уникальный, не похожий ни на какой другой»,—подчеркивает критик.

В беседе с Маргаритой Лонг Равель как-то сказал: «Принадлежность к той или иной нации ничуть не мешает композитору выражать свою собственную индивидуальность, потому что именно в ней национальность творца музыки проявляется особенно ярко». Писал ли Равель страстную «Хабанеру» (1907), навеянный образами Э.—Т.—А. Гофмана фортепианный цикл «Ночной Гаспар» (1908), драматические любовные «Мадагаскарские песни» (1925—1926) или знаменитое «Болеро» (1928), он везде и всюду, отмечает критик, оставался «истинным французом».

По мнению Ж. Дрийона, Равель — настоящий француз, так как он «любит строгую по форме музыку Куперена» (этому замечательному музыканту XVIII века он посвятил фортепианную сюиту «Гробница Куперена»), так как «блистательно владеет искусством оркестровки, подобно Берлиозу или Рамо», так как «его вокальным партиям — например, в опере «Дитя и волшебство» (1925) — присуща особая чистота, испокон веков отличавшая французскую музыку».

Отдавая дань памяти композитора, чьи произведения вошли в сокровищницу национального искусства, министерство культуры Франции подготовило множество юбилейных мероприятий. Самое крупное из них, одновременно проходящее в трех городах — Париже, Лионе и Бордо,— это цикл концертов, программу которых составили все, без малейшего исключения, сочинения Мориса Равеля. К исполнению этого цикла парижское издательство «Файяр» выпустило в свет солидную монографию музыковеда Марселя Марнá, рассказывающую о жизни и творчестве композитора.

Морис Равель. Портрет работы Анри Мангена.

(Журнал «Нувель обсерватёр»)

Югославия

ДВУХСОТЛЕТИЕ ВУКА КАРАДЖИЧА

Исполнилось 200 лет со дня рождения крупнейшего славянского ученого, стоявшего у истоков современного сербскохорватского литературного языка, фольклориста, этнографа, историка и писателя Вука Стефановича Караджича (1787—1864). По решению Генеральной конференции ЮНЕСКО день его рождения объявлен международной знаменательной датой.

Мировая славистская общественность широко отмечает юбилей великого деятеля славянской культуры. В СФРЮ 1987 год объявлен годом Караджича, основная тема юбилея — «Вук и современность». Программа торжеств включает самые разные мероприятия: международные научные симпозиумы, конференции, циклы лекций, серийные телефильмы, встречи писателей. Кульминацией празднования явится представительный международный съезд ученых, который состоится 14—20 сентября этого года в Белграде, Нови Саде, Приштине и на родине Караджича — в селе Тржич.

Очень широко с начала года представлены публикации о Вуке в периодической печати Югославии. В газете «Политика» печатается биография ученого. В одном из популярнейших югославских еженедельников «Нин» опубликованы статьи известных югославских историков, отрывки из книг академиков П. Ивича и Р. Самарджича, глава из монографии о Вуке профессора

Иллюстрация неизвестного художника из книги народных песен, собранных Караджичем (Лейпциг, 1823 г.).

(Из альбома «Портреты Вука»)

Белградского университета М. Поповича. Помещен в журнале и очерк Иво Андрича «Вук и зарубежные страны», рассказывающий о знаменательной эпохе в истории Сербии, когда «этот крестьянин из Ядара «без ремесла, без ноги, без средств» принял на себя огромную, не понятую многими из его современников задачу создания новой национальной культуры». И. Андрич напоминает о широком признании Вука в России, Польше, Чехии, о его знакомстве с Гёте и Я. Гриммом и приводит замечание Ф. Энгельса (из письма к К. Марксу): «Я много занимаюсь сербским языком, в частности песнями, собранными Вуком Стеф. Караджичем. Этот дается мне легче, чем какой-либо другой из славянских языков».

Целиком посвящен Вуку Караджичу и первый номер журнала «Книжевност» («Литература») за 1987 год. Среди публикаций — письма Караджича статьи о нем выдающихся югославских ученых А. Белича и М. Богдановича, которые были напечатаны в этом журнале 40 лет назад, отрывки из телефильма о Вуке по сценарию, написанному М. Витезовичем. Особый интерес представляет впервые полностью опубликованная на сербскохорватском языке биография Вука Караджича, написанная его современником, русским академиком И. И. Срезневским.

В следующем номере:

«Письмо в Москву Михаилу Горбачеву» — стихи известного австрийского поэта Эриха Фрида

Роман Питера Абрахамса (ЮАР) «Остров сегодня»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Т. П. ГРИГОРЬЕВА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Я. Н. ЗАСУРСКИЙ, Г. П. ЗЛОБИН, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, В. С. ПЕРЕХВАТОВ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ** (отв. секретарь), **Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора).

Художественный редактор **Е. Н. Черняев.** Технический редактор **Е. П. Поляков**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». Москва, Пушкинская пл., 5.

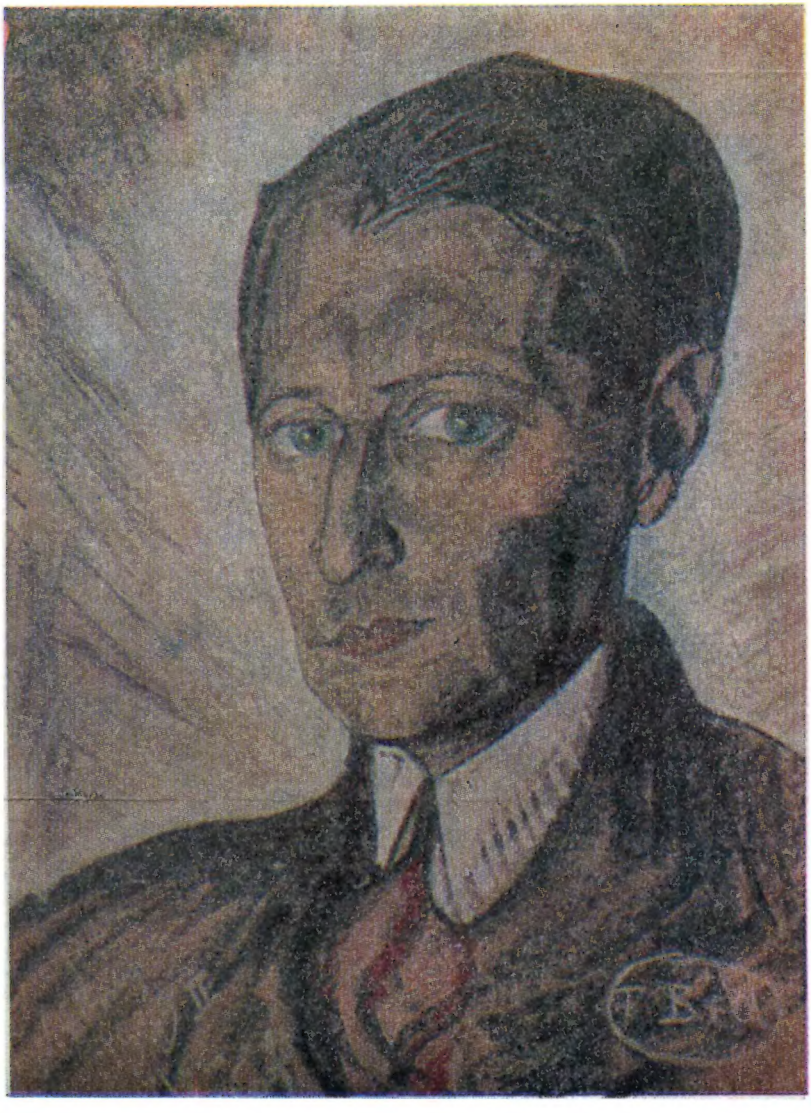
Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 24.06.87. Подписано в печать 13.08.87. А 08599. Формат 70×108 1/16
Печать высокая 16 п. л. (22,4) усл. п. л., уч-изд. л. 29,00.

Тираж 455 000 экз. (1-й завод: 1 — 405 000 экз.). Зак. 2355.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

С. И. Виткевич «Портрет Я. Ивашкевича с женой» (Польша).

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394